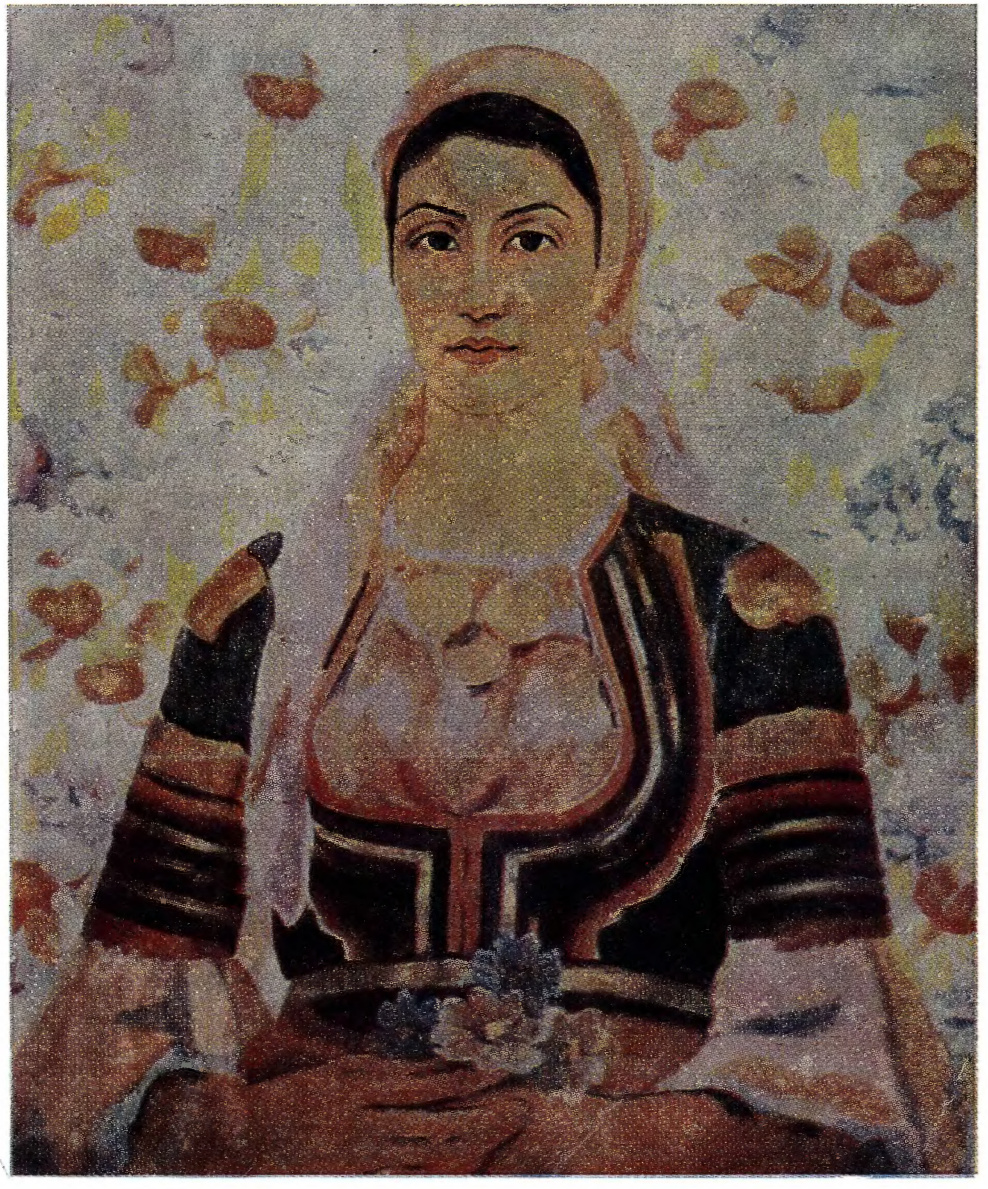
ISSN 0130 – 6545

9.1979

Иностранная литература



ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ. 9.IX.1944 г. в Брезово

Цветные иллюстрации номера — работы болгарских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 Сентябрь 1979

Содержание

Из поэзии Чехословакии.

ИВАН СКАЛА *(Перевод с чешского Евгения Винокурова)*, КАРЕЛ БОУШЕК *(Перевод с чешского Виктора Бокова)*, ВОЙТЕХ МИГАЛИК *(Перевод со словацкого Юнны Мориц)*, ЛЮБОМИР ФЕЛЬДЕК *(Перевод со словацкого О. Малевича)* 3

БОГОМИЛ РАЙНОВ — Черные лебеди *(Повесть. Перевод с болгарского М. Тарасовой)* 13

КРИСТЕР ЧИЛЬМАН — Милейший принц *(Роман. Перевод со шведского Л. Горлиной)* 72

ЖОЗЕ Ж. ВЕЙГА — Тени бородатых королей *(Повесть. Перевод с португальского Лилианы Бреверн)* 130

Критика

М. ЛАНДОР — Открытый эпилог 30-х годов (О романе Томаса Вулфа «Домой возврата нет») 191

Заметки писателя

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Вапцаров: поэтическая ступень в грядущее (К семидесятилетию со дня рождения) 201

Отклики, встречи, впечатления

В. ЯСНЫЙ — Мадридские беседы 208

Культура и современность

Заметки на полях

Е. Амбарцумов — Встреча не состоялась 215

Публицистика

РОБЕР ЛИНАР — Итак, я работаю на заводе... *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод с французского О. Моисеенко. Послесловие Вл. Иорданского)* 219

Контакты культур

Л. МИХАЙЛОВА — Алый парус в океане литературы (Страницы болгарской гриниады) 248

Антирубрика

МАНОХАР МАЛГОНКАР — Медведь на тарелочке. Комбинатор *(Перевод с английского Андрея Лещинского)* 258

Наши гости

Н. Булгакова — Онелио Хорхе Кардосо (Куба) 266

Среди книг

Издано в СССР

Лев Озеров — Смысл и слово. ✦ И. Вишневская — Оглянись во гневе. 268

Издано за рубежом

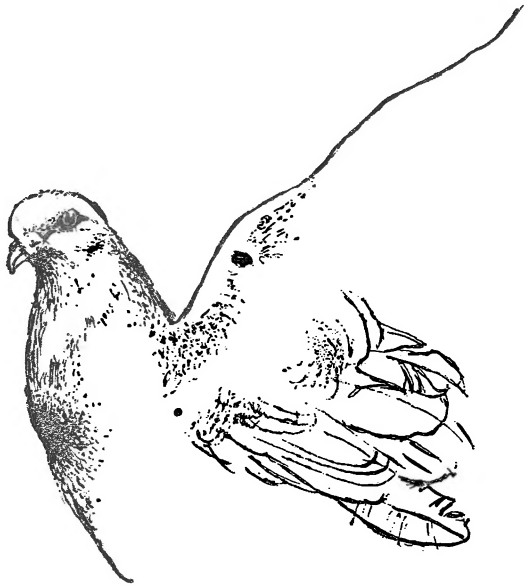
И. Ростовцева — По страницам «Обзора». ✦ О. Малевич — Дар. 272

Из месяца 276

Авторы э 286

На обложке ДИ-
МИТРОВА-М
На стр. 12 ников
Чехослова

© «Иностранная



ЕВА ГАШКОВА.
Чехословакия.
Иллюстрация
к книге Ивана Скалы
«Судьба моя»

ИВАН СКАЛА

Перевод с чешского ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

Память

Мы еще не всем мертвецам закрыли веки,
а кто-то уже спешит
подсунуть нам под ноги кратер вулкана.

У меня на столе рядом с Эсхилом и Гомером
проржавленный осколок снаряда,
который лежал, зарывшись в землю, возле моей головы.
В моем сердце все осколки снарядов минувшей войны,
они проржавлены и черны и дают о себе знать тогда,
когда портится политический климат.
Как осколки в теле инвалида, они будят меня среди ночи.

© Ivan Skála, 1975.

Тревожные удары сердца заставляют меня бродить
по пылающим улицам моих воспоминаний.
Все эти проржавленные осколки второй мировой войны,
что сыпались градом, отравляют ядом мою кровь.
А женщина с воспаленными сухими глазами, Елена Кошевая,
наклонилась, землю разрывая,
чтоб достать бесценное тело
своего семнадцатилетнего поседевшего сына.
Я до сих пор вижу Европу, измученную дизентериями войны,
вижу руку товарища-бельгийца, тело от которой потерялось;
я вижу пучок травы, что растет у рельсов в Мариендорфе,
на могиле этой осиротевшей руки.
Я до сих пор слышу средь этого ада
свист летящей звезды,
что уменьшена до наших человеческих масштабов,—
звезды от разрывающегося снаряда.
До сих пор я чувствую настойчивый и трогательный запах сирени,
сирени той последней военной весны,
сирени, что подобно карболке в сортирах
дезинфицировала все захватнические и в конце концов
проигранные войны в мире.
Ах, память, ослепляющая, как всепроникающая радиация,
память, как шествие босиком по битому стеклу.
Говорили: не оборачивайся, чтоб не окаменеть, как жена Лота.
Простейшие организмы существуют без проблем.
Но я не хочу кровавой бойни.
Я убежден, что жизнь победит.
Я убежден, что человек сделан из неистребимого вещества.

Европа, испещренная вдоль и поперек братскими могилами.
Европа, промытая мылом с ланолином, посыпанная хлорной известью.
Европа, от которой разит приторным одеколоном
кладбищенских жасминов.
Европа, гремящая национализмами, во имя которых растоптаны
национальные знамена.
Европа, в которой наперекор всему произрастает братство
мира и труда,
прочное, как самшит, как железное дерево.
Европа, в которой растет дружная семья народов,
для которой радостно и пахать, и сеять, и убирать урожай.
Европа, которая вытачивает на своих станках
коленчатые валы для машин, чтобы нестись
с головокружительной скоростью
за простым человеческим счастьем.

Европа, Европа, кто это вновь спешит
подсунуть нам под ноги кратер вулкана,
хотя мы еще не закрыли веки всем мертвецам?
Европа,
кто еще до сих пор не усвоил,
что рухнет он сам в первой же атаке,
как те тевтонские знамена, брошенные советскими солдатами
на Красной площади в День Победы
под ноги грядущему.

Осенний вечер

Осенний вечер.
Небо похоже на оторванное крыло дикого гуся —
оно готово упасть.
Осенний вечер.
И снова нас пробует на зуб
молодая страсть.

Снова под моими ладонями
сухо потрескивают твои волосы.
Дай впитать мне снова
твой пшеничный сухой аромат,
чтоб не знать мне
душевной опустошенности
после твоего ухода,
после нашего разрыва,
после всего былого.

Но у меня еще есть песня.
За тобой захлопнулась дверь.
Я стою с обнаженной головой —
в окне мрак грозовой...

У меня еще есть песня.
Она под ветровой свист
трепещет в окне
как последний
еще не облетевший
багровый кленовый лист.

Чешские руки

Чаще в работе, чем в лени. С утра
трудятся и дотемна.
Легкие — легче, быть может, пера,
тяжелые — как два валуна.

И протекали, как зерно на току,
через руки земные дела.
Как на старом мече по желобку
кровь по морщинам текла.

Черным крестом перечеркнут был вдруг
неба простор голубой.
Хлеб вырывали из этих вот рук
те, что пришли на разбой.

Когда оглашал бесконечный простор
хриплых стервятников клич,
эти вот руки месили раствор,
клали кирпич на кирпич.

Записана, словно былинный стих,
история нашей страны
на этих вот лицах суровых мужских,
на этих руках, что сильны.

КАРЕЛ БОУШЕК

Перевод с чешского ВИКТОРА БОКОВА

По старым дорогам

На всем пути упряжки лошадей!
То на холме дорога, то в овраге.
То скрип телег, то разговор людей,
и так до самой, самой Праги.

И падала хмельная голова
на стол дубовый неподвижно.
Зачем трактир? Затем, чтоб горевать,
не ожидая праздников от жизни.

Фонарь качался, как стакан вина,
над козырьком возницы, что пропился.
А где-то дома плакала жена,
и месяц с горя в озере топился.

А кони шли и в тесном хомуте
выносливость свою хранить умели.
И нежно и щемяще в темноте
овсы звенели!

Осеннее

Не только перелеты птичьи,
не только плод нам зрелый дан,
другое есть в ее обличье:
на виноградниках туман.

Ночь холодней, а день короче,
господствуют дожди и грязь.
Спешит по листопадным кочкам
святой Мартин увидеть нас.

Пора осенняя над всеми.
Мне осенью милей всего
олений рев тоски осенней
над зыбкой детства моего.

© Karel Bouśek, 1975.

Ода отчему дому

Мой дом в горах и в запахе шалфея,
он весь в росе, в которой мне виднее
мир детства моего, веселой беготни,
погони за овцой, что скрылася вдали,
как юность, что оставила когда-то
и не придет — вот тяжкая утрата.
Я потерял свой кров, где мне укрыться,
чтобы немного позабыться —
забыть невзгоды жалкой суеты
перед лицом надежды и судьбы?

Там всходит солнце, звезды гаснут,
там в лицах лето, на могилах пасмурь,
там убывает год, как тот, что первым был
из тех двух тысяч (я не позабыл!)...
Там молодость моя, как холст картины
за сундуком в подвале, стынет,
там хлеба отломлю себе кусок
и верю: он меня спасет,
стол станет сиротою навсегда,
я и тогда, как птица без гнезда,
жить буду дальше.

Дом отчий, нас с тобой до гроба
не разлучит ни ненависть, ни злоба,
тебе я верен столько лет,
в душе не меркнет твой целящий свет;
кто отчий дом забыл, теряет почву,
и днем идет он словно ночью,
над отчим домом так ясна лазурь,
я вдаль воспоминаньями гляжу
и отчий дом забывших осуждаю.

Такие люди есть, скрывать не буду,
они встречаются повсюду,
гляди, как сгорбились понуро,
в какую грязь их затянуло.
Все потому, что отчий дом забыли,
земли родной не полюбили,
пускай мой приговор они услышат!
Весенний сад цветет и дышит,
мгновенья жизни не догнать,
но будущее можно угадать
в дожде, и в камыше, и в радуге лучистой,
и в земляничной ягоде душистой.

Мой отчий дом вкус яблока имеет,
родню, реку, любовь — мне этой мерой мерить,
и песню, что запел под кипарисом стройным
беспечною и юною порою,
я допою, придумав снова
кита-скитальца голубого
и грушу, на которой фиги,

а в празднично-рождественские миги
деды-морозы Микулаши,
рождественские сказочники наши,
сойдясь на празднике с поэтом,
помогут мне своим советом
докончить песню-исповедь о том,
что значит для поэта отчий дом!

Одно стихотворенье

Я каждый день пишу
одно стихотворенье.
Всегда с собой ношу
его в любое время.

Иду ли вдоль холмов,
вдоль речек или кленов,
за мною стая слов
бьет крыльями влюбленно.

Во взмахе этих крыл,
надеюсь, ты поверишь,
таится столько сил,
что жизнью не измеришь!

ВОЙТЕХ МИГАЛИК

ИЗ КНИГИ
«ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Перевод со словацкого ЮННЫ МОРИЦ

Мне цыганочка гадала

Мне цыганочка гадала
на кофейной черной гуще,
по руке гадала черной, по душе гадала черной:

«Вижу поле в час вечерний,
черноту огромной пашни,
там три буйвола чернеют,
дождь и ветер бьются насмерть,
дебри веют жуткой стужей.

© Vojtech Mihálik, 1978.

А в плаще заледенелом,
на краю огромной пашни,
ты стоишь, и ждешь, и смотришь,
как три буйвола чернеют,
смотришь с тайною усмешкой,
улыбаясь тайным взором,
словно знаешь все, что будет.
Как такое понимать?»

Знать, цыганочка, не знаю,
знать не знаю, только чую —
а что чую, будет черным,
черным, словно черноокость,
словно тайная усмешка,
черным, словно одинокость,
словно поле в час вечерний,
те три буйвола на пашне.

Веселые святки

I

За призрак счастья ребрами заплатим,
глупцы, торжествовавшие до срока,
что с плеч долой любовная морока!
Сырая слякоть — святки в мокром платье.

Ведь я, подобно нищенской заплате,
согрел тебя, когда была ты одинока.
Ведь был тогда тебе я мил немного...
О, с кем же ты сейчас, мое проклятье?

Опять рассвет сверкает, как топор,
а ты в загуле, словно я в могиле
и звезды тех ночей — мой бред и вздор,

но знай, тебя обуглит звездный взор:
таких, как ты, ведь разве так любили —
такую пытку и такой позор?

II

Зря превращаешься из горечи в усладу
и предо мною корчишь удивленье —
нет, лгунью перегнув через колени,
без промедленья всыплю ей по заду.

Владеешь памятью по первому разряду?
Но клятвы рушатся, как в пене пузыренье
(вот что меня приводит в озверенье!),—
убить? Ведь память о тебе подобна гаду.

Иль разодрать тебя, змееныш, на куски!
Но это — что? В сравненье с пытками тоски,
когда с другими — та, кто в силах мне помочь.

Казня тебя — сам мертв, так мы близки!
На лед бы — голую, в морозные тиски,
чтоб знала, милая, какой бывает ночь.

III

Перешагнув однажды собственную тень,
ты спросишь: — Чем жила? Собой одною?
В глаза мне глядя нежною женою,
ты за спиной ныряла бабочкой в сирень?

А, кстати, знаешь ли, что мертв я каждый день,
убит любовью жгучей, ледяною?
Мне сто веков, когда ты не со мною,
а ты сдуваешь десять лет, как дребедень.

Твое отсутствие стихи мои горбатит,
в глухие уши держат путь они напрасный,
но дух страдающий витает и прекрасный.

Сырая слякоть — святки в мокром платье.
И, как щенок за пазухой дитяти,
ты вся — во мне, в моей душе несчастной, страстной.

Подкова

Знойная пятница. Стертая подкова.
Осторожно — кузница. Им не все равно ли,
отхватить кусок копыта, с болью ли, без боли?
Кипяток, огонь вонючий, все у них готово.

Говорят, совсем не больно. Молча и сурово
рубят бревна жар вздувают. Досыта и боле
налилась огнем подкова. Прочь, скачи на воле.
Гвозди-слезы под копытом зазвенели снова.

Эта жизнь гвоздила крепко и мои копыта..
Вбила тяжкие подковы. Легких не ковали.
Я со всех сторон поджарен в кузнице сердитой.

Так летим же! А дорога — хуже не бывали.
Раскаленное копыто в грунт планеты вбито.
А кузнец орет: «Не больно!», врет кабацкой швали.

ЛЮБОМИР ФЕЛЬДЕК

Перевод со словацкого О. МАЛЕВИЧА

Открытые ветрам холмы над Нижней[1]

Когда из леса поднимается туман все накрывая сумраком зеленым
и женщины во сне прижались к нам
кто в этот час
вернется памятью к тем окнам затемненным
и к тем ночам
С холмов над Нижней
ветрам открытых
спускаются усталые стада
как будто колокольни
заснувшие над деревнями
вниз двинулись
к теплу людских жилищ поближе
Я
в тот час встаю
и делаю три шага к окну
тихонько
словно боюсь спугнуть косулю
потом широким жестом
так поднимают крышку
концертного рояля
распахиваю крылья ставен
Ветер
врывается и падает горшок с цветком
неудержимо
как герой из фильма о войне
что бросился в ущелье горном
со связкою гранат под гусеницы танка
и я подумал
быть может в хрупкой памяти цветка
пока он на асфальте завершит
предсмертное прекраснейшее сальто
вот так же пронесется
мгновенный фильм
прокрученный назад
вся жизнь цветочная
все прошумевшие над ним дожди
все пчелы
в мед превращавшие его нектар
все лица девушек веселых

[1] Нижняя — село в Словакии.

© Lubomir Feldek, 1974.

со смехом наклонявшихся к нему
все птицы улетевшие на юг
и бросившие тень на подоконник
и неба купол синий
над венчиком
и озеро в кувшине
Но знает ли цветок
что падая
он все утратил
до самой смерти
которая близка настолько
что собственно осталась позади
и знал ли человек погибший утром ранним
что тоже был цветком
но не успел раскрыться
О нем пишу я этим жарким летом
ему стихотворенье о Восстании [1]
я посвящаю

Когда
из леса поднимается туман все накрывая сумраком зеленым
и женщины во сне прижались к нам
как много нас мужчин в тот час
вернется памятью к тем окнам затемненным
и к тем ночам

С холмов над Нижней
ветрам открытых
спускаются усталые стада
как будто колокольни
заснувшие над деревнями
вниз двинулись
чтоб жителям долин
не надо было
подниматься к ним
Ведь и у колокола краткий век
когда отходная звенит в разрывах мин
И колокол спасет лишь человек
что колокол спасая
становится
бессмертным

■

[1] Имеется в виду Словацкое национальное восстание 1944 года.

БОГОМИЛ РАЙНОВ

Черные лебеди

ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

Пятница

День начался как обычно, то есть плохо.

В сущности, пока не зазвонил будильник, все было не так уж плохо, но это был еще не день, а сумрачное пространство полусна, смутная ничейная земля между ночью и днем. Ночью — с ее кошмарами и днем — с его неприятностями.

В этих кошмарах она бродила по мрачным, холодным и гулким коридорам, зябко дрожала перед громадными, наглухо запертыми дверьми. Или безуспешно карабкалась на крутую гору, потому что почва осыпалась у нее из-под ног, а колючие кусты обступали со всех сторон и тащили вниз. Или, перепрыгивая темную, бездонную пропасть, срывалась, чтобы падать, падать и падать до резкого толчка пробуждения.

Потом она снова забывалась сном, а мрак постепенно редел, и чугунные, как всегда в ночных кошмарах, ноги делались все легче и легче, и вот уже вокруг сиял ясный, голубой простор, и она медленно плыла в струях теплого ветра, подобных звукам далекой музыки. Но тут раздавался звон будильника.

Звон был пронзительный и настойчивый, бесцеремонный, как действительность, и неотвратимый, как наступающий день. Не открывая глаз, Виолетта протягивала руку, нажимала на кнопку будильника, но голубизна полусна уже успевала рассеяться. Она пыталась удержать ее хоть на миг, но сквозь прикрытые веки проникала не синева, а зеленоватый сумрак или красновато-коричневая полутьма.

Зеленоватый сумрак или красновато-коричневая полутьма — смотря по тому, какие на окнах занавески. Если задернута только зеленая тюлевая занавеска, то в комнате светлее — и, значит, Мими уже встала. Если царит красновато-коричневая полутьма, то, значит, Мими не отодвигала плотные шторы в крупных осенних листьях и, следовательно, спит.

При всей своей любви к светлым тонам в эти минуты Виолетта предпочитала темноту. Если Мими не встала, значит, в колонке еще есть горячая вода. Но сегодня утренний свет уже проникал сквозь зеленоватый тюль, а за стеной слышался шум душа и гул водопроводных труб.

— Фиалочка, ты все еще валяешься? Вставай, иди мойся,— наставительно сказала, входя в комнату, Мими, закутанная в белый махровый халат. Голову ее венчала нейлоновая шапочка, призванная защищать волосы от воды. Она бесшумно пересекла зеленоватый сумрак комнаты, словно скользнула в глубинах озера, распространив вокруг запах влаги и туалетного мыла. Виолетта откинула одеяло, встала и машинально пошла в ванную.

То, что служило им ванной, размерами походило на телефонную будку, в которой каким-то чудом умещались душ, колонка, раковина и полочка для туалетных принадлежностей.

Горячей воды в колонке, естественно, не осталось. Хорошо хоть, что Мими опережает тебя не каждое утро, а только в тех случаях, когда не засидится с Васко в баре.

Виолетта наскоро ополоснулась под краном холодной как лед водой, быстро вытерлась полотенцем и, поеживаясь от холода, побежала в комнату одеваться. От чистого белья веяло свежестью, но оно тоже было такое ледяное, что казалось сырым. Даже черный свитер не согрел ее, а словно ждал, что она согреет его.

— Кофе у нас есть? — спросила Мими, поставив кастрюльку с водой на плитку в нише, которая служила им кухней.

— Я купила вчера.

Мими все еще не отодвинула занавески, и утренний свет проникал сквозь зеленый тюль, все такой же смутный и зеленоватый. Словно комната была под водой. Тихой, сумрачной и прохладной водой. Почти такой же холодной, как в ванной.

Операция по раздвиганию занавесок была привилегией Мими, поскольку ее кровать стояла у окна. Виолетта полагала, что достаточно одной тюлевой, но Мими решила повесить и шторы в осенних листьях, чтобы не подглядывали эти сороки. Сороками они называли двух сестер — старых дев, живших в доме напротив.

— Кофе ты купила в нашей бакалее...— проворчала Мими. Покончив со своим туалетом, она склонилась над плиткой в нише.

— Да.

— И так ясно: от него пахнет мылом, салом, черным перцем, всем чем угодно, только не кофе.

Слушать всякую чушь про кофе, когда ты вся еще во власти прекрасного сна... Как жаль, что прекрасный сон нельзя удержать, что он рассеивается и тает, как дым, едва наступает день. Его не выразишь словами. А начнешь рассказывать, все очарование исчезает. Да и о чем рассказывать? Ведь был только необъятный голубой, светло-голубой простор, пронизанный теплым ласковым светом. И ты плывешь в этом просторе, словно уносимая ленивым движением ветерка, какой-то мелодии, дуновением звуков и света.

— Пить эту бурду или не пить,— проговорила Мими, снимая кастрюльку с плитки.— Ладно, хоть согреемся...

Конечно, они ее выпили. И раз уж речь зашла о том, как согреться, то заговорили и об электрокамине. Недели две назад Мими отнесла его в ремонт и каждый день наведывалась в мастерскую узнать, не готов ли, но его до сих пор не починили.

— Вчера выдумали, что нужно менять спираль, а спиралей у них сейчас нет,— сказала Мими.

И поскольку Виолетта молчала, добавила:

— Что ж ты молчишь? Тебя это тоже касается...

Она давно привыкла к молчанию подруги, и если сегодня это ее сердило, то только потому, что сегодня ее раздражало все. Виолетта любила мысленно разговаривать сама с собой и отвечать другим.

Не то чтоб она молчала, как немая, но обычно ограничивалась короткими репликами вроде «да», «нет», «может быть» и «как хочешь».

— Лучше новый купить,— наконец выговорила она.

— Вот еще, хоть всю зиму будем мерзнуть, а новый не купим,— возразила Мими.— Пятнадцать левов отдать, когда за три спираль можно поменять...

«Пятнадцать... с Васко в ресторане и больше пропиваете»,— подумала Виолетта, но вслух ничего не сказала.

Как бы в ответ раздался звонок в дверь. Пришла контролерша из энергосбыта. В руках она держала счета.

— Восемь левов тридцать две стотинки,— объявила она с порога.

— Почему так много? — спросила Мими, открывавшая ей дверь.

— Вам лучше знать,— строго ответила контролерша.

— Фиалочка, посмотри, сколько у нас осталось,— крикнула Мими, хотя прекрасно знала, сколько у нее в сумке денег.

— Всего два лева...

— У нас всего два лева,— сообщила Мими контролерше.

— Тогда я отключаю свет.

— Ну зачем отключать... Мы завтра же заплатим...

— Хорошо, не заплатите — я вывинчу пробки, так и знайте. Учтите, я к вам второй раз прихожу.

— Вот зануда,— возмущалась Мими, выпроводив ее.— Подумаешь, второй раз она приходит. Других дел у нас нет, как дома сидеть — контролеров ждать.

Она взглянула на часы и заявила:

— Ладно, пошли. Успеем еще забежать в «Алый мак».

— Давай лучше уберемся.

— Неохота. После уберемся. Мне бы сейчас кофе... да настоящего.

Виолетта покорно встала и сняла с вешалки темно-синее пальто, старое пальтишко, еще со времен ее последнего повышения. Одеваясь, она невольно отмечала, какой беспорядок у них в комнате — остатки вчерашнего ужина на столе, разбросанная одежда, неубранные постели. Белье тоже уже пора менять и эту посекшуюся от стирки наволочку с большим желтым пятном слева. Убираться Мими, как всегда, предоставит тебе.

■

В «Алом маке» — новом кафе возле недавно построенной гостиницы — два столика были заняты артистами их театра, с которыми Мими поддерживала только официальные отношения. За третьим сидела, скучая над уже пустой чашкой, Таня.

— Девицы опять проспали,— установила она, когда подруги уселись против нее.

Вместо ответа Мими подняла руку с двумя вытянутыми пальцами — знак победы, в данном случае означавший весьма прозаический заказ: «два кофе».

— Я смотрю, ты сегодня мрачная,— заметила Таня.

— Вот ты меня и развеселишь.

— Не представляешь даже, как ты угадала. Вчера нашей Ольге не повезло — подвернула ногу.

— Ну, ей подножку никто не подставлял,— буркнула Мими.— Сама виновата.

— Недели на две вышла из строя,— уточнила Таня.

— Ладно, слыхали. Цветочки прикажешь ей носить?

Ольга была прима-балериной их театра, и Мими терпеть ее не могла.

— Ох, и туго до тебя сегодня доходит,— вздохнула Таня.— Неужели не понимаешь, что тебе роль дадут!

— Как же — дадут! Скорее спектакль отменят.

— Не могут они его отменить.

Официантка принесла кофе, забрала мелочь, которую Мими заранее положила на стол, и удалилась.

— Не могут они его отменить,— повторила Таня.— Во-первых, все билеты проданы, а во-вторых, из Софии приезжает начальство с какой-то иностранной делегацией.

— Это уж не моя забота,— беспечно заметила Мими, закуривая сигарету.

— Что у тебя, шарики за ролики зашли? — крикнула Таня.— Ведь ты же наконец станцуешь Одетту — Одиллию!

Мими шумно отпила кофе, потом глубоко затянулась сигаретой, сложила пухлые губы трубочкой, словно для поцелуя, и медленно выпустила дым изо рта.

— Дело большое. Когда я мечтала об этой партии, мне ее не давали. А теперь дадут мне ее или нет, какая разница.

— Ладно, не прикидывайся. Не радоваться, что получишь такую партию... Может, скажешь: «Не надо» или: «Отдайте ее Маргаритке».

Под Маргариткой подразумевалась Виолетта. Мими окрестила ее Фиалочкой под тем предлогом, что, мол, не следует злоупотреблять иностранными словами, а Таня — Маргариткой, чтобы не звать Фиалочкой.

— Вот именно,— кивнула Мими.— Если они вообще надумают дать мне эту роль, я ее Фиалочке уступлю. Она хоть обрадуется. Ведь какое у нас призвание — приносить радость.

— Да тебя никто и спрашивать не станет,— сказала Таня.

Конечно, никто ее не спросит. Не Мими распределяет роли, даже если допустить, что она готова отдать тебе Одетту — Одиллию, хотя и за это нельзя поручиться. Мими уже давно получила эту роль во втором составе, а Виолетта — в третьем, но это было только на бумаге. Ольга не позволяла никому, кроме нее, появиться на сцене в этой роли и, как назло, ни разу не болела, так что до второго состава очередь так и не дошла, не говоря уж о третьем.

Да, не Мими распределяла роли, и большой еще вопрос, получит ли сама Мими роль Одетты — Одиллии. И все-таки по дороге в театр Виолетта не могла отделаться от мысли о роли. А когда какая-нибудь идея, даже дурацкая, засядет у тебя в голове... Правда, три сезона назад эта мысль не казалась ей такой уж дурацкой, и она упорно репетировала эту роль, но тогда было другое время, тогда было время великих надежд.

Они прошли через служебный вход мимо вахтера, который с кем-то говорил по телефону и даже не взглянул на них, и по стертым ступеням неприглядной лестницы поднялись на второй этаж.

Храм Терпсихоры. Эта неуютность коридоров и артистических уборных, этот застоявшийся запах табачного дыма, пота и косметики, этот тяжелый закулисный запах. Блестящая мантия театра, вывернутая наизнанку. Дешевая и потертая подкладка, кое-где заштопанная, как старое трико Виолетты. Серые, как в казарме, стены, грязный скрипучий пол, красные огнетушители, несколько танцовщиков в уголке, отведенном для курения, а точнее — возле плевательницы в конце коридора.

В артистической было тепло. Ровно настолько, чтобы не стучать зубами. Несколько девушек готовились к экзерсису. Виолетта заняла свое место, задумчиво глядя прямо перед собой. «Перед собой» — это зеркало и ее лицо в нем. Бледное лицо, на котором большие серые

глаза кажутся еще больше. Когда ты так бледна и худа, люди говорят: она изящна. Те из них, кому ты симпатична. Другие находят, что ты страшна, как смерть.

Все еще думая об Одетте — Одиллии, Виолетта раскрыла сумку и принялась аккуратно вынимать свои балетные принадлежности: черный купальник, трико телесного цвета, балетные туфли, ленту, которой стягивала волосы,— пока на дне не осталась только серая плюшевая собачка. Собачка неизменно хранилась в сумке, потому что ее роль заключалась в том, чтобы приносить счастье,— на эту роль никто не покушался.

Все так же медленно и аккуратно Виолетта принялась раздеваться. Как говорит Мими, в нашей профессии только и делаешь, что переодеваешься. Она натянула трико, то самое, штопанное-перештопанное, и поверх него — купальник. Дома в чемодане у нее лежало новое трико, но день, в который она его надела первый раз, оказался тяжелым, гораздо тяжелей обычного; она решила, что в новом ей не везет, и поэтому ходила в старом. Как будто в старом ей очень везло!

Обуваясь, она изо всех сил старалась сосредоточиться, но мысль о роли не покидала ее. Она вертелась у нее в голове и когда они делали в зале экзерсис. В эти серые, утренние часы вечерняя звучность оркестра заменялась бренчанием расстроенного рояля, механически повторявшего без конца одни и те же такты, словно это был аккомпанемент к уроку утренней гимнастики. И все эти существа, которые вечером превращались в принцесс и фей, сейчас двигались по строгим правилам балетных па с унылыми, неподвижными лицами, небрежно одетые, в старых трико, стоптанных туфлях, купальниках самых разных случайных цветов.

Сколько прозы — будничной суеты и ежедневных усилий — ради того, чтобы получилось хоть немножко поэзии, всего два часа поэзии в том самом помещении с тремя стенами. Но в это утро ее волновало другое. На затянутом непроглядной мглой горизонте появился крошечный просвет. Просвет, или надежда на просвет, или даже иллюзия, что появится просвет, все равно она уже не могла подавить внезапно охватившую ее дрожь радостного предчувствия.

— Виолетта, что с вами сегодня? — строгий окрик педагога заставил ее вздрогнуть.— Вы за минуту три раза соврали.

К строгому тону и резким замечаниям их педагога — бывшей балерины — все давно привыкли. Правда, некоторые, вроде Мими, недолюбливали ее за это.

— Что ты на нее злишься? — спросила как-то Таня.— Не видишь, что у женщины критический возраст?

— У нее всю жизнь критический возраст,— ответила Мими.

И, взглянув на Виолетту, добавила:

— А все-таки мы с тобой, Фиалочка, лучше всех в труппе. Это ясно, как божий день.

— Из чего это, спрашивается, ясно? — спросила Таня.

— Хотя бы из того, что она только нам двоим не делает замечаний.

Действительно, педагог никогда не делала Мими замечаний. Безусловно, она видела погрешности Мими, но не желала замечать ее присутствия. Это началось года два назад. Она отчитала Мими за какую-то ошибку. Мими на резкость ответила грубостью. Та, показывая всем своим видом, что отвечать ниже ее достоинства, замолчала. И по сей день не разговаривала с Мими.

Виолетте она избегала делать замечания по другой причине. Виолетта выполняла все как положено. Или, во всяком случае, было

видно, что это предел ее возможностей. Она вся выкладывалась, чтоб достичь его. Но не сегодня утром.

Урок кончился, девушки вернулись в артистическую, когда уборщица, просунув голову в дверь, объявила:

— Виолетта, вас к телефону!

«Предчувствие». Она выбежала как была, в купальнике, уборщица кивнула в сторону кабинета администратора. Человек, сидевший в кабинете, в свою очередь кивнул в сторону лежавшей на столе телефонной трубки.

— Алло... Виолетта, ты меня слышишь? Это я, твоя тетя,— раздался в трубке знакомый голос.

Ничего не оставалось, как подтвердить, что слышит.

— Твой отец плохо себя чувствовал... Предынфарктное состояние... Он уже вернулся из больницы, но если б ты могла приехать хоть на недельку...

Она собиралась дать односложный ответ, но тут разговор на секунду прервался, словно кто-то вырвал трубку из рук тетки, и послышался голос отца:

— Виолетта? Твоя тетя, как всегда, преувеличивает. Я уже почти поправился. Конечно, я буду очень рад, если ты приедешь, но смотри, как там твои дела.

— Приеду... Сегодня же вечером выеду... если только...

Она покосилась на человека, который, уткнувшись в бумаги, ждал, когда же наконец его оставят в покое.

— Если что? — спросил отец.

— Если не что-нибудь серьезное...— ответила Виолетта неопределенно, снова бросая взгляд на человека, сидевшего за столом.

— Роль? — снова спросил отец, потому что они понимали друг друга с полуслова.

— Да.

— Тогда не вздумай приезжать.

— Нет, нет, я приеду. Непременно хочу... приехать. Сразу же после этого... если это вообще случится.

— Да, да, но только потом. И как только получишь роль, сейчас же позвони. Ты же знаешь, как это важно для меня.

Знает, разумеется. И сейчас она предпочитала роль встрече с отцом не только ради самой себя, но и ради него. Хорошая новость была ему нужней любого лекарства.

Лишь вернувшись в уборную, она задним числом сообразила, что если тетка подняла ложную тревогу, то ее известие могло оказаться еще в большей степени ложным. Она ждет, что ей дадут роль. С чего она взяла? Как всегда, одни мечты. А в результате, вероятнее всего, она в очередной раз огорчит отца. Прекрасная забота о больном человеке, нечего сказать.

■

Отец все еще занимал много места в ее раздумьях, в том числе и об искусстве. Они с матерью тоже принадлежали к людям искусства и вместе вступили на этот нелегкий путь еще в те годы, когда учились в Музыкальной академии. Правда, матери по всяким житейским соображениям пришлось устроиться учительницей пения в гимназию, конечно, только на время, но это время все тянулось и тянулось, и она так и осталась на всю жизнь учительницей, между тем как отец упорно шагал дорогой искусства и, пройдя довольно большое расстояние, достиг звания солиста в оркестре оперного театра.

Сначала в детском мире Виолетты почти безраздельно царила мать, потому что она была добрее и неизменно каждый день присут-

ствовала в ее жизни, отец же вечно был занят на репетициях, а если не был на репетиции, то играл, закрывшись в спальне, а если не играл, то сидел в кафе оперного театра с другими оркестрантами.

Тогда, в детстве, Виолетта ничего не имела против того, чтобы отец торчал в кафе и вообще находился где-нибудь подальше, потому что когда он оставался с ней, то или не обращал на нее внимания, или читал ей нотации. Стал ли он педантом оттого, что с утра до вечера всматривался в диезы и бемоли или он был таким от природы, трудно сказать, но он любил порядок, а для любителей порядка общение с окружающими сводится в основном к надоедливым замечаниям, вроде «не клади туда», «убери это», «положи тетради на место», «зачем ты включила радио, если идешь на кухню...».

Худой, чуть сутуловатый и хмурый, он казался человеком суровым. А может быть, это впечатление создавалось двумя морщинами, перерезавшими его лоб, которые пролегли оттого, что он слишком напряженно всматривался в диезы и бемоли, но в те годы Виолетте он запомнился больше всего своей неприветливостью, молчаливостью и тяжелым запахом табака.

Вначале она любила только мать, но начало продолжалось недолго; ей исполнилось всего девять лет, когда матери не стало — она умерла словно нечаянно от обыкновенного гриппа, осложнившегося воспалением легких, и оставила их обоих управляться как сумеют.

— Тетя хочет взять тебя к себе,— сказал отец через несколько дней после похорон.— Будешь ходить в школу вместе с Росицей и вообще не будешь одна.

Однако она не испытывала никаких симпатий к тетке, а тем более к двоюродной сестре.

— Не хочу к тете... Хочу остаться с тобой...

Тронуло ли его это выражение привязанности, или он только теперь по-настоящему осознал присутствие Виолетты в своей жизни, но отец взял на себя трудную миссию заботиться кроме скрипки и еще об одном существе, не менее хрупком, чем скрипка.

Со свойственным ему педантизмом он разделил между ними поровну домашние обязанности — уборку квартиры, готовку, мытье посуды, вообще все, вплоть до вынесения мусора. И будущему Виолетты в этой старой квартире, куда редко заглядывало солнце, грозила опасность оказаться таким же безрадостным, как и в мещанском уюте теткиного дома. Но отец, вероятно, почувствовал, что девочке нужно хоть немного тепла, да и сам он, видно, ощущал потребность перенести на кого-то свою любовь к умершей жене — так или иначе педантичное выполнение отцовского долга незаметно перешло в привязанность, а привязанность — в любовь, в которой со временем появилось даже что-то болезненное. Когда он был свободен, то помогал Виолетте делать уроки, а когда ей ничего не задавали, брал ее с собой на репетиции, таскал в кафе и уходил вечером в театр, только исчерпав весь запас своих наставлений и предостережений, вроде советов не открывать ни на какие звонки и делать то-то и то-то, если в доме начнется пожар.

Он таскал дочь с собой, чтобы она не чувствовала себя одинокой, но таким образом чувство одиночества сменялось скукой, хотя постепенно она привыкла дремать на репетициях в самом дальнем и темном углу или не спеша есть мороженое, пока отец обсуждал со своими коллегами-оркестрантами не столько достоинства, сколько недостатки нового дирижера. В общем, она привыкла к скуке, превратившейся в часть ее повседневной жизни. И, наконец, если бы не скука, не наступило бы озарения.

Оно наступило на генеральной репетиции. До этого дня отец не водил ее на генеральные, и, когда они на этот раз выходили из дома, он предупредил ее, что она увидит настоящий, почти настоящий, спектакль, с декорациями, костюмами, освещением.

— А какая опера идет? — спросила Виолетта, так как отец упустил эту подробность.

— Не опера, а балет. «Лебединое озеро».

И вот она сидела в полутемном зале, но не в дальнем углу, как обычно, а в одной из лож, куда отец ее посадил, чтобы ей было лучше видно, и, когда под замирающие звуки торжественного и какого-то скорбного вступления занавес поплыл вверх, девочка ощутила что-то похожее на головокружение.

Занавес поднялся подобно тому, как расходятся темные тучи, за которыми вдруг блеснет небесная лазурь. Словно ты случайно заглянул в иной мир, о котором еще миг назад и не подозревал. И этот мир пробуждает и в тебе какой-то иной мир, существование которого в себе ты вообще не предполагал.

Это и было озарение. Странный, неземной свет, льющийся из мира прекрасного, чтобы согреть и оживить то зернышко красоты, которое скрыто в каждом из нас. Забившаяся в темную ложу, не сводящая глаз со сцены девочка почувствовала в своем детском сердечке какую-то боль. Ведь когда сердце, так долго бывшее глухим к красоте, пробуждается для нее, оно щемит, как от боли.

Но должно было пройти какое-то время, и лишь ко второму акту, когда красота все длилась, ошеломление сменилось влечением к ней. А там, на сцене, в бледно-зеленом сиянии, на фоне печально поникших деревьев, кружились, сходились и расходились, словно подхваченные дуновением музыки, легкие белые фигурки — такие легкие и такие белые, точно лучики света, точно прозрачные, хрупкие бабочки, порхающие в зеленоватом свете невидимых прожекторов. И девочка испытала пронзительное желание быть не тут, в темноте ложи, а там, среди тех, таких белых и таких легких существ, быть одним из этих существ и вольно скользить в зеленоватом свете, подхваченной нежным дуновением музыки. Да, это и было озарение.

— Папа, а ты можешь меня взять на премьеру? — спросила уже дома Виолетта.

— Но между премьерой и репетицией разница только в зале, девочка. Сейчас он пустой, а тогда в нем будет полно зрителей.

Нет, на премьеру он не смог ее взять. Но зато он повел ее на следующий спектакль, потом — на следующий. Словом, приходилось водить ее в театр всякий раз, когда шло «Лебединое озеро», и если он хотел оставить ее дома под предлогом, что ей завтра в школу и надо выспаться, то начиналась целая история, хотя в общем Виолетта была послушным ребенком.

Наконец, однажды, когда они доедали свой обычный обед — салат из помидоров и сосиски,— что может быть проще, чем сварить сосиски и приготовить салат,— девочка набралась храбрости и произнесла тихо и робко, как поверяют сокровенное желание:

— Папа, я хочу быть балериной.

— Ну, я уже давно ждал такого заявления,— пробормотал отец. И прибавил, без возражений: — Раз хочешь, будь!

— А как стать балериной?

— Как кем угодно другим: учиться, заниматься... Попотеешь, наберешься умения. Ты же знаешь, где балетное училище.

— А каждая девочка может поступить в балетное училище?

— Нет, не каждая. Нужно сдать экзамен. Если понравишься, возьмут, если нет — «следующая!».

До этих пор она жила словно бы в полусне, занимаясь чем-то не слишком приятным или неприятным — готовила уроки, мыла посуду, ела мороженое в кафе и скучала, дожидаясь, когда отец кончит разговор и они пойдут домой.

— Зачем ты вечно таскаешь девчонку с собой и заставляешь ее умирать от скуки? — упрекнул однажды отца один из его приятелей.

— С чего ты взял, что она скучает?

— Как будто не видно...— ответил приятель.

И для вящей убедительности спросил:

— Виолетта, очень тебе, девочка, скучно?

Она несмело подняла свои большие глаза и прошептала:

— Не очень...

За столом раздался смех.

— Нашел над чем смеяться! — рассердился отец.— Конфузишь ребенка каверзными вопросами, а потом смеешься.

Но теперь она уже не скучала. Теперь ей уже нигде не было скучно. Даже в кафе. Теперь у нее была своя цель и своя мечта, и она могла фантазировать до бесконечности. И мечта, оставаясь все той же, непрерывно менялась, обретая новые формы, новые краски и новую привлекательность.

Ей навсегда запомнилась эта осень, осень первого счастья. Часто лили дожди, в театре часто шло «Лебединое озеро» — спектакль был новый,— и она с отцом под вечер в дождь спешила к оперному театру. Правой рукой отец бережно, как младенца, прижимал под плащом футляр со скрипкой, а левой держал за руку Виолетту, и ей казалось, что он ведет ее по этой улице тумана и дождей в ту ясную и светлую страну, где каждое движение — гармония, а каждое дуновение — музыка.

Как-то в кафе другой приятель отца назвал почему-то эту светлую страну «царством красивых иллюзий».

— Почему «иллюзий», папа? — спросила она потом, когда они выходили из кафе.

— Потому что настолько у него хватает ума,— ответил ей отец.— Вернее, не ума, а способностей. Воспринимаешь ли ты искусство как иллюзию или как истину, зависит только от тебя, девочка. И если для тебя искусство — иллюзия, то вини не его, а себя.

Это был их первый разговор об искусстве. Несколько фраз в толпе людей, снующих по магазинам под моросящим, осенним дождем. Первый, за которым последовало столько других. И, может, потому, что он был первый, она не поняла до конца слов отца, но не сомневалась, что он прав, и радовалась, что искусство — не иллюзия, а истина. Он всегда бывал прав. К счастью или к несчастью.

А счастье часто улыбалось ей в ту пору. Сначала — та генеральная репетиция. Потом сюрприз в новогодний вечер. Они решили встретить Новый год вдвоем, поскольку им обоим не хотелось идти к тетке, а больше идти было некуда. Они застелили стол чистой скатертью и даже позаботились о том, чтобы вместо сосисок, как обычно, приготовить курицу. И когда Виолетта вышла на кухню, чтобы вынуть курицу из духовки, послышалась музыка.

Она решила, что отец включил радио, но, вернувшись в комнату, увидела, что шкала приемника не светится. Звуки долетали из приоткрытой двери в спальню, и девочка поспешила туда с противнем в руках и уже с порога увидела проигрыватель, из массивного пластмассового ящика которого вырывались первые тихие такты вступления.

— Ой, папочка...

Третьего счастья пришлось ждать дольше. Оно улыбнулось ей летом и было для нее величайшим праздником. Ее приняли в балетное училище. После стольких волнений. И стольких бессонных ночей.

Они пошли с отцом смотреть списки, и он ждал ее, стоя поодаль, чтобы не толкаться среди других и не показывать, как он ужасно волнуется, но он, конечно же, волновался, и, когда она бросилась к нему с просветлевшим лицом, на котором достаточно ясно читалась радостная новость, отец обнял ее и поднял на руки, потому что, хотя ей исполнилось уже десять, она была еще совсем крошечная, и поцеловал ее в щеку.

Он волновался не так, как она, а по-своему, и ее мечта незаметно превратилась в его мечту, но она поняла это гораздо позже. Ее мечта, в сущности, была продолжением его юношеской мечты о большом искусстве, и, хотя ему было удобнее делать вид, что он доволен достигнутым, в душе он совсем не был доволен и прекрасно сознавал, что стал всего лишь средней руки музыкантом. И вот теперь у него появилась возможность продолжить свой путь к великой цели и приблизиться к ней на расстояние другой жизни, ее жизни, и увидеть, пусть издали, свое дитя, поднявшимся к тем высотам, которые остались недостижимыми для него самого.

Он назвал ее Виолеттой из любви, которую с юных лет питал к «Травиате», но тогда ему, вероятно, и в голову не приходило, что у его дочери будут какие-то другие точки соприкосновения с искусством, кроме имени оперной героини. И вдруг дело приняло серьезный оборот.

— Так, значит, мы уже готовы к балету? — спросил он ее вечером того же дня.

Она кивнула.

— А также к славе, успехам, аплодисментам?

Она только опустила глаза. Никому, даже ему, не решалась она говорить о своих мечтах.

Задумчиво поглядев на нее, он произнес:

— Но готова ли ты к испытаниям, мукам и подвигу?

Это патетическое восклицание показалось ей почти смешным.

— Но, папа, я же не воевать собираюсь...

— Да, конечно. Но ты думаешь, что тебя ждет более легкое дело? Бой кончается, или гибнешь или побеждаешь. А тебе предстоит долгий путь к далекой цели. Ты решила посвятить себя искусству... А как прийти в него? Нельзя прийти в искусство, не совершив подвиг. Путь в искусство — это подвиг.

До той минуты она вовсе не была готова к такому героическому походу, какой, по словам отца, ей предстоял. Она воображала, что у нее впереди не испытания, а волшебное царство красоты. Но она привыкла верить отцу и решила готовиться к подвигу. Он помогал ей сколько мог и постарался за летние месяцы в меру своих сил повысить ее музыкальную культуру. Скрипач, привыкший воспринимать спектакль из оркестровой ямы, он, бедняга, считал, что балет — это та же музыка, только в движениях, и главное — хорошо чувствовать музыку, а остальное приложится.

— В конце концов, балет — тоже музыка,— повторял он.— Транскрипция музыки движениями, и ничего больше.

Виолетта не знала точного значения слова «транскрипция», но с первых же дней в училище поняла, что оно означает невероятные трудности. Хорошо, что она уже приготовилась к подвигу, так как муки и разочарования начались с первых же уроков.

Она представляла себе, что они сразу же начнут танцевать. А вместо этого пришлось разучивать позиции. Позиции — это мучение и скука. Особенно, когда у тебя такой придирчивый педагог. Делать нечего, думала она, позиции — это подвиг. Придется освоить позиции, чтобы прийти в искусство.

Но и за позициями светлые дали искусства не открывались. Напротив, вставали новые, неприветливые и каменистые уступы, по которым приходилось карабкаться, изнемогая от усталости,— уступы новых упражнений, за которыми ее ждало опять-таки не искусство, а другие упражнения, за которыми, естественно, следовали упражнения.

Но она продолжала карабкаться, закаленная не только упражнениями, но и напутствиями отца, объяснявшего ей, что подвиг — это не один шаг и миг, а будни и он останется буднями, даже когда она преодолеет труднопроходимую местность упражнений или плац самостоятельной тренировки, как он выражался, забывая, что говорит с девочкой. Да, самая тяжелая часть подвига только тогда и начнется, когда с учебного плаца ты пойдешь на фронт, то есть, хочу сказать, на сцену...

— И будет продолжаться, пока я не стану прима-балериной,— подсказывала она.

— Нет. Пока не уйдешь на пенсию. А после пенсии наступит черед нового подвига. Подвига отхода и смирения.

И чтобы перспектива не казалась такой уж мрачной, отец прибавлял:

— Ну, конечно, когда ты приобретешь опыт и мастерство, тебе будет уже не так тяжело. Хотя чем больше можешь, тем трудней. Новичку тяжело брать низкие барьеры, но чемпиону не легче, потому что его барьеры выше. И все же здесь уже не только муки, но и наслаждение, не только подвиги, но и победы.

И с верой в грядущие победы она продолжала идти по каменистым уступам и старательно проходить все этапы обучения, покорно принимая на каждом этапе усталость как часть великого подвига. Большой батман — это была часть великого подвига, и сиссонн уверт, и гран фуэтте — тоже. Чтобы легче было сносить трудности, она приучилась понимать под подвигом не только занятия в классе, но и упражнения дома после обеда, соперничество и сплетни в училище, одиночество долгих вечеров, когда отец уходил в театр, очереди в магазине, надоевшую процедуру готовки обеда и другие будничные заботы. Жизнь состоит не из одного только балета и музыки, и мир так уж устроен, что приходится не только танцевать, но и мыть посуду, и выносить мусор.

Она не спрашивала отца, что принес ему подвиг. Это было бы слишком жестоко: своим подвигом он явно ничего не достиг. Жестоко и бесполезно, поскольку ответ она знала и так. Беда была в том, что отец начал чересчур поздно. Толчком оказалась случайная встреча с искусством, из которой родилась страстная юношеская мечта. Подобно ее встрече с «Лебединым озером» и ее мечте. Только у него было не «Лебединое озеро», а «Пер Гюнт» Грига, звучавший в каком-то сентиментальном фильме. Впрочем, не все ли равно, что́ стало первым побуждением. Важно то, что из сотен людей в зрительном зале он один ощутил рыдание скрипок и альтов как свою боль и радость, ощутил с такой силой, что принялся копить деньги на покупку скрипки.

Вся эта история была ей известна до мельчайших подробностей. К сожалению, отец начал играть упражнения Байера в том возрасте, в каком вундеркинды играют концерты Вивальди. Конечно, и он до-

бился каких-то, хотя и небольших, успехов. Тот факт, что его приняли в Музыкальную академию, уже был достижением, если учесть, как и когда он начинал. И то, что он поступил в большой оркестр, тоже было успехом. Как и то, что он стал солистом. Столько людей мечтают стать солистами оркестра.

А Виолетта продвигалась вперед. Быстрее одних и медленнее тех, кому все давалось легко. И хотя ей ничто не давалось легко, она шла вперед и подстегивала себя, чтобы не падать духом и идти дальше.

— Я ей нос утру! — пригрозила она своей главной сопернице, сидя как-то дома с отцом.

— Никогда не делай ничего, даже хорошего, только для того, чтобы утереть кому-то нос,— заметил отец.— Делай это потому, что это хорошо.

Эта мысль, по-видимому, давно занимала его, потому что он пустился в пространные рассуждения о личной выгоде и общем благе.

— Если ты осмелишься сказать, что трудишься для общества, найдутся люди, которые назовут тебя дураком или лицемером. Еще глупее будешь выглядеть, если скажешь, что в этом смысл твоей жизни. Ухаживать за ненужным никому, даже тебе, цветком в горшке, обрезать, поливать его каждый день — это подобные люди считают нормальным, но тратить силы ради процветания целого общества, твоего общества,— кажется им невероятным, если только не делать это за деньги.

Он помолчал, взглянул на нее и, желая убедиться, следит ли она за ходом его мысли, добавил:

— Не произноси громких слов. Но и не жалей труда. И не думай о том, что тебя ждет за твой труд: удовлетворенное тщеславие, аплодисменты или деньги.

Она следила, вернее, старалась следить за ходом его мысли, хотя порой его речи становились утомительно длинными. Эти беседы, которые они вели в те вечера, когда он не участвовал в спектакле, воодушевляли ее, она упорно работала и постепенно опередила всех остальных, говоря себе, что утирать нос она им не станет, но и первого места не уступит.

■

— Что же ты не поздравила меня с ролью,— съязвила Мими.

— Чудеса. Я была абсолютно уверена, что тебе ее дадут,— сказала Таня.

— А я не сомневалась в обратном. И как видишь, не ошиблась.

Мими и Виолетта до самого обеда вертелись в театре, но никто никуда их не вызывал и не предлагал роли.

Сейчас они сидели втроем в столовой горсовета, взяв, как обычно, на первое суп с фрикадельками. Мими и Таня смело ели суп, а Виолетта вылавливала из гущи одни фрикадельки.

— Ага, растолстеть боишься,— бросила Таня.

Столовая занимала громадный полуподвал с голыми серыми стенами и маленькими окошками, которые, похоже, открывались нечасто, отчего в этом шумном помещении вечно стоял запах тушеного мяса, жареного лука и подгорелого постного масла.

Чтобы не стоять в очереди, Виолетта с друзьями приходили позже других, в половине второго.

Раньше в их компании было шестеро, оба пола имели равное число представителей, но постепенно мужская часть поредела. Сначала выбыл приятель Виолетты, потом Таня прогнала своего. Остался

один Васко, но сегодня Васко перекочевал в ресторан, поскольку Мими приказала ему: хоть умри, а без денег не возвращайся.

— Пламен опять со своей секретаршей,— заметила Таня, отставляя пустую тарелку и пододвигая к себе второе — неизменное тушеное мясо.

И поскольку ее замечание не встретило никакого отклика, прибавила:

— Не пойму, что хорошего он нашел в этой корове.

— А зачем ему хорошее? — сказала Мими, в свою очередь принимаясь за второе.— Ему жена нужна, а не хорошая женщина.

— Ну и рассуждаешь же ты!

— Не я, а он и такие вот вроде него. Зачем им хорошее, им недостатки подавай. А у этой недостатков навалом. В общем, идеальная жена. Ума маловато, значит, не будет вперед его лезть. Культуры не хватает, значит, будет дома сидеть, хозяйством заниматься. Красотой не блещет, значит, меньше риска, что рога наставит. Идеал, а не жена.

Впрочем, если отношения Пламена с секретаршей касались кого-то, то не их двоих, а Виолетты — именно ее приятелем был когда-то Пламен. Однако она не собиралась высказываться по этому вопросу и как будто даже не прислушивалась к разговору подруг, что заставило Таню продолжить:

— Да у него просто плохой вкус. Или, как ты любишь говорить, он за большим не гонится. А в общем-то он серьезный человек, и Маргаритке не стоило его упускать.

— Хуже нет серьезных,— возразила Мими, чье мнение сводилось в основном к тому, чтобы не соглашаться с другими.— Такого дурака, как мой, если разойдется, можно к рукам прибрать, а на серьезного не прикрикнешь. Вечно он прав, ты виновата, он командует, ты слушайся...

— А почему бы тебе, Маргаритка,— подхватила Таня,— не попытать счастья, как и нам, с каким-нибудь дураком? Просто так, для разнообразия. Этот виолончелист, который положил на тебя глаз, парень неплохой...

— Ничего не выйдет,— покачала головой Мими.

— Что ты встреваешь? Я ж не с тобой говорю.

— Ничего не выйдет,— повторила Мими.— Я свои кадры знаю.

Они еще немного поспорили, выйдет или не выйдет, словно дело касалось их, а не Виолетты. Потом принялись за третье.

На третье был виноград и колкости по адресу Ольги.

— Да, остались мы без главного лебедя,— скорбно объявила Мими.— Эта гусыня здорово покалечилась.

— Две недели траура,— дополнила Таня.— Директор и балетмейстер ходят как в воду опущенные.

— Еще бы, для них труппа из одной Ольги состоит, нет Ольги — нет труппы.

Виолетта давно привыкла к подобным насмешкам, но сейчас ей стало неприятно. Одно дело злословить о человеке, когда ему везет, а другое, когда с ним случилось несчастье. Но, может, Таня и Мими злословят просто потому, что они откровенней тебя. И что в сущности означает твоя мечта получить Ольгину роль? Разве ты не ждешь, что она заболеет, подвернет ногу, выйдет из строя?

Как у всякой звезды, у Ольги были не только почитатели, но и недруги. Властная и страшно тщеславная, она изо всех сил старалась увеличить число первых и не обращать внимания на вторых. За несколько лет ей удалось окружить себя поклонниками, влиятельными

в городе людьми и подхалимками в театре. Поговаривали даже, что один из местных руководителей — будущий муж балерины. Эту честь он заслужил не только своим солидным служебным, но и семейным положением — он был вдовец.

Сознавая, что у нее есть покровители и что она незаменима, Ольга позволяла себе своевольничать и капризничать. Но так как она была не глупа, то, капризничая, не переходила границ. Что до лагеря противников, то она не придавала значения их обидным суждениям, убежденная, что это все плохо скрытая зависть. Ей даже нравилось, что она вызывает зависть как существо особое, у которого все «самое-самое».

Может быть, не все у нее было «самое-самое», но, собранная и настойчивая, она ставила свой успех на сцене превыше всего, даже выше перспективы удачно сочетаться браком с руководящим товарищем, которого она собиралась осчастливить. Стиль ее отличался отточенностью и законченностью движений, что, по мнению ее противников, было выражением сухости и безличия, а также виртуозностью в исполнении трудных партий, что, опять же по мнению противников, было делом одной голой техники.

Не питая особых симпатий к Ольге, Виолетта не относилась к лагерю ее противников, да и вообще к какому-либо лагерю. Она была уверена, что если Ольга чего-то и добилась, то не из любви к искусству, а из любви к своей особе и что все, что она делает, она делает из тщеславия, из желания прославиться если не на всю страну, то хотя бы на округ.

— Танечка,— произнесла Мими, когда, наконец, тема Ольги была исчерпана.

Таня насторожилась: если Мими ласково обращается к тебе, значит, за этим последует какая-то просьба.

— Танечка... Танюша, ты мне не одолжишь десятку до понедельника?.. Нам сегодня чуть пробки не вывернули.

— До понедельника могу дать и больше. Но какой толк давать тебе больше, если Васко их все равно пропьет.

— Да ты дай, а там посмотрим...

Таня сняла сумку со спинки стула и принялась рыться в кошельке.

— Господи, что за времена...— вздохнула Мими.— До чего мы дожили с этим равноправием — мужиков содержим.

— Так для того они нам его и предоставили, чтоб мы их содержали,— пояснила Таня, доставая деньги.

— Ты что, не пойдешь с нами в кафе? — обратилась она к вставшей из-за стола Виолетте.

— Нет, я домой пойду,— покачала головой Виолетта.

Откровенность требовала бы добавить: «Хочу хоть ненадолго остаться одна». Но, говоря откровенно, подруга бы ответила: «Да ты и без того вечно одна».

К сожалению, она была не одна. По крайней мере, в буквальном смысле слова. Даже сейчас, когда она выходила из столовой, за ней опять потащился этот тип — виолончелист.

Виолончелист увязался за ней в первый раз неделю назад, вечером после спектакля. Он был, пожалуй, ее лет или даже чуть моложе. Зато имел вид человека бывалого: среднего роста, широкоплечий, весь — мускулы и самоуверенность, словно он боксер, а не виолончелист. Его короткий зеленый плащ был распахнут, дабы продемонстрировать, с одной стороны, пренебрежение к осеннему холоду, а с другой — некоторый шик его костюма — темно-синий свитер

с высоким воротом, слегка потертые джинсы и широкий кожаный пояс с массивной пряжкой под бронзу.

— Вы уже уходите? А я вас ждал, хотел проводить.

Она пошла по вечерней улице, всем своим видом показывая, что не замечает его присутствия.

— Не подумайте, что я набиваюсь вам в компанию. Просто нам с вами по пути,— слегка переменил он тон, догоняя Виолетту.

Она шла своей дорогой, он не отставал.

— Уверяю вас, что нам с вами по пути,— повторил виолончелист, помолчав с минуту.— Мой подъезд всего метров на сто дальше вашего. И я бы мог предложить вам чашечку кофе с коньяком.

Она все так же молчала, молчала на протяжении всех трех улиц, отделявших театр от ее дома. Он тоже замолчал, словно исчерпав запас своего красноречия, но когда Виолетта сделала шаг, чтобы войти в подъезд, он как бы нечаянно преградил ей дорогу рукой:

— Как, даже не попрощавшись?

Она и на сей раз не проронила ни слова. Только равнодушно и достаточно энергично оттолкнула его руку и вошла.

Виолончелист продолжал появляться и в следующие дни. Он поджидал ее у служебного входа в театр или, увидев в столовой, что она обедает одна, подсаживался к ней. В общем, упорно преследовал ее, так же как она упорно отказывалась его замечать.

Конечно, она могла унизить его, грубо осадив при людях, но не видела в этом никакой необходимости. Он был одной из мелких неприятностей, таких мелких, что преодоление их даже не причислялось к подвигу.

Выходя из столовой, она задержалась и нерешительно глянула на небо — накрапывал дождик. Бесцветное осеннее небо, до того однотонное и бесцветное, будто время остановилось. Она раскрыла зонтик и пошла домой.

— Вы мне позволите прикрыть хотя бы правое плечо? — спросил виолончелист, нагнав ее.

Никакого ответа.

— Очень мило с вашей стороны, что вы идете без подруг,— продолжал он, не смущаясь ее молчанием.— В принципе я ничего против них не имею, но сегодня я хотел бы кое-что сказать вам наедине.

Виолетта не обращала на него ни малейшего внимания. Даже не ускорила шага. Зачем ускорять шаг! Этот лабух просто не существовал для нее.

— Я не тащу вас непременно к себе,— уточнил он, когда они прошли еще несколько метров.— Мы могли бы зайти в кафе.

Она снова не подала виду, что слышит, и безразлично остановилась на углу, поскольку на светофоре горел красный свет. Потом, когда его сменил зеленый, она продолжила свой путь, даже не поглядев, идет ли за ней этот нахал или нет.

Он шел. Несомненно, природа щедро наградила его не только мускулатурой, но и упрямством. Правда, если уж говорить об упрямстве, тут она тоже не могла обижаться на природу. Хотя бы на это у нее не было оснований жаловаться.

— Что ж, и сегодня так, без поцелуя на прощанье? — воскликнул он, когда они подошли к ее дому.— И до каких же пор?

На этот раз он не загораживал ей дорогу, и она вошла в подъезд, глядя прямо перед собой.

С нахалами она худо-бедно справлялась. Теперь наступал черед справиться с беспорядком в комнате. На столе — пустые бутылки, грязные рюмки, в тарелках — остатки ветчины и сыра... Оставить все

так до прихода Мими... Мими была чистюлей в том, что касалось ее самой, но жить могла хоть по колено в грязи.

Сквозь тюль занавески проникал свет осеннего дня, все такой же холодновато-зеленый и тусклый. До того холодновато-зеленый, что дрожь пробирает. Холод и грязь — вот тебе и весь домашний уют.

Виолетта отодвинула занавеску и распахнула окно. Створки перекосились от сырости, и оно открывалось с трудом. Неудивительно, что, привлеченные его громким стуком, сестры-сороки тут же появились в окне напротив. Со стороны, и особенно в глазах сестер-сорок, их комната представлялась не просто холодным, неприбранным погребом, а содомом и гоморрой. Две молодые женщины, у которых свет горит до зари, а занавески вечно задернуты,— что там может быть еще, кроме содома и гоморры!

Она убрала со стола, вымыла посуду, застелила постель Мими и принялась за свою. Сменила простыню и, надевая чистую наволочку, заметила на чистой тоже какое-то бурое пятно. В понедельник с получки придется купить хотя бы один комплект белья.

Покупать с получки давно вошло у них в традицию. «Купим что-нибудь,— говорила Мими,— пока Васко не пропил наши деньги!» Вообще-то Васко был джентльмен и никому не позволял платить, платил сам, но так продолжалось до тех пор, пока ему было чем платить, а затем приходилось прибегать с услугам Мими и Виолетты. Этот переход от периода широких жестов к периоду рабской зависимости и из царства свободы в царство необходимости совершался дней через десять, а то и меньше, после получки.

— Идиотское положение...— сокрушался Васко, сидя с ними в кафе и уныло заглядывая за обложку паспорта, где он имел обыкновение держать деньги.— Опять ни гроша... Мими, дашь мне взаймы?..

— Ладно, ладно,— прерывала его Мими, поскольку его формула — взаймы до первого числа — была ей хорошо известна.

И потому первого обе они предусмотрительно покупали самое необходимое — что-нибудь из белья или пару туфель,— пока их деньги не переходили в «фонд Васко».

Виолетта набросила одеяло на кровать, машинально расправила складки, потом закрыла окно. Слава богу, с домашними делами покончено. Она оглядела комнату, желая убедиться, все ли прибрано, взгляд ее задержался на висевшей над кроватью большой репродукции. Картина Дега, изображающая репетиционный зал. Виолетта не знала, хороший ли художник Дега, да и не особенно интересовалась этим, но ему нельзя было отказать в правдивости. Он не только верно уловил заученные позы балерин, но и унылую атмосферу большого и словно бы пустынного зала, и унылый свет серого дня, и унылые выражения на лицах девушек. Для Виолетты, однако, главная ценность картины состояла в том, что это был подарок отца. Оттого она и повесила ее над самым своим изголовьем.

■

Упражнения. Виолетта изучила их давно и без помощи Дега. И, несмотря на испытание усталостью и скукой, стала первой в классе. Потом, в старших классах, она вроде бы поотстала. Не потому, что она меньше старалась, нет, она старалась даже больше, не щадила себя и удержалась в числе первых, но быть среди первых — это совсем не то, что быть первой.

Их педагог сказал отцу, что это, пожалуй, связано с особым, как он назвал его, чтобы избежать слов «половое созревание», возрастом и что потом Виолетта, вероятно, снова наберется сил. Сама она не

чувствовала какого-то упадка сил или, наоборот, избытка чего-то, как другие девочки, которым приходилось бросать училище: они вдруг полнели или вытягивались так, что уже годились по росту не в балерины, а в баскетболистки. Она тоже подросла, но это не считалось недостатком, потому что раньше она была чересчур маленькой. Она подросла, но осталась такой же худенькой, и, когда она видела в зеркале свою хрупкую легкую фигурку, ей казалось, что она может не танцевать, а порхать; но беда была в том, что порхать ей не удавалось, и у двух ее соучениц прыжок был выше, и выше подъем, и шире шаг, и, сколько ни билась Виолетта, она не могла соперничать с ними. А так как она копила неудовлетворенность и разочарование в себе, то порой по вечерам чувствовала, как сердце у нее просто разрывается, и, чтобы оно не разорвалось, плакала и, если отец уходил в театр, плакала в пустой квартире навзрыд, всхлипывая, хлюпая носом, и, злясь на свою слабость, ожесточенно вытирала бесполезные слезы.

Она плакала не от огорчения, что другие затмили ее. Другие... какое ей до них дело! Отец учил ее не сравнивать себя с теми, кто рядом, а учиться у мастеров, у тех, кого видишь только на экране или во сне. Она плакала оттого, что видела, как топчется на месте, а если топтаться на месте, то до великой цели не дойдешь, путь к ней долог, а она все еще не переступила порога искусства.

Отец не раз говорил ей об этом пороге.

— Трудно приблизиться к порогу искусства,— говорил он.— Многие так и остаются за порогом. Но еще труднее переступить его и войти в храм, ибо с древности известно, что много званых, но мало избранных.

К счастью, были и мгновения удач. Небольших, правда, удач, но ведь когда подвиги небольшие, то и удачи не бывают великими, а лишь позволяющими не отчаиваться. Бывали мгновенья, когда она вдруг ощущала необычайную легкость, внушающую уверенность, что еще шаг — и ты взлетишь, преодолеешь барьер и очутишься в том ясном просторе, где человек свободен и легок, как бабочка, где, как отражение в воде, разлиты непередаваемые звонкие краски, где каждое движение — гармония, а каждое дуновение — музыка.

Кончила она училище хорошо. Во всяком случае все так утверждали. Второй в их выпуске.

— Вторая, первая — неважно,— рассудил отец.— Я знаю стольких музыкантов, кончавших отличниками, из которых ничего не вышло. Правду узнаем потом. Училище позади, а твоя дорога впереди, и от одной тебя зависит, как ты ее пройдешь.

Он говорил это, по-видимому, чтобы подбодрить ее. Он не мог не знать, что не все зависит от тебя, он, на собственном горбу постигший эту истину. Да, дорога впереди, но по ней не пойдешь, пока тебе не дадут дорогу. А ей позволили дойти всего-навсего до миманса, да и только потому, что все в театре знали отца.

Она мечтала вступить в эту волшебную комнату с тремя стенами, в эту чудесную, огражденную кулисами страну, где вместо солнца светят разноцветные лучи прожекторов, а балерины кружатся, как бабочки, подхваченные дуновением музыки. Теперь, когда после стольких мук ее мечта наконец сбывалась, она поняла, что это был всего лишь мираж. Она хотела черпать полными пригоршнями, а хваталась за бездонную пустоту. Она была лишь артисткой кордебалета, чья роль — служить фоном или уходить в общем танце за кулисы, уступая место истинной счастливице и ее партнеру в па-де-де, истинному искусству и его жрецам.

Она знала, конечно, что стажировка в ансамбле — неизбежный этап и без него нет подвига, но не видела конца этому этапу, и ей казалось, что путь для нее закрыт навсегда. Чтобы не поддаться разочарованию, она помимо обязательных уроков использовала каждый свободный час для упражнений, сидела на всех репетициях, даже когда сама не была в них занята, и только дома осмеливалась роптать:

— Неужели я никогда не пробьюсь...

— Пробьешься,— говорил отец со своим обычным наигранным оптимизмом.— Все мы в молодости воображаем, что жизнь — это состязание на скорость. И только потом понимаем, что это состязание на выносливость.

Он бросал на нее взгляд, чтобы, как всегда, убедиться, следит ли она за его рассуждениями:

— Главное, не падать духом. А чтобы не падать духом, не нужно питать излишних иллюзий, потому что, когда я говорю о пути в искусство, то это не значит, что ты должна себе представлять гладкое шоссе вроде шоссе на Княжево. Не гладкая дорога, а крутой подъем на высокую гору — путь в искусство, девочка.

Она смирялась и с горой. В конце концов, взбираться на гору — это и есть подвиг. Но если она помалкивала, то другие говорили.

— Так и умрем в кордебалете,— вздыхала Жанна, та самая, что кончила училище первой.

— Может, и не умрешь, но насидишься вдоволь,— успокаивала ее Катя, которая была старше их.— Может, ты хочешь прямо сейчас танцевать Джульетту?

— Плисецкая в первый же год сольные партии исполняла.

— Вы, молодые, все себя Плисецкими воображаете. Года два-три потанцуешь придворных дам в кордебалете, потом столько же будешь одним из четырех лебедей, потом дойдешь или не дойдешь до па-де-труа, а дальше, дальше я уже тебе ничего не обещаю.

Отец ее был большой оптимист, исходя, как он сам говорил, из своего личного опыта, но она не сомневалась, что он порядком приукрашивает свой личный опыт, чтобы не лишать ее веры в себя. И не очень удивилась, когда в один прекрасный день к концу второго сезона, также проведенного ею в толпе миманса, он сказал:

— Есть возможность уехать тебе в один город. Мне будет нелегко без тебя, но шансов пробиться там гораздо больше.

Виолетта помедлила с ответом, и, уловив ее нерешительность, отец добавил:

— Не хочу тебя уговаривать. Я понимаю, что из Софии никому не хочется уезжать.

София... Не все ли равно, в столице ты или нет. Важно танцевать. И не в кордебалете. Разумеется, без отца ей будет совсем одиноко. Но, в конце концов, это тоже часть подвига.

И она уехала.

Приняли ее довольно настороженно, да и она ничего не сделала, чтобы завоевать симпатии новых знакомых. Она не обладала даром располагать к себе людей. Да и как расположишь к себе человека, если ты вечно молчишь. Сначала все думали, что она тихий омут, где черти водятся. Потом решили, что это омут, где ничего не водится, и что она просто немного с приветом и туповата, как все нелюдимы.

Жила она в общежитии. Потом ее взяла под свое покровительство Мими. Мими, естественно, не заявляла этого во всеуслышание. Просто предложила: «Давай снимем комнату на двоих». А в сущности взяла ее под свое покровительство.

Мими кончила училище на два года раньше Виолетты; в театре ее прозвали «Мими из миманса», а она неизменно отвечала, что все так или иначе проходят через миманс, но есть дурочки, которые там и остаются, ясно давая понять, кто эти дурочки. Действительно, Мими в положенное время и без особого труда прошла свой небольшой путь от кордебалета до солистки, однако тут ее путь незаметно окончился, да так незаметно, что она сама не сразу это поняла. Она продолжала шагать, не сознавая, что топчется на месте, и вела неустанную борьбу со своим злейшим врагом — склонностью к полноте. В этой столь изнурительной борьбе нельзя было хоть изредка не сделать передышки, но за передышку она так полнела, что приходилось снова и снова бросаться в неравный бой.

— Неплохо бы вам подумать о своей талии... — советовала ей вначале педагог.

— Что мне думать... если я так устроена. Хоть одним воздухом питайся, все равно зад растет,— уныло возражала Мими.

А подругам поясняла:

— Не мученицей же я родилась быть, а балериной.

Пожалуй, она и впрямь была рождена балериной. Во всяком случае она располагала всеми необходимыми данными, кроме настойчивости, и со временем неравные сражения с полнотой и ленью становились все реже, а передышки — все длиннее, пока она не привыкла ограничиваться минимальными усилиями, лишь бы не выйти совсем из строя.

Она вовсе не была полной в обычном смысле слова, а даже стройной и хорошо сложенной — для обыкновенной женщины, но балерина — не обыкновенная женщина, и Мими напрасно старалась обрести идеальную худобу воздушного создания. Балетмейстер-репетитор иногда, не сдержавшись, ворчал:

— С этакими бедрами у нас не балет, а кабаре получается.

Мими считала балетмейстера главной помехой в своей карьере, кроме Ольги, конечно:

— Этот сухарь меня не выносит... И все потому, что я смею ему возражать.

Она и вправду проявляла перед педагогами какое-то мальчишеское стремление к независимости и прославилась своим острым языком. Но балетмейстер не слишком задумывался над тем, как он относится к Мими, и его раздражала в основном апатия, в которую она частенько впадала.

Апатия? Нет, просто она отказывалась буксовать на месте. Что толку попусту тратить горючее. Этим даже фигуру не сохранишь. Может быть, она действительно была рождена балериной, но ведь и балерины бывают разные. Все получалось у нее легко до определенного, сравнительно высокого уровня. Потом начиналось буксование. Тщетные усилия взять тот невидимый барьер, отделяющий хорошее от совершенного, преодолеть те коварные путы, которые сковывают движения, сдерживают порыв и тянут к земле именно тогда, когда хочешь взлететь. Мими перестала расходовать горючее больше, чем необходимо. Часто не давала себе труда добиваться на репетициях и того, на что была способна. Зачем зря стараться, раз она сделает это на спектакле.

— Что-то ты сегодня не в духе,— замечал балетмейстер.

— Правда... я как-то устала,— бормотала Мими.

Да и как ей было не чувствовать себя усталой, если она до трех ночи просидела с Васко в баре.

— В таком случае лучше покинь зал. Вернешься, когда соизволишь быть в форме.

Она могла бы извиниться и остаться. Однако предпочитала сделать вид, что ее нисколько не трогают замечания этого сухаря, и уходила.

К стараниям Виолетты она относилась в целом одобрительно, хотя порой и укоряла ее:

— Стараться тоже надо в меру, Фиалка. От тебя одна кожа да кости остались. Неужели не понимаешь, что хоть наизнанку вывернись, а ордена не получишь. И примой не станешь.

Вообще с высоты своего житейского опыта она покровительственно смотрела на Виолетту, да и на Васко тоже. Только в ее покровительственном отношении к Васко была и доля пренебрежения. «Этот мой дурак»,— говорила она, когда речь заходила о нем.

Может, она и держала при себе Васко, чтобы показать, насколько тот нуждается в ее покровительстве, ведь если ее не слишком уважали в театре, то в городе ценили достаточно высоко. Ее точеная фигура, темные глаза и полные губы привлекали взгляды многих; она легко могла бы обзавестись более выгодным кавалером, чем вечно сидевший без денег Васко, но материнское чувство и природная лень мешали ей сделать для этого какой-либо шаг.

— Придется мне, видно, когда-нибудь выйти за него замуж. Бросишь его — он совсем сопьется.

Это «когда-нибудь» могло быть любым днем, в том числе и завтрашним, и если она и откладывала это на потом, то скорее всего ради Виолетты. Ведь если бы Васко переехал жить к ней, Виолетте пришлось бы переселиться в общежитие. А сейчас у Мими были они оба.

— Прочили в звезды балета, а вышла воспитательница,— произносила она со вздохом, как бы покоряясь судьбе, когда приходилось в очередной раз убеждать Васко купить новые джинсы или уговаривать Виолетту не ходить на спектакль голодной.

— А ты упрямая, и это даже хорошо,— сказала она однажды Виолетте.

И поскольку Виолетта молчала, добавила:

— Это придает твоей жизни какой-то смысл.

Мими тоже нашла, чем осмысливать свою жизнь. Вернее, при ее лени все получалось само собой. Оперные спектакли, на которых ей аплодировали достаточно громко, чтобы это поддерживало, как она выражалась, ее тонус; те послеобеденные часы, когда не было репетиций и она оставалась в квартире наедине с Васко, пока Виолетта занималась в зале; болтовня за рюмкой в кафе или баре; романы, которые она читала по вечерам в постели перед сном, чаще всего дней за десять до зарплаты, когда Васко уже умудрялся пропить не только свои, но и ее деньги; наконец, дружба с Таней, приходившей к ней погадать на кофейной гуще. Они обе гадали, но каждая не слишком верила себе и предпочитала, чтобы ей гадала подруга.

Они гадали друг другу, для большей верности выпивая по две-три чашки кофе, и в причудливых разводах находили ответы на самые жгучие вопросы — о балете, деньгах, любви, о подстерегающих их болезнях и даже якобы ждущих их дальних дорогах. Они терпеливо и добросовестно разгадывали таинственный шифр судьбы, и даже если не особенно верили гаданью, то все же это занятие помогало им скоротать долгий дождливый день от обеда до вечера. Незаметно скоротать этот день, и завтра, и послезавтра — дело немалое для того, кто понял, что избранный им путь не ведет к сияющей вершине, а глупо кончается где-то там, в прозаической серости увядания, там, через несколько шагов и через несколько лет, там, куда он сумеет дойти.

Мими считала Виолетту беспомощным существом, а беспомощные существа, как правило, пробуждали в ней неудовлетворенный материнский инстинкт. И без всяких колебаний она ввела ее в свой мир и причислила ее к тому немногому, что придавало смысл ее жизни. Мими не сомневалась, что Виолетта пропадет без нее. А Виолетта, хотя и любила Мими, невольно отнесла ее к испытаниям, составлявшим подвиг.

Место свершения подвига переместилось в провинциальный город. В этот город... Когда она увидела его впервые, он был затянут туманом. И долгое время и он, и люди вокруг виделись ей как бы в тумане... Для нее почти весь город состоял из трех улиц, по которым она утром шла в театр, и двух других, которые вели ее на обед в столовую. Это были улицы со старыми желтыми или серыми домами — в общем, чудесные улицы, если не хочешь, чтобы тебя что-то отвлекло от твоих мыслей.

Пять улиц — не так уж много для целого города, но для нее город был прежде всего театр, а потом уже кафе, бар в гостинице, парк, то есть те места, куда ее изредка почти насильно тащили с собой Мими и Васко. Ее топографические познания об окружающей местности в какой-то мере расширились, когда она познакомилась с Пламеном. В те дни, когда она не была занята в спектакле, Пламен водил ее по городу или за город, а также в новый район, где он отвечал за строительство Дома культуры. Пламена до такой степени волновали вопросы градостроительства, что иногда, вопреки своей обычной молчаливости, он начинал объяснять, какие большие изменения произойдут в облике их города лет через десять, и она слушала с должным вниманием, но без особого интереса, спрашивая себя, зачем он рассказывает ей обо всем этом, когда отлично знает, что она не работает в горсовете.

Помимо обычного маршрута до театра и обратно ее прогулки по городу ограничивались походом в продуктовый и овощной магазины за пропитанием. Пропитание сводилось в основном к кислому молоку и яблокам. «Этим кислым молоком и яблоками ты совсем испортишь себе желудок»,— говорила Мими, а продавщицы в обоих магазинах давно изучили ее вкусы и спрашивали не что она берет, а сколько.

✓ Здесь, в этом городе путь перед ней словно бы расчистился. Она почувствовала, что идет вперед. И она действительно продвигалась, хотя и не галопом. Ее продвижение шло более или менее по расписанию, составленному Катей. И она не только дошла до танца маленьких лебедей, но и до настоящих сольных партий, хотя главным образом в оперных спектаклях. Чтобы дойти до них, ей понадобилось несколько лет, но все же она их получила, несмотря на то, что Катя и этого ей не обещала.

Виолетте Катя вообще ничего не обещала. Скорее наоборот, ее молчание можно было бы истолковать как предсказание полного провала.

Это стало ясно Виолетте, еще когда она жила в Софии. Как-то осенним вечером она после репетиции стояла на трамвайной остановке. Лил дождь, на остановке толпились люди под раскрытыми зонтами. Трамвай подошел такой переполненный, что сесть никому не удалось.

— Везде толкучка,— услышала Виолетта рядом знакомый голос.— И на остановке, и на работе — везде.

Это была Катя.

— Чего ты хочешь? Мы не успели пробиться, а следующий выпуск, того и гляди, нас опередит,— произнесла девушка, стоявшая рядом с Катей.

— Их пусти, они не только нас, но и прим обскачут. Слыхала, эта Жанна уже хочет танцевать Джульетту.

— Отчего ж ей не хотеть, если она сравнивает себя с такими, как Виолетта. А у той отроду обе ноги левые.

— Виолетта все-таки симпатичнее,— сказала Катя.— Хоть не нахальная... уж такое беспомощное существо...

— Зря ты так думаешь,— возразила другая.— Это она только с виду такая безобидная.

Подошел трамвай. Почти пустой. Все сели, одна Виолетта осталась ждать под дождем. Ждать? Чего?

Значит, так, обе ноги левые... Мнение не очень лестное. Но Виолетту задели не столько эти слова, сколько то, что Катя, которую она считала, можно сказать, подругой, не возразила. Выходит, и она согласна. Считает ее беспомощной во всех отношениях. Ничего не поделаешь. Обе ноги левые.

Но несмотря на несовершенство своих ног, она шагала вперед, особенно с тех пор, как переехала сюда, в этот город. Она привыкла к людям в труппе, и они привыкли к ней. Одни относились к ней с добродушной снисходительностью, другие не замечали. Слишком застенчивая, чтобы ее замечали, она принадлежала к тем, кто никому не мешает, и все находили, что она тихоня, и считали, что такой у нее характер, а тут была драма. Но драма так долго разыгрывалась в ее душе, что превратилась в характер — робость, нерешительность и замкнутость.

Один отец подбадривал ее. Она все так же беседовала с ним на ту важную тему, только теперь беседы велись в письмах. И, может, именно поэтому они стали обстоятельнее и откровеннее; ведь когда разговариваешь на расстоянии, то не стесняешься и высказываешь все, что думаешь.

Она рассказывала о своей работе, о маленьких ролях и скромных успехах, а он ободрял ее и не упускал случая поддерживать в ней упорство во имя достижения заветной цели:

— Ты должна много работать, хотя работа и мучение. Терпеливо сноси муки, и наступит час, когда они превратятся в наслаждение. Из мук рожденное наслаждение — вот начало высокого искусства.

Вообще в письмах он рассуждал на свои излюбленные темы, особенно на тему подвига, а также — бездны:

«Можно лететь над бездной, можно и упасть в нее, что, конечно, не одно и то же. Но кто боится упасть, тот никогда не полетит».

Взгляды их совпадали и по вопросу о подвиге, и по вопросу о бездне, а различия, если они и были, касались того, какую диету нужно соблюдать, чтобы не полнеть, и тут отец придерживался твердого и неизменного мнения:

— Не голодай, а работай до изнеможения, до седьмого пота и никогда не располнеешь.

Но что он, скрипач, мог понимать в диете? Она оставляла без внимания его советы, и по-прежнему ходила полуголодная, и до того к этому привыкла, что ей даже в голову не приходило считать подобные пустяки частью подвига.

В сущности, рассуждения отца были весьма однообразны, и все же Виолетта каждую неделю с нетерпением ждала его письма, потому что писем ей больше не от кого было получать и потому что он был единственным человеком, кто по-настоящему любил ее.

Конечно, Мими тоже ее любила. Мими искренне ее любила, насколько была способна, и была готова пойти за нее в огонь и в воду — разумеется, в не слишком сильный огонь и не слишком глубокую воду.

Самое обстоятельное письмо Виолетта получила от отца, когда сообщила ему, что стала солисткой. Это письмо подводило итоги сказанному в предыдущих, но в нем содержалось еще одно, не лишенное торжественности, утверждение:

«Теперь ты сама видишь, что упорство вознаграждается. Ты добилась того, чем не все могут похвалиться. Ты уже на пороге искусства!»

Да, на пороге. В таком-то возрасте... Тем, кто на пороге, труднее всего, тем, кто уже не в безликой массе кордебалета, но еще и не ведущая балерина и, вероятно, никогда ею не будет.

Это письмо о пороге так и осталось самым длинным в их переписке. Постепенно письма стали приходить все реже, делались все короче, в них говорилось лишь о здоровье и мелочах будничной жизни.

Уже два года, как отец вышел на пенсию. Для него наступил, значит, последний этап подвига. Этап отхода и примирения. Примирения не только со своим неуспехом, но и с ее. Отходом не только от оркестра, но и от нее.

Он считал ее подвиг продолжением своего и надеялся, что она добьется того, чего он сам не смог добиться. Эта вера согревала его долгие годы. Вера, которую с годами начал разъедать яд сомнения. Теперь он давно уже не верил. Лишь делал вид, что верит. Да, она пошла по его пути, но с тем же успехом, что и он. Фамильная черта. Винить некого, остается только смириться.

Конечно, он по-прежнему любил ее, она была его дитя, его единственная дочь, но та, другая связь — связь между учителем и учеником — уже прервалась. Она была его дочерью, и больше никем. Она была тем же, кем был и он,— всего лишь неудачницей. Разумеется, он никогда ей на это даже не намекнул, как и она когда-то не посмела спросить, чего он достиг своим подвигом. Просто тема подвига и победы незаметно исчезла из их писем.

Зато в последние годы он стал особенно мягким и внимательным. Когда Виолетта приезжала в отпуск в ту неуютную и сумрачную софийскую квартирку, где было летом прохладно и потому жилось не так уж плохо, она чувствовала, что отец относится к ней с каждым приездом все ласковее. Он не повторял больше суровых тирад о муках и испытаниях на избранном поприще. Слушал ее отчет о скромных успехах и кивал, делая вид, что доволен. И когда она первая заговаривала о неудачах, он спешил ее успокоить:

— Терпение, девочка. Поспешность — напрасная трата сил. В конце концов, ты уже солистка, разве этого мало? Сколько людей всю жизнь мечтают стать солистами.

Солистка. Такая же, как и он. Из тех, кто торчит у порога искусства. Из тех, кто терпеливо ждет, когда перед ним распахнутся двери большого искусства. И так и умирает — на пороге.

Когда-то, чтобы разжигать ее честолюбие, он находил немало примеров:

— Павлова была дочерью солдата и прачки,— говорил он.— А ты родилась в семье музыкантов. Это большая удача, которая ко многому обязывает.

Теперь у него тоже находились примеры, но уже иного рода. Ведь для того и существует великое множество примеров, чтобы выбирать из них подходящий.

— Как ты можешь говорить, что твоя жизнь кончилась! Тебе нет еще и тридцати. Уланова, насколько я помню, танцевала, когда ей было за пятьдесят. Плисецкая тоже. Наберись терпения. Поспешность —

пустая трата сил. У тебя еще много времени. У тебя впереди целых двадцать лет.

Однако так же, как и она, он знал, что времени у нее нет... Что время в сущности истекло. Или что она его упустила. Или оно пронеслось мимо. Можно поздно кончить, но нельзя поздно начать. Поздно вообще нельзя начать.

Он поистине трогательно заботился об ее настроении. Но его заботы слишком напоминали ей заботы о больном. Отзывчивость, слишком похожая на сострадание.

■

Репродукцию с картины Дега он подарил ей давно, еще во времена больших надежд. Виолетта предпочла бы, чтобы она изображала что-нибудь более веселое, а не эти унылые упражнения, которые и без того заполняли ее дни. Но это был подарок отца, и поэтому она повесила репродукцию у себя над головой, чтобы она всегда была поблизости и вместе с тем чтобы не смотреть на нее.

Смотрела Виолетта на противоположную стену, поверх столика с проигрывателем и пластинками. На совершенно голую стену, на которой можно увидеть все, что захочешь, особенно если лежать, свернувшись калачиком, прикрыв глаза, и особенно если из проигрывателя разносится мелодия, под которую невольно рождаются видения. Теперь, оставшись одна в прибранной комнате, ты можешь позволить себе и видения.

Она подошла к проигрывателю, подняла крышку, поставила пластинку. Пластинка начиналась с танца шести лебедей из третьего действия — впрочем, это не имело значения: музыку балета Виолетта знала наизусть. Она включила проигрыватель, потом зажгла стоявшую рядом с ним настольную лампу. Кровать ее находилась в самом дальнем от окна темном углу комнаты, но она зажигала лампу не для того, чтобы стало светлее, а для настроения. От розового абажура лампы на голой стене загоралось нежное розовое сияние, отличный фон для прекрасных видений.

Но от света, даже розового, увы, не становится теплей. Виолетта сняла с вешалки большую шаль, закуталась в нее, сбросила туфли, и, свернувшись на кровати, устало всматривалась в нежное сияние на стене, и вслушивалась в свою любимую мелодию «Вальса невест». Всматривалась, но мираж не возникал. Если мираж рассеялся, он не появится тотчас же снова. Видение все-таки не кино.

Может быть, ему мешал появиться и этот запах дешевого одеколона, который стоял в комнате даже сейчас, после того, как она ее проветрила. Одеколон Мими. Или Васко. Трудно упиваться красотой, вдыхая, словно в плохой парикмахерской, тяжелый запах «Табака».

Она давно привыкла к капризам своей напрасной погони за миражами, и разочарования уже не причиняли ей боли, а оставляли в душе лишь легкую горечь. И если сейчас горечь была сильнее, чем обычно, то причиной этому был отец. Придется признаться ему, что она ошиблась, что ей и не думали давать роли. Конечно, она преподнесет ему неприятную новость в лучшей из возможных упаковок. Она не любила лгать, тем более отцу, но когда это ложь утешительная...

Мираж не возникал, но, подчиняясь течению мелодии, она малопомалу успокаивалась. Проигрыватель был, как всегда, включен на полную громкость, чтобы звуки обступали ее как можно плотнее, чтобы она глубже погружалась в потоки музыки. Глаза прикрыты — так лучше следить за развитием темы, представлять ее себе в движениях,

цвете и формах, в смутных движениях неясных форм, потому что видение все еще не появлялось.

Видение не появлялось, зато объявились Мими и Таня. Они влетели в комнату, оживленно болтая, и тут же кинулись варить кофе, потому что принесли настоящий, а не тот, из бакалеи, пропахший мылом и салом.

— Ты скоро совсем рехнешься со своим проигрывателем, — крикнула ей Мими.— Сделай потише, разговаривать невозможно.

Она не сделала тише, а просто выключила его. Все равно их трескотня заглушила бы музыку. Повесила шаль на вешалку, сняла пальто.

— Куда это ты собралась? — спросила Мими.— Мы на тебя тоже варим.

— Пойду разомнусь перед репетицией.

— Господи, так и горит на работе! — воскликнула Таня.— Вот уж правду говорят...

Она осеклась и замолчала, встретив сердитый взгляд Мими.

«Говорят, что ты старательная дура...» — закончила про себя фразу Виолетта, выходя на лестницу. Если тебе чего-то не могут простить, то именно твоего горения. Люди снисходительны к тому, кто походит на них и не пытается стать лучше. Но если ты пытаешься быть выше других, то напрасно ждать симпатии с их стороны. Ведь они расценивают твое поведение однозначно, как стремление выделиться, хотя ты ничуть не лучше их.

Не было еще и четырех, а ноябрьский день так нахмурился, словно уже наступил вечер. Она шла своим обычным маршрутом по этим серым боковым улицам, которые не останавливали взгляда и ничем не отвлекали от мыслей. Пожалуй, лучше бы отвлекали. Что пользы перебирать одно и то же в уме и переливать из пустого в порожнее.

В артистической не было ни души. Она положила сумку возле гримерного столика, села на свое место и привычно устремила взгляд в зеркало на свое лицо. Хорошенькое, по мнению одних, и анемичное, почти бескровное, по мнению других,— в общем, одно из тех лиц, о которых можно услышать прямо противоположные суждения. Ей самой, однако, в собственном лице не нравилось то выражение боязливости, от которого она никак не могла избавиться. Детское выражение робости в твои почти тридцать лет... Может быть, все дело в глазах... этих больших, чуть испуганных глазах, которые когда-то, кажется, были голубыми, но с годами стали совсем серыми, будто она долго всматривалась во что-то очень светлое или очень далекое.

Лицо достаточно приятное, чтобы не считать себя уродиной, и достаточно неприметное, чтобы привлекать к себе излишнее внимание. В общем, мужчины не бегают за тобой. Незнакомые редко тебя замечают, а знакомые считают слишком холодной и не желают тратить силы на ухаживание. Хотя иногда кто-нибудь, за неимением лучшего, делает попытку, как этот нахал виолончелист, заговорить в столовой или подойти на улице.

Она наклонилась к сумке и принялась доставать одно за другим все свое снаряжение — черный купальник, трико телесного цвета, туфли... На дне осталась только коробочка с гримом и серая плюшевая собачка.

Виолетта кончала экзерсис, когда в зал влетела Таня:

— Маргаритка! Быстро в кабинет директора! Вас с Мими вызывают...

Она побежала на верхний этаж как была — в купальнике, так же, как выбегала утром. Побежала с мыслью, что, вероятно, сейчас повто-

рится утренняя история, и с робкой надеждой, что она не повторится. Мими уже ждала ее у дверей кабинета.

— Ты помалкивай... — предупредила она.— Предоставь мне вести переговоры... Если они вообще будут.

Виолетта только однажды, вскоре после своего прихода в театр, имела удовольствие или неудовольствие побывать в кабинете у начальства, и тогда обстановка показалась ей весьма торжественной. Сейчас же в смешанном свете догорающего дня и оранжевой люстры, распространявшей какой-то болезненный свет, кабинет с обшарпанной мебелью и потертым ковром показался ей довольно убогим.

Директор сидел за столом, откинувшись на спинку кресла и устремив задумчивый взгляд на оранжевую люстру. В прошлом певец, он давно потерял голос, но заботливо сохранял объем своего тучного тела и даже ухитрился несколько его увеличить. Как тенор он не сумел приобрести громкого имени, но как директор пользовался неплохой репутацией. Подчиненные говорили, что добра от него не дождешься, но и вреда он тоже не причинит.

Директор медленно перевел глаза с люстры на Мими и Виолетту, слегка кивнул, однако ничего не сказал, а глянул вправо, где на казенной кожаной банкетке расположился балетмейстер, тот самый сухарь, которого Мими считала своим смертельным врагом.

— Ну как, Мими, отменим «Лебединое озеро» или будем танцевать? — спросил смертельный враг.

Шутливая интонация, с которой были произнесены эти слова, явно противоречила хмурому выражению его лица. Этот сухой и неприветливый, несмотря на молодость, человек, на взгляд Мими и не только ее одной, был виноват во многом. Во-первых, он кончил балетное училище не как танцовщик, а как балетмейстер и, следовательно, ему легко было командовать; во-вторых, он до того любил дисциплину и порядок, что распоряжался в театре, как в казарме; в-третьих, опасаясь, как бы с ним не стали фамильярничать, он относился ко всем так, что его иначе как сухарем назвать было нельзя, но главная его вина заключалась в том, что он считал Ольгу верхом совершенства.

— Как решите, так и будет,— дипломатично сказала Мими.

— Просто было бы решить, если б все билеты не были проданы и мы не ждали гостей,— кисло отозвался бывший тенор.— А теперь спектакль уже не отменишь.

— Не вижу причин его отменять,— сказал балетмейстер.— Конечно, если девочки готовы на подвиг.

«Подвиг»... Он сказал это в насмешку. Ему спектакль представлялся не подвигом, а рутиной. Старая, столько раз обновлявшаяся, в основном слегка подмалеванными декорациями, постановка.

Не дождавшись ответа, сухарь объявил:

— Предлагаю разделить роль Ольги. Так вам будет легче. Ты, Мими,— Одиллия, Виолетта — Одетта.

Девушки переглянулись, как бы советуясь. В больших светлых глазах Виолетты словно затаилась мольба. А может, и не мольба, может, просто глаза у нее смотрели так — мягко и как-то беспомощно.

— Зачем же делить роль? — спросила Мими.

— А почему бы ее не разделить? В конце концов, это ведь две разные роли.

— Да, но их всегда исполняет одна балерина.

— Ну, если ты думаешь, что потянешь всю роль...

В его голосе звучала уступчивость.

— Я на это не претендую,— поспешила пояснить Мими.— Но думаю, что вы могли бы дать ее Виолетте.

— Ну уж нет! — решительно покачал головой балетмейстер.— Это — нет. Нам сейчас не до экспериментов. Задача у вас и без того трудная.

Взгляды обеих снова встретились, как бы для совета. И Мими опять показалось, что глаза Виолетты смотрят на нее умоляюще.

— Тогда я возьму Одетту,— предложила Мими.

Сухарь смерил ее взглядом, в котором ясно читалось: «Ты что, в сестры милосердия записалась?» Но вслух произнес:

— Честно говоря, я не очень представляю тебя в этой трогательной роли. Зато ты достаточно агрессивна для Одиллии...

— Да, на словах...

Балетмейстер хотел, видно, что-то возразить, но промолчал.

— Из Виолетты выйдет чудесная Одиллия,— сказала Мими.

— По-моему, я достаточно хорошо знаю возможности и Виолетты, и твои, и всей труппы. Я ничего против Виолетты не имею... только она... с ее наивным видом...

— Наивным?.. Да коварней и демоничней ее не найдешь, уверяю вас.

— Ты своими похвалами хоть кого угробишь,— пробубнил балетмейстер и посмотрел на директора.

Тот только плечами пожал: дескать, дело твое.

— В крайнем случае можете поменяться ролями,— сказал сухарь словно бы про себя.— Ладно, решим на репетиции.

Он снова взглянул на директора. Тот опять пожал плечами.

— Да... можете поменяться,— повторил балетмейстер.— Я не возражаю.

Это прозвучало как «все равно один черт», но лицо Виолетты просияло. Мими ничего не сказала. И только, когда они вышли из кабинета, заметила:

— Все-таки разделил Одетту — Одиллию. Выходит, мы с тобой вместе взятые — одна настоящая прима. Значит, каждая из нас — ровно полпримы. Прямо лопнуть можно... от гордости.

Но у Виолетты не было времени для подобных размышлений, она торопилась вниз, в проходную, звонить отцу.

Вахтер, покинув свой пост, болтал у двери с ответственным за противопожарную охрану.

— Папа, мне дали роль! — крикнула она дрожащим от ликования голосом, едва их соединили.

— Поздравляю!..— Голос отца звучал так отчетливо, словно они разговаривали не по междугородному, а по городскому телефону.— Рад за тебя, моя девочка...

И тут только догадался спросить:

— А какую?

— Одиллии.

— Одиллии?.. Но ведь это... это самая трудная роль!.. Это же кульминация спектакля! Очень, очень рад...

— Как ты себя чувствуешь, папочка? — прервала она его.

— Мне лучше, дочка, я же тебе говорил. И теперь, после такого известия, мне станет совсем хорошо.

— Только не волнуйся...

— Конечно, не буду. Чего мне волноваться? Ты же знаешь, как я в тебя верю... Но все-таки после спектакля сразу же позвони...

Она, естественно, обещала позвонить сразу же после спектакля и снова умоляла его не волноваться, как будто это зависело от него, а он убеждал ее, что верит в нее, и разговор закончился традиционным «в добрый час».

В добрый час... Был час начала репетиции, но не «Лебединого озера», а текущего репертуара — балетных партий в «Князе Игоре», и Виолетта бегом бросилась наверх, в зал.

■

Пока кончится репетиция, пока оденешься, пока отделаешься от Мими, Тани и Васко, которые хотят затащить тебя в кафе,— вот уже и стемнело.

Эти трое прямо жить не могут без кафе, домой не возвращаются, пока не убьют там два-три часа. Для Виолетты же это значило провести два-три часа наедине с видениями и музыкой, но сейчас она почти стеснялась признаться себе в этом. Она старалась избегать Мими, а Мими сегодня еще раз доказала, что она настоящая подруга. Хлопотала, чтобы ей досталась вся роль, а потом уступила главную из двух партий. Партию Черного лебедя. Партию, о которой Виолетта мечтала столько лет.

Она вышла из театра и тут же очутилась в обществе виолончелиста. Ну и настойчивый, однако.

— Мое приглашение выпить кофе с коньяком все еще в силе,— заверил он ее, идя вслед за ней.

Она, разумеется, не ответила. Не хватало еще разговаривать с этим пошляком.

— Не подумайте, что я хочу вас напоить,— продолжал виолончелист.— А тем более приставать. Но вы одиноки. Я — тоже. Я хотел бы поговорить с вами о тоске одиночества... И, если можно, разогнать ее.

Не слушая его болтовни, она свернула за угол, на другую улицу, и он, как всегда, потащился за ней. Одна из трех безликих улиц ее ежедневного маршрута к дому была еще более безлика сейчас, в темноте, лишь кое-где освещенная тусклым светом желтых фонарей. Улица эта не отличалась от улиц любого другого города, и она шла по ней в сопровождении какого-то типа, о котором не знала ничего, кроме того, что он играет на виолончели и что он страшный нахал.

— Где вы видали такого дурака, как я? — спросил он вдруг.— И в моем-то возрасте! Разве то, что я столько дней за вами хожу, ничего вам не говорит?

В полутьме улицы Виолетта почти не видела его. И может быть, потому, что не видела, она чувствовала, что его присутствие как-то действует на нее. То ли потому, что от него веяло какой-то силой в сочетании с юношеским легкомыслием. То ли потому, что к ней давно не прикасался мужчина. Или потому, что в его голосе вдруг прозвучала какая-то нотка искренности.

— Я уже давно к вам присматриваюсь. Я даже расспрашивал о вас. Оставь ее, говорят, она не горячей мороженого. Но что мне делать, если это сильнее меня.

Он продолжал излагать предысторию своего увлечения, и Виолетта, пожалуй, начала его слушать: во всяком случае, когда она поняла, что прошла свой дом, было уже поздно.

— Вы влюблены? — услышала она вдруг свой собственный голос.

Нечего сказать, теплый голос. Если бы мороженое могло говорить, оно говорило бы, вероятно, точно так же.

— Ну... да... как бы глупо это ни звучало...— пробормотал он с неожиданным смущением.

Она была не настолько наивна, чтобы поверить и броситься ему на шею. Она, конечно, не верила, но все-таки чувствовала, что в ней зашевелились какие-то смутные и тайные желания: а почему бы...

один вечер... один-единственный вечер... сегодня или завтра... без обещаний и без повторения.

«Ладно, хватит! — сказала она себе.— Повернись и ступай домой!» Она не разыгрывала из себя недотрогу, но именно потому, что она не была недотрогой, она по опыту знала, что от подобных встреч не остается ничего, кроме неловкости и скуки. И боясь уступить соблазну, она напомнила себе, что в таком белье, какое на ней, на свидание не ходят.

— Значит, вы расспрашивали обо мне,— произнесла она задумчиво, когда они остановились возле какого-то (явно его) подъезда.

— Не поймите меня неправильно... Я интересовался не сплетнями, а вами, потому что думал о вас...

— А вам не сказали, чем вы рискуете? — спросила она.

— Кто мне должен был это сказать?

— Те, кого вы расспрашивали.

Здесь, у подъезда, под уличным фонарем, было достаточно светло, и она могла разглядеть его лицо и заметила легкую усмешку на нем:

— И чем же я рискую?

— Своей свободой,— сухо осведомила она его.

И чтобы не оставалось никаких сомнений, добавила:

— Мне не нужен любовник. Мне нужен муж.

Он хотел показаться смелым и даже попытался удержать на лице улыбку, но был явно ошарашен.

— Вы один живете? — полюбопытствовала она, словно желая рассеять неловкость.

— С товарищем... Но он раньше двенадцати не вернется.

— Вы, значит, все предусмотрели.

— Иначе я не стал бы вас приглашать.

— А о том, что придется жениться, вы не подумали...

— Не издевайтесь надо мной,— пробормотал он неуверенно.

Она плавно, с легкостью, достойной балерины, повернулась к нему спиной. Но, уходя, бросила через плечо:

— Не играйте с огнем, молодой человек. И не приставайте к старым девам. Попадетесь какой-нибудь вроде меня... потом...

И пошла домой. Полный идиот. Как и все эти нахалы. Что ему стоило, разыгрывая роль влюбленного, сделать вид, что он готов даже жениться. Тогда она, возможно, поднялась бы в его квартиру, посмотреть, что же произойдет дальше. Но что бы дальше ни произошло, брак им не угрожает. Полный идиот.

В сущности, она не ощутила никакого влечения к этому типу, ей просто захотелось хоть чуточку тепла, какой-то отдушины после дневного напряжения. Тепла ей придется подождать, пока они купят камин. А с отдушиной... можно повременить до завтра. Нет лучшей отдушины, чем упражнения.

Любовная идиллия посреди вечерней улицы продолжалась не бог весть как долго, и все же, едва она успела войти в комнату, как в нее влетели и те трое с бутылками и пакетами в руках.

— Фиалочка, включай телевизор,— крикнула Мими, проходя в нишу, чтобы выложить продукты.

— Зачем?

— И ты вроде нас — забыла, что сегодня пятница,— сказал Васко, включая телевизор.

Да, верно, пятница — следовательно, программа советская, и должны показывать «Ромео и Джульетту». Обычно телевизор или работал для собственного удовольствия, потому что те трое болтали

между собой, или же его вообще не включали; Виолетта слушала пластинки, а Мими углублялась в очередной роман.

Но в этот вечер показывали балет с участием Плисецкой. Появилось изображение, спектакль, оказалось, уже начался, так что они не стали разворачивать пакеты, а уселись где придется и уставились на экран.

Когда спектакль кончился, они снова принялись болтать и накрывать на стол, поскольку собрались выпить. А потом наступил черед и самого выпивона, который ничем не отличался от вчерашнего и от всех прочих — колбаса, соленые огурчики и, конечно же, водка.

— Наша Марго, вероятно, ждала, что мы принесем виски,— заметил Васко, наполняя рюмки.— Но к русскому балету идет только русская водка.

— Для тебя, конечно, важнее балет,— сказала Таня.

— Э, нет. Балет важней для Марго. А мне дай выпить.

Марго, естественно, была опять же Виолетта. Васко окрестил ее так, чтобы не подражать Тане. Иногда он даже величал ее Марго Фонтейн — для краткости, как он сам пояснял.

Хотя у него не хватало смелости предпочесть балет водке, Васко был лучший или, вернее, единственный хороший танцовщик в их театре. На сцене он отличался уверенностью, силой и стремительностью прыжка, которые брались непонятно откуда, потому что в жизни он был скорее флегматичен, если не считать скандалов, которые он устраивал раза два в год и которые объяснялись скорее не темпераментом, а количеством выпитого.

Он был в общем славный парень, танцовщик с хорошей техникой, настоящий талант, но немного запущенный. Вероятно, оттого, что свыкся с мыслью, что он лучший и незаменимый. Он довольствовался тем, что получалось у него без особых усилий. Словом, что-то вроде Мими в штанах, только более одаренный. Более одаренный, но без особой веры в себя.

— Плохо не видеть вокруг себя вершин,— признавался он, когда на него находила хандра.— Равняться не на кого и стремиться не к чему. И сам становишься не вершиной, а кочкой на ровном месте.

Он прекрасно сознавал, что он средний артист, но ему не хватало воли подняться выше. Роста он тоже был среднего, но благодаря своей стройности и худобе казался высоким. У него было худое, бледное лицо с выпуклыми скулами, нос с горбинкой, и после того, как по телевизору показали «Дети райка», в городе начали сравнивать его с Жаном-Луи Барро, на что Васко снисходительно возражал, что гении походят друг на друга, но, точнее, не он похож на Жана-Луи Барро, а наоборот.

— Мой дурачок готов поверить, что он в самом деле Жан-Луи Барро,— говорила Мими.

Впрочем, все это было в прошлом, и сейчас разговор шел не о Васко, а о Плисецкой, и Мими развивала свои теории по этому поводу.

— В нашем деле,— говорила она,— ты или что-то великое, или великое ничто. Единственное мое утешение, что сила все же на нашей стороне...

— Что это за ваша сторона? — скептически спросил танцовщик.

— Тех, кто ничто. Как-никак, а нас большинство.

— Чепуха,— не согласилась с ней Таня.— Спектакль не делается одними примами.

— А кто говорит, что делается? — возразила Мими.— В балете нужен и фон. Как в математике нули. И все-таки обидно быть нулем.

— А что такое Ольга? — подхватил Васко, не потому, что не знал, что такое Ольга, но за отсутствием обогревателя хотел хоть чуточку подогреть атмосферу злостью.

— Она как раз самая несчастная. Она из тех, кому суждено висеть между небом и землей. Она нечто, только с большим минусом. Или, если хочешь, ничто с двумя плюсами: техникой и нахальством.

«Из тех, кому суждено висеть между небом и землей... Нет, Ольга не из них,— думала Виолетта.— Она не висит. Она удобно устроилась на хорошем месте. А если кто и висит между небом и землей, так это ты: ты не желаешь мириться с тем, что ты внизу, но не в силах достичь вершины. По крайней мере пока это так. Будем надеяться, что только пока».

Она перестала следить за разговором и прислушалась к нему снова, только когда уловила, что они заговорили о ней.

— Из нас всех она одна счастливая,— произнес Васко.

— Потому что у нее есть великая цель...— подсказала Таня.

— Потому что она все еще верит в нее. Великая цель... У кого из нас ее не было... еще в школе... еще когда мы были мальчишками... И чем ты старше, тем она ясней. Только потом начинается обратный процесс: она становится все туманнее, теряется, исчезает... Пока в одно прекрасное утро не спохватишься: ага! А где моя великая цель? В шкаф заглянешь, под кроватью пошаришь — нет ее!

— Положим, ты ее ищешь не под кроватью, а на дне бутылки,— уточнила Мими.

— Неважно где. Важно, что ее нет.

Они продолжали болтать в том же духе, а когда пошла вторая бутылка, разговор стал до того шумным, что Виолетта решила уединиться на кровати в своем углу.

Надо бы лечь. Надо бы уснуть. Завтра у тебя трудный день. Заснуть... под их крики... и с этими мыслями...

— Я вам не помешаю, если включу проигрыватель? — спросила она, воспользовавшись случайной паузой.

— Включай, пусть орет,— великодушно разрешил Васко.

— Нет, только чтоб не орал,— запротестовала Мими.

— Не мешай ребенку! — настаивал Васко.— Дети — наше будущее.

— А я о ребенке и забочусь, дурачок! Я уж не говорю про то, что от этой ее «Спящей красавицы» заснуть нельзя... Что на репетиции пианино бренчит, а вечером домой придешь, опять адажио и аллегро... Но ведь она рехнется с этим своим проигрывателем...

— И пусть рехнется! — заявил Васко.— Разве можно творить искусство, если ты немного не того?

Она тем временем включила проигрыватель, хотя и не слишком громко, и поставила не «Спящую красавицу», а ту пластинку, которую ей не удалось дослушать днем. После танца шести начиналась партия Черного лебедя. Ее партия. Это все еще звучало для нее невероятно: ее партия.

Она сняла с вешалки шаль, закуталась в нее и забралась на кровать, даже сквозь шаль ощущая холод стены. Взяв подушку, она сунула ее за спину. В понедельник надо наконец купить новую наволочку. Если ты Черный лебедь, это не значит, что ты должна спать на грязной наволочке.

Музыка была достаточно громкой, чтобы хотя бы отчасти заглушать голоса в другом конце комнаты. Абажур лампы отбрасывал нежный веер розового света на противоположную стену. И там в бледно-розовом сиянии проступали сначала неясно, а потом все более явственно бесплотные образы видения.

Это было все то же видение, которое явилось ей еще в детстве, еще в тот первый миг озарения. Правда, оно уже порядком потускнело — за столько лет даже видение может потускнеть, но она была привязана к нему как к дорогой, хотя и выцветшей фотографии — кое-где помятой, оттого что ты носила ее на груди, у сердца, и кое-где размытой, оттого что ты не раз плакала над ней.

И она всматривалась в розовое сияние на противоположной стене, следя за полетом незримых образов, а из проигрывателя доносились страстные, мелодичные звуки адажио. Па-де-де. Ее танец. Танец Черного лебедя.

Суббота

Она долго блуждала неведомо где, встречала каких-то людей и то бог весть о чем спорила с ними, то убегала от них, но сейчас эта сумятица осталась позади и позабылась, и она очутилась в каком-то темном и глухом месте без всяких очертаний и измерений, в котором царили лишь мрак и могильный холод.

Она металась, пытаясь выбраться, найти выход, искала хоть какую-нибудь примету — строение или дерево,— по которой могла бы определить дорогу, потому что смутно припоминала, что когда-то прежде, давно-давно, она уже забредала в это темное место и как-то находила дорогу.

Где-то здесь есть выход, силилась припомнить она. Надо перебраться через ручей, за ним крутой подъем, этот невероятно крутой подъем, который только и может куда-то вывести, потому что (Виолетта только сейчас догадалась об этом) мрачное место было не чем иным, как дном пропасти. Надо лезть вверх, потому что в этом единственное спасение, на эту ужасно крутую гору, то поросшую кустарником и колючками, что обступали тебя и тянули вниз, словно чьи-то сухие, костлявые руки, то превращавшуюся в бесконечный серый обрыв, который непрестанно осыпается у тебя под ногами, когда ты из последних сил карабкаешься по нему в сером сумраке.

Она плутала в напрасных поисках по этому темному и холодному пространству, пока не заметила перед собой строгий прямоугольник огромной двери. «Ах, я у порога,— догадалась она,— вот почему это место показалось мне знакомым». И сделала несколько шагов к громадной двери — хотя прекрасно знала, что она наглухо закрыта,— напряженно соображая, как можно выйти отсюда, если дверь, как всегда, окажется заперта.

Дверь, конечно же, была заперта, это было ясно видно даже в полумраке и даже издали, и Виолетта беспомощно озиралась, думая о том, как бы найти кого-то, кто знал бы эти места и указал бы ей дорогу. И так же, как когда-то, то ли давным-давно, то ли совсем недавно, она с удивлением осознала, что совершенно одна в этой глуши перед дверью, и даже отца с ней нет, и никак не могла понять, почему здесь нет ни его, ни кого-нибудь еще из тысяч других людей. Наверно, никто из этих других не хочет признаваться, что и он среди ждущих у порога. А может, все те, другие, попрятались по темным углам подземелья, где она, одна, худая, зябнущая, стояла, дрожа, в штопаном своем трико перед огромной, торжественной и неумолимой дверью.

Но ведь у этих дверей должно было бы быть полно таких, как она, должна быть толкотня, как на вокзале, потому что если мало избранных, то много и званых, но из этих многих и многих не было

видно никого. Но едва она сказала это себе, как поняла, что опять ошиблась, потому что рядом с ней вдруг возник отец, одетый в свой старый плащ, под которым он бережно, словно младенца, прижимал к себе футляр со скрипкой.

«Не смог больше прятаться в темноте и наблюдать, как я стою здесь одна»,— подумала Виолетта. А отец наклонился к ней и доверительно зашептал, зашептал тихо и несвязно что-то вроде того, что нельзя дольше ждать, чем дольше ждешь, тем труднее войти в эту дверь.

— Но ведь она заперта,— возразила Виолетта.

Вместо ответа отец схватил ее левой рукой, потому что правой прижимал к груди, как младенца, скрипку, и они вдвоем пошли, ступая медленно и с трудом, точно переходили глубокую реку, и когда они приблизились к двери, Виолетта с удивлением обнаружила — странно, что она раньше не замечала этого,— что та слегка приоткрыта, и они оба скользнули в эту приоткрытую огромную дверь, чтобы вырваться из леденящего мрака и проникнуть в иной мир.

Но иной мир был бездной.

Бездна разверзлась тотчас же за дверью, и Виолетта с отцом стояли на самом краю скалы, а внизу зияла страшная тьма пропасти.

— Надо перепрыгнуть,— чуть слышно сказал отец.

Она глядела на него, скованная страхом, и не в силах была даже спросить: «Как?»

— Вот так,— объяснил отец, положив скрипку на скалу.— Вот так, как ты делаешь гран жете... Вот: эпольман круазе, пятая позиция, левая нога вперед...

— Левая? — мучительно колебалась она. «Какая из них? Ведь отец даже не знает, что у меня обе ноги левые».

Она замешкалась, но отец, недовольный ее нерешительностью, уже нетерпеливо подталкивал ее к бездне, и, сказав себе: будь что будет, она ринулась вперед, словно делала гран жете; но едва оторвавшись от земли, ощутила, что всю ее сковал ужас, что тело ее вдруг стало свинцово-тяжелым и она стремглав летит вниз, в темноту и пустоту. В последний миг она ухватилась руками за край скалы и уперлась ногами в скользкий выступ и, обливаясь холодным потом, отчаянно забила туфлями, но не могла удержаться и покатилась вниз, пока не сорвалась со скалы и не рухнула в пропасть: и падала, падала, падала... до резкого толчка пробуждения.

Она и на этот раз проснулась, вздрагивая от только что пережитого ужаса, но, открыв глаза, с облегчением поняла, что темнота вокруг — мрак не пропасти, а комнаты. Только бы не оказалось, что она кричала во сне.

— Ты опять сегодня ночью кричала...— сказала на днях Мими.— Что с тобой во сне происходит? Режут тебя, что ли?..

— Я падаю...

— А, падаешь... Мне этот кошмар тоже иногда снился: летишь, летишь, раз и — падаешь. А ты старайся не летать. Если чувствуешь, что летишь, попытайся проснуться. Тогда не будешь падать.

Сейчас она лежала с закрытыми глазами, убеждая себя, что надо забыть дурной сон и заснуть снова, потому что завтра у нее тяжелый день. Все эти кошмары стали одолевать ее под влиянием разговоров с отцом. Она искала поддержки в советах отца, этих советах, которые он повторял годами, ободряя ее. Но странное дело, эти советы, продиктованные любовью и заботой, наносили ей душевные травмы. Со временем банальные слова обрели плоть и форму, превратились в кошмары ожидания перед дверью, кошмары обрыва и бездны.

Ожидание перед дверью было адажио. И обрыв тоже. Адажио безысходности. А бездна была аллегро. Аллегро падения.

Лежа с закрытыми глазами и ожидая, когда придет сон, она повела разговор с отцом. Когда она разговаривала с ним так в полусне, он был откровеннее, но и строже, чем наяву. Достаточно строг, чтобы сказать ей без церемоний:

— Ты не совершила подвига.

— Я сделала все, что было в моих силах. Я совершила все, что могла.

— Дело не в том, все или не все, а в том, достаточно ли этого. Для подвига должен быть больше шаг. И выше подъем. Нет, ты не совершила подвига.

Наверное, начинало светать, потому что, когда она снова уснула, во сне тоже начало светать, а обрыв, дверь и бездна остались где-то далеко позади, она совсем забыла о них, и у нее, свободной от воспоминаний, не было прошлого, как у всех счастливых людей. И она шла легко и свободно по тропинке среди высоких трав и цветущих кустов, шла, охваченная радостным предчувствием, зная, что где-то вон там, где кончается тропинка, начинается голубой и ясный простор, голубой и теплый простор, в который она вступит, как в море света, и поплывет по течению теплых ветров, звучащих, словно музыка.

Внезапно какой-то громкий звук заставил ее вздрогнуть. Это была не музыка. Это был звон будильника.

Звон пронзительный и настойчивый, бесцеремонный, как действительность, и неотвратимый, как наступающий день. Не открывая глаз, Виолетта протянула руку к будильнику, звон прекратился, но голубизна полусна уже рассеялась. Она хотела вернуть ее хоть на миг, но сквозь прикрытые веки проникала не голубизна, а красновато-коричневая полутьма.

Шторы в больших осенних листьях задернуты. Мими еще спит. Слава богу. После таких вечеров, проведенных с Васко, Таней и водкой, Мими всегда спала допоздна или, вернее, пока ее не разбудят.

Виолетта откинула одеяло, встала и, поеживаясь, побежала в ванную. Хорошо хоть, что эта телефонная будка быстро нагревалась. Пустишь ненадолго горячий душ — и в ванной уже жарко. Но Виолетта пустила воду чуть теплую, чтобы в колонке осталось и для Мими. Недостаток тепла можно возместить, растеревшись полотняной рукавичкой. Так даже полезней для здоровья.

Она вернулась в комнату и быстро оделась, чтобы холод не успел ее охватить. Белье было ледяное, и даже черный свитер не грел, а словно ждал, что ты его согреешь.

Она сварила кофе, но не из купленного в бакалее, а из другого, и только потом принялась будить подругу:

— Мими, вставай... нам пора идти...

Сначала Мими не подавала никаких признаков жизни, потом что-то недовольно проворчала и, наконец, собравшись с силами, пробормотала:

— Иди...

И только когда Виолетта уже надевала пальто, подруга произнесла членораздельно:

— Если эта ведьма спросит про меня, скажи, что я больна...

Вряд ли эта ведьма спросит. Отметит ее отсутствие, и все. Она давно махнула на нее рукой.

Мими появилась на горизонте едва к концу обеда. Естественно, в компании Васко и Тани и уже посидев, как водится, в кафе. Вечный сонный круговорот: их комната, кафе, столовая и для разнооб-

разия — театр, кафе, их комната и при наличии энной суммы денег в кармане — ресторан и бар.

Все трое уселись за стол, за которым Виолетта обедала в одиночестве, и Таня не удержалась, чтобы не сказать:

— Пламен опять явился со своей коровой.

Виолетта заметила Пламена и корову еще при входе в столовую, они кивнули друг другу, потому что, в сущности, они с Пламеном не ссорились и при встрече продолжали здороваться, а иногда и обменивались двумя-тремя словами, вроде «как жизнь?», «как дела?». Потом она села спиной к ним, чтобы не смотреть на них и тем самым не смущать. Что касается ее самой, то она не видела причины смущаться и волноваться; для нее эта история была давно перевернутой страницей.

Историей, с которой давно покончено. Историей, на которой поставлена точка. И все же, попрощавшись с приятелями, которые остались доедать второе и компот, Виолетта по дороге домой рассеянно думала о том, знает ли Пламен, кто будет танцевать в завтрашнем спектакле, придет ли посмотреть на нее, и почувствовала, что ей хочется видеть его где-нибудь в третьем-четвертом ряду, откуда он мог лучше оценить ее в этой роли. Она не собиралась утереть ему нос — когда-то давно отец сказал ей, что нет ничего глупее желания утереть кому-то нос,— но ей хотелось, чтобы Пламен понял, что она не просто упряма и самонадеянна, что с ним или без него она все же идет по своему пути и успехи на нем не редкость.

Пламен возглавлял в Городском совете отдел культуры, так что имел какое-то касательство к балету в той же мере, что и к прочим видам искусства, а это был хоть и не бог весть какой духовный багаж, но все-таки кое-что. Как-то вечером Васко, изрядно выпивший и обозленный тем, что Пламен не обращает внимания на его приставания, крикнул:

— А что вы, чиновники, понимаете в искусстве, почему вы беретесь нами руководить?

— Ты имеешь в виду чиновников вообще или меня лично? — спросил Пламен.

— Положим, тебя.

— Тогда ошибаешься. Я могу играть на рояле собачий вальс, могу плясать хоро, могу даже петь, хотя и фальшиво.

— Хорошо, что сам признаешься.

— Да, и это мое единственное преимущество. Я хоть понимаю, в отличие от некоторых, что искусство — дело не простое и не за рюмкой им заниматься.

Тут Васко решил использовать в качестве дополнительного аргумента свой кулак, но поскольку действие происходило в ресторане, то от драки их удержали и обошлось без скандала.

Пламен ничего о себе не воображал, хотя и был не так прост, как прикидывался, и работал добросовестно; ведь, как он сам выражался: если одни призваны творить искусство, то другие — перебирать бумаги, без которых в искусстве тоже не обойтись. Он был не из тех, кто любит совать свой нос, куда не просят, он был чересчур спокойным, даже чуть сонливым, чтобы совать нос, куда его не просят,— словом, ни нравом, ни внешностью не соответствовал своему жаркому имени. И когда однажды он подошел к столу, за которым сидела Виолетта, и попросил разрешения сесть, то совсем не походил на субъекта, собиравшегося занять не свое место, а просто на человека, который спешил пообедать и вернуться на работу.

Она мельком глянула на него, кивнула и снова склонилась к тарелке. Тогда она питалась в основном супом с фрикадельками, но

выбирала из него одни фрикадельки — съесть все нельзя, растолстеешь. Она так боялась съесть лишнее, что вечно ходила полуголодная — ощущение, к которому в конце концов привыкаешь, особенно когда воодушевляешься мыслью, что лучше ходить голодной, чем с тяжестью в переполненном желудке. Впрочем, она не отличалась склонностью к полноте, чего нельзя было сказать о Пламене. Ему было едва за тридцать, а вес его, пожалуй, втрое превышал число лет, но при его высоком росте это не бросалось в глаза. У него было смуглое, приятное, серьезное лицо, эту серьезность ему в какой-то мере придавали очки в темной роговой оправе, и когда он сидел напротив нее, уткнувшись носом в тарелку, то совсем не походил на человека, настроенного пофлиртовать.

— Я вас видел позавчера в «Кармен»,— проронил он все-таки между первым и вторым.— Мне понравилось.

На второе в этот день была телятина с картошкой, и Виолетта могла остаться совсем голодной, поскольку принципиально не ела картошку, а что до мяса, то много ли мяса дают в столовой.

«Мне понравилось». Он не уточнил, что именно ему понравилось — опера или ее танец. Не счел нужным представиться, но с его стороны это был не такой уж большой промах. В этом городе люди, даже незнакомые, знали друг о друге, кто они и что они, и она тоже знала, что человек, сидевший за ее столом, какая-то шишка в горсовете.

— Очень приятно,— еле слышно проговорила она, отделяя два кусочка мяса от горки картофеля.

Этими фразами и ограничился весь их разговор. Ограничился бы, если б не случилось так, что они одновременно вышли из столовой, и если б уже на улице Пламен не посмотрел на часы и не предложил:

— Еще целых полчаса... А у вас есть немного времени? Мы могли бы вместе выпить кофе.

Оказалось, что у нее тоже есть немного свободного времени, и таким образом они зашли в «Алый мак» и выпили этот самый кофе, и за все это время не произошло ничего особенного, и они обменялись лишь несколькими короткими репликами, и ни в одной из них не содержалось ничего, что заслуживало бы запоминания и занесения в анналы истории, хотя Виолетта и по сей день помнила их все до единой. Да и нет ничего удивительного в том, что она их помнила. Их было не так уж много, чтобы перепутать или забыть, и все они были вроде тех слов, с которыми он вдруг обратился к ней:

— Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно.

Было не прохладно, а прямо-таки холодно, потому что холода этой осенью начались рано, не считаясь с тем, что включать отопление было еще не положено. Однако она отрицательно покачала головой и не захотела ничего накинуть, главным образом потому, что пальто у нее было весьма потертое. Это темно-синее пальто она купила после памятного повышения в ранг солистки, но с того дня прошло немало времени, целых пять лет, и пальто порядком поизносилось: хорошо еще, что оно темно-синее, и на улице незаметно, какое оно потертое, но здесь, в помещении, этого не скроешь, и она предпочитала сидеть в одних джинсах и свитере. Конечно, свитер и джинсы не бог весть какой туалет, но все-таки это модно, и то, что они слегка поношенные, тоже модно.

Вообще за эти полчаса не случилось ничего особенного, кроме того, что началась их дружба, в которой тоже не было ничего особенного и которая возникла так незаметно и естественно, словно они были давным-давно знакомы и давно хотели подружиться, но все

откладывали, потому что их что-то отвлекало, а они и так знали, что эта дружба им на роду написана и никуда от них не уйдет.

И она началась, эта дружба, совершенно естественная и абсолютно непонятная. Естественная, потому что они словно век были знакомы и только ждали своего часа, и непонятная, потому что и внешне, и во всех других отношениях они казались союзом антиподов. Ее лично это обстоятельство ничуть не смущало, искусство научило ее, что многое бывает связано законами не гармонии, а контраста, но по крайней мере здесь, в этом городе, эта истина, по-видимому, не стала всеобщим достоянием, и потому случалось, когда они шли по улице, какой-нибудь подрастающий юморист кричал им с Пламеном вслед:

— Эй, толстяк, смотри не поломай свою девчонку...

Худенькая, рядом со своим рослым кавалером она выглядела совсем хрупкой, словно девочка, которую папа ведет в первый день в школу. Можно было бы сказать, что папа вполне добродушно относится к усмешкам и остротам окружающих, если бы он их замечал, но он и не замечал их, довольный тем, что ведет свою девочку.

«Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно».

Ей всегда было холодно, даже летом, потому что лето она проводила в мрачной отцовской квартире. «Это оттого, что у тебя нет никаких запасов жира,— говорила Мими.— Ты все-таки злоупотребляешь этими диетами». Ей всегда было холодно, особенно в этом городе и особенно в начале этого сезона, не предвещавшего ничего, кроме холода, снега и маленьких ролей.

И может, потому, что ей было холодно, получилось так, что в первый же вечер они добрались до его холостяцкого жилья и она согласилась зайти, как будто речь шла о чем-то, над чем не стоило и раздумывать. Он, однако, отнесся к этому событию гораздо серьезнее, и, прежде чем проникнуть в его комнату, они должны были принять всякие меры предосторожности, чтобы не разбудить хозяйку, хотя Виолетта не видела ничего страшного в том, что они ее разбудят: как проснется, так и уснет; но мужчины — народ трусливый, и Пламен, вероятно, не столько заботился о сне хозяйки, сколько о своей репутации, или об ее репутации, или о репутации их обоих. Провинция, знаете ли, не София, тут людей хлебом не корми, дай языком почесать.

Провинция, действительно, не София, и здесь все становится известно часто раньше, чем произошло, а иной раз и вовсе не происходило. И через несколько дней они постепенно бросили свою конспирацию, хотя специально об этом не договаривались, как и обо всем остальном, и зажили так, словно уже расписались в загсе или распишутся завтра, к великому огорчению городских сплетников. Какой толк раскрывать секреты чьей-то личной жизни, когда они уже ни для кого не секрет?

Виолетта не задумывалась о том, как сложатся дальше их отношения. Она вообще ни о чем не думала, не говорила себе: вот прекрасный случай завести любовника, как Мими и все остальные; не возникало у нее никаких соображений вроде того, что пора перестать платить налог на бездетность,— она сошлась с Пламеном, словно это было дело совершенно естественное и давно решенное и нечего тут обсуждать.

Она не воспылала любовью к этому рослому парню, полному и немногословному, этому сонливому Пламену, боявшемуся разбудить хозяйку. Ему самому опасность быть разбуженным абсолютно не грозила. Даже в минуты близости он сохранял сонную невозмутимость. Но это не раздражало ее. Ничто в нем не раздражало ее, даже его

бесконечное молчание. Незаметно она привыкла заполнять его молчание своей болтовней, она, известная в городе своей необщительностью. Она говорила о своей работе, и о неуспехах, и о робких надеждах. Однажды даже рассказала подробности об отношениях между балеринами.

— Ну вот и сплетничать начала...

— Давно пора...— пробормотал Пламен.

— Почему?

—Я уж было решил, что эта профессия не для тебя. Для людей твоей профессии ведь без соперничества и склок жизни нет.

— Спасибо.

— Я это говорю не в упрек, а просто констатирую факт.

Он вообще был не из тех, кто любит упрекать, и если уж решался нарушить молчание, то ограничивался вроде бы констатацией фактов, но, несмотря на безучастный тон, это звучало порой упреком.

— Ты как будто напутала в сольной партии,— сказал он как-то вечером, когда они после спектакля возвращались домой.

— Да, немножко.

И поскольку Пламен молчал, добавила:

— Ты же вроде в балете не очень разбираешься, а заметил.

Он не ответил и продолжал медленно шагать, не поднимая глаз от тротуара, словно боялся споткнуться о плиты.

— А тебе не случается напутать? — спросила она, задетая не его словами, а молчанием, в котором словно было что-то многозначительное.

— Случается,— флегматично пожал он полными плечами.— Все ошибаются. Только на сцене это заметнее.

В общем, он никогда не высказывался о том, как она танцует, хотя и ходил почти на все спектакли, и в этом тоже было что-то многозначительное. Пламен не любил неискренних похвал; если он молчал, значит, не считал нужным хвалить. Все-таки она задала ему вопрос, вертевшийся у нее на языке еще с того дня, когда началась их дружба:

— Помнишь, когда мы познакомились... ты сказал, что видел меня в «Кармен» и тебе понравилось.

— Ну и что?

— Ты не объяснил, что именно тебе понравилось: опера или я.

— Естественно, ты.

— Мог бы сразу сказать.

— Я боялся тебя обидеть.

— Разве женщины обижаются на комплименты?

— Но вы, артистки, не такие, как все. Мало ли как ты отнесешься, если я скажу, что ты мне понравилась как женщина, а не как балерина... Откуда мне знать.

Он и впрямь не знал. Во всяком случае, не очень хорошо знал, иначе не стал бы огорчать ее этим признанием. Но что пользы, если бы он промолчал? Когда двое постоянно вместе, они понимают друг друга без слов.

Что он не ценил ее как балерину, было еще одним огорчением, наряду со многими другими, и это огорчение не становилось меньше от его уверений, что она нравится ему как женщина. Но Виолетта проглотила эту горькую пилюлю, по привычке отнеся ее к тому, что все вместе составляло подвиг,— в конце концов, можно заставить человека жениться, но заставить полюбить нельзя.

Что касается замужества, то этот вопрос ее не занимал не потому, что не имел для нее никакого значения. Просто она считала, что

он решится сам собой и спешить некуда. А если и надо было спешить, то совсем в других делах, но тут уже не все зависело от нее.

Пламен, казалось, был того же мнения, что и она, о брачной церемонии. По крайней мере, целый год делал вид, что он того же мнения, и если бы все продолжалось в том же духе, то они, вероятно, до сих пор были бы вместе. Однако это не продолжалось в том же духе.

— Что ты скажешь, если мы на днях распишемся?..— небрежно предложил он как-то в столовой, когда они кончали обедать, а точнее, принимались за третье — малеби с розовым сиропом в металлических мисочках, похожих на тазики для бритья, малеби, к которому они, во всяком случае Виолетта, так и не притронулись.

— Это еще что-то на десерт? — спросила она таким же небрежным тоном.

— Если ты, конечно, отказываешься от того, что тебе дали раньше.

— Верно: не берешь одно, бери другое, а не то останешься с носом.

Он ничего не прибавил, словно разговор шел о чем-то давно известном им обоим. И только когда они вышли на улицу, он глянул на часы и сказал почти как в тот раз, когда они познакомились.

— У меня есть еще полчаса. Успеем выпить кофе.

И, как тогда, был прохладный осенний день — времена года совершили свой полный оборот, и ровно год прошел с начала их любви,— и они медленно шли к кафе, нетерпеливо подгоняемые резким ветерком, кружившим сухие листья на тротуаре, словно его сердила невозмутимость широкой спины человека, подгонять которого было пустой тратой времени.

В этот час в кафе не было никого, если не считать компании, загулявшей в неурочный час и расположившейся в углу, подальше от света и любопытных взоров.

— Распишемся, выполним эту формальность,— уточнил Пламен, когда они уселись за столик у окна.— А покончив с ней, нам надо будет как-то перестроить нашу жизнь.

Она не сочла нужным ответить. Какой смысл отвечать на банальности? Но именно банальность этого заявления показалась ей подозрительной. Пламен не бросал слов на ветер.

— В общем, нам с тобой надо поговорить о вопросах, которых мы не касались, но они непременно возникнут после того, как мы выполним эту формальность.

— Слушаю, мой повелитель.

Он хотел что-то сказать, но удержался, потому что подошла официантка с кофе. Он подождал, пока она отойдет, отпил самую малость и заявил:

— Я имею в виду твою профессию. Думаю, тебе лучше всего ее поменять.

— Что? Не понимаю.

— Что ж тут непонятного?

— По-моему, не только я, а ты сам не понимаешь, что говоришь.

Он помолчал, отпил еще глоток и только тогда произнес:

— Имей в виду: я это не сейчас придумал. Я уже целый год думаю об этом.

— Целый год... чтобы решить вопрос о моей профессии?

— Я считал, что этот год был нужен прежде всего тебе.

— Зачем? Чтобы стать твоей рабыней, мой повелитель?

— Чтобы ты образумилась,— спокойно пояснил он.

Она уставилась в стоявшую перед ней нетронутую чашку, точно спрашивая себя, стоит ли продолжать разговор. Потом перевела взгляд на улицу за окном: скучный ряд обрезанных и уже почти облетевших деревьев, под ними ряд стоявших впритык машин, словно поставленных тут навеки, еще ближе, у самой витрины,— тротуар, по которому осенний ветер гнал сухие листья.

«Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно».

На этот раз он этого не сказал. Считал, видно, что высказал все положенное ему и что теперь ее очередь.

— Тебе надо было начать с этого вопроса, а не с того, что нам надо расписаться,— сказала Виолетта бесцветным голосом.

— С этого... или с того, какая разница... их надо решать вместе.

— Если бы ты начал со второго вопроса, незачем было бы затевать разговор о первом. Мы поссорились бы из-за одного, вместо того чтобы расставаться из-за двух.

— А я совершенно не собираюсь с тобой расставаться.

Он сказал это с обычной своей сонной невозмутимостью, но без тени колебания.

— Ты уверен, что я уступлю?

— Я верю, что ты образумишься.

— Ах да, ведь твой проект целиком и полностью в моих интересах.

— Именно. Я не утверждаю, что мне все равно, уйдешь ты из театра или нет... Но это важно прежде всего для тебя.

— Бездарная балерина... которая напрасно бьется головой об стену.

— Я не говорил, что ты бездарна. И не считаю так. Но насчет стены, вероятно, ты недалека от истины.

И вдруг этого молчальника, всегда такого скупого на слова, точно прорвало, и они полились из него рекой. При других обстоятельствах она оценила бы его разговорчивость как плюс в свою пользу: сонный, невозмутимый флегматик наконец проснулся, встревоженный тем, что может ее потерять. По ее неожиданно резким и непривычно враждебным словам он почувствовал, что она отрывается, отдаляется от него, что все, казавшееся до сих пор надежным и определенным, вдруг рушится, валится с треском, обращается в пепел— их любовь, их брак, их общее будущее.

Он старался щадить ее самолюбие, признавал ее бесспорный талант — зачем именно сейчас обижать ее? — и напирал в основном на другое: на изнурительную борьбу за давно занятые места, которые никто не собирается тебе уступать ради твоих красивых глаз и которые, даже если ты их когда-нибудь и займешь, уже будут иметь значение не для творчества, а для твоей пенсии. И потом, этот каторжный труд, и эта строгая диета, из-за которой от тебя остались одна кожа да кости, и каждый день — унижения, замечания, окрики, словно ты ломовая лошадь, и вечное соперничество, и обидные отзывы подруг — может быть, ты их и не слышишь, но они говорят за твоей спиной,— и неизбежная усталость, которая с годами ощущается все сильнее... И во имя чего все это?

Он замолчал, то ли потому, что ответ содержался в самом вопросе, то ли потому, что устал говорить.

— Теперь я вижу, что ты это не сейчас придумал,— кивнула она, переводя взгляд с витрины на нетронутую чашку.— Вижу, что свои аргументы ты собирал давно... даже разговоры моих подруг...

Он молчал.

— Наверное, у тебя готов ответ и на последний вопрос...

— Какой?

— Очевидно, догадываешься какой: если ты заставляешь меня сменить профессию, то какую ты мне предлагаешь взамен? Домохозяйки или еще что-то в придачу?

— Да, я и об этом подумал.

— И что же ты надумал?

— Я потому и откладывал этот разговор, что ничего не мог придумать.

— А что, в горсовете нет ни одного секретарского места?

— Не злись,— ответил он спокойно.— Я хотел сказать: перестань злиться.

Она промолчала, решив прекратить этот бесполезный разговор, но не выдержала, спросила:

— А если я тебе предложу сменить профессию? В конце концов, тебе это легче. Не все ли равно административному работнику чем руководить: искусством или молочной фермой...

Она осеклась, подумав, что действительно в ее словах слишком много злости. Можно ведь расстаться и без оскорблений. Он тоже молчал, не показывая, что сказанное ею задело его. Скорее всего и не задело. Вероятно, она казалась ему ребенком, который охвачен бессмысленным детским гневом.

— Может быть, я туп и для молочной фермы. На ферме есть свои трудности, хотя коровы и не танцуют. Но какой бы я ни был тупой, я все же понимаю, что профессию сменить нелегко, особенно если она еще и призвание. Поэтому-то я и затеял этот разговор только сегодня.

— А зачем надо было его вообще затевать?

— Затем, что я нашел выход. Появилась возможность уйти тебе из театра, не меняя профессии. В Доме культуры организуется балетный кружок, там есть должность руководителя. Ты будешь среди молодежи, будешь учить молодых людей искусству, они не будут сводить с тебя глаз, будут боготворить тебя...

Она слушала с усталым видом, а он, по-видимому, счел эту усталость знаком согласия, потому что продолжал еще некоторое время повторять свои «не будут сводить с тебя глаз» и «будут тебя боготворить», хотя повторяться было не в его привычках.

— Перестань,— сказала, наконец, Виолетта.— Признаю, что твой вариант с кружком великодушнее предложения идти в секретарши. Признаю все, что ты хочешь... что я злая... несправедливая и, главное, бездарная... но я такая, какая я есть, и не вижу никакой возможности перемениться. Я раз и навсегда, бесповоротно выбрала свой путь — выбрала с тобой или без тебя...

— Но я-то не могу без тебя, Виолетта.

Он произнес это без излишнего пафоса, своим обычным сонным тоном, и все-таки эти слова заставили ее поднять глаза от чашки и быстро взглянуть на него.

— Можешь.

— Нет, не могу. До сих пор я не говорил тебе этого... не видел смысла... не допускал, что мы дойдем до того, что будем обсуждать такие вещи, как «с тобой» или «без тебя». Но сейчас, когда мы дошли до этого...

— Брось сантименты, они тебе не к лицу,— сухо сказала она, потому что чувствовала, что смягчается, и хотела сохранить твердость.— Ты задал мне сегодня два вопроса, я ответила тебе на первый «да», а на второй — «нет». Теперь решай сам.

Он снял очки, достал носовой платок и аккуратно стал их протирать, точно вдруг заметил, что окружающий мир начал расплывать-

ся за помутневшими стеклами. Снова оседлав очками свой большой меланхолический нос, сказал как бы про себя:

— Я должен подумать.

Она молчала.

Пламен достал из кармана монету, посмотрел на нее, прибавил к ней еще одну и повторил уже без всякой надобности:

— Я должен подумать.

— Ладно, думай! Я не побегу завтра расписываться ни с тобой, ни с кем-нибудь другим. Подумай, у тебя для этого достаточно времени.

— Проводить тебя? — спросил он уже на улице.

— Не трудись. И без того твои полчаса слишком затянулись.

И они разошлись, кивнув друг другу, точно им предстояла встреча в этот же вечер, хотя оба знали, что не увидятся ни в этот вечер, ни в следующий.

«Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно».

Не прохладно, а просто холодно было ей на этой продуваемой осенним ветром улице, по которой она торопилась в театр в тонком старом пальто, в том самом темно-синем пальто, что она носила и в прошлом году, и в позапрошлом, и вообще со времени своего последнего повышения. И чтобы ей было не так холодно, она заставляла себя думать не о холоде, а о чем-то другом — например, о том, что из-за этого разговора она не отдыхала после обеда и теперь должна бежать прямо на репетицию.

И Виолетта почти бежала по пустынной, продуваемой ветром улице, стараясь думать о чем угодно, только не о холоде, но, несмотря на это, чувствовала, как вся дрожит и как озноб бьет ее изнутри, пробирает до самого сердца. И чем больше старалась она унять его, тем сильнее он становился, и она напрасно говорила себе: пусть думает сколько влезет, пусть убирается, скатертью дорога, раз хочет переделать ее по своему мещанскому вкусу. Она хотела разозлиться и тем пересилить дрожь, однако это ей не удавалось. Злость ее уже прошла, и она понимала, что Пламен вовсе и не пытается переделать ее по своему капризу и что, даже если он думает о себе — кто не думает о себе,— это не мешает ему думать и о ней, и в его словах об этой бесполезной борьбе и неизбежной усталости есть большая доля правды.

Он любил ее, и, как бы она ни злилась, она не могла отрицать, что он ее любит и после отца он единственный человек, который ее любит. Он был не таким, как все прежние, случайно встречавшиеся на ее пути и желавшие мимоходом завести с ней интрижку, чтобы посмотреть, как она выглядит без трико, или пополнить список своих побед победой над балериной. Он был для нее источником тепла после стольких дней холода и зябкой дрожи и когда она отдыхала в его спокойных объятиях, и когда посвящала его в свои заботы, после стольких дней одиночества, и даже когда они просто вместе сидели молча.

А теперь снова холод и снова зябкая дрожь. В конце концов, это не ее, а тем более не его вина. Просто так уж идет ее нескладная жизнь, и это неизбежная часть подвига, одно из многих испытаний. На то и испытания, чтобы вставать на твоем пути, а ты на то, чтобы их преодолевать. И раз так должно быть и ничего другого тебе не остается, то дрожи и шагай дальше.

Пламен зашел за ней только через две недели после спектакля (шла «Кармен»), они поужинали вместе, а потом провели ночь у него на квартире. Виолетта сначала ждала, когда он скажет, что же он придумал, но потом поняла, что он ничего не скажет. Поняла еще за

ужином, но это не помешало ей пойти к нему домой и остаться там до утра, не испытывая ни малейшего желания надоедать ему вопросами.

Он снова пропал недели на две, и она не видела его даже в столовой, а потом он вдруг объявился однажды вечером, и она повторила свой визит к нему на квартиру. Так эта связь, хотя и совсем уже непрочная, тянулась еще год, и у Пламена все не находилось времени сказать, что он придумал, а Виолетта его не спрашивала. Было и так абсолютно ясно, что если он что-то и придумал, то отнюдь не то, что хотелось ей, и что если он все еще встречается с ней, то лишь потому, что не может подавить свои старые чувства, а у нее нет сил порвать с ним оттого, что после каждой дозы одиночества их встречи приносили ей хоть немного тепла, которого ей так недоставало.

Ему нелегко было подавить старые чувства, но он боролся с собой, и рассудок мало-помалу, хотя и медленно, отвоевывал себе территорию — куда каким-то жалким чувствам тягаться с рассудком,— и Пламен все реже приходил к ней, и дозы одиночества становились все больше, пока не началось время отпусков; и это был конец, бесповоротный и неизбежный, кода молчания и тоски после невеселых вариаций, расставание без прощания, эпилог, начавшийся внезапно и так же естественно, как и первая встреча.

А однажды Мими сказала ей, что его видели с другой.

— Из театра?

— Как же! Из театра! С секретаршей из горсовета. Он большего и не заслуживает.

Все-таки с его стороны было благородно, что он не начал романа с кем-нибудь из артисток и избавил ее от излишних насмешек. Хотя с той ли он теперь или с другой, не все ли тебе равно.

«Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно».

■

Она свернулась калачиком на постели и устремила невидящий взгляд на стену, озаренную розовым веером лампы. Плац стены был совершенно свободен для видений, из проигрывателя доносилась мелодия танца лебедей из второго действия, но видения не появлялись, и все из-за этой старой истории. Истории, в конце которой давно поставлена точка, но из-за которой ты начинаешь волноваться как раз в тот момент, когда тебе больше, чем когда бы то ни было, нужно спокойствие, потому что ты на пороге нового испытания.

Сейчас не время раскисать от воспоминаний об огорчениях и разлуках. Сейчас надо собраться с духом и черпать уверенность в своих маленьких успехах. По правде говоря, у тебя были кое-какие успехи, хотя и не по части сердечных дел. Сольные партии в оперных спектаклях и то выступление на торжественном собрании.

Собрание в прошлом году проводилось городской комсомольской организацией в связи с каким-то юбилеем, и после него должен был состояться концерт, в который по традиции входил и балетный номер. Право участвовать в подобных концертах, также по традиции, предоставлялось Ольге, поскольку все должно было быть на высшем уровне. Однако на сей раз Ольга стала торговаться, чем вызвала негодование у комсомольцев, и они предложили выступить Виолетте.

Она готовилась к этому пятиминутному дуэту так усердно, что прямо извела Васко — своего партнера, который достаточно обкатал это па-де-де, выступая с Ольгой; в конце концов он бросил ее репетировать одну, заверив, что напрасно она так волнуется, все будет в порядке, на вполне приличном уровне.

Он не понимал, что если она каждый день часами упражняется, то вовсе не для достижения какого-то жалкого приличного уровня, а ради того, чтобы быть гораздо выше. Она и не пыталась это ему объяснять, зная, что если попытается, то Васко поднимет ее на смех.

— И на черта это тебе «быть выше»? Чтобы блеснуть? Перед кем? Да эти зрители столько понимают в балете, что никаких твоих недостатков не заметят, разве только ты, не дай бог, грохнешься.

Но она всем существом стремилась к своему «быть выше» и порой верила, что такое желание, такое страстное желание не может не перерасти в мастерство, и, не щадя себя, она все работала и работала, и бывали мгновения, когда ей казалось, что она почти добилась своего, но, едва ощутив головокружительную близость успеха, она чувствовала и другое — отвратительную неумолимость преграды, невидимой, но непреодолимой, как холодное стекло, о которое с тупым упрямством бьется муха. Она тоже упрямо и отчаянно билась о холодное стекло, пока не ощущала, что ноги у нее подкашиваются от усталости, колени дрожат, потный купальник прилипает к спине и ее тошнит.

И, отдохнув, начинала все сначала. И снова сначала. Всегда сначала. Пока ей, наконец, не почудилось, что если она и не добилась окончательно своего «выше», то хотя бы поднялась над жалким приличным уровнем.

Однако в решительную минуту, стоя за кулисами в ожидании, когда режиссер подаст ей знак, она почувствовала, что вся застыла от напряжения, а руки и ноги у нее одеревенели, что все, чего она добилась на репетиции, растаяло вмиг.

Но тут оркестр заиграл ее мелодию, и она как во сне вышла на сцену, и как во сне ощутила, что сияющий луч прожектора поймал ее в свой светлый круг, и как во сне увидела этот полутемный и притихший зал, и какой-то странный вихрь подхватил ее и увлек, и она вдруг испытала то неописуемое состояние, когда тело становится легким, и старание переходит в непринужденность, и ты словно паришь в воздухе, словно плывешь в пространстве, словно летишь, несешься и кружишься в водовороте звуков и чувств, превращаясь в сердечный трепет и сердечную боль, в ликование и скорбь, в отблеск невидимого и олицетворение невыразимого.

Когда она замерла на авансцене и раздались аплодисменты, ей показалось, что она не та, кем еще миг назад была, что сейчас, после стольких усилий, она, наконец, стала самой собой, раскрыла себя, одарила этих людей, заполнивших зал, искоркой красоты, которую все мы носим в своем сердце.

— Это был триумф, радость моя,— сказала Мими после концерта.— Ты сразила, убила нашу Ольгу, поставила на ней крест. Это был настоящий триумф.

Она так радовалась своему триумфу, что в эту ночь впервые за последнее время спала без кошмарных снов. Но больше всего она радовалась тому, что наконец преодолела преграду. Значит, преграда не была роковой. Значит, ее можно преодолеть и не обладая феноменальным шагом и исключительным подъемом.

А сейчас пришло время повторить фокус. Правда, партия Черного лебедя значительно труднее того несложного па-де-де. Даже опытные балерины сознательно ее упрощали, чтобы справиться с ней. Именно это делала Мими на репетициях. Мими была неплохим Черным лебедем, только очень заурядным. Иметь шанс станцевать такую партию и исполнить ее так, как Мими, значит, упустить свой шанс.

Проигрыватель, как всегда, был включен на полную громкость,

и Виолетта не услышала, как вошла Мими. Зато замечание ее прозвучало достаточно ясно:

— Фиалка, опять ты в трансе? Ты меня просто пугаешь.

— Я не в трансе. Я повторяю в уме.

— Повторяешь в уме? Мало мы эти роли ногами повторяли, так ты еще в уме повторяешь. Нет, ты и впрямь рехнешься.

— Репетиция в пять,— напомнила Виолетта, увидев, что Мими снимает туфли и собирается лечь.

— Времени полно,— возразила подруга, вытягиваясь на кушетке и укрываясь одеялом.— Я капельку отдохну... а если нечаянно засну, ты меня разбуди.

Она полежала немного молча, потом заговорила:

— Ну и холодина здесь... Придется, видно, в понедельник купить камин... Я забегала в мастерскую... Представляешь, у них до сих пор нет спирали...

Виолетта встала и выключила проигрыватель. Раз Мими пришла, лучше удалиться.

— Пойду пораньше, разогреюсь.

— Теперь разогреваться вздумала...— недовольно пробормотала Мими.— На репетиции разогреешься.

— Все-таки я хочу пойти пораньше.

— Нет, ты и вправду со вчерашнего дня не в себе,— сказала Мими, вздыхая и садясь на постели.— Ну, бывает, что нейметься, понимаю, но чтоб до такой степени, это уж ни на что не похоже. В таком напряжении даже выступать не полезно. Расслабься, успокойся... не мне тебя учить...

Она небрежным жестом поправила волосы и примирительно сказала:

— Ладно, пошли.

■

Балетмейстер решил прорепетировать некоторые партии на сцене, поскольку спектакль давно не шел и поскольку директор настаивал, чтобы для высоких гостей все было на высшем уровне, и поскольку вместо безукоризненной Ольги были две дублерши, от которых неизвестно чего можно ждать.

— Почти как генеральная,— проговорила Мими, когда, окончив танцевать и еще тяжело дыша, остановилась рядом с Виолеттой.

— Шеф сказал «хорошо»,— вставил Васко.— А на его языке это значит «отлично».

Балетмейстер, стоявший немного поодаль, действительно пробормотал «хорошо», что черт его знает что значило, но в худшем случае не выражало недовольства.

На сцене начали репетировать танец шести из третьего действия, и Виолетта делала вид, что наблюдает за танцующими, чтобы скрыть чувство неловкости оттого, что за ней самой наблюдают. Несколько девушек из кордебалета поглядывали из-за кулис на Виолетту и Мими и о чем-то шептались.

— Это они на наш счет прохаживаются,— сказала вполголоса Мими, которая зорко подмечала такие мелочи.— Раз Ольги нет, так на наш.

— А ты злишься? — добродушно спросил Васко.

— Наоборот, радуюсь. С коих пор мечтаю, чтобы начали наконец и мне завидовать.

— Только они не завидуют, а перемывают вам косточки. Сравнивают с Ольгой и перемывают,— поддразнил ее танцовщик.

Они продолжали вполголоса этот бессмысленный разговор — их вообще хлебом не корми, дай языком почесать по поводу и без повода,— но Виолетта уже не слушала. Из глубины сцены веяло холодом и плесенью. Ах, этот запах плесени, и эти пустые разговоры, и эти люди, сгрудившиеся за кулисами, вокруг этой странной комнаты с тремя стенами, где в ярко освещенном пространстве выдуманные существа совершали свои выдуманные поступки. Отсюда было видно, что сказочная феерия состряпана из досок и размалеванного полотнища, отрывистых приказаний, суетни и прозы. Ужасной прозы... И все-таки эти существа стояли, словно околдованные, вокруг этого ярко освещенного помещения, вокруг этой выдуманной комнаты, предназначенной для выдумок и в то же время такой реальной, неодолимо привлекательной, притягивающей, как магнит.

Вариации шестерки подходили к концу. Начиналась кода, а затем ее партия. Партия Черного лебедя.

— Мы готовы? — услышала она над самым ухом голос балетмейстера.

Голос звучал добродушно и ободряюще.

— Немножко боюсь за фуэтте,— пробормотала она.

— Какие еще фуэтте? — На этот раз голос был громкий и с ноткой раздражения.— Бросьте фуэтте, делайте туры по кругу. У нас нет времени для экспериментов.

Все же он был достаточно тактичен, чтобы не сказать «у нас нет времени для провалов», хотя, вероятно, думал именно так. Она заметила, что девушки из кордебалета иронически улыбаются, а Мими жестом подбадривает ее: «Утри нос этому сухарю».

«Не делай ничего, чтобы только утереть кому-то нос»,— говорил ей отец. Но сейчас у нее не было даже сил утирать кому-то нос. От слов балетмейстера она вся сжалась и словно оцепенела. «Ты совсем оцепенела»,— твердила она себе. Расслабься, не думай о тех, кто стоит вокруг, усмехаясь, ни о себе, ни о чем вообще. Не думай ни о чем, расслабься и войди в образ, стань видением, твоим видением, красивой иллюзией, где все правда...

Она уловила как во сне начальные такты адажио, и как во сне увидела, что она уже на сцене, и потом как во сне начала делать пируэты вариации безотчетно, не думая о них, словно это был не ряд заученных движений, начинающихся и кончающихся по плану, а что-то идущее изнутри, естественное для нее, как дыхание, как нескончаемое биение жизни, как живительные токи влечения и отталкивания, встреч и расставаний, нежного слияния и внезапного столкновения, и когда оркестр загремел в нарастающем ритме коды и она завертелась в вихре фуэтте, то не она сама, а какой-то автомат в ней безучастно отсчитывал и отсчитывал их, пока не отсчитал все тридцать два.

Она прислонилась к стене за кулисами, задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем.

— Хорошо...— произнес балетмейстер.

Короткая пауза, сухой голос повторил:

— Даже очень хорошо... Не без технических ошибок... но с подъемом.

Она улавливала из его разбора только отдельные слова. Все еще с трудом переводя дыхание, она с невольным удивлением сознавала, что и на этот раз преодолела преграду, эту самую роковую и непреодолимую преграду. Девушки из кордебалета по-прежнему смотрели на нее, но уже не усмехались и не шушукались. Для них тридцать два фуэтте были чем-то вроде эталона способностей. Похоже, они действительно ей завидовали.

— Подъем, но не без ошибок,— сказала уже дома Мими, передразнивая балетмейстера.— Боже, какой жуткий сухарь! Точно он из пластмассы, и мозги у него из пластмассы, и чувства пластмассовые.

— Не пластмассовые,— возразил Васко.— У него вообще никаких чувств нет. Зато какой глаз на технические погрешности...

Они и в этот вечер собрались у них в том же составе, что и вчера, поскольку денег на ресторан не хватало, а на выпивку дома все же нашлось. На столе и сегодня была одна водка и немного колбасы и ветчины, но завтра после спектакля Васко грозился пригласить их на роскошный ужин, так как кто-то обещал дать ему взаймы.

— Маргаритка меня сегодня просто потрясла,— призналась Таня, намазывая невероятное количество горчицы на кусок ветчины.

Таню нетрудно было потрясти, потому что она, бедняжка, еле перебирала ногами на сцене, как стреноженная лошадь. Путы, правда, не были видны, но весьма ощутимы.

— Только спокойней, надо быть спокойней,— сказал Васко.— Сегодня перед выходом на сцену ты так побледнела, что я решил, что ты сейчас упадешь в обморок.

— Волнуешься за завтрашний вечер, Маргаритка? — поинтересовалась Таня, уплетая ветчину без хлеба,— фигуру все-таки надо беречь.

— Да.

— Как обычно или чуть больше?

— Гораздо больше.

— Тогда скажу тебе про мое средство. Другим я не говорила, а тебе скажу. Ты не заметила, что я никогда не волнуюсь?

Вопрос был столь риторический, что Виолетта не сочла нужным отвечать.

— И знаешь почему? Потому что я воображаю, что в зале полно не людей, а кувшинов. В каждом кресле — по кувшину.

Васко скептически покачал головой:

— Кувшины, между прочим, не кашляют, так что трудно представить, что это кувшины.

— Кашляют не кашляют, воображаю, что кувшины,— настаивала Таня.— Не будешь же ты волноваться, танцуя перед кувшинами?

«Не буду,— подумала Виолетта.— Не буду волноваться, но и танцевать буду так, что люди действительно будут сидеть, как кувшины». Но ведь смысл искусства именно в том, чтобы передать другим свое волнение, только не от страха перед выходом на сцену, а от восторга перед красотой: вот она, красота... возьмите хоть немного, возьмите, кто сколько может, и унесите ее в свою жизнь.

— Боже, сколько мучений только потому, что какому-то старикану взбрело в голову сесть за рояль и сочинить несколько мелодий,— рассуждала вслух Мими.— Небось, когда стучал по клавишам, не представлял, сколько бедных женщин будет надрываться под его музыку.

— Твоему старикану, когда он писал «Лебединое озеро», было лет тридцать — сорок,— заметил Васко.

— Какая разница, сколько ему было лет.

— И он писал свои мелодии не для тех, кто будет надрываться, а для тех, кто...

— ...Кто будет танцевать с легкостью и упоением,— насмешливо подсказала Мими.— Не знаю, щупал ли ты свой пульс, когда кончаешь танцевать.

— Зачем мне его щупать, когда я и так чувствую, что сердце у меня вот-вот разорвется.

— Тогда не болтай зря...

— Да, но я-то на сцене грубая мужская сила. Должен же кто-то вас поддерживать, на руках носить. Грация и воздушность — это дело ваше. И сколько с вас потов сходит, тоже дело ваше. Вот Ольга...

— Не говори мне про эту гусыню...— прервала его Мими.

Она никак не могла смириться с тем, что Васко, хотя и был ее Васко, на сцене носил на руках не ее, а Ольгу.

— Может, и гусыня, но совершенство техники,— вставил танцовщик, чтобы прибавить к водке незаменимую закуску ссоры.

— Совершенство? — воскликнула Мими.— Хочешь сказать: совершенство безликости. Да она все роли исполняет на один манер.

— Ей и в голову не приходит подумать о содержании,— добавила Таня.

— А зачем думать, если содержание мешает ей танцевать,— добродушно вставил танцовщик.— Делает себе человек пируэты, и отлично делает.

— Делает пируэты, но не может создать образ,— возразила Мими.— Она как дети, которых мамы учат читать стишки перед гостями. «Ну-ка, Олечка, скажи нам стихотворение!» И Олечка тараторит без единой ошибочки, не думая, о чем это стихотворение — о завтрашнем дне или прошлогоднем снеге.

— Но ведь без единой ошибочки.

— Да ее ошибка в том, что она с самого начала взялась не за свое дело.

— Ну, это уж ты чересчур... Такая техника...

— Ну, если у нее такая техника, вот и занималась бы гимнастикой. В конце-то концов ей все равно, чем заниматься: балетом или гимнастикой. Ей главное — быть в центре внимания. Так и кажется, что она встает не на пуанты, а на цыпочки, чтобы весь зал мог ее видеть: «Посмотрите, что я могу! Посмотрите, вот я какая!»

— Выпей и успокойся,— сказал ласково, но с некоторым ехидством Васко, наполняя ее рюмку.

Но Мими даже не взглянула на рюмку.

— Она не переживает, а демонстрирует экзерсис. Не страдает и не ликует, а делает пируэты. Зачем ей, чтобы верили в чувства, которых у нее нет, ей надо, чтобы восхищались ее техникой. Вот, посмотрите, как я делаю пируэты: па де бурре ан турнан, тур ан деор, тур аттитюд и еще, и еще, и еще... А теперь хлопайте...

— И хлопают.

— Еще бы. Как чемпионкам по художественной гимнастике. Для нее балет — всего-навсего художественная гимнастика. А для изображения разных там чувств, волнений, переживаний, для этого у нее есть две гримасы: или фальшивая улыбка счастья и упоения, или трагически сдвинутые брови и скорбно поджатые губы.

Тут для большей наглядности Мими изобразила гримасы Ольги. Васко и Таня захохотали, хотя номер был не новый.

«Мими, конечно, ей завидует, так же как и ты. И хоть во многом права, а все-таки завидует».

— Да у нее ни на грош воображения,— продолжала свою обвинительную речь Мими.— Она так же способна что-то вообразить, как я штангу поднимать... Хорошо хоть в кино не снимается, а то, чтоб она прослезилась, пришлось бы ей гору лука под нос сунуть. А вот наша Фиалка все переживает. Уж так переживает, что, того гляди,

спятит. Просто исстрадался ребенок по настоящей партии. И не для того, чтобы покрасоваться, а чтобы исполнить.

— Правда страдаешь, Маргаритка? — спросила Таня.

Потом, берясь за рюмку, добавила:

— Страдай, девочка, страдай. Лучшее средство похудеть...

— Эй, не дразни ее...— прервала ее Мими.

— Ну уж, не смей обижать твоего ребенка...

— Да она ни на что не обижается...— пояснила Мими.— Хоть Фиалкой ее назови, хоть Ромашкой, хоть говори, что Ольга лучше ее, ничем ее не проймешь.

— Ольга лучше нас всех,— решилась наконец высказаться Виолетта.

— Вот видишь...

— Ну что ж, лучше нас, конечно,— согласилась и Таня, заговорщически подмигнув Васко.

— Ты говори о себе! — рассердилась Мими.

— О себе трудно говорить. Я тут пристрастна. А из вас двоих — она лучше.

— Я же тебе сказала, чем она лучше: бездушной техникой.

«Мими ей завидует, бесспорно. И ты тоже. Хотя она и права, все равно завидует. И самое жалкое, что вы завидуете даже такой, как она; такая-сякая, а умеет то, чего вы не умеете».

— У нашей Фиалки, может, нет ее прыжка, но зато есть индивидуальность,— продолжала Мими.— Индивидуальность, дурочка, а не техника! Превратить штамп во что-то свое, чтобы тебе поверили, взволновались, а не чтобы говорили, как ты хорошо выучила урок...

«Ты и вправду все переживаешь, но что из этого? Ты переживаешь до слез, но что из этого? Танцевать — это тебе не сидеть в углу, прикрыв глаза. Приходится таскать по сцене эту машину из костей и мускулов, которая вечно дает сбои при технических трудностях, и злиться, что тебе не хватает той царственной устойчивости, без которой нельзя и которой так гордится Ольга!»

— Ладно, хватит! — крикнул тут Васко.— Надоели вы мне с вашей Ольгой... Нечего пережевывать одно и то же... Я вам говорю: завтра наша Марго такую выдаст Одиллию, что затмит даже английскую Марго.

— Молчи, сглазишь,— оборвала его Мими.

Они продолжали болтать, но Виолетта больше не слушала. И поскольку они приканчивали вторую бутылку и разговор стал чересчур оживленным, она тихонько отошла и уединилась в своем углу.

Лучше всего уснуть, но для этого надо сначала раздеться. Сбросить с себя не только одежду, но и все, что мешает тебе уснуть... Сбросить и мучительные воспоминания, и прозу прошедшего дня. и все эти сплетни, пренебрежительные улыбки, завистливые взгляды. Сбросить с себя это одно за другим, как грязную одежду, и погрузиться в забытье.

Тебе нужен глубокий, успокоительный сон, по возможности без ожидания под дверью, без обрывов и бездн. Тихий и спокойный сон, каким ты давно не спала.

Воскресенье

Великий день начался как обычно, то есть плохо.

В сущности, как всегда, пока не зазвонил будильник, все было не так уж плохо, но это был еще не день, а сумрачное пространство

полусна, узкая полоска ничейной земли между ночью и днем. Ночью с ее кошмарами и днем с его неприятностями.

Кошмар в этот раз был из самых обыкновенных. Она очутилась в каком-то темном и глухом месте, в месте, где, как она смутно помнила, ей приходилось бывать и раньше, но откуда она напрасно пыталась найти выход, потому что не видела никакого знака или приметы, указывающих путь. И, озираясь, она заметила перед собой в полумраке строгие очертания огромной двери и поняла, что стоит у порога.

Так она стояла в холоде и темноте, дрожа в своем старом штопаном трико, перед огромной неумолимой дверью до тех пор, пока в сонном мозгу не мелькнула мысль, что одеяло, верно, сползло на пол, и она не проснулась.

Ожидание у входа было адажио кошмара, а аллегро была бездна. Но в эту ночь она проснулась вовремя и не дошла до бездны, а только немного поговорила в полусне с отцом все на ту же неприятную тему — совершила она подвиг или нет, а затем, наверно, опять уснула, потому что легко и свободно шла по какой-то тропинке среди высоких трав и цветущих кустов, а там, в конце тропинки, среди цветущего кустарника уже синело то прозрачное озеро нежных бликов и теплых течений, в которое она погружалась, пока пронзительный звон будильника не швырял ее в тягостную явь нового дня.

На этот раз будильник не прозвонил, поскольку было воскресенье; но если ты слышишь звонок каждое утро в одно и то же время, то просыпаешься по привычке и без звонка. Она лежала, и сквозь прикрытые веки ее проникал красновато-коричневый мрак. Значит, Мими еще не вставала. Она успокоила себя, что сегодня воскресенье и спешить некуда, но, спохватившись, что сегодня не только воскресенье, но и ее великий день, вскочила и потянулась к выключателю.

Свет в комнате не зажигался, в ванной — тоже: наверное, пробки перегорели. Нет, не перегорели, а контролерша вывернула, потому что Мими забыла вчера заплатить. Виолетта пошарила в ящике стола, потом в шкафчике, стоявшем в нише, но свечи так и не нашла. В конце концов помыться можно и в темноте.

День начинался нормально, с обычных мелких неприятностей, и это успокаивало ее. Когда все хорошо — это не к добру, как говорит Мими. Виолетта приняла душ, вытерлась и вошла в комнату, ежась от холода. Мими все еще спала, укрывшись с головой. Она всегда спала, укрывшись одеялом с головой, чтоб было теплее, а может, чтоб ей не снилось, будто она движется в бесконечном ледяном мраке, из которого нет выхода.

Беспорядок в комнате был невообразимый. На столе — остатки вчерашнего ужина, разбросанная повсюду одежда, а в углу — раскиданные по полу пластинки и неубранная постель с посекшимися от стирки простынями и этой старой наволочкой, увенчанной желтым пятном. Завтра нужно будет сделать генеральную уборку, кое-что купить и первым делом — смену белья. Завтра будет день домашних хлопот. Завтра, не сегодня.

Поесть было нечего: даже безвкусное и твердое, как камень, печенье кончилось, кофе не сваришь — свет отключен. Она не стала будить Мими и вышла из дома.

В артистической и репетиционном зале было пусто. Она разделась и натянула боевые доспехи — ох уж эта наша профессия, только и делаешь, что переодеваешься. Она сделала несколько легких упражнений, чтобы разогреться, потом перешла к более сложному экзерсису, сначала — у стенки, потом — в середине зала. В огромном зеркале на противоположной стене она видела только одинокую фи-

гурку в черном купальнике — свою фигурку. Иногда она нравилась себе и казалась тонкой и грациозной, а иногда — просто тощей.

Зеркало. Педагог говорила: «Смотрись, чтобы видеть все свои ошибки», а балетмейстер ворчал: «Хватит тебе смотреться, как тут вжиться в роль, если ты беспрерывно смотришься в зеркало».

Она кончала экзерсис, когда в зал заглянула педагог.

— Ах, ты здесь, Виолетта.

И добавила несколько двусмысленно:

— Да и где тебе быть... Только не переутомляйся. Я же тебе говорила: когда у тебя вечером спектакль, не переутомляйся днем.

Виолетта кончила экзерсис, оделась и вышла, не решив еще, куда пойти: домой ей не хотелось, а столовая сегодня не работала, да и обедать было еще рано. Поэтому она почти обрадовалась, столкнувшись при выходе с педагогом.

— Пойдем попьем кофе,— предложила та.

Она была бывшая балерина и бывшая прима, хотя и не из самых известных. У нее было приятное, но уже дряблое лицо, весьма сильно накрашенное. В общем, печать лет и забот о том, чтобы их скрыть. И фигура у нее уже расплылась — она, видно, отъедалась за прежние полуголодные годы. Требовательность в этом отношении, как и во всех остальных, она теперь проявляла исключительно к своим воспитанницам. Строгая, придирчивая, она не церемонилась, делая замечания, но резкий тон не мог скрыть ее доброжелательности, и большинство девушек любило ее.

Они отправились в «Алый мак». Да и куда еще пойдешь. День был сырой и серый. Всю ночь лил дождь, тротуары не успели высохнуть. Стволы деревьев вдоль улицы казались совсем черными от влаги, так же как и ветви, неподвижно застывшие в сером осеннем небе.

По дороге и в «Алом маке» они молчали. Только когда они уже допивали кофе, педагог спросила:

— Отчего ты одна? Где Мими?

— Отдыхает.

— А ты почему не отдыхаешь?

Виолетта не знала, что ответить.

Та, два раза жадно затянувшись сигаретой — явно добирала за все годы, когда приходилось воздерживаться и от курения,— заметила:

— Балет — это еще не все, Виолетта... И сцена тоже. Уж не забыла ли ты, что кроме балета и сцены есть еще и жизнь?

— А для меня жизнь в этом.

Педагог сделала еще одну затяжку, потом резким движением смяла сигарету в пепельнице.

— Все мы так думаем... По крайней мере, какое-то время и до какого-то возраста... А потом... Потом видишь, что ты проживешь без балета и балет без тебя.

— Вы еще приносите большую пользу,— осмелилась сказать Виолетта.

— Будем надеяться... Только разве мы этого хотим — приносить пользу? Или мы просто увлеклись, втянулись, привыкли, как к сладкой отраве. Не можем вырваться из этой обстановки, не можем жить без этой атмосферы — без суеты репетиций, и лихорадки премьер, и толпы у входа, и софитов, и афиш, и даже неприятностей...

Она взяла пачку «Стюардессы», достала сигарету, но положила ее на стол.

— Слишком много курю...

И, задумчиво посмотрев на Виолетту, неожиданно спросила:

— Ты, к примеру, спрашивала себя, ради чего ты надрываешься?

— Чувствую, что еще не достигла всего.

— А кто всего достиг? — подняла аккуратно подведенные брови бывшая балерина.— Одной того не хватает, другой — другого...

— Да, но они все-таки отличаются...

Она снова потянулась за сигаретой и на этот раз закурила. Снова взглянула на Виолетту, словно спрашивая, как понимать ее слова, но, очевидно, поняла их по-своему, потому что сказала:

— Верно, отличаются. И некоторые только и думают о том, как бы отличиться. Все мы слишком много думаем об этом. Рвемся получить медали: не золотую, так серебряную, не серебряную, так бронзовую. Но сейчас, когда я давно занимаюсь не собой, а другими, всеми вами, мне все чаще кажется, что искусство — не состязание... конечно, если ты служишь ему, а не оно — тебе. Тогда ты будешь продолжать работу, не считая ее состязанием. Будешь делать ее как можно лучше, насколько можешь лучше и — точка.

— Но ведь талант...

— Что ты знаешь о таланте? — снова подняла она брови.— Я уже десять лет педагог и ничего не знаю о таланте. Знаю многое о физических данных, знаю все об упражнениях, но о таланте — ничего, кроме всем нам известной притчи.

— А я даже не слыхала про такую притчу.

— Я ее тоже подзабыла. Но ты все-таки знаешь, что «талантами» в древности называли золотые монеты. Так вот, господин дал самому верному из слуг пять талантов, второму слуге — два и третьему — один, не помню точно цифры, но какая разница сколько,— и уехал. В один прекрасный день он вернулся и потребовал отчета. Первый слуга своим трудом приумножил деньги, второй зарыл их для сохранности в землю, а третий растратил свой талант. И господин вознаградил первого, отобрал деньги у второго и прогнал третьего. «Лукавый раб!» — сказал он ему и вообще велел убираться с глаз долой.

Взглянув на Виолетту, она еще раз затянулась сигаретой и прибавила:

— Думаю, достаточно ясно. Наше дело умножать то, что нам дано.

— Но это зависит и от того, сколько нам дано.

Педагог развела руками:

— Согласна. Но что поделаешь, если одним дано больше, другим — меньше. Так уж ведется, что бог одному даст, а другого обойдет. Почему, отчего — дело его. А наше дело — использовать свои возможности, чтобы служить искусству, не слишком заботясь о медалях.

Она все время твердила об этих медалях. Верно, решила, что Виолетта ни о чем, кроме медалей, не мечтает, что она из тех, кого всю жизнь гложет честолюбие. А может, просто хотела ее вразумить. Увести из холодного мрака, от этой двери и бесконечного, серого, осыпающегося под ногами обрыва: осторожней, девочка, в жизни есть и еще кое-что, кроме этой двери и обрыва.

И она как Пламен.

■

Виолетта попрощалась с ней у «Алого мака» и нехотя пошла домой. И поскольку домой ей идти не хотелось, а для прогулок в городе было не так уж много мест, она повернула к городскому саду, который был в двух шагах отсюда. И раз уж она подумала о Пламене, то, конечно же, увидела, что он идет по тротуару ей навстречу.

Подойдя к нему ближе, она слегка кивнула и хотела пройти мимо, но он остановил ее:

— Здравствуй, Виолетта. Хочу поздравить тебя с новой ролью.

Он прекрасно знал, что это никакая не новая роль и что Виолетта просто заменяет Ольгу в одном-двух спектаклях, но, очевидно, стремился показать, что ценит ее успехи.

— Я очень рад. Ты заслужила эту роль.

Он не уточнил, чем она ее заслужила — талантом или трудом, но, по-видимому, имел в виду второе. Она пробормотала что-то в знак благодарности и уже готова была идти дальше, но его великодушный и фальшиво-юбилейный тон обозлил ее, и она услышала, как произносит:

— Зачем ты мне об этом говоришь?

— Понимаешь...— он запнулся, подыскивая слова.— Расстались мы с тобой как-то нескладно... не как положено... не попрощавшись... И ты, может, считаешь, что я круглый дурак и такой тупой, что не способен тебя понять...

Он ее понимал, хотя, естественно, по-своему. Ему, наверное, так же, как и Мими, казалось, что она, одинокая и несчастная, карабкается по этому проклятому обрыву к недостижимому. Такая же безумная, как и великое множество других, карабкающихся к недостижимому.

— Я не говорила, что ты не понимаешь меня...— вяло сказала она.— Мы все в чем-то понимаем друг друга... и в чем-то не понимаем... такая уж у нас у всех судьба.

Они немного помолчали, и он произнес уже другим тоном:

— Я приду вечером... И буду болеть за тебя...

Она пошла к городскому саду. День был все такой же серый, но где-то высоко в облачном небе появилось светлое пятнышко. Это солнце пробивалось сквозь тучи. Такое унылое и немощное солнце. Как сочувствие Пламена.

В этот воскресный обеденный час и в эту хмурую погоду в городском саду не было ни души. Мокрая аллея терялась в густоте черных деревьев. Серое и черное. Не говоря уж о сырости и холоде.

«Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно».

Она брела по аллее, стараясь не думать о Пламене и вернуться к мыслям о спектакле. Вот уже два дня, как она жила своей ролью, насколько можно жить ролью, когда все вокруг словно сговорились тебя от нее отвлекать. Она должна преобразиться в коварную искусительницу. Она и коварство... Она и искушение... И чем больше она вживалась в эту роль, тем отчетливее сознавала, что приспосабливает ее к себе вместо того, чтобы войти в нее. Черный лебедь превращался из символа зла в символ несчастья... Черный лебедь... эта роль самая трудная на сцене, потому что она самая трудная в жизни.

Черный лебедь... Родиться на этот свет только для того, чтобы стать отражением звезды второй величины, которая будет затмевать тебя, пока ты не угаснешь.

Но вот приходит время и Черного лебедя, хотя всего на одно паде-де в третьем действии. И он раскроется и предстанет во всей своей красоте, и белый лебедь побледнеет перед ним и превратится в бледного лебедя...

«Не делай ничего только чтобы утереть кому-то нос,— вспомнила она.— Делай это, потому что это хорошо».

Увлеченная своими мыслями, она невольно ускорила шаг. Куда ты спешишь? Могла бы и не торопиться, тебе все равно некуда идти. Она хотела сесть на скамейку, но скамейка еще не высохла после вчерашнего дождя. Здесь, в гуще деревьев, было почти темно, лишь одинокий косой луч проникал между ветвей, словно не для того, чтобы осветить сад, а лишь показать, как он мрачен.

Солнце выглядывало из-за туч. Она сделала еще несколько шагов и вышла на площадку с качелями и каруселями. Отыскала одну уже сухую скамейку и присела.

Посреди безлюдного песчаного пятачка качались на качелях два мальчугана, счастливые тем, что площадка целиком в их распоряжении. Мальчик поменьше был в сером, не по росту длинном пальто, тот, что постарше,— в одном свитере. Шея его, однако, была обмотана лиловым шарфом, а на голове по самые брови была надвинута лиловая вязаная шапочка уже с дырочкой на макушке. Большой мальчик высоко-высоко взлетал на качелях. Маленький, угрожающе шмыгая носом, изо всех сил старался раскачаться.

Вот два существа, умеющие радоваться тому, чем пренебрегли другие. Легче всего быть довольной, если ты беззаботна. Но ты никогда не была беззаботной. Самое верное средство — быть невзыскательной. Но ты никогда не была невзыскательной. Ты хотела только одного, но жаждала его всей душой и не отказалась от этого, даже когда увидела, что ничего не добьешься. С этаким упрямством будь счастлива, если можешь.

Посидев немного, она встала и пошла обратно. Аллеи были все так же пусты. Сырость и запах гниющих листьев. Летом тут полно народу, а сейчас весь сад — твой. То, чем другие пренебрегают, всегда в избытке. Может, в этом и есть рецепт, как быть довольной жизнью? Привыкни к тому, чего не едят другие, и будешь всегда сыта. Радуйся одиночеству. Вкушай с удовольствием неприятности. И смотри на разочарования как на экзерсис для нервов.

Она пришла домой вовремя, то есть когда гнев Мими поутих.

— Я эту паршивку аж дома разыскала... Надо же, встать в воскресенье ни свет ни заря, чтобы вывернуть пробки! Вам что, говорю, платят за то, что вы людям гадости делаете? Я, говорит, выполняю свой долг, а вы свой выполняйте. Вы должны предупреждать, говорю, я на вас жаловаться буду. А она: сколько раз мне вас предупреждать! «Сколько раз» — представляешь! Один раз всего заявилась, и уже «сколько раз». Я швырнула ей деньги на стол, но такой скандал закатила...

Лампочка в нише над шкафом горела — результат скандала был налицо. Шторы были отодвинуты. От этого стало еще виднее, какой у них в комнате разгром. На Мими надеяться нечего, она так и будет жить в грязи, даже не подумает убраться.

Сквозь прозрачный тюль зеленой занавески нетрудно было заметить двух соседок в доме напротив, наблюдающих, что творится на белом свете, особенно за зеленой занавеской, за которой не иначе как содом и гоморра.

— Если бы у этих сорок вместо глаз было по сверлу, наше окно давно бы превратилось в решето,— пробормотала Мими.

Она встала с кушетки и направилась к нише.

— Ты куда это бегала с утра пораньше? Полежи немножко, отдохни, у тебя вечером спектакль.

Виолетта, не отвечая, постелила одеяло, закуталась в шаль и улеглась на кровати.

— Хочешь кофе?

— Нет, не хочу. Я уже пила.

— С кем?

— С педагогом.

— С этой змеей? Господи, Фиалка, тебя в гадюшник посади, ты все равно будешь довольна.

Мими принялась варить кофе, а Виолетта, прикрыв глаза, постаралась расслабиться. И похоже, расслабилась больше, чем нужно, по-

тому что, когда она проснулась, в комнате было темно, и Виолетта с ужасом подумала, что опоздала на спектакль. Но часы показывали только пять, просто Мими задернула шторы и в свою очередь уснула.

До семи оставалось еще два часа. Как раз столько, сколько нужно, чтобы спокойно, не спеша, приготовиться к спектаклю — загримироваться, разогреться, сделать небольшой экзерсис, потом надеть костюм и, наконец, самое тягостное — ждать.

Она встала, умылась, надела темно-синее пальто, взяла сумку с боевым снаряжением и серой собачкой и отправилась навстречу испытанию.

■

— Победу-то надо отметить,— сказал Васко.

— Естественно, ты же обещал,— ответила Мими.— Надеюсь, что кроме желания ты располагаешь и необходимыми средствами.

— Насчет этого не волнуйся.

Они шли втроем к артистической по коридору, по неприглядному коридору, с серыми, как в казарме, стенами, им шли навстречу или обгоняли их балерины, одни уже в пальто, другие еще не успевшие переодеться. Обычная суета после спектакля, все спешат из театра, словно опасаясь, что — несмотря на множество огнетушителей — в нем вот-вот вспыхнет пожар.

Наконец испытание позади. Просто невероятно — кончилось испытание, нет надобности стоять, замирая от страха и стараясь подавить его.

Спектакль прошел хорошо. Сверх всяких ожиданий. Балетмейстер остался доволен, что все прошло так хорошо, и даже рискнул выразить это вслух. Что же касается директора... Ты видела его в ложе позади гостей, видела, что сначала он сидел как на иголках, а потом вздохнул с облегчением, когда роковая кода осталась позади и полились звуки венгерского танца. Все прошло хорошо. Просто невероятно.

— Может, ты соизволишь наконец разгримироваться? — услышала она голос Мими.— Я уже готова. Мы с Васко ждем тебя внизу.

Виолетта сидела на своем месте в артистической, устало опустив голову и скрестив руки на коленях, как это делают старухи, и так глубоко задумалась, что забыла, что ей надо делать. А ей ничего не надо было делать. Ведь испытание позади. Просто странно, как пусто становится на душе, когда тебе уже ничего не нужно делать.

— Не ждите меня,— сказала она устало.

— Почему? Разве мы не будем отмечать победу?

— Без меня. Я страшно устала.

— Я тоже устала, но это — не причина.

— По-моему, у меня температура.

— Не исключено... При твоем адском напряжении...

Мими глянула на нее, хотела что-то добавить, но передумала. Взяла сумку и пошла к двери:

— Во всяком случае, если будешь чувствовать себя лучше, мы — в ресторане.

Наконец одна. Теперь, когда уже нечего делать, хотя ведь было еще что-то... что-то... Ах, да, позвонить отцу.

Она подняла голову и посмотрелась в зеркало. Худое, бескровное лицо с большими серыми глазами. Когда-то они были голубыми, но потом стали серыми оттого, что ты долго пристально всматривалась во что-то очень светлое или очень далекое.

Она достала туалетное молочко и машинально начала намазывать лицо, свое худое, бескровное лицо, о котором одни говорят, что у тебя

тонкие черты, а другие, что ты похожа на смерть. Еще немного посидев, она медленно и аккуратно принялась снимать ватой грим. Потом встала, чтобы снять пачку. Черную пачку. Наряд Черного лебедя.

Спустилась вниз, в будку вахтера, позвонить отцу.

— Папа... Я тебя не разбудила?

— Что ты, что ты. Ты ведь знаешь, как я жду.

— Все прошло хорошо...

— Хорошо или очень хорошо?

— Балетмейстер сказал: очень хорошо.

— Ну, раз он так сказал, тогда я спокоен. Вашему балетмейстеру трудно угодить. А ты?.. Ты-то сама довольна?

— Скорее, устала.

— Ну, еще бы тебе не быть усталой... Ну как, будешь ты еще выступать в этой роли?

— Не знаю... Возможно.

— В таком случае не смей приезжать. Я почти здоров. А после такой новости...

На улице у служебного входа ее поджидал виолончелист. Она совсем забыла про него.

— А я уже подумал, что проглядел вас... Ну как, пошли домой?

Он не уточнил, что подразумевает под словом «домой» — свою квартиру или ее. Очевидно, эта двусмысленность была предусмотрена. Спрашивать его о чем-либо или говорить с ним было излишне. Она не отвечая свернула на темную боковую улицу, слабо освещенную редкими фонарями. Одна из трех улиц, по которым проходил ее ежедневный маршрут. По этому маршруту она ходила каждый день в этом незнакомом городе. Виолончелист не отставал.

— В прошлый раз вы решили меня напугать...— начал он.— Только и я кое-что решил: я решил рискнуть.

— Вы опоздали,— холодно произнесла она.

— Вы так быстро нашли жениха?

— Вы опоздали,— повторила она.

И, остановившись, сказала более резким тоном:

— Оставьте меня в покое!

— Но почему... почему... я только иду домой...— забормотал он, удивленный ее резкостью.

— Вот и идите... И не смейте больше ходить за мной,— крикнула она и несколько неожиданно даже для себя повернулась и пошла к главной улице.

Пожалуй, она и впрямь ужасно устала. Она вдруг осознала это сейчас, когда повернула в обратную сторону и пошла, сама не зная куда, только чтобы отделаться от этого нахала. Все-таки можно было бы зайти в ресторан. Или хотя бы присесть на минутку в саду, пока ноги не отойдут.

Да, все прошло хорошо. Даже очень хорошо, как соблаговолил отметить балетмейстер. После па-де-де в третьем действии даже раздались аплодисменты. В этом месте и после такого трудного па-де-де дирижер по привычке делал маленькую паузу, чтобы публика могла похлопать. Раздались аплодисменты, и, неловко кланяясь, Виолетта заметила Пламена, который тоже хлопал и дружелюбно подмигивал ей. Он сидел в третьем ряду, разумеется, с той, новой, но хлопал и дружелюбно ей подмигивал.

Она подошла к саду, темному и молчаливому, и опустилась на первую же скамейку под первой люминесцентной лампой. В свете прожектора. Словно на сцене.

Да, все прошло хорошо. Или по крайней мере на совсем приличном уровне. На довольно приличном уровне. Или, вернее, ужасно. С

самого начала все пошло ужасно, сразу же после адажио, когда она начала делать пируэты вариации. Она уже была охвачена воодушевлением, тем воодушевлением, что заставляет забывать о технических трудностях и преображает тебя из исполнительницы в героиню, превращает эти комбинации из «па» и «аттитюдов» во вдохновенный танец, в единый, исполненный чувства порыв. Она уже вся была охвачена воодушевлением, ей казалось, что она им охвачена, как вдруг ощутила эту отвратительную скованность, эту вечную леденящую скованность не от смущения и страха перед публикой, а от страха перед собственной беспомощностью, от холодного сознания посредственных возможностей твоей телесной машины, которая делает все не как надо, на посредственном уровне, даже хуже Ольги. И воодушевление сразу исчезло, и ты уже не танцевала, а выполняла упражнения: па де бурре ан турнан, тур ан деор, тур аттитюд и еще, и еще, и еще.

Да, ты лишь выполняла упражнения, и притом весьма посредственно, и, дойдя до коды, ты предприняла последнюю попытку спасти что можно эффектом заключительных фуэтте, но на этот раз не смогла сделать и фуэтте, потому что, не справившись как следует с пируэтами, ты совсем была скована этим отвратительным чувством беспомощности, и, едва начав эти проклятые фуэтте, ты сбилась и поспешила перейти на туры по кругу.

Так или иначе все как-то сошло, и дирижер по привычке сделал маленькую паузу, чтобы публика похлопала, и она оказалась воспитанной и заполнила паузу, и, в общем, раздались аплодисменты, те жидкие и недружные хлопки, которыми награждают из милости.

Да, так или иначе, но обошлось без провала, которого так боялись директор и балетмейстер. Провалилась только ты, и только по своей вине. До сих пор ты тешила себя иллюзией, что ты не станцевала настоящей партии только потому, что тебе ее не дают. А теперь тебе ее дали, и ты ее исполнила... прилично, как и Мими без особых усилий исполнила свою. Общее у тебя с Мими не только квартира. Обе вы черные лебеди одного и того же невысокого полета.

«Отметим победу»,— воскликнула Мими. Только для тебя эта победа — последнее поражение. Последнее после стольких прежних. И, может, самое тяжелое, поскольку лишает тебя той иллюзии — твоего последнего утешения. Тебе дали наконец эту роль, и ты с ней не справилась. Нет, не то чтобы не справилась. Ты с ней справилась насколько можешь, показала, на что ты способна и на что... не способна. Чтобы вернуться туда, где тебе место — у порога.

Большая роль... В сущности это была твоя заветная мечта. Не сказочный принц, который мог бы явиться однажды и к тебе, а большая роль. Если уж говорить о принце, ты никогда особенно о нем не думала. Естественно, и у тебя должен быть принц, раз все вокруг хвастаются своими любовниками и поклонниками. Но это мог быть и самый обыкновенный принц, например из отдела культуры в горсовете. Не принц, а большая роль — вот твоя мечта. Вот что было твоей мечтой.

Она чувствовала, что промозглая сырость от кустов вокруг скамейки все сильнее пронизывает ее, этот холод с запахом гнилых листьев. Она невольно поежилась и встала.

«Накиньте что-нибудь на плечи. Здесь прохладно».

Все-таки можно было бы зайти в ресторан. В ресторан? Где чад и винные пары, где гвалт, где бессмысленный гомон голосов в облаках табачного дыма, где шутки Васко и насмешки Мими...

— Ты все больше отдаляешься от всех. Даже от самых близких, от тех, кто был тебе ближе других,— от отца, от Пламена, Мими, не говоря об остальных. Это совершенно естественно. Раненое животное забивается в свою нору, чтобы спокойно зализывать раны. Или умереть

в одиночестве. Стремление к одиночеству, в сущности,— постепенное умирание. Смутное желание уйти из жизни. Ведь нет более полного уединения, чем могила.

Она медленно направилась к дому. Пересекла главную улицу и поплелась по той, боковой, тонувшей во мраке. Безликая улица, которая могла бы быть где угодно — в Софии, на краю света или в этом городе, который ты, проведя в нем столько лет, так и не изучила. Для тебя этот город — зал, огромный и полутемный зал по ту сторону комнаты с тремя стенами.

В краткие мгновения между пируэтами ты смутно видела перед собой зияющее темное и глухое пространство этого напряженно притихшего зала. Кувшины? Чепуха. Это бездна. Роковая бездна, над которой можешь взлететь, увлекая за собой людские сердца: вот она — красота... возьмите хоть немного и унесите в свою жизнь. Бездна, над которой можно взлететь, но в которую можно и рухнуть.

И ты рухнула оттого, что тебе не хватает... чего-то — может быть, какого-то пустяка, какой-то особенности в строении твоего тощего тела, мускулов и сухожилий... Искусство и мускулы... Оттого, что тебе чего-то не хватает, и оттого, что ты что-то утратила — хладнокровие, дерзость, веру в себя.

Если бы ты послушалась балетмейстера и удовольствовалась партией Одетты, ты справилась бы гораздо лучше. Но ты пожелала другую партию. Ты упросила дать ее тебе тем настойчивым, умоляющим взглядом, которым посмотрела на Мими. Ты не довольствуешься тем, что тебе по силам, ты хочешь невозможного.

Ты хочешь быть Черным лебедем... Тем самым, что пытается сойти за белого, как ты — за настоящую балерину. Но между вами есть разница. Ему это удается, а тебе нет.

Может, Пламен прав, и все-таки лучшее из всего — балетный кружок. Будешь учить молодых. Будешь их учить тому, чему сама не научилась — подвигу и искусству.

Она остановилась перед своим домом. На этот раз никто не мешал ей войти. Она медленно поднялась по лестнице — три улицы, четыре этажа, ежедневный маршрут. Комната дохнула на нее холодом и застоявшимся запахом табачного дыма и мужского одеколона. Когда у Мими кончался одеколон, как назло как раз в последних числах месяца, она брала одеколон у Васко — «Табак», из тех, каким пользуются в дешевых парикмахерских. «Подумаешь, дело большое».

Она включила свет, сняла темно-синее пальто и повесила на вешалку. Прошла через всю комнату, не обращая внимания на беспорядок, и присела на кровать. Посидела некоторое время так, опустив хилые плечи и скрестив по-старушечьи руки на коленях. Тема вальса из третьего действия все еще звучала у нее в ушах.

Спектакль окончился. Впереди была ночь. И сны. Но прежде чем увидеть сны, тебе придется снова пройти через боль. И пережить все сначала. И спрашивать себя, в чем же ошибка. И думать, есть ли тут ошибка или, в сущности, и ошибка, и неудача, и крушение — все это логика предначертанного пути.

Если бы был бог, ты предстала бы перед ним, когда придет твой час, и, может, набралась бы храбрости спросить: «За что, о господи? Ведь у любого испытания должен быть какой-то смысл». Но бог вряд ли существует. Но даже если он и есть, то едва ли будет заниматься балетом.

И что из того, если крушение — неизбежный конец предначертанного пути? Что еще остается тебе, кроме как идти по этому пути и карабкаться, изнемогая от усталости, по нескончаемой крутизне. Что́,

если не считать возможности остановиться и отказаться, подобно стольким другим.

Отказаться, осознав свое бессилие,— это самое ужасное. Нет ничего ужаснее, чем отказаться от подвига, даже если знаешь, что ничего у тебя не выйдет. Лучше бессмысленно карабкаться на эту невероятно крутую гору, непрерывно скользя, карабкаться, несмотря на препятствия и неудачи, тоску и неудовлетворенность, экзерсисы и маленькие роли, леденящий холод одиночества и резкий ветер неприязни, вырываться из этого всего и взбираться, чтобы снова тотчас же натыкаться на то же самое, и снова вырываться, и снова взбираться, устремляясь вперед и вперед в своем порыве, в своем движении туда — к сиянию далекого небосклона, к вершине, которой, ты знаешь, тебе никогда не достичь.

Она устало поднялась и сделала несколько шагов к проигрывателю. Хотела его включить, но передумала. Какой смысл включать, если тот, другой проигрыватель и без того играет у тебя в голове и тема вальса из третьего действия все еще звучит в твоих ушах. Она звучала все время, но теперь в ней появилось что-то дразнящее и наглое, как усмешка. Словно какой-то холодный и враждебный голос исполнял пародию на прекрасную музыку. Как те враждебные силы, которые, сковав тебя в своих холодных объятиях, заставили превратить в пародию прекрасный танец. Эта вечная безликая и враждебная сила, становящаяся на твоем пути, могучая и коварная сила, которой ты все же отказываешься подчиниться.

Она вернулась в свой угол и снова села на кровать, опустив голову и скрестив руки на коленях, как делают старухи.

Единственное утешение — твое упорство, это хоть что-то надежное, его-то никто у тебя не отнимет. Она понимала: что бы ни случилось и как бы ни было уже поздно, она не откажется и не остановится, а будет карабкаться дальше, и это была ее последняя вера, горестная вера тех, кто упорно ползет вверх по бесконечно крутой горе, ползет отчаянно и без надежды, потому что знает, что вершины никогда не достичь. Будешь ползти, стискивать зубы и плакать.

Плакать она могла, только когда Мими решала наконец отложить роман и погасить свет. Очень глупое занятие. Не читать романы, как Мими, а плакать, как она. Днем она никогда не роптала, не ныла, не жаловалась и по привычке копила все в себе. И когда накопится столько горечи, разве можно не излить ее одним-единственным способом, каким бы бесполезным он ни был. Могла ли она не излить ее, хотя бы чтобы освободить место для новой порции.

Она поворачивалась на левый бок, к стене, хотя отец когда-то, очень давно, говорил ей, что нельзя спать на левом боку, потому что так давишь на сердце. Может быть, она действительно давила на него, но и без того на сердце у нее была такая тяжесть, что чуть больше эта тяжесть или чуть меньше, уже не имело значения. Она поворачивалась на левый бок к стене и зарывалась лицом в подушку, чтобы Мими не слышала, как она плачет. Она лежала, зарывшись головой в подушку, и плакала, но не так, как ей хотелось — громко, навзрыд, как она плакала когда-то вволю, чтобы облегчить душу, а плакала все так же сдерживаясь, украдкой, не позволяя прорываться рыданиям, и мочила слезами подушку. Так сильно мочила ее, что наволочку слева всегда украшало желтое пятно.

Из-за этой Мими нельзя даже вволю поплакать.

■

КРИСТЕР ЧИЛЬМАН

Милейший принц

РОМАН

Перевод со шведского Л. ГОРЛИНОЙ

Жил на свете один человек, ему было сорок восемь лет, и он был вполне доволен своей жизнью. Звали его Дональд Блаад, и все, за что бы он ни брался, ему удавалось. В юности он мечтал о великом будущем, и мечты его сбылись. Он получил все, чего желал: деньги, женщин, власть. Что касается чести, ее на его долю выпало меньше, но как раз это его не огорчало. Чести он никогда не добивался. Он был здоров, доволен и расчетлив.

Дональд Блаад был богат. Начал он с пустыми руками, такими пустыми, какими только могут быть руки, в которых ничего нет. И вот теперь, тридцать лет спустя, он был богат. Он владел процветающей фирмой, которая занималась импортом, и до недавнего времени был ее генеральным директором. Теперь он был только председателем правления. Кроме того, он входил в правление крупной строительной фирмы и владел большим пакетом ее акций. Не говоря уже о других его занятиях. Словом, ему давно уже не приходилось ломать голову над тем, как свести концы с концами.

Дональд Блаад не спрашивал себя, счастлив ли он, ибо был убежден, что он абсолютно счастлив. Он имел все. Разве это не доказательство счастья? В общей сложности у него было пять жен, с тремя из которых он состоял в законном браке. И конечно, множество женщин помимо того. Детей у него было шестеро. Но особой любви он не питал ни к одному из них. У него хватало времени производить их на свет, но не любить. Иногда мысль об этом будила в нем неприятное чувство собственной ущербности.

За плечами у него лежал долгий путь. Дом, в котором прошло его детство, был серый, бедный и безрадостный. Зато теперь он мог не отказывать себе ни в чем. Однако годы и жизненный опыт научили его, что весьма разумно отказывать себе во многом. Дональд Блаад вовсе не хотел умереть от инфаркта миокарда. Его образ жизни, когда дело не касалось женщин, был скорее спартанский, чем сибаритский. А ведь были и такие времена, когда он даже подумать не мог, что можно обедать без фазана а-ля так или этак или седла дикого оленя с бутылкой выдержанного вина (а температура вина! Сколько раз он отсылал бутылку обратно, если вино оказывалось чересчур теплым

© Christer Kihlman, 1975.

или чересчур охлажденным). Но все это было в далеком прошлом. Теперь он предпочитал на обед голубцы с брусничным соусом и стакан простокваши.

Его отец, которого звали Брюнольф Блад, работал дворником в большом доходном доме, принадлежавшем знаменитому роду Лехтисуон-Лехтиненов. В те времена про Дональда говорили: «Этот невоспитанный дворников мальчишка». А теперь он в дружбе и на «ты» с премьер-министрами, министрами иностранных дел, губернаторами и горными советниками[1]. Не говоря уже о других его связях.

Жил на свете один человек, он был весьма доволен своей жизнью. Звали его Дональд Блаад, ему было сорок восемь лет, и он считал, что ему удалось все, чего он добивался, что осуществились даже самые дерзкие мечты его юности. Он получил все, чего желал: деньги, женщин, власть. С честью, правда, обстояло плоховато, но как раз это его не огорчало. Чести он никогда не добивался. Он был здоров, доволен и расчетлив.

У Дональда Блаада было пять жен, с тремя из которых он состоял в законном браке. Они родили ему в общей сложности шестерых детей. Он не очень любил своих детей, но ему нравилось производить их на свет. Его старший сын — ему было уже двадцать семь лет, и звали его Майлз — был делец, подающий большие надежды, за рекордно короткое время он сумел получить и юридическое и экономическое образование; недавно Майлза назначили коммерческим директором одного крупного концерна. Он был гордостью Дональда и любимцем всего рода. Сестра Майлза. Роза, умерла. Она умерла в Лондоне несколько лет назад, приняв слишком большую дозу амфетамина; вот тогда-то у Дональда Блаада и мелькнула в первый раз мысль, что, может быть, он в каком-то отношении ущербен.

Младшему сыну Хансу, или Ханну, было три года. Мама Ханну была намного моложе Дональда, она вполне годилась ему в дочери, они прожили вместе несколько лет, произвели на свет сына и разошлись без какого-либо намека на драматические сцены. Мама Ханну, ее звали Элина, решила выйти замуж за своего одногодка, социолога, жившего на стипендию, выдаваемую научным работникам, а сам Дональд к тому времени уже познакомился с Ванессой.

Троих средних детей родила женщина, брак с которой длился больше десяти лет и считался вполне счастливым. Гюннель была очень красива, она так и не изжила горечи, вызванной их разводом. Дональд бросил ее ради Элины, дети остались с матерью, и все последующие годы она прилагала немало усилий к тому, чтобы Дональд виделся с ними как можно реже. Детей, двух девочек и мальчика, звали Анна, Торбьёрн и Карола. Теперь Торбьёрн был уже почти взрослый. Он собирался стать художником и много пил. Уйдя от матери, он поселился у отца. Трудный ребенок.

Дональд Блаад был богат. Он владел фирмой, занимающейся импортом, которую получил от старшего брата Эмиля, эмигрировавшего в Америку. Кроме того, он был совладельцем и членом правления строительной фирмы, на совести которой было строительство нескольких наименее привлекательных пригородов столицы. Хм, хм.

На протяжении всей жизни враги обвиняли Дональда Блаада во многих неблаговидных делах. Его называли бессовестным хамом, преступником, фанфароном, выскочкой, приспособленцем и другими бранными словами, которыми люди завистливые обычно награждают

[1] Почетный титул в Финляндии и в Швеции. *(Здесь и далее прим. перев.)*

своих более удачливых сограждан. Сперва это было неприятно, но человек ко всему привыкает. Дональд Блаад привык очень быстро. У него были налажены связи со всеми сколько-нибудь важными политическими партиями. Он всегда избегал проявлять политическую активность в каком-нибудь одном определенном направлении — вот только сразу после войны, будучи еще совсем молодым, некоторое время состоял в коммунистической партии. Бизнес прежде всего, обычно говорил он.

Самые неприступные двери в этой стране дружески распахиваются, стоит мне только постучаться. И я стучусь в них довольно часто. Теперь стучусь. Это входит в мои планы.

Какие планы?

К моим советам прислушиваются. Я выполняю поручения, которые навсегда останутся скрыты от взоров общественности.

Жизнь научила меня трем вещам.

На откровенности далеко не уедешь, пока не научишься пользоваться ею для своих целей. Только наивный человек считает откровенность добродетелью, а наивный никогда не станет счастливым — его всегда обманут, на него всегда будут сыпаться все шишки. Зато каким превосходным оружием бывает откровенность, подчиненная prima principia [1] хитрости, в нашем мире, который на словах превыше всего ценит откровенность, а на деле живет и действует согласно совсем другим и далеко не столь возвышенным правилам и образцам.

На честности далеко не уедешь. Обман и хитрость вернее приведут человека к обеспеченной и беззаботной жизни, чем повиновение закону и прилежный труд. Ибо хитрые, жадные и ненадежные создали этот мир таким, что повиновение закону стало самой большой глупостью, а усердие — бесполезным занятием. Повинуйся закону в узких рамках, и никто не заметит, что ты преступаешь его в широких. А человек прилежный, как муравей, навсегда останется лишь муравьем. Лишь тот, кто хитрее хитрого и ненадежнее ненадежного, ухватит жирный куш. Потому что у него достало ума сохранять видимость честности, внушающую доверие.

Не бойся людей. Бойся смерти, грозы, змеиного жала, если уж ты не можешь вообще не бояться, но только не бойся людей. Ибо даже человек, внушающий другим страх, сам в глубине души тоже чего-нибудь да боится, тоже бывает слаб в своем одиночестве, и его легко обезоружить при помощи сердобольной мины, равнодушного жеста или щелчка по носу. Все дело лишь в актерском таланте. Даже самый спесивый человек потеряет самообладание, встретив еще более спесивого. И орущий свалится с ног, услыхав, что кто-то орет громче, чем он.

Надо, как говорит Макиавелли, быть настолько хитрым, чтобы в нужную минуту самому создавать себе врагов, дабы, победив их, снискать себе еще большее уважение. Вот мудрое правило, которое следует перенести в современные будни. Как превосходно знал Макиавелли характер человека и механизм движения толпы. Этого стада баранов.

Вполне возможно, что я могу показаться разочарованным и циничным. Но разве иллюзии не есть следствие недостатка знаний и жизненного опыта? Разве они не признак непонимания действительности? Иллюзии — это совсем не то, что надежды, вот надежд у меня много.

[1] Главному принципу *(лат.)*.

Циник — это всего лишь слово, которым нарекают человека другие. Ни один умный человек сам себя не назовет циником. Но того, кто отличается большей проницательностью, чем остальные, часто называют циником только из зависти. Его жизнь кажется людям более легкой, так как несет на себе печать дерзновенной свободы. Убежденный пуританин считает циником даже того, кого не гнетет сознание первородного греха. А иногда цинизмом называют не что иное, как просто свободу от суеверий.

Было время, когда я, выдержав нечеловеческое напряжение и увидев, что мне наконец удалось то, что я задумал, испытывал головокружительное наслаждение и бесшабашную радость. И, бог свидетель, я позволял себе насладиться этой несравненной радостью на все сто процентов. Теперь я стал более ловким, немного пресытился с годами и уже не пускаюсь в аферы, если не знаю заранее, что они мне удадутся.

Я нахожусь в расцвете лет. Но не забываю о смерти, о раке, тромбозах и автомобильных катастрофах как постоянно существующих возможностях. Еще в зените своей жизни я решительно отказался от наслаждений, доставляемых разнообразными острыми ощущениями. Я не огорчаюсь по пустякам и свободен от всех видов банальной человеческой зависимости, но силен и непоколебим в сознании, что все, чем я стал и чего достиг в жизни, это надежный плод упорного труда, собственных усилий и целенаправленных расчетов. В будущем году мне стукнет сорок девять. С человеческой точки зрения, я прожил уже больше половины. Но моя воля так же тверда, как в молодости, и в моих мыслях будущее, как и прежде, играет главную роль.

Я всегда чувствовал себя несколько чужим среди так называемых «интеллектуалов». Это было не чувство неполноценности, а просто несходство характеров. В отличие от них я — человек практический, человек быстрых действий и мгновенных решений. Рассуждать, не принимая решений, взвешивать «за» и «против», не действуя? Нет, я не интеллектуал в их претенциозном, неоправданном, безответственном смысле. Но зато у меня никогда не было причин быть недовольным своими умственными способностями или ставить их под сомнение. Мне всегда было ясно, что я человек незаурядного ума.

Я никогда не претендовал на то, чтобы быть причисленным к наиболее примерным детям божьим, к тем, кто на небесных качелях получит то, что потерял на земной карусели. Напротив, я стараюсь безукоризненно, насколько возможно, придерживаться правил игры, записанных в тайной книге сильных мира сего. Иными словами, я лгал и обманывал всегда, когда считал, что мне это выгодно. Давал и брал взятки одной и той же рукой. Только не думайте, что я говорю об этом с намерением признаться и покаяться. В собственных глазах я отнюдь не выгляжу отталкивающим человеком. Напротив, мое бескорыстие иногда бывало поистине достойно восхищения, как и мое чувство справедливости и гражданская совесть. Все дело в том, что вопрос о нравственности или безнравственности поступков, оцениваемых с противоречивой человеческой точки зрения, на мой взгляд, совершенно неинтересен, это вопрос второстепенный. А главное, говоря откровенно, в том, как пускать пыль в глаза доверчивым людям, чье основное назначение в этой жизни — не сходить с пешеходной дорожки или повиноваться узде, которую по своему усмотрению дергает кучер.

Но я кончаю философствовать.

У меня было пять жен, более или менее законных: Синикка, Гюннель, Элина, Лаура и Ванесса. Я произвел на свет шестерых детей: Майлза, Розу, Анну, Торбьёрна, Каролу и Ханса.

У меня есть два брата: Эмиль и Оскар.

Моего отца звали Брюнольф, вот бедняга, он работал билетером в Национальном театре.

Моя мать была очень религиозна, и ее, разумеется, не могли звать иначе, как Сайми.

Меня самого зовут Дональд, и это весьма красноречиво свидетельствует о том, что у моих несчастных родителей еще теплилась искорка тщеславия в те годы, когда я родился.

Прошло уже очень много времени с тех пор, когда мысль о родителях будила во мне горечь или презрение. С другой стороны, было бы неправильно утверждать, что я вспоминаю о них с любовью. Или же с преданностью. Моим самым горячим желанием в жизни было не стать таким, как они.

И, бог свидетель, мне это удалось.

Ну теперь-то я наконец должен начать.

Это непостижимо. В течение сорока восьми или, по крайней мере, двадцати восьми лет — с тех пор, как я вернулся с войны и после короткого пребывания в компартии стал бизнесменом,— я жил в убеждении, что могу все, чего хочу, и не хочу того, чего не могу. И вдруг эта неуверенность. Или лучше сказать: слабость? Ведь это смехотворно, смешно и, как уже было сказано, непостижимо.

Я перечил министрам и главным редакторам, я повергал на колени муниципальных директоров и генеральных секретарей, не испытывая ничего, кроме решимости, гнева, а иногда, может быть, и презрения. И вот я выступаю соло, совершенно один перед (или «за»?) пишущей машинкой и впервые в жизни чувствую неуверенность в себе или, откровенно говоря, если уж быть до конца честным, страх перед поставленной задачей. Я пробираюсь ощупью по трясине, и эта трясина — не что иное, как я сам, выраженный или конкретизированный языком, который я должен был бы знать как свои пять пальцев: ведь это, естественно, тот самый язык, с помощью которого я часто возражал вышеупомянутым министрам, муниципальным директорам и т. п. А теперь я даже не знаю, с чего начать.

Три месяца я просидел так со странным чувством детской беспомощности и бессилия, убеждая себя, что если невозможно начать иначе, надо начать с самой простой и естественной фразы: «Ну теперь-то я наконец должен начать».

Неужели я боюсь языка, боюсь выразить свои мысли на бумаге? Словно это совершенно чуждая мне область. Но ведь я написал сотни справок и деклараций, а в последние годы даже несколько серьезных статей, не испытывая ни малейшей робости перед такой задачей. Может, я просто боюсь самого себя?

Неужели я действительно должен бояться самого себя?

Ведь речь идет обо мне самом. О моей жизни. О том, какой она была, моя жизнь.

Отправная точка — это своего рода гордость. Собственно, не что иное, как потребность разделить с самим собой то удовлетворение, которое испытываю при мысли о том, как я распорядился собственной жизнью. Разумеется, я прекрасно знаю, что благородные люди считают, будто гордиться собой не следует. Но поскольку я во всех отношениях человек не совсем благородный, думаю, что могу позволить себе роскошь быть честным в этом отношении.

С другой стороны, не буду отрицать, что наряду с гордостью я испытываю и некоторую зависть, зависть к моим родственникам, к моим так называемым «родственникам». Вот они по-настоящему бла-

городные люди. Меня они называли и ублюдком, и выскочкой, и авантюристом, и еще бог знает как, хотя сами являют собой коллекцию опустившихся зануд и благородство их весьма относительно. Вообще-то говорить о зависти даже неверно, я не завидую их печальному и пассивному существованию, а также всему тому, что делает их жизнь горькой, лживой и беспросветной.

Однако когда я сравниваю все, что сделал я, с тем, что сделали они, общественное уважение, которым так естественно наслаждаются они, с общественным уважением, завоеванным мной в результате многолетнего упорного труда, сразу становится очевидной несправедливость, которая постоянно точит меня, приводит в бешенство и с которой мне хотелось бы покончить раз и навсегда. Все эти Блады, и фон Блады, и Лехтисуон-Лехтинены, все эти спившиеся врачи, посредственные профессора и бродячие доктора философии, которые занимают высокое общественное положение и проживают отцовский и дедовский капиталы. Все эти уволенные директора и рано вышедшие на пенсию коммерции советники. И наконец, последний, однако играющий далеко не последнюю роль дражайший Якоб фон Блад, живописец.

Сам я называюсь *Блаадом*. Чтобы подчеркнуть дистанцию и в то же время показать, что я нисколько не хуже их. Фамилия моего отца, который был дворником и звался Брюнольфом, писалась просто Блад [1]. Блад — фиговый листок. Социальный фиговый листок. Не человек, а социальный фиговый листок. Низший класс. Пролетарий. У него не хватило ума даже на то, чтобы стать коммунистом.

Так вот. Примерно полгода назад у меня возникло непреодолимое желание начать писать мемуары. Отнюдь не по той причине, что мне казалось, будто моя жизнь окончена, что я вышел в тираж или что-нибудь в этом роде, ничего подобного, ведь мне нет еще и пятидесяти. Просто мне захотелось рассказать, что значит начать с самого начала, так сказать, со дна, имея только две руки, две пустые руки, такие пустые, какими только могут быть руки, в которых ничего нет. И через двадцать пять — двадцать восемь лет оказаться настолько богатым, чтобы можно было ни в чем себе не отказывать, или, вернее, настолько богатым, чтобы иметь возможность отказывать себе во многом. Я должен был бы посвятить свою книгу Его милости дражайшему живописцу Якобу фон Бладу.

Внешние обстоятельства благоприятствовали мне, некоторым образом даже призывали меня к этому. Неожиданно у меня появилось больше свободного времени, чем раньше. После двадцатилетнего изматывающего, но весьма успешного труда в качестве генерального директора фирмы на меня напала лень или легкомыслие, и я, возможно даже необдуманно, переложил все дела фирмы, а вместе с ними и непосредственную ответственность на более молодые плечи. Более молодые, но отнюдь не неопытные. Одновременно я, как говорится, повысил себя, заняв пост председателя правления. В результате этого внезапно нарушилась размеренность моей жизни, приобретенная с годами. Многие обязанности остались на мне, но обязанность (отчасти добровольная) каждое утро являться в контору точно в 8.30 отпала. Я стал бродить по своей огромной тихой квартире, не зная, как убить время. Словно пенсионер. Раньше мне это представлялось чем-то вожделенным. Наконец-то получить возможность ничего не делать. Но мне это не подошло. Я был недоволен. Неожиданно у меня оказалось время для размышлений. Я начал размышлять. Наверно, поэтому мне и захотелось писать.

---

[1] Блад — *лист (швед.)*.

Когда я говорю, что начал размышлять, я имею в виду, что начал заново все оценивать. Я по-новому, оценивающим взглядом, стал смотреть на себя, на свою жизнь, на работу, на окружающих меня людей. И обнаружил, что прежде рассматривал жизнь только с точки зрения своего дела. То, что было хорошо для фирмы, было вообще хорошо, и чем больший доход оно приносило, тем оно было лучше. Это относилось ко всему вообще. Простая и вполне доступная жизненная философия. Но теперь я понял — как будто в моем отношении к жизни, в моих оценках и во всем моем сознании произошли решительные изменения,— что существуют и другие ценности, не менее важные. Я против воли вынужден был признаться самому себе, что знал это еще очень давно, в ранней молодости, когда вступил в КПФ. Но жизнь шла, и я забыл об этом, потерял эту мысль в жизненных бурях.

Что представляют собой те люди, с которыми я вел дела, кроме того, что они — хорошие или плохие дельцы? Похожи ли они на меня? Кто они — обычные люди, чьи интересы не выходят за рамки семейных обязательств и сексуальных вожделений? Неужели я тоже такой односторонний, так сказать, одноколейный по своей сути? Неужели действительно так неинтересно, так бессмысленно быть обычным человеком? Мне было трудно в это поверить. Эти люди как будто жили во сне, где сенсации заранее обретали зримую форму, а надежды подавались в готовом виде. В основе лежал нудный брак и часто совершенно рабская зависимость. Дети, с которыми все обстояло хорошо или плохо и, следовательно, которыми можно было хвастаться или, напротив, о которых следовало помалкивать. И наконец, для разнообразия редкие счастливые события: девушка, с которой переспал, моторная лодка, более дорогая квартира. Как будто в этом и заключалось все их счастье и вся их жизнь, как будто они уже удовлетворили свои жизненные запросы. Их существование ограничивалось тем, чтобы производить товары и поставлять их на рынок. Именно об этом мы постоянно беседовали. Товар был основным понятием нашей жизни. Злоба и агрессивность вспыхивали при упоминании о требованиях повысить заработную плату, о прогрессивном подоходном налоге, социал-демократах, интеллигенции, искусстве. Эти люди всегда твердо знали, что́ в политике хорошо, а что́ плохо. Правые — хорошо, левые — катастрофа. В международной политике они были сторонниками Никсона, хотя покойный Кеннеди, по их мнению, был еще лучше, ибо всегда действовал в интересах капитала, умея в то же время заглушить либеральной риторикой даже самую чувствительную совесть. Не таился ли в глубине их миропонимания, их отношения к действительности страх, ужас? Ужас, постоянно грозящий вырваться наружу, ужас, который надо сдерживать и подавлять с помощью наглости и напускной солидности? Не потому ли мир их переживаний был так убог, так бескрыл, а взгляды так строго ограничены, приведены в такую примитивную систему? На что осмеливались эти люди, кроме того, что предписывал им буржуазный жизненный кодекс? Потому что чаще всего дело было именно в смелости. Ведь они даже не осмеливались читать в официальных местах левые газеты и заявляли, по-видимому, совершенно серьезно, что социализм означает обобществление дач и лишение всех личной свободы. Вот неврастеники. А я — мучил ли и меня их страх? Боялся ли я так же, как они?

Неожиданно между мной и моими коллегами и приятелями по работе возникло отчуждение, и я был не в состоянии понять, почему или каким образом это произошло. Мне это было крайне неприятно, я чувствовал себя чуть ли не предателем и потому стремился найти

какое-нибудь конструктивное решение, которое объяснило бы, что произошло, своего рода «декларацию о порче груза». Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль написать обо всем, чтобы таким образом выяснить истину.

Должен сразу оговориться, что в противоположность моему так называемому «кузену», несравненному художнику-портретисту Якобу фон Б., я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы быть «обычным человеком». Напротив, я всегда воспринимал себя как человека в высшей степени обычного, то есть такого, которому несвойственны неврастения или глубокомыслие и который, на свое счастье, не страдает комплексами и доволен тем, что у него есть. Но моя жизнь, по причине моего характера, а также обстоятельств, над которыми я не был властен, была, возможно, на несколько баллов более бурной, чем средняя обычная жизнь. Возможно, я позволял себе несколько больше, чем другие, осмелился на большее, возможно, иногда пользовался случаем, которым другие не стали бы пользоваться, и ставил себя в такое положение, в какое другие люди никогда бы себя не поставили. Чувства всегда были моим слабым местом, мне всегда было тяжело справляться с ними.

Лет десять тому назад я некоторое время был министром обороны в нашем тогдашнем правительстве. В конечном итоге чувства и тогда подставили ножку моей деятельности. Было бы неверно утверждать, что мне неприятно вспоминать об этом из-за того, что я в тот раз оскандалился. А ведь я таки оскандалился. Но у меня хватает чувства юмора, чтобы посмеяться над этим — как тогда, так и теперь. Однако скандал есть скандал, и он неизбежно содержит элемент унижения, которого человеку всегда хотелось бы избежать. Чувства подшутили надо мной. Но я еще вернусь к этому событию. Это было в те времена, когда я считал себя обычным человеком и наслаждался своим счастливым вторым браком. С Гюннель.

Меня изменили женщины. Я в этом убежден. Каждая женщина в моей жизни была не просто новой женщиной, она открывала мне новый удивительный мир. Я искренне и безоговорочно любил их всех.

Нет ничего живительнее любви женщины. В этом отношении я не могу пожаловаться на судьбу. Я любил и был любим, и любовь изменила меня, и изменила так основательно, что у меня, сегодняшнего, нет почти никакого сходства с тем отчаявшимся и утратившим все иллюзии парнем, который вернулся домой с войны поздней осенью 1944 года.

Рассказывать про мою жизнь — это прежде всего рассказывать о женщинах, как они вмешивались и все переворачивали во мне, влияли на меня, заставляли менять прежние представления и образ жизни. Рассказывать о том, чему я научился у женщин, о том, как они постоянно и каждая на свой манер расширяли базу моего существования и моего мироощущения. Хотя вместе с тем они вроде бы даже и не принимали участия в том, что я считал самым важным и существенным в своей жизни. Я имею в виду то, что я совершил и чего достиг: мое положение в обществе, мое состояние, мое влияние и мои связи.

А что, в сущности, я подразумеваю под этим? Ведь это же противоречит действительности! Мой первый брак несомненно распался потому, что Синикка решительно не одобряла — скажем так — некоторые стороны моей экономической деятельности. Мой выход из КПФ она назвала проявлением самого циничного оппортунизма, считая, что я в известном смысле пожертвовал своими политическими убеждениями ради богатства и тщеславия. С таким же успехом можно, очевидно, сказать, что за годы моего длительного брака с Гюннель мне не повезло бы так в делах и честолюбивых устремлениях, будь я

лишен ее постоянной поддержки и поощрения, не пользуйся я ее знанием тысячи неписаных правил или, одним словом, ее социальной базой. И т. д. и т. п.

(Все время, пока я пишу, пока борюсь с этими упрямыми, сомнительными и, наверно, совершенно бессмысленными словами, грудь моя разрывается от одного имени и сердце мое в безмолвном отчаянии произносит лишь одно имя... Майлз! Майлз! Как ты мог?)

Я должен сделать одно признание. Три главы из этого опуса у меня были написаны раньше: о детстве, о юности и о моей зрелой жизни, о годах успеха. Я начал с юности, с того, что произошло, когда я вернулся с войны, с фронта, не имея ничего, кроме военной формы, и, конечно, ни малейшего представления о том, как сложится мое будущее. Потом я сделал попытку писать о настоящем. Изобразив один эпизод из жизни — беседу «на высоком уровне»,— хотел показать, в какую форму облеклось для меня это будущее. А может, у меня просто была потребность похвастаться своим теперешним влиянием и своими высокими связями? Но настоящие трудности обнаружились лишь тогда, когда я приступил к рассказу о детстве. Я не мог писать о детстве. Стыдился ли я его? Или просто забыл?

Нет, конечно, я ничего не забыл. Напротив, я чувствовал, что помню все чрезвычайно отчетливо, до тошноты отчетливо. Но в каком-то извращенном виде, совершенно извращенном: это я понял, написав несколько страниц. Не могли мои родители быть такими, какими я их помню. Или только думаю, что помню. Такими безликими, бесцветными, неприятными, такими примитивными в своем душераздирающем убожестве. Все мое детство, вернее мое воспоминание о детстве, несет на себе печать, пятно той ненависти, того позора и унижения, которые я в течение всей жизни с ним связывал. Какой же смысл рисовать извращенные картины первых лет жизни, если с самого начала ясно, что они извращены? Где правда о матери, об отце, о нашей робкой, словно мышиной, жизни в тесной, сырой, нездоровой дворницкой, по которой постоянно гулял сквозняк и которая ютилась в маленьком деревянном домишке на самых задворках? Как все было в действительности? На самом деле? Не знаю. Ибо воспоминания о моей тогдашней бесприютности, о моем неисправимом непослушании могут воссоздать лишь крохотную частицу того, что было в действительности, что происходило на самом деле.

Отец умер от чахотки в 1943 году, когда нехватка продуктов была особенно сильной. Я бросил школу и ушел на фронт добровольцем, поскольку еще не достиг призывного возраста. Мать осталась одна с Оскаром, швейной машиной, печкой, шваброй и оскаровым пороком сердца. Таковы факты. Что еще можно сообщить о подобных фактах? В какой-то мере они характерны для всех. У всех свои беды. Такова жизнь, это нам всем известно. Сперва ребенок, потом взрослый — вот самая характерная и общая черта в жизненном опыте всех людей. И самая банальная. Фактам необходима определенная взаимосвязь, перспектива, своего рода обрамление из житейской мудрости, чтобы они приобрели интерес и стали достойными воспроизведения. Или я ошибаюсь? Но этой взаимосвязи, этого обрамления из житейской мудрости мне как раз и недостает. Ненависть, чувство стыда отдалили, отгородили меня от взаимосвязи, понимания жизни, перспективы.

(Майлз! Роза! Неужели только поэтому... да, мне нет прощения!)

В самом начале я упоминал, что отправной точкой для меня, как мне кажется, была своеобразная гордость. Вернее, гордыня, даже презрение к людям. Почему я не могу, если другие могут? Имеется в виду: могут писать мемуары. Или, вернее: почему я не могу сделать

хорошо то, что другие делают так скверно? Я имею в виду то необозримое множество посредственных политических деятелей, государственных чиновников и академиков, которые, как говорится, «завершив дело своей жизни» или «уйдя со сцены», чувствуют себя призванными или даже избранными писать воспоминания. И вот получаются жалкие, сухие или лживые отчеты о жизни и службе человека, как это опять же говорится, «на государственном поприще», отмеченные печатью особого занудства от преувеличенного чувства ответственности, сдобренные претенциозными или дешевыми политическими выводами и плоскими, односторонними и тупыми разглагольствованиями «о жизни».

Я знал, что могу написать лучше. Хотя мое стремление «служить на государственном поприще» было просто ничтожно по сравнению с моим стремлением делать деньги и жить на широкую ногу. С высокомерной и претенциозной точки зрения высших сфер я не величина. Высокомерие, как профессиональное заболевание или как следствие высокого общественного положения, никогда мне не грозило. Но в больших черных автомобилях я, черт побери, все-таки разъезжал. С шофером и всякое такое. И не только как министр обороны.

Но стоит ли писать об этом только потому, что я этим горжусь? Не будет ли это тщеславной, постыдно бросающейся в глаза похвальбой? Писать потому, что я принадлежу к тем, кто должен состязаться и побеждать во всех областях, сражаться и выходить победителем на всех фронтах? Всегда и везде? А если я заранее знаю, что картина будет искажена, чувства извращены, выводы фальшивы? Ведь мне так мало известно о моих собственных чувствах и переживаниях. Откуда же мне знать, что чувствуют и переживают другие люди?

Ведь я начал сомневаться в себе самом.

Вот она, моя истинная отправная точка.

Ванессы нет, она в отъезде. Якоб преследует меня. Торбьёрн пьет, и от него дурно пахнет. Никогда в жизни я не был так одинок, как сейчас. И Майлз... Да остался ли вообще хоть клочок от того всегдашнего дерзкого самодовольства, от той идеальной самоуверенности, которые были в высшей степени характерны для меня всего несколько месяцев тому назад, когда я еще работал, как прежде, и когда произошла вся эта история с Якобом? Нельзя писать о своем детстве, о прошлом, когда рушится весь твой настоящий мир. Нельзя писать о прошлом, когда настоящее пылает в огне.

Тогда пиши о настоящем.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Юность

— Блад.

— Фон Блад.

Вот так все и началось, это был 1944 год, мне было двадцать лет, и я только что вернулся домой с войны, которая начисто уничтожила мою детскую веру. Если, конечно, она у меня была.

Компанию мне составлял мой однополчанин, которого звали Сеппо, он был произведен в прапорщики за несколько недель до заключения мира благодаря храбрости, проявленной на поле брани, и выдающимся заслугам в благородном искусстве убивать. А на самом деле из-за огромных потерь как раз среди прапорщиков. Сам я был капралом и всего несколько месяцев тому назад во время сумбурного

краткосрочного отпуска, который чуть не завершился полевым судом, получил аттестат об окончании гимназии. Уже тогда я был упрям и не любил подчиняться приказам. В вещевых мешках у нас была водка, мы пели, хохотали. и наша радость по поводу того, что мы вырвались из этого пекла живыми, была настолько неистовой, что скорей всего походила на своеобразное безумие, когда человек способен убивать и стариков и детей.

Устав от книжных знаний, придирчивых учителей и детских обязанностей, я прямо со школьной скамьи отправился добровольцем в армию почти два года тому назад. Мне было семнадцать лет, я прошел суровую школу «мальчишки с задворков» и отнюдь не был невинным младенцем. Тем не менее фронтовая жизнь превзошла все мои фантазии. Я был изрядно заражен военной пропагандой. При юношеской восприимчивости к громким словам я наглотался, как лекарств, высоких фраз об отечестве. Я мечтал о славе героя, но фронтовая действительность довольно быстро показала мне свою непривлекательную и мерзкую оборотную сторону.

Я научился убивать и избегать смерти, научился бояться и прятать свой страх в непроницаемом коконе ненависти. Это был неподходящий фундамент для построения будущего теперь, когда наступил мир и люди снова могли вести правильную и примерную жизнь, усердно трудясь, любя и повинуясь закону. Я возвращался одним из многих в безликой одичавшей толпе.

Еще не доехав до Гельсингфорса, мы уже были изрядно измотаны и пьяны. Я вовсе не собирался выступить в традиционной роли вернувшегося с войны солдата и броситься в объятия Сайми и Оскара. Огромная квартира на Аркадиагатан — отчий дом Сеппо — пустовала, и мы отправились туда. Отец Сеппо был врачом и служил в военном госпитале, кажется, в Виллманстранде. Семья его еще не вернулась из эвакуации и жила в усадьбе у родственников в Эстреботтене. Ключей у Сеппо не было. Нам пришлось позвонить к дворнику и попросить его открыть дверь. Сеппо обратился к нему с той снисходительной любезностью, с какой господа обращались к моему отцу там, где мы жили. Мне стало не по себе, и я вдруг осознал, что нахожусь в положении, которое, с определенной точки зрения, можно считать ненормальным и бывать в котором мне еще не приходилось.

Оставалось лишь разыгрывать принятую на себя роль — равного гостя в господском доме. И несмотря на то, что в те дни наша дружба была еще нерушимой, я почувствовал себя до унизительности робким, врожденная покорная застенчивость боролась во мне с почти непреодолимым желанием устроить скандал и переломать мебель и все «благородные» безделушки. Однако смертельная усталость одолела меня, и я, не снимая формы, заснул в постели матери Сеппо, тогда как сам он отправился добывать еду и водку. Несколько суток потом мы слонялись по этой квартире, ели, пили, бахвалились, блевали, принимали ванну, до потери сознания одурманенные спиртом и бездельем, и были не в состоянии подумать о будущем или предпринять что-либо конструктивное. У родителей Сеппо в банке лежали деньги, это был неиссякаемый источник, и банковская книжка вскоре была изъята из Эстерботтена. Я сломал величественный торшер из сверкающей бронзы и разбил какую-то изящную античную вазу, однако Сеппо, находившийся в постоянном веселом опьянении, даже бровью не повел. За окном пламенели ясные осенние дни, но они не имели к нам отношения. Мы не интересовались окружающим миром, так как были им сыты по горло.

Пробуждались мы медленно и тяжело, как пробуждаются после долгого сна со смутными мучительными кошмарами. Ни ему, ни мне

некуда было торопиться. Сеппо уже был дома, а я и не думал возвращаться. Нам обоим недоставало твердой почвы под ногами, в этом мире не было таких людей и жизненных целей, которые привлекали бы нас и вдохновляли на новые подвиги. Единственное, что у нас было,— это отчий дом, но мы находились в том возрасте, когда незыблемость и прочность отчего дома уже безвозвратно утрачена. Чтобы начать жить собственной жизнью, мы должны были освободиться именно от этой привязанности.

В нашем внутреннем мире царила неприятная пустота, которая постепенно, очень медленно начинала заполняться окружающей действительностью.

Временно мы располагали квартирой, но нам было ясно, что в недалеком будущем явится кто-нибудь из родителей и потребует ответа за поломанную мебель, исчезнувшие безделушки, испачканные постели, заблеванные ковры и тому подобное.

Почти все продукты и водку, которые мы потребляли в эти дни, Сеппо покупал на черном рынке, где у него, по-моему, были самые широкие связи. У меня самого денег не было, я жил за счет щедрости моего друга, благодаря чувству единства, которое породила фронтовая жизнь и которое пока что было еще сильно. Однако и ему суждено исчезнуть в один прекрасный день, это я тоже понимал. Но больше всего я страдал от отсутствия женщины.

В конце концов я заявил Сеппо, что собираюсь найти подходящую девчонку, и спросил, не пойдет ли он со мной.

— В этом костюме тебе нельзя идти, от тебя воняет,— сказал он.

Разумеется, он был прав. Я не менял белье уже около месяца, и форма, в которой я все еще ходил, заскорузла от грязи. Одним словом, у меня появился законный повод пойти домой и поцеловать маму в щечку. Мне надо было переодеться в чистое гражданское платье. Однако я не собирался надолго оставаться в этой юдоли печали и вздохов. Мы договорились с Сеппо встретиться через несколько часов у кинотеатра на Стура Робертсгатан, где шел фильм с Бетти Грейбл и Кармен Мирандой.

На мой стук открыла мама. Она не слишком обрадовалась, увидев меня.

— Вернулся? — сказала она своим жалобным писклявым голосом.— А я думала, ты гниешь где-нибудь в русских лесах, раз от тебя нет весточки, несмотря на перемирие и всякое такое.

— И тем не менее это я.

Она сильно состарилась с тех пор, как я видел ее в последний раз, стала меньше, морщинистее, серее. Сделалась тонкой и хрупкой, точно стрекоза. Даже короткие, гладко зачесанные назад волосы, казалось, поредели и были не седые, а совершенно бесцветные. Пальцы, изуродованные ревматизмом и тяжелой работой, нервно перебирали пуговицы на старой зеленой вязаной кофте. Потом она быстро приложила руку к моему кителю, и я, почти бессознательно накрыв ее руку своей, прижал ее на минуту к своему сердцу. Как бы там ни было, у меня появился комок в горле, и я уже хотел обнять маму, но в эту минуту она произнесла слова, разом лишившие меня какого-либо желания проявлять нежность.

— Фу, как от тебя пахнет,— сказала она.— Наверно, ты выпил. Оскар говорил, что солдаты ужасно пьют, я этому не верила, но так уж эта война обернулась, что немудрено и запить...

— Где мои вещи? — перебил я ее.

Она уже направлялась в кухню.

— Выпьешь кофейку? — спросила она не оборачиваясь.

— Где мои вещи? — повторил я.

Она не ответила.

Я подошел к шкафу, в котором обычно лежали мои немногочисленные пожитки. Их там не было. Оскар занял шкаф своим барахлом. До меня не сразу дошло, в чем дело. Потом мне стало невыносимо больно. Они стерли меня с лица земли. Перестали принимать меня в расчет как сына и как брата. Сделали то, чего не удалось войне: убили меня. Я был глубоко задет и совершенно опустошен, мне захотелось плакать. Потом я, по обыкновению, впал в безудержную ярость.

— Что это значит, черт побери! — заорал я.

Она по-прежнему не отвечала.

Я подошел, схватил ее за плечи и повернул лицом к себе. Ее глаза забегали. У меня появилось чувство, будто я держу в руке мертвую птицу. Она была испугана. Неожиданно ее глаза застлали слезы. Она начала заикаться. Бессвязно залепетала, что думала, будто я погиб, так сказал Оскар, он прочел в газете, что все мое подразделение погибло.

Они и в самом деле убили меня.

— Satan perkele! [1] — завопил я во весь голос.

В этом крике звучало и горе, и отчаяние, и оскорбленное самолюбие, и нечистая совесть, и праведный гнев. Я презирал свою мать, не замечал ее, плохо с ней обращался, но в своей юношеской эгоцентричности, несмотря ни на что, предъявлял к ней обычные требования, какие предъявляют ко всем матерям. Я не желал понимать, что это трагическое недоразумение было отчасти логическим следствием моих же действий.

Я был крайне возмущен и жаждал крови. Не проронив ни единого слова, я покинул ее и пошел, почти ничего не видя, по Хёгбергсгатан мимо обгорелых, закопченных руин Егаргатан и унылых рядов выбитых и завешенных одеялами окон. Я ненавидел всех. Свернув на Бергмансгатан, я шел по направлению к Шеппарегатан, машинально сжимая и разжимая кулаки. Близился вечер, сгущались сумерки, на улицах почти не было ни людей, ни машин. И вдруг из подъезда выскакивает какой-то вонючий лейтенантик и — прямо на меня. Проходя мимо, я смотрю ему в глаза, но чести не отдаю. Когда-то я проделал такой же трюк с одним полковником, и последствия были весьма печальные, но на сей раз это не должно было случиться.

— Эй, капрал! — кричит он мне вслед.

Я останавливаюсь и оборачиваюсь.

— Какого черта вы не приветствуете офицера? — говорит он почти с дружеским упреком.

— Катись к чертовой матери! — отвечаю я и делаю несколько шагов по направлению к нему.

Он пристально смотрит на меня и молчит: похоже, что он из добреньких.

— Ты что, пьян? — спрашивает он наконец.

— Нет, а ты?

Только теперь он начинает сердиться по-настоящему, он что-то кричит мне, но я даже не слышу.

Я бью его правой между глаз. Шатаясь, он отступает на несколько шагов, из носа хлещет кровь, глаза, наверное, ничего не видят от слез. Но его правая рука хватается за кобуру. Я отрываю его пальцы от кобуры и втаскиваю в подъезд. Ненависть захлестывает меня. Что есть сил я бью его снова и снова, а затем быстро ухожу. Теперь мне

[1] Черт бы вас побрал *(финск.)*.

немного легче, я получил некоторую разрядку, но клокочущая жажда бить и крушить еще не покинула меня.

Я звоню в дверь к Сеппо на Аркадиагатан, но мне никто не открывает. Некоторое время я сижу на лестнице и равнодушно жду, мне даже хочется плакать, и тут вдруг появляется Сеппо в гражданском костюме, чистенький, прилизанный и мертвецки пьяный. Он уходил, чтобы запастись водкой. Зашел к своему дяде, выпил с ним коньяку и получил десять тысяч марок в награду за доблесть, проявленную на поле боя.

Я прошу костюм у Сеппо. Сам я почти не пью, но он опять пьет и пьянеет все больше.

В парке Кайсаниеми я встречаю двух девушек и угощаю их сигаретами. Рассказываю о жизни в окопах. Покурив, я отсылаю прочь более некрасивую и прижимаю другую к дереву. Сперва она слегка сопротивляется, и мне приходится применить силу, но потом все идет как по нотам. Из парка мы переходим на товарную станцию и забираемся в пустой вагон. Все идет прекрасно. Девушка изрядно устала. Я чувствую себя великолепно. Говорю, что мне надо выйти, и тихонько смываюсь.

Стоит холодная ночь. Я дрожу. У меня замерзли руки. И почему-то ягодицы. Но мне все равно хорошо, первый раз бог знает за какое время мне почти весело, я даже могу думать о том, что наконец-то наступил мир, о будущем, о том, что мне следует заняться чем-нибудь полезным или что-то в этом роде, о Маннергейме, Паасикиви и Герте Куусинен. Общение с женщиной после долгого воздержания действует вдохновляюще.

Около полудня я вернулся на Аркадиагатан. С похмелья Сеппо был мрачный. Он вел себя непривычно сдержанно, почти враждебно, и я понял, что между нами разверзлась пропасть, которая уже не исчезнет, но, напротив, будет лишь углубляться по мере того, как мы постепенно начнем входить в свои роли, определенные каждому из нас в послевоенной действительности.

Но пока все еще идет хорошо. Я по-прежнему как паразит использую деньги, жилье и связи на черном рынке, которыми располагает Сеппо, с той только разницей по сравнению с первыми днями, что делаю это сознательно и умышленно.

Теперь мы часто бываем в городе. Привыкаем к виду руин, к разбитым окнам, завешенным одеялами, дровяным складам, садам, превращенным в примитивные бомбоубежища. Магазины пусты, ежедневно за продуктами выстраиваются очереди, люди истощены и плохо одеты, повсюду видны следы долгой разрушительной войны, и советские солдаты с суровыми лицами патрулируют город.

Мы, радуясь миру, танцуем вместе с коммунистами на площади Ернвегсторгет, вместе с буржуазией мы оплакиваем несправедливый мир в буржуазных домах, ставших мрачным прибежищем побежденных. Все сдвинулось с места и перемешалось, и я уже не знаю, к какому лагерю я принадлежу. На Ернвегсторгет Сеппо держится робко и неуверенно, а среди своих он дерзок и агрессивен. Но для меня все это гораздо сложнее. Я никогда прежде не пел «Интернационала», а теперь чувствую, что он приятен и как раз по моим голосовым связкам. Но с другой стороны, эти уютные патрицианские дома в мире Сеппо, куда я всегда стремился попасть. Целью моей жизни было стать там своим. Во всем этом трудно разобраться. Единственное, что я знаю точно: я не хочу быть таким, как отец и мать, не хочу когда-нибудь оказаться таким же бедным, жить так же безрадостно, как они.

В те времена, когда папа служил билетером в Национальном театре, я познакомился там с одной актрисой, которая стала моей первой

любовницей. Мне было тогда пятнадцать, и она была чуть ли не на двадцать лет старше меня. Она называла меня «мой хорошенький мальчик», и ее постель долгое время была моим вторым домом. Я не видел ее с тех пор, как вступил в армию и превратился в «храброго мальчика», но теперь возобновил с ней связь и познакомил ее с Сеппо. Конечно, она постарела так же, как и все остальные. И я тоже постарел. Но преданность сохранилась, как и остатки страсти. Она не единожды побывала замужем, разошлась и теперь была очень одинока. Она жила на Фенрик Столсгатан в двухкомнатной квартире, которая казалась захламленной из-за обилия кружевных салфеточек, бархатных драпировок, скатерок, старинного фарфора и мелких стеклянных безделушек. Она была несчастлива, и ее благодарность за наше нехитрое внимание и наше общество порой бывала мучительно преувеличенной и сентиментальной. Тем не менее некоторое время она служила своеобразной точкой опоры в нашей беспокойной и неустроенной жизни. Ее звали Хельга. Хельга Норин.

Втроем мы посещали различные питейные заведния, и Хельга с Сеппо ссорились из-за того, кто будет платить. Моя роль нахлебника не была унизительной. Я расплачивался на свой манер. Хельге я отдавал свою молодость, а Сеппо — мудрость, скажем так. Я зависел от них материально, но их зависимость от меня была более глубокой, она была продиктована одиночеством и страхом.

Однажды вечером мы сидели в ресторане на Стура Робертсгатан. Сперва мы поиграли в Алана Лэдда и Петера Лорре перед объявлением «Огнестрельное оружие сдавать в гардероб», которое висело у входа в зал, и наши громкие голоса вызвали недовольство швейцара. Ведь мы были еще в том возрасте, когда человеку ничего не стоит прийти в возбуждение, начать буянить, и наши гладкие юношеские лица не внушили ресторанному швейцару невольного уважения. Да и Хельга не была знаменитой актрисой... Мы ели какое-то безвкусное мясо, собачье, как утверждала Хельга, с гарниром из свеклы и прелой прошлогодней картошки. Вкус у всего был отвратительный. Сеппо, со своей стороны, высказал мнение, что это мясо вороны, а я, как обычно, переступив предел смешного и дозволенного, предположил, что это мясо еврея.

Метрдотель не пришел в восторг от наших дерзких вопросов, а официантка с каждым появлением становилась все неприступнее. Это нас только развеселило, и мы стали задираться еще больше. Мы вели себя, как настоящие дети. Неожиданно нас перестали обслуживать: вместо заказанного грога из благородной водки мы получили счет. Сеппо пришел в бешенство. Он не был мертвецки пьян, но и далеко не трезв. Он вызвал метрдотеля, но того подозрительно не оказалось на месте. Сеппо начал во весь голос поносить финские рестораны вообще и этот в частности, тут неожиданно появился метрдотель и многозначительно велел нам немедленно удалиться, а не то...

— Вы уже достаточно выпили, вам теперь лучше всего пойти домой и лечь,— сказал метрдотель.

— Сам ты выпил, чертово отродье, подавай сюда наш грог, а не то я выпущу из тебя кишки, perkele! Вздерну на твоих собственных кишках!..— вопил Сеппо.

В дверях, ведущих в вестибюль, я увидел швейцара, он стоял наготове.

— Вы немедленно покинете ресторан, или я вызову полицию!

— Полицию, perkele! Попробуй вызови, плевать я хотел на твою полицию...

Сеппо был в такой ярости, что не находил слов.

Потом он неожиданно схватил обеими руками стол, поднял его вместе с рюмками, пепельницей и недопитыми бутылками с содовой и швырнул в метрдотеля, который упал навзничь на соседний столик прямо в салат и недоеденные бифштексы. Швейцар, стоявший наготове, ринулся на нас, в зале недвусмысленно поднялись несколько человек. Увидев, что Сеппо вот-вот кинется на метрдотеля, продолжая битву, я схватил его за руку и быстро потащил к выходу. Хельга выбежала первой. Швейцар хотел было задержать нас.

— Вы так легко не отделаетесь,— прошипел он.

Я ударил правой, потом левой, изумленный швейцар медленно опустился на пол.

— Скорей! — крикнул я.

И мы побежали. Мы сворачивали то за один угол, то за другой, крепко держа между собой Хельгу, которой было трудно поспеть за нами: ведь ей уже стукнуло тридцать восемь, к тому же у нее были прокуренные легкие и слишком узкая юбка. Сначала мы бежали упорно и целеустремленно, я ждал, что вот-вот вынырнет полицейская машина и заберет нас. Но все было тихо. От усталости мы еле дышали. Чем дальше мы удалялись от ресторана, тем больше успокаивались. Наконец я прыснул. Мне неудержимо хотелось смеяться. Я остановился и захохотал. Хельга и Сеппо, заразившись, тоже начали хохотать. Мы стояли запыхавшиеся и хохотали во все горло.

— Метрдотель — в тисках между двумя столиками...

— Жареный метрдотель с гарниром из картофеля и свеклы, всего четыре пятьдесят...

— Швейцар нокаутирован в первом раунде пьяным капралом...

— Метрдотель повешен на собственных кишках...

Мы продолжали хохотать.

Это было на Альбертсгатан, недалеко от парка, вдруг Сеппо пришла в голову мысль, что мы должны навестить его слегка чокнутого родственника, он художник и живет поблизости. Ни у Сеппо на Аркадиагатан, ни у Хельги на Фенрик Столсгатан не было ничего спиртного, а нам было весело и чертовски хотелось выпить. Еще не было десяти. Мастерская родственника-художника находилась на чердаке дома, откуда, наверно, открывался вид на оперу, Гресвикскамн, верфи и море. Мы позвонили, он оказался дома и представился: фон Блад, я представился: Блад, мы пожали друг другу руки, и, как я уже сказал, с этого все и началось.

Якоб фон Блад не был похож ни на одного известного мне до тех пор человека. Мы с самого начала не понравились друг другу. Он был аристократ, я — черная кость. Хотя и он был не такой уж аристократ, потому что впечатление он производил человека грязного и неопрятного, а я для черной кости был чересчур умен. Мы не соответствовали сложившимся у каждого из нас образцам, представлениям, рожденным социальными предрассудками.

Якоб фон Блад был высок, туловище у него было тяжелое и большое. Краснощекий, с жидкими, прямыми, давно не стриженными рыжими волосами, он весь был усеян рыжими веснушками, даже шея и руки. Щеки и подбородок заросли густой щетиной. Глазки у него были маленькие, светло-голубые и водянистые, нос мясистый, весь в порах, губы — толстые и безвольные. Тонкий, почти женский голос плохо вязался с тяжелым торсом. Он был очень некрасив, но, как ни странно, ничего отталкивающего в нем не было. Он держался с той немного неуклюжей учтивостью, которая свидетельствовала о хорошем воспитании и солидной социальной основе и которая, очевидно,

действовала неотразимо на многих женщин. Несмотря на уродство, от него исходила своеобразная теплота, говорившая о том, что он хорошо относится к людям. Время от времени он произносил странные фразы, смысла которых я не понимал. Например, о самом себе: «Профан в благородном искусстве войны, но воин искусства». Что он хотел этим сказать?

Сеппо не очень тонко намекнул или весьма недвусмысленно заявил, что нам дьявольски хочется выпить и это главная причина нашего позднего и неожиданного визита. Вообще он все время говорил с Якобом свысока, саркастически, подчеркнуто самоуверенно, а то и просто наглым тоном. Без всяких возражений, мило и послушно, даже смиренно Якоб натянул свое поношенное грязное пальто, исчез ненадолго и вернулся с двумя бутылками можжевеловой водки. Нашей радости не было предела.

Мастерская Якоба фон Блада производила не менее странное и диковинное впечатление, чем он сам. Я не мог понять, как можно жить в таком беспорядке. Вдоль всей стены под окном тянулся длинный рабочий стол, заваленный тюбиками с краской, карандашами, ведерками, резцами, столярным инструментом и всяким хламом. У противоположной стены стояла узкая спартанская неприбранная кровать с рваным одеялом и невообразимо грязной простыней. Две яркие рабочие лампы, торшер, большое удобное кресло с рваной обивкой, несколько шатких стульев и стол, покрытый желтой клеенкой, с грязными кофейными чашками, огрызками хлеба, рюмками и огромной пепельницей, полной окурков и золы из трубки, довершали обстановку. Все было очень убогим. Не считая, разумеется, картин, занимавших стены.

Большинство из них представляло собой темные штрихи на светлом фоне или геометрические фигуры, выложенные своеобразным узором на большой, пустой, почти бесцветной поверхности. В основном они казались совершенно бессмысленными, хотя в некоторых случаях я мог бы признать, что их цвет мне нравится, я мог бы даже сказать, что они... красивы. Но я, естественно, не осмелился этого сказать. Я робел, стеснялся, и мне даже пришло в голову, что фронтовая жизнь в чем-то проще и безопаснее визитов в мастерские художников.

Якоб фон Блад вымыл под краном четыре стакана, и мы наполнили их водкой. Мы беседовали о войне и о нашем поражении. Он был настроен весьма патриотично и потому подавлен. От военной службы его освободили из-за плохого сердца, язвы желудка и множества других недугов, о которых он говорил так нудно, что тошно было слушать. Влив в себя хорошую порцию водки, он неожиданно наклонился ко мне и агрессивно спросил:

— А вы-то, черт побери, почему, собственно, Блад?

Я не понял, что́ он имел в виду, пожал плечами и с мольбой взглянул на Сеппо и Хельгу.

— Его папа был дворником на Скарпскюттегатан,— объяснил Сеппо.

— Дворником? Насколько мне известно, никто из Бладов до сих пор еще не был дворником,— кисло заметил Якоб фон Блад.

— А я-то думал, что вы кузены или что-нибудь в этом роде,— засмеялся Сеппо, и в голосе его послышались презрительные нотки.

Я вдруг рассердился.

— А что, черт возьми, плохого, если человек дворник? — рявкнул я.

— Да нет, ничего плохого, я только поинтересовался, по какому праву вы носите наше родовое имя.

— По-моему, вам не следует ссориться с Дональдом, он не виноват, что у него такая фамилия,— сказала Хельга.

— Но ведь интересно, когда в твою мастерскую неожиданно является совершенно незнакомый молодой человек и заявляет, что его фамилия Блад.

— Блад Бладу рознь, Якке,— заметил Сеппо.

Я не мог понять, кто взял верх в этом разговоре, но чувствовал себя униженным и подумал, что, если он не бросит свои барские штучки, я просто дам ему в зубы. Он явно выпендривался. Сеппо в его обществе тоже выпендривался. А я не переносил людей, которые выдрючиваются.

— Мой дедушка тоже был Блад,— сказал я неуверенно.

— Господи, и дедушка, час от часу не легче. И кто же был ваш дедушка, осмелюсь спросить? Действительный статский советник?

Я вскочил.

— Кончай, сволочь, свои подковырки, можешь катиться к чертовой матери вместе со своим родовым именем, дерьмо проклятое!

Он сидел неподвижно и с презрительной усмешкой глядел на меня.

— Он мне уже тыкает; вы, наверное, коммунист, господин Блад?

— А тебя это не касается!

— Видите ли, господин Блад, я не потерплю присутствия коммуниста в моем доме.

— Успокойся, ради бога,— вмешалась Хельга.

Она-то меня хорошо знала.

Я подошел к стулу, на котором он сидел, и ударил его прямо в правый водянистый глаз. Стул опрокинулся, Якоб сделал неуклюжую попытку встать на ноги.

Такой была наша первая встреча. Я был убежден, что она будет и последней. Но я ошибся.

Сеппо из кожи вон лез, чтобы загладить этот злополучный эпизод, и наша дружба не пострадала. Он признался, что спьяну и сдуру намеренно свел нас в тайной надежде посмеяться надо мной, ибо знал, как чувствителен Якоб фон Блад ко всему, что имеет отношение к его родовому имени. Сеппо сказал, что я с некоторых пор стал его раздражать, потому что, как он выразился, начал слишком уж задирать нос и командовать. Я думаю, что в основном это произошло из-за Хельги. У самого Сеппо не было подружки, иногда он чувствовал себя лишним и страдал от этого. Я решил, что надо уговорить Хельгу как-нибудь вечерком осчастливить его, чтобы он избавился от своего буржуазного комплекса неполноценности. Когда я высказал это Хельге, она как-то неуверенно засмеялась и сделала вид, что я ее чем-то обидел. А вскоре из Эстерботтена вернулись мать и сестры Сеппо, и я окончательно перебрался к Хельге.

Она никогда не жаловалась на материальные тяготы, которые, без сомнения, должно было доставлять ей мое иждивенчество, но я понимал, что доходы ее очень ограничены и потому наше сожительство будет недолговечно.

Однако нам было хорошо вместе. Жизненный опыт, приобретенный мною на войне, почти уравнял нас, несмотря на разницу в возрасте, и она уже не была мне «доброй мамой», как до войны. Моя жизнь понемногу входила в спокойное русло. Два вечера в неделю Хельга была занята в театре, кроме того, у нее была дополнительная работа, в том числе на радио. Днем она часто отсутствовала, и я слонялся по пустой квартире без всякого дела. Но я размышлял. Конкретным ре-

зультатом моих размышлений явилось то, что в один прекрасный день я записался в коммунистическую партию и стал проявлять в ней большую активность.

А может быть, на самом деле меня толкнула на этот шаг встреча с Якобом фон Бладом. Когда я мысленно представлял себе его высокомерие и аристократическое чванство, я снова приходил в бешенство. По какому праву он так заносится? Потому, что ему посчастливилось носить известную фамилию? Кажется, Сеппо говорил, что его отец был сенатор, или коммерции советник, или генерал, или еще какая-то высокопоставленная шишка. Почему сын сенатора считает, что он лучше, чем сын дворника? Сеппо рассказывал, между прочим, что Якоб вовсе не так беден, как можно было предположить, увидев его крысиную нору,— наоборот: он получил в наследство изрядную сумму, с которой ему шла рента. Его убогая обстановка была лишь нарочитой и дурацкой богемной ширмой, не имевшей никакого отношения к его истинному социальному положению. Разве это не бесстыдный вызов тому, кто действительно беден и не имеет возможности создать себе удобное и уютное жилище? Мне было ясно, что он считает себя благородным, а меня — нет, точно так же, как вся буржуазия считает, что она благороднее тех, кто трудится ради хлеба насущного. Иными словами, часть людей считает, что они родились благородными и им нет необходимости прилагать усилия для доказательства своего благородства, тогда как остальные, согласно этой точке зрения, уже не могут стать благородными, сколько бы усилий они ни приложили. Только потому, что они не родились благородными. Где-то закралась роковая ошибка, которую следовало исправить. Размышляя таким образом, я совершенно самостоятельно, хотя, может, и наивно, но безусловно искренне, дошел до какого-то подобия коммунистических взглядов. Тогда я и вступил в коммунистическую партию.

Но в это время произошло сразу несколько событий. Неожиданно из Америки вернулся мой брат Эмиль и тотчас с большим размахом повел дела, в связи с чем я наконец-то получил возможность зарабатывать себе на хлеб, а позднее эта работа превратилась в дело всей моей жизни, если можно так выразиться. Кроме того, я возобновил отношения с дедом, которому было восемьдесят лет и который владел небольшой усадьбой под Гельсингфорсом, называвшейся Нюгорд. И наконец, я снова посетил Якоба фон Блада.

Дед открыл мне нечто совершенно фантастическое.

Мы, по обыкновению, говорили о всякой всячине, потому что всегда были добрыми друзьями, война была лишь нелепым эпизодом, который не мог всерьез повредить нашей дружбе. Я рассказал деду, что познакомился с одним очень неприятным типом, художником по фамилии фон Блад, который придрался к моей фамилии и вел себя так высокомерно и нагло, что мне пришлось съездить ему по роже. Дед надолго умолк и смотрел на меня, словно размышлял о чем-то. Потом он, растягивая на свой особый манер слова, произнес задумчиво и спокойно:

— Это двоюродный брат Брюнольфа.

— Ты шутишь.

Он покачал головой, седой, обветренный, усталый.

— Это так же бесспорно, как аминь; в старые времена такие вещи часто случались, да, может, и теперь тоже бывают, я не знаю.

Так и сказал.

Весь вечер мы пили на кухне кофе и беседовали. Дед рассказал мне о своих родителях и о своем происхождении, я узнал историю, о которой ни Брюнольф, ни Сайми ни разу не обмолвились ни словом.

Да и меня тоже раньше это не слишком интересовало. Корни? Когда это молодежь интересовалась своими корнями?

То была старая обычная история о человеческой силе и человеческой слабости. О желаниях плоти и об отважной борьбе одинокой женщины за свои права против врага, которым, по сути дела, был весь мир, вернее — весь механизм лицемерных и подогнанных оценок, созданных властолюбивым общественным классом с присущим ему неприятием всех новых лиц, то есть всех тех, кто не принадлежит ни к званым, ни к избранным.

Мать деда звали Креетой, она пришла сюда пешком из северного Тавастланда в поисках работы. Ей было шестнадцать лет, и была она одна-одинешенька на всем белом свете. Шел 1863 год.

Креета получила работу на суконной фабрике, открытой несколькими господами, у которых имелись деньги: одним из них был профессор Вальтер фон Блад. Сына профессора звали Карл-Юхан, ему предстояло стать директором фабрики, поскольку из всех господ профессор внес в эту фабрику самый большой вклад. Креете было шестнадцать, Карлу-Юхану — двадцать один. Креета была красива, а Карл-Юхан — похотлив, и в конце концов он ее обрюхатил. Заронил свое господское семя в ее девственное пролетарское лоно. Это была непоправимая и горькая ошибка. Тем более что она была следствием не только приятного времяпрепровождения, горячего минутного желания, безрассудной прихоти, но их связывала чистая, юная, взаимная любовь.

Наконец плод греха и позора созрел. У Креety вырос живот, и в 1864 году она родила здорового мальчика, это и был мой дедушка. Только его пришлось назвать не Карлом фон Бладом, а Калле Хямялайненом. Креете не удалось вернуться на суконную фабрику, она получила место горничной и кормилицы в другом благородном семействе с другой благородной фамилией. А Карл-Юхан даже не узнал об этом: его спешно отправили в Манчестер учиться всему, что должен знать директор суконной фабрики.

Но Креета не растерялась. Она была не из тех, кого можно безнаказанно топтать. Ее молчание купили скромным вознаграждением. Но с другой стороны, она никогда не давала слово выполнять свое обещание. Нужда не признает законов, считала Креета, право, мораль и всякое такое — все это лишь выдумки богатых. Поэтому она не постеснялась прибегнуть к шантажу, то есть сказала, что выполнит обещание, если семейство фон Блад, со своей стороны, позаботится, чтобы ей с сыном не пришлось побираться Христа ради и т. д. и т. п. Семейство фон Блад бушевало, взывало к богу, смиренно молило, грозило плеткой и плахой. Но Креета стояла на своем. Такой уж у нее был характер.

И Калле Хямялайнен был отправлен в шведскую народную школу, где он выучился шведскому, Креета тоже стала немного шведкой и переименовалась в Грету. Когда Калле окончил народную школу, он отправился в плаванье. Домой он вернулся взрослым парнем, жаждавшим попробовать свои силы в сельском хозяйстве. И Креета, которая теперь называлась Гретой и была уже зрелой, умной и опытной женщиной, пошла к возлюбленному своей юности, отважному Карлу-Юхану, который и в самом деле стал и директором, и коммерции советником, и бог знает чем еще, состоял в счастливом браке и имел много детей, и выложила ему без обиняков, что Калле хочет стать крестьянином.

— Черт побери, неужели же Нюгорд?..

— Хочешь взглянуть на дарственную?

— Но ведь тут тридцать гектаров!

— Сперва было не тридцать, а только пять.

— Не понимаю! Чего он-то боялся? Спустя столько лет?

— Тогда были другие времена, Дональд, не забывай этого. Скандал оставался скандалом для господ, которые их обожали, даже если это был старый и всеми забытый скандал, к тому же у Карла-Юхана были жена и дети, не мог же он привести меня за ручку и сказать им: вот ваш старший брат... а кроме того...

— Что — кроме того?

— Он так и не забыл ее, и она это знала. Поэтому какие-то деньги поступали до самой маминой смерти... Так сказать, пенсия. Плата за старую обиду. Теперь они словно поменялись ролями, теперь он ходил и вздыхал. А когда Калле Хямялайнен стал сам хозяином, он взял себе фамилию Блад. И никто не мог ему помешать. Правда, со своими важными родственниками я никогда не имел никаких дел. Так оно лучше, иногда думал я, особенно когда увидел, как плохо они обошлись с Брюнольфом... Этот самый художник, этот твой Якоб фон Блад... Ну да, точно, Карл-Юхан, то есть мой папаша, приходился ему дедом...

Сенсационный рассказ деда открыл мне новые перспективы.

Неожиданно я обрел конкретную основу и для ненависти, и для собственного достоинства. Историю о моем происхождении я в какой-то степени воспринял как подтверждение правильности коммунистического толкования действительности, и в то же время она дала мне удивительное, радостное чувство, что я, вопреки всему, *кое-что* собой представляю, что, вопреки всему, я занимаю определенное место в сложной человеческой цепи, являюсь звеном, пусть незначительным, в исторической родовой традиции. Мне не было нужды создавать новую династию, я уже принадлежал к династии, хотя и по боковой линии. И первое было не менее важно, чем второе. Пусть даже эти два чувства несовместимы и находятся в противоречии друг с другом, они помещаются тем не менее в одном и том же сознании, заполняют одну и ту же голову, мою голову. Я — Дональд Блад!

Эти новые сведения, в достоверности которых я, разумеется, ни секунды не сомневался, пробудили во мне непреодолимое злое и горячее желание пойти к этому противному Якобу фон Бладу, позвонить в дверь и сказать ему прямо в лицо: «Привет, дядюшка!» Но он опередил меня.

Однажды воскресным мартовским днем, когда на улице свирепствовала и завывала ледяная метель, в квартире у Хельги раздался телефонный звонок; это был он. Он, очевидно, немного выпил и хотел поговорить со мной. Извинившись за свое бестактное поведение в прошлый раз, он сказал, что с тех пор совесть не дает ему покоя, что он вовсе не чванливый сноб, но в тот раз он был немного не в себе. Правда, мы, можно сказать, квиты, так как я подбил ему глаз. Не соберусь ли я навестить его, ему хочется поговорить со мной об одной вещи, у него есть бутылка коньяку, доставленная контрабандой из Швеции, мы могли бы спокойно посидеть и т. д. и т. п. Ни секунды не колеблясь, я принял его приглашение и, несмотря на неистовство метели, отправился к нему не без чувства злорадного превосходства.

В ателье было очень холодно. Прямо передо мной — я сидел у стола, положив руку на желтую клеенку,— висела огромная картина: черные квадраты разной величины на желтом фоне, она очень напоминала план какой-то фантастической квартиры, состоявшей из множества комнат; я рассказал ему, что работаю у брата, который только недавно вернулся из Америки, в его фирме, учеником (правда, заработная плата у меня была довольно высокая, но об этом я умолчал);

это не произвело на него никакого впечатления, и я уже начал робеть и смущаться, совсем как в тот раз.

— Забудем прошлое, это в нашей власти, должен признаться, что у вас страшные кулаки, я лежал тогда целую неделю, головная боль, фонарь под глазом, конечно, это все та среда, где прошло ваше детство, понимаю, понимаю, да и я сам вел себя непростительно глупо, мне не следовало... но, как я уже сказал, я был не в своей тарелке, вы должны извинить меня, забудем об этом, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов, впрочем, извините, пожалуйста, может, кто-нибудь из ваших близких... война, сами понимаете, у нас в роду, например, много погибших, год назад погиб мой племянник, потом кузен, зять моей сестры, он был доцентом университета, всего двадцать семь лет, в этой стране остались лишь такие осколки, как я, неудавшийся художник, что я могу сделать для возрождения своей страны, ничего, решительно ничего, мы можем надеяться только на вас, на новое поколение, свежая кровь в старых жилах... или черт его знает как это говорится, но я позвонил вам не поэтому, мне бы следовало предложить вам что-нибудь, какую-нибудь работу, виды на будущее, кредит... но я ничего не могу, у меня нет ничего, что заслуживало бы внимания, меня никто не слушает, аристократ, пустое место — вот что я такое, они только смеются надо мной, косо смотрят, перешептываются и отворачиваются, белая ворона, позор семейства, с вашей стороны было очень любезно прийти ко мне, я, по правде говоря, не рассчитывал на это после того, что произошло, но в мире еще сохранилось немного человечности, я очень ценю дружеские отношения, вы мне нравитесь, это правда, за ваше здоровье, знаете что, нам надо перейти на «ты», зовите меня просто Якоб...

Мы обменялись торжественным рукопожатием и чокнулись. Мне еще не приходилось участвовать в подобной церемонии, но я понял, что, должно быть, это одна из вершин буржуазного общения. Он продолжал болтать, а я никак не мог понять, куда он клонит. По телу у меня забегали мурашки, в голове совершенно самостоятельно, помимо воли, вдруг всплыли слова: «Привет, дядюшка, привет, дядюшка, привет, дядюшка...» Потом они превратились просто в «дядюшка, дядюшка, дядюшка». Сейчас уйду, подумал я. Но тут он замолчал и с интересом уставился на меня, как будто ждал, что я скажу. Я совсем растерялся.

— Ты уже знаешь? — спросил он наконец.

— Что знаю? — удивился я и пожал плечами.

— Да нет, конечно не знаешь. Видишь ли, я сделал небольшое открытие, мне оно представляется весьма интересным. Тот дом, где ты жил до войны и где твой отец был дворником,— кажется, ты говорил, что это было на Скарпскюттегатан, семьдесят шесть?

— Ну?

— Ты знаешь, кому принадлежит этот дом?

— Нет.

— Семейству Лехтисуон-Лехтинен.

— Да, так звали нашего хозяина.

— Совершенно верно. А ты знаешь, что это за семья?

— Нет.

— Лехтисуон-Лехтинен — это финская ветвь рода фон Бладов, другими словами — это мои кузены. Весьма интересное совпадение, не так ли?

Внезапно мое сердце забилось сильнее. Об этом дед ничего не говорил мне. Может, он и не знал. А что, интересно, знал Брюнольф? Я почему-то покраснел, лицо мое горело.

— Так что невольно начинаешь задумываться...

У меня чуть не сорвалось с языка все, что мне было известно, но я удержался.

— Как звали твоего отца?

— Брюнольф.

Он покачал головой.

— Я немного порылся в архиве, но ни о каком Брюнольфе там не упоминается, это уж, во всяком случае, точно.

— Мой дед говорит...

— Что он говорит?

— ...что его отец был коммерции советник и что его звали Карл-Юхан фон Блад.

Сперва Якоб смеется, натянуто, немного устало и презрительно, наконец произносит ледяным тоном:

— Я что-то не понимаю, моего деда звали Карл-Юхан, он был коммерции советник, но я никогда в жизни не слышал, чтобы...

— Он имел внебрачного сына или как это там называется...

— Какая наглость!

— Но факт.

— А где доказательства? Есть записи в церковных книгах? Нет таких записей. Что, собственно, все это означает: заговор, чтобы добраться до денег фон Бладов?

— Разве не ты сам первый заговорил об этом: Скарпскюттегатан, Лехтисуон-Лехтинен, а? Ты, наверно, даже не подозревал, что твой собственный дедушка...

— Не верю, дед был человеком чести, а не бабником.

Я расхохотался. Вдруг я почувствовал твердую почву под ногами. Наконец-то мы поменялись ролями, теперь пришел его черед лепетать:

— Почему ты смеешься? Это немыслимо, особенно если вспомнить дух того времени, в шестидесятых годах прошлого века так не поступали, тогда люди были... честные... преданные...

Я продолжал хохотать.

— Я уверен, ни у одного фон Блада не было внебрачных детей, для нашего рода это не типично, нам воистину чуждо легкомыслие, мы серьезны, честолюбивы, прогрессивны, иногда глубоко религиозны, и мы всегда были высоконравственными людьми, я с самого начала понял, ты просто обманщик. Давай оставим этот разговор.

Но я все хохотал.

Я рассказал ему про Креету и Калле Хямялайнена, про любвеобильного Карла-Юхана и про то, как Калле Хямялайнен превратился в Карла Блада, про Нюгорд, про дарственную, которая цела до сих пор и на которую интересующиеся могут взглянуть,— я выложил ему все, все до конца.

Якоб фон Блад вздохнул. Он сидел, склонившись над столом, сжав руки, и не мигая смотрел на желтую клеенку. Это был сломленный человек. Утративший все иллюзии. Я же чувствовал себя великолепно. Так тебе и надо, аристократ чертов, будешь строить из себя невесть что, думал я. Он отхлебнул коньяку.

—All right [1].— Он поднялся, громко хлопнул в ладоши и потер их почти воинственно.

Он начал рыться в куче всевозможного хлама — старых журналов, альбомов по искусству, репродукций, листов бумаги, газетных вырезок—и вытащил альбом для фотографий, по виду очень старый, в толстом коричневом переплете тисненой кожи с металлическими застежками, украшенными искусной чеканкой.

---

[1] Хорошо *(англ.)*.

Положив альбом на стол, он хлопнул по нему несколько раз ладонью, чтобы выбить хотя бы часть пыли, потом открыл его и начал осторожно перелистывать твердые толстые страницы, в которые было вставлено по четыре фотографии с каждой стороны, это все были старики, бесконечная удручающая вереница лиц...

Якоб разволновался, он с торжеством тыкал пальцем и говорил:

— Смотри, вот и вот, ведь ясно, вот еще, и еще, и еще. Бладовский нос, характерный бладовский нос, широкая крепкая переносица, четко очерченный кончик, треугольные ноздри. У всех одинаковые, смотри, ну разве это не чудо, у всех, не считая тех, кто влился в семью со стороны...

Я не видел ничего, никакого сходства; конечно, носы были у всех, но разные, у каждого свой, особый, как у всех людей; несмотря на все старания, я не видел в их носах ничего общего, никакой единой приметы, единой характерной черты. Это был обычный родовой миф, впоследствии я узнал, что у Бладов было много таких мифов, вся семья культивировала их, а особенно Якоб... Бладовский нос, как и габсбургский подбородок,— заблуждение, рожденное фамильным тщеславием, воображаемая черта, созданная родовым самосознанием аристократов.

— А это тетя Катрина...

— Чья тетя?

— Чья? Тетя Катрина? Просто тетя, тетя — и все, всем тетя, ты ничего не понимаешь в этих вещах, в истории, в генеалогии, есть тети по отцовской линии и по материнской, они занимали свое место в этом мире, имели свое особое назначение, понимаешь...

— Нет, не совсем.

— Конечно, ведь ты же совсем из другого круга, итак, тетя Катрина, видишь, опять нос, настоящая фон Блад, это была очень артистическая натура, она писала маслом, рисовала, играла на фортепьяно, часто приказывала отнести пианино в лодку, кто-нибудь из работников садился на весла и медленно греб по плесу перед Березовым мысом, а она играла, это было изумительно — залитая солнцем водная гладь, раннее июльское утро, Лист, Шопен, Скарлатти, боже мой, какие были времена...

Якоб фон Блад продолжал свой рассказ, а я слушал его, верил каждому его слову, и сердце мое наполнялось завистью, отвращением, гордостью, торжеством и уверенностью в победе; я принял твердое решение со временем превзойти их всех, моих родичей и высоких предков, этих легендарных, славных и непобедимых мужчин и женщин из рода фон Бладов.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА[1]

Детство Дональда Блада

Первое мое воспоминание — тишина. На комоде тикает будильник. Все — зеленое: зеленое покрывало на кровати, зеленая вязаная шерстяная кофта, зеленая одежда на вешалке возле двери, зеленый сумрак глядящих в окно деревьев. Одиночество. Я дома один, и меня как будто нет, потому что нет и всех остальных. Я ничего не делаю, и мне нечего делать. Я не получаю ответа ни на один вопрос и чувствую, как вопросы медленно рассыпаются в тишине, превращаясь в прах равнодушия. Голова забита предостережениями, но я не помню ни одного. Дух этих предостережений присутствует, но содержание исчез-

[1] Так у автора. Вторая глава следует за третьей.

ло. Может, потому память о них и сохранилась? Поток непостижимых запретов, струящийся в бедном событиями существовании, и непреодолимое желание нарушить их. Зажечь спичку, вторую, третью. Пододвинуть к комоду стул, с трудом выдвинуть верхний ящик и там под полотенцами, рубашками, кальсонами найти отцовский пистолет. Поиграть с ним, изучить его. (Откуда у отца мог быть пистолет? С каких пор? Зачем? Об этом никогда не говорилось. Он и не подозревал, что я о нем знаю.)

Я рано познал, что мир, для которого меня родили, недобр. Мир запретов. Мир несправедливостей. Мир, в котором нет радости. Если хочешь получить от жизни удовольствие, надо самому позаботиться, ждать этого от других не приходится. Лгать грешно, но необходимо. Говорить правду бесполезно хотя бы потому, что тебе все равно никто не верит. От взрослых лучше держаться подальше, мало на кого из них можно положиться. Взрослые злы, самое разумное — остерегаться их. Есть богатство и есть бедность. Богатство — это хорошо, но оно для других. А для нас — бедность, серая, скучная, безрадостная, обнесенная оградой враждебности и немногословия.

Сколько раз я видел, чтобы моя мать улыбалась? И сколько раз из-за меня или мне? Я не помню ее смеющегося лица. Оно редко выражало что-нибудь, кроме горечи или покорности, печали или угрозы. А вот отец смеялся, когда мы оставались вдвоем. Смеялись его глаза. Я знал, что он меня любит. Дома он не смеялся. Там царила тишина. Если не считать того, что иногда Эмиль чертыхался и хлопал входной дверью. Звуки тишины. Шуршание газеты, которую читает отец, сидя в качалке. Треск огня, разгоревшегося в печке. Шелест бересты, отдираемой от полена. Бульканье кипящей воды, стук крышки, подпрыгивающей на кастрюле с картошкой. Свист тяжелого дыхания Оскара, который без дела сидит у стола, упершись в него локтями. Стрекот маминой швейной машины, щелчок, тишина и снова стрекот. Звон фарфоровых чашек, тарелок, ножей, вилок и ложек, когда накрывали на стол. Шаги: у матери — быстрые, семенящие, у отца — тяжелые, у Эмиля — нетерпеливые, у Оскара — шаркающие. Плеск воды в тазу для мытья посуды, в кастрюлях, в помойном ведре. Так звучит тишина. Это мое первое и самое сильное детское воспоминание.

Мать была маленькая, хрупкая, но очень выносливая. Руки у нее были жесткие, грубые и редко прикасались ко мне. Глаза — голубые, взгляд — всегда отсутствующий. Нос — маленький, остренький, уголки сжатых губ кисло опущены. Она часто бранила меня. Нельзя делать то, что хочешь. Она таскала меня за волосы. И сыпала оплеухами. У меня не было игрушек. Кроме парохода и машины, вырезанных из дерева отцом. И санок, которые стояли в сенях. И лыж. Мать сама шила мне всю одежду — какие-то бесформенные костюмчики, кроме меня в школе никто не ходил в таких костюмчиках.

Мать была маленькая, а отец — очень большой. У него были большие, мясистые, шершавые руки и всегда сухие ладони. Когда я брал его за руку, казалось, будто моя рука вползает во что-то большое и теплое, словно в птичье гнездо. Его живот напоминал взбитую подушку, к ней можно было прислониться, сидя у него на коленях. Здесь мне не грозила никакая опасность. Это было надежное место. Когда он сидел в качалке и читал газету, а я полулежал, прижавшись к его животу и покачиваясь, я иногда даже засыпал. Черты лица у него были крупные и тяжелые, глаза темные и грустные, если не считать тех случаев, когда он смотрел на меня. Тогда в уголках глаз у него вспыхивали искорки. Иногда. Часто.

В те вечера, когда мама должна была делать примерку одной из дам, которым она шила, он брал меня с собой в театр. Я сидел на сту-

ле в глубине гардероба среди вешалок и смотрел, как тетеньки снуют от барьера к вешалкам, нагруженные шубами и черными пальто с меховыми воротниками или капюшонами, шляпами, ушанками, белыми шалями, калошами и ботинками; повесив свой груз, они торопливо возвращались, держа в руке маленький номерок. За барьером, размахивая руками, толкалась публика, нетерпеливо ожидая своей очереди. Когда я немного подрос и ближе познакомился со служителями театра, меня стали пускать за кулисы, и я наблюдал за нервными приготовлениями к очередному представлению. Там же я познакомился с Хельгой, но это уже много лет спустя, когда я в качестве статиста был занят в некоторых пьесах. Отец в черной форменной куртке с золотым галуном стоял у входа в зрительный зал и проверял билеты.

Каждое утро отец вставал в шесть часов и отпирал ворота. Зимой, когда валил снег, будильник у нас звонил около четырех: отец должен был успеть счистить снег во дворе и с тротуара до того, как начнется уличное движение и господа из каменного дома отправятся на службу. Если снега было особенно много, мама шла помогать отцу. Иногда после этой работы отец так уставал, что, вернувшись домой в девять-десять часов, мог лишь, тяжело дыша, лежать без движения на зеленом покрывале, прикрыв рукою глаза. Тогда мать сердилась на хозяина. Она боялась за папину спину и за его легкие. Но когда дело касалось меня, она неизменно принимала сторону господ. И их жен. И чем старше я становился, тем чаще это бывало.

Тапио был моим лучшим, вернее, моим единственным другом до того, как нас отдали в школу. Мы были соседями по деревянной развалюхе, его отец работал жестянщиком и снимал там комнату с кухней, так же как и мы. Весной мы с Тапио мастерили рогатки из веток, которые срезали с росшего в саду ильма. Разумеется, это было строжайше запрещено. Но мы быстро научились плевать на это. Ведь запрещено было все. Нарушать запреты, пренебрегать правилами, бросать вызов стражам закона, а также оказывать сопротивление представителям власти было жизненной необходимостью, одним из главных условий нашего существования.

Со своими рогатками мы охотились на крыс, на господских детей и на кошек. На ворон и воробьев. Уже в дошкольном возрасте мы натренировались так, что достигли весьма значительной меткости.

Но было другое место в другом мире, светлое место в прекрасном мире, ограниченном во времени и пространстве, где не существовало ни правил, ни запретов, где всегда царили радость и свобода. Это бывало летом у дедушки в Нюгорде. Всегда ли я жил там летом? Или два-три раза? А может, только один-единственный раз? Не помню. Но помню солнце, мух, запах сена. Тихие, теплые, залитые солнцем утра с длинными тенями и росой на траве, домашних животных, уже проснувшихся и подающих голос в ожидании корма. Мычание коров, блеяние овец, кудахтанье кур, хрюканье поросят, кукушка в лесу, множество птиц, ласточки под стрехой, бабочки и мухи, мухи, мухи. У дедушки были кролики, собака и кошка. Собаку, черного шпица, звали Мусти, а старую кошку — Мама: этого имени она удостоилась, потому что регулярно рожала на свет новых и новых котят.

Когда я думаю о тех временах, я удивляюсь, как много возникало всякий раз препятствий, мешавших моим поездкам в Нюгорд. Может, это имело отношение к дедушкиному свободомыслию и маминой религиозности? Может, дом деда в каком-то смысле считался не совсем подходящим местом для сына глубоко религиозной женщины? Дед вдовел уже десять лет, но он жил не один, у него была Свеа. Они не были женаты. Дед был человек веселый. Свеа тоже. Разумеется, он не был религиозен, как мама. Может, все дело именно в этом? Если

не ошибаюсь, я всегда был желанным гостем в Нюгорде. Свеа была моим другом. Так же как дедушка, поросенок, Мусти, Мама и мухи. Чего только не пережил дедушка на своем веку — ведь он родился в 1864 году! Он наблюдал родовые схватки страны и рождение нации. Как мало человек знает об обстоятельствах, связанных с его собственным детством, о том, что случилось или не случилось и почему случилось то, а не случилось другое... Дедушкин Нюгорд принадлежал животным, я жил среди них, чувствовал себя одним из них...

А дома, в городе, подслеповатое окно, упиравшееся в противоположную стену. Я — у окна, праздный, в вязаном сером свитере, коротких фланелевых штанах и коричневых вязаных чулках. И серая кошка Мирре. Справа — серая, без окон стена семьдесят четвертого дома; слева — узкий, посыпанный гравием проход между нашим домом и сараем или складом — там растет крапива. Прямо и выше, на фоне облаков или чистого синего неба, зелень деревьев или кружево веток — в зависимости от времени года. Потом — сад, потом — двор, и с другой стороны двора высокая желтая стена каменного дома с ровными рядами окон. Пять рядов окон, белые полотняные шторы, синие в клеточку занавески — это кухни, зеленые гардины — это спальни. Кругом все зеленое. Под сенью деревьев несколько садовых стульев и стол, качели для детей, большой ящик с песком... Черная тень ветхой деревянной стены под нашим темным окном, словно неумолимая, резкая грань между двумя мирами: один — огромный, до краев залитый светом мир буржуазии, другой — тесный, тихий, неприглядный закоулок мироздания, отведенный беднякам.

Но тогда я еще так не думал. Ни Сайми, ни Брюнольф никогда на это не жаловались. Мы были бедны, но наша бедность никак не соотносилась с чужим богатством. Это была, так сказать, аполитичная бедность. Или нет? Какие родители говорят о политике со своими детьми? Это как смерть или эротика, о них не следует говорить в присутствии детей. Если Брюнольф втайне и был социалистом, то уж Сайми, во всяком случае, социалисткой не была. Может, поэтому между ними всегда и царило молчание? А что означал пистолет Брюнольфа, тщательно спрятанный под рубашками и кальсонами? Законное оружие для обороны в беспокойные времена, выданное хозяином Лехтисуон-Лехтиненом и дозволенное властями? Или опасная нелегальщина, тайный залог нерушимой верности какому-то движению, убеждениям, которым он не изменил и о которых всегда помнил? Что делал Брюнольф во время гражданской войны, в кровавые недели победившей контрреволюции? И этого я не знал. Красный был Брюнольф или белый? А может, никакой — пассивный обыватель, обремененный семьей, которую надо содержать, боявшийся потерять свой скудный заработок из-за политических авантюр; может, ему хватало своих забот, и он мечтал только, чтобы его оставили в покое, пусть другие улучшают этот мир как могут и как хотят? Где правда о моем отце? Каким он был?

У матери была христианская вера и Библия, и в Библии ничего не говорилось о социализме, восстаниях и равенстве. Ее мораль была моралью повиновения, и ее представления об обществе носили отпечаток частых посещений тех богатых заказчиц, на которых она шила. Последовательно нелояльная по отношению ко мне во всех конфликтах, мать всегда принимала сторону господ и в их светских манерах видела высокий жизненный идеал — короче говоря, она была очень ограниченной, и мы все страдали из-за этого...

Нет, так не могло быть, а как было, я теперь не помню. Наверно, как-то иначе. По-другому. Нет, не знаю. Не знаю, как писать дальше

и стоит ли вообще продолжать. Среди бумаг, лежащих у меня на столе, я нашел записи, сделанные, когда я еще не пытался писать всерьез и считал, что воспоминания всегда однозначны, что действительность поддается описанию и что ее можно организовать согласно определенному образцу, который в законченном виде и называется автобиографией. Я написал тогда: «Каждый период жизни требует своей женщины». Понимай так: период в жизни мужчины. Вот эгоцентризм. Ведь совершенно ясно, что́ я тогда думал, из чего исходил: женщина существует для мужчины. Удовлетворять потребность мужчины в женщине—таково назначение женщины в этой жизни. Примечательное умозаключение. Теперь мои взгляды уже не так просты и безусловны. Может, когда-то я так и думал, но поучительный опыт моих многократных браков заставил меня изменить точку зрения. Что же касается той моей записи, так ведь можно все перевернуть иначе и с таким же успехом заявить, что каждая новая женщина требует или предполагает новый период жизни. Вопрос лишь в том, что поставить на первое место: любовь или жажду деятельности, секс или престиж, семью или общество, комфорт или честолюбие, жажду наслаждений или чувство долга.

Есть что-то детское во всем этом рассуждении, в этом делении на две части, разграничении, категорическом размежевании. Как будто одно можно отделить от другого, вот — женщина, а вот — определенный период жизни. Словно женщина или жена в основе своей не является решающей частью жизненного периода. Глупая болтовня. Тупая, поверхностная и ограниченная мысль! Она могла прийти в голову лишь неисправимому романтику, одержимому навязчивой потребностью мистифицировать женщин и показывать фокусы на любовной арене. Неужели я такой? Боюсь, что да. Чудовищно! Я не узнаю себя в этой роли. Все это слишком пошло, произвольно и бессмысленно, чтобы как-то классифицировать и проверять. Все люди разные. Но почему я вдруг увлекся этой бесплодной темой?

Женщины неотделимы от моей биографии. Разве этого не достаточно? Но с другой стороны, я только что заявил, что пишу вовсе не биографию. Почему же в таком случае я вообще продолжаю этим заниматься? Для самооправдания. Я исписал ворох бумаги, пытаясь сбить с толку читателя своими объяснениями. Но это бесполезно. Я пишу, чтобы оправдаться. Меня хотят обвинить в преступлении. Его милость маляр фон Блад, который преследует и донимает меня вот уже много лет, не посчитал за труд составить жалобу на имя самого канцлера юстиции. Он обвиняет меня в краже, грубой краже. Разумеется, это ложь. Но это не все. Косвенно, однако, весьма коварно меня обвиняют и в более серьезных преступлениях. Господи, да ведь будет только справедливо, если я получу возможность обелить себя раз и навсегда.

Ксерокопия идиотского послания Якоба лежит у меня на столе. Такие уж у меня связи. Естественно, его жалоба не повлечет за собой никаких мер, потому что Якоб сумасшедший. Но тем не менее все это достаточно неприятно. И если Якоб считает, что у него есть основания обращаться к высочайшему стражу закона в нашей стране, я обязан, хоть кровь из носу, показать, что могу ответить десятикратным ударом. Но я не так низок, как он. Его мозг способен лишь на пасквиль или просто на тупоумный бред. Я же решительно не способен написать на кого-нибудь пасквиль.

Должен признаться, что за свою жизнь я совершил много неблаговидных поступков. Или во всяком случае опрометчивых. Но во всех моих поступках всегда был шик и размах, этого отрицать нельзя. Так и теперь, когда я хочу себя реабилитировать. Я вскрою взаимо-

связь, докажу неумолимость внутренней логики, которая определяет все человеческие поступки. И это будут не досужие размышления, доказывающие, что «а» есть «а», а не «б»,— речь пойдет о чувствах, о жизни и ее высших ценностях. Это совсем разные вещи. Поэтому-то я и должен рассказать о женщинах, игравших в моей жизни большую роль. Обо всех женщинах. (Ладно, пусть не обо всех.) Без них я, увы, не смогу полностью реабилитировать себя. Женщины, черт бы меня побрал,— это и есть жизненные периоды. Я часто действовал так или иначе только ради них. Золотая оправа моей жизни? Нет, они — кровеносные сосуды и кровь моей жизни. Наконец-то я нашел точное определение.

Вот уже два года я живу с Ванессой Р. Это зрелая, утонченная и глубоко эмоциональная связь. Без сомнения, Ванесса — первая женщина, которой удалось внести некоторый порядок и ясность в мою эмоциональную жизнь и в мой эротический мир. Прежде я не мог сдержать себя и часто сбивался с пути. Женщины были моим главным интересом, моей страстью и моим хобби. Я был помешан на них, и жизнь без женщины, воздержание было для меня пыткой.

Первым четырем женам я был неверен без каких-либо попыток сдержаться или моральных переживаний.

Ванесса — необыкновенно сильная личность, ее влияние непреодолимо. В ее существе заключена сила, которая требует своего рода... да, да, своего рода покорности, ничего подобного я не встречал раньше ни у одной женщины. Ее обращение, ее манера вести себя — короче говоря, ее аура (кажется, так говорят?) содержат невысказанное и в то же время само собой разумеющееся, не терпящее возражений требование равенства и уважения к ее личности как основополагающих предпосылок для совместного существования. Такой уж у нее характер: она решительна, не позволяет обсуждать себя и не допускает, чтобы с ней не считались. Не говоря уже о том, чтобы над ней шутили. Или от нее отшучивались. Она любит с фундаментальностью, исключающей всякое желание покрутить на стороне. Я был верен ей эти два года (почти). Совершенно добровольно и к тому же без всяких искушений. Ее превосходство и сила? Хорошо, пусть так. Или мое начинающееся бессилие? Старею? Теряю интерес к женщинам? Нисколько.

Ее здесь нет. Она уехала уже больше месяца тому назад. Я один, и мне сейчас очень некстати это. Мне плохо. Из-за этого я не нахожу себе места, не могу сосредоточиться, чувствую себя подавленным и в голову лезут безумные навязчивые мысли. Она еще ничего не сообщала о своем возвращении. Мне тревожно, последнее письмо от нее было уже очень давно. Я ничего не понимаю. В чем дело? Может, она нашла себе молодого грека или испанца и теперь покоится в его объятиях под кусточком в парке какого-нибудь большого города? Разумеется. нет. Черт побери! Я не ревнив.

Ванесса — пианистка, каждый год она на несколько месяцев уезжает в турне по разным странам. Мы простились с ней три месяца назад, и она отправилась в Австралию, чтобы, как она выразилась, попытаться в стопятидесятый раз переплыть через Рахманинова, не запыхавшись. С тех пор она приезжала домой несколько раз, но только на один или два дня. Три недели тому назад она должна была быть в Лондоне. Ей предстояло играть в Ковент-Гарден Сен-Санса, пятый фортепьянный концерт F-dur, «Египетский», тот самый, в котором главная тема первой части напоминает одну старинную популярную песенку.

Вообще-то я ничего не понимаю. Она должна была вернуться в первых числах декабря — во всяком случае, до шестого. Но мне при-

шлось идти одному на президентский прием, что мне было крайне неприятно. Задержалась из-за какой-нибудь ерунды. Я очень горжусь ею. По-детски горжусь Ванессой. Моя Ванесса. Честно говоря, я вырастаю в собственных глазах, когда бываю с нею на людях. Мне пусто без нее, и, как ни глупо, я чувствую себя иногда почти униженным. Но вовсе не потому, что она знаменитость, здесь она не знаменита, и в этом отношении я не тщеславен. Здесь она никогда не дает концертов, она хочет, чтобы Финляндия была ее тылом, страной, где она отдыхает, прибежищем покоя и анонимности. Мне нравится появляться с ней на людях из-за присущей ей властности, из-за ее царственного облика, ее необыкновенного изящества (как принято выражаться в дамских журналах). Из-за того, что она — это она.

В первый раз мы встретились в Лондоне (тогда я еще жил с малюткой Элиной) при крайне трагических и тяжелых для меня обстоятельствах. Я поехал туда, чтобы разыскать свою старшую дочь Розу, о которой были получены очень тревожные сведения. Но я приехал слишком поздно. Роза погибла. Она умерла буквально у меня на руках от слишком большой дозы амфетамина. Роза была наркоманкой, ей было всего двадцать лет. Она не узнала меня, хотя я без конца звал ее, одна из многочисленных жертв... Я не могу сейчас говорить об этом... потом, когда я буду рассказывать о Майлзе, ее брате, мне, конечно, придется... ведь я пишу, чтобы оправдаться...

Мы с Ванессой встретились не случайно.

В те дни, пока шло полицейское следствие, улаживались всякие бюрократические формальности и я ждал назначенного срока, чтобы кремировать останки бедной Розы, у меня было время бродить по моему любимому Лондону и в отчаянии размышлять о том, как грубы и бессмысленны бывают порой удары судьбы. Однажды я прочел в «Таймс» объявление: неизвестная мне пианистка по имени Ванесса Р. на двух, следующих один за другим, концертах в Зале королевы Елизаветы будет исполнять фуги и прелюдии из «Хорошо темперированного клавира» Баха.

У меня были особые причины (смешная привязанность Якоба к Баху) двойственно относиться к этому гению музыки, в том числе и к его великолепным прелюдиям и фугам. И поскольку у меня не было других дел, кроме мучительного ожидания и неприятностей, я приобрел билет на первый концерт. Таким образом я оказался в зале, я сидел, слушал и должен признаться, что уже во время первой прекрасной прелюдии у меня из глаз хлынули слезы: иногда я бываю очень сентиментален. Но на этот раз причиной моих слез была не только музыка, а прежде всего, конечно, Роза, мысль о ее короткой безрадостной жизни и страшной смерти. Но было бы нечестно умолчать о том, что мое волнение или чувствительность были вызваны и еще чем-то — пока что неопределенным,— однако сильно на меня подействовавшим. Видом самой пианистки Ванессы Р.

Ванесса играла с необыкновенным достоинством. Спина прямая, никакой манерности, она излучала сосредоточенность, самообладание и сдержанную силу, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Может быть потому, что я был совершенно не подготовлен к этому. Ее прекрасное лицо светилось. Черные блестящие волосы, собранные на затылке в узел, подчеркивали белизну кожи, высокий лоб, нос с легкой горбинкой; изгиб тонких губ — это я сразу понял — выражал ум, силу воли и уверенность в себе. Я сидел как зачарованный и не сводил с нее глаз.

После второй прелюдии c-moll я уже страстно желал ее, а после пятой фуги D-dur, с ее прозрачным, даже ребенку понятным и невозмутимо светлым звучанием, я был уверен, что добьюсь своего. Как

будто она этим произведением посылала мне тайную весть, что между нами все решено и условлено. К концу концерта мне было ясно, что я, уже в который раз, влюбился, влюбился решительно и бесповоротно или, как выразился бы Торбьёрн, «был здорово эмоционально ангажирован».

Чувство счастливого ожидания болезненно противоречило горю, причиненному смертью Розы. Но это, как обычно, был конфликт временный. Ничто не могло бы удержать меня — ни раньше, ни теперь. И когда меня, спустя несколько дней, пригласили на коктейль в наше посольство, я уговорил посла, с которым был хорошо знаком по прежним приездам, послать под каким-нибудь удобным предлогом приглашение и Ванессе Р. Она пришла, на что я, честно говоря, не рассчитывал.

Потом она говорила мне, что не хотела принимать этого приглашения. Как я и думал, она ненавидела посольские приемы. И вдруг какое-то финское посольство! Что Финляндия значила для нее? Ничего. Может, поэтому и пошла, так она мне сказала. Из чистого любобытства. Чтобы для разнообразия отведать чего-то неизвестного, экзотического. И прибавила с ироническим смешком, что дело было, наверное, в своего рода телепатии. Сильный внутренний голос велел ей пойти в финское посольство, поскольку там ее ждало что-то новое, интересное и приятное. Не знаю, серьезно ли она так считала. Если да, то она, конечно же, отнеслась к этому как к слабости, в которой признавалась весьма неохотно. Суеверие и мистика не вмещались в рамки ее рационалистического мировоззрения.

Прием в нашем посольстве ничем не отличался от прочих подобного рода встреч. Пятьдесят человек без каких-либо естественных связей друг с другом, кроме определенного социального статуса — высокого общественного престижа. Подразумевается, что долг и обязанность гостей — быть предельно остроумными, но большинство лишено таких способностей, и результат, как правило, бывает печальный — истерическая болтовня, настолько вульгарная и бессодержательная, что хоть плачь (если, конечно, человек давно не приобрел иммунитета к любым столкновениям с глупостью и социальным ханжеством). Ванесса Р. стояла в стороне одна, она ничего не пила и не ела из этих изысканных и нездоровых кулинарных изобретений, без которых не обходится ни одно подобное претенциозное действо.

Я подошел к ней и представился, сказал, что присутствовал на ее концерте. Она не пришла в восторг по поводу оказанного ей внимания, приняла его как нечто само собой разумеющееся. Ее можно было счесть крайне высокомерной, однако, по-моему, все объяснялось естественной неприступностью, с помошью которой застенчивые, но в то же время уверенные в себе люди хотят показать, что они начеку. Я попытался льстить. Сказал, что слышал «Хорошо темперированный клавир» в исполнении и Святослава Рихтера, и Ванды Ландовской (что было неправдой), однако ничье толкование не тронуло меня так, как ее (что, напротив, в известном отношении было правдой).

— Не верю,— ответила она ледяным тоном.

Я не мог допустить, чтобы она отшила меня таким образом, и приготовился к новым боевым действиям, только не знал, предпринять ли лобовую атаку или прибегнуть к обходному маневру.

«Через двадцать четыре часа ты будешь моей, а не то я просто спячу»,— подумал я, как уже сотни раз в жизни. Уверен, что по моему взгляду она угадала мои мысли.

В те сутки мы еще не упали в объятия друг друга. Но после приема в посольстве мы вместе пообедали в «Вилла Бьянка» в Хемпстеде. Это она привезла меня туда. Я, разумеется, не знал этого ресто-

рана, маленькой скромной итальянской траттории. Обычно я ем в «Хилтоне» или «Ланкастере» — в общем, там, где мне случается остановиться. Обеды у меня всегда деловые, а в «Вилла Бьянка» дела не делаются. Во всяком случае, мои. Кроме любовных, конечно. Ими как раз лучше всего заниматься в «Вилла Бьянка».

Что заставило Ванессу изменить свое мнение обо мне? Что заставило ее изменить поведение, сменить презрение и невольную неприязнь первого впечатления на растущее тепло, симпатию и личную заинтересованность? Она приняла меня за обычного самоуверенного, пользующегося успехом нахала, на ее взгляд самого неприятного банального толка, которых на всех посольских приемах во всех частях так называемого капиталистического мира бывает по тринадцать на дюжину.

Она решила, что я какой-нибудь предприниматель из класса тяжеловесов, дипломат или чиновник, занимающий влиятельный пост в бюрократической иерархии своей страны. Но это ей было совершенно безразлично. Она знала этот тип людей, и такие люди ей не импонировали.

Что же, вопреки всему этому, заставило ее пригласить меня в свой красивый маленький старомодный, почти антикварный автомобиль и привезти в Хемпстед? Она не ошибалась относительно меня. Я, с ее точки зрения, был обывателем. Но я вовремя изменил тактику. Увидев, как обстоит дело, я взял другую тональность. Оставил в покое Баха, концерт и всякую сдержанность. Переменил тему разговора. Начал рассказывать о Розе, о причине моего пребывания в Лондоне, о своей бедной погибшей дочери. Это подействовало.

Ее глаза, прежде такие равнодушные, мало-помалу наполнились состраданием. Это была уже половина победы. Я пустил в ход не только свое горе, но и страшную смерть своей старшей дочери, ее трагедию, чтобы как можно скорее лечь в постель с этой почти незнакомой женщиной, в которую я за два дня до этого врезался по уши с первого взгляда. Я не рассуждал о том, что делаю. Я просто действовал, ибо знал, что этот метод не хуже всех остальных. Такой уж я человек. Достойно ли это осуждения? Я бы не стал затруднять себя разглагольствованиями по этому поводу, поскольку моральная софистика никогда не была моим коньком. Но сейчас это, к сожалению, относится к теме моего опуса, моего оправдательного слова. Я еще буду вынужден вернуться к этому, однако несколько позже. Когда пойдет речь о Майлзе...

Как бы там ни было, Ванесса была вместе со мной, когда я вернулся в Гельсингфорс с прахом Розы.

Не могу удержаться от размышлений над всем, что связано с женщинами и разными периодами в жизни мужчины. В моих браках или в моих отношениях с женщинами можно проследить такую четкую эллиптическую линию — иными словами, логическую кривую, что я почти убежден в возможности перевести ее в абстракцию и выразить в чисто математических символах. Пусть это и бессмысленно. Тем не менее эта явная и неумолимая логика не перестает привлекать меня. Хотя можно задать и такой вопрос: какого рода логику я вижу в этом. Философскую? Социальную? Или психологическую? Дилетантские выдумки.

Мне было всего двадцать лет, когда я женился на Синикке, однако, несмотря на молодость, опыта у меня хватало. У нас с ней родилось двое детей: сын, которого мы назвали Майлзом в честь какого-то американского тромбониста, только не Майлза Дэвиса, и дочь, наз-

ванная Розой в честь Розы Люксембург. Это звучит немного наивно, но по возрасту мы ведь были скорее детьми, нежели взрослыми, хотя я уже успел пробыть два года на фронте, научился убивать, блевал от отвращения к этому низкому и бесстыдно прославленному занятию. Синикка, кажется, была немного старше меня.

Мы познакомились на собраниях КПФ. Синикка принимала участие в коммунистическом движении буквально с пеленок. Она на своей шкуре испытала террор и преследования, участвовала в подпольной работе в 20 — 30-е годы и во время войны. Ее отец был одним из ветеранов. В 1918 году его приговорили к смерти, потом помиловали, и он не умер, даже несмотря на голод в концлагере в Экенесе. При лапуасцах его подвергли пыткам стоявшие вне закона правые бандиты, потом он был арестован и приговорен к тюремному заключению, но через несколько лет его освободили. А в 1940 году снова арестовали, и на свободу он вышел только после перемирия. Практически не было такой формы нелегальной политической деятельности, в которой бы он не участвовал, и таких политических преследований, которые бы не коснулись его лично. Отсюда, наверное, как это ни парадоксально, и черпала силы неизменная веселая раскованность, характерная для его натуры. Он прошел через все, стоял перед карательным взводом, буквально заглянул смерти в глаза и все-таки остался среди живых. Терять ему теперь было нечего, приобрести же он мог все. Его звали Ханнес. Ханнес Каапола, замечательный человек. О его мужестве и о его горячем, бурном темпераменте слагали легенды. А также о самозабвенной, нежной заботе, которую он, не задумываясь, проявлял по отношению к попавшим в беду людям, и о его непоколебимой вере в будущее — движущей силе всей его жизни; мне казалось порой, что эта вера граничит с неразумным упрямством. Его рассказы о собственном прошлом, о фантастических приключениях, выпавших на его долю, превосходили все, что мне приходилось читать в молодости в дешевых приключенческих книгах или видеть в кино. Я безоговорочно восхищался им и был очень горд, когда женился на его дочери.

Синикка оказалась той силой, которая помогла мне осознать свое место в обществе, обрести устойчивость и научила меня принимать решения. То, чего не смогли сделать два года фронтовой жизни и военной дисциплины. В 1944 году, во время войны, я получил аттестат зрелости, не сдавая никаких экзаменов. Мне был дан недельный отпуск, чтобы я мог сам получить белую студенческую фуражку в своей старой гимназии в Гельсингфорсе. Утром в день выпуска я напился и на церемонии вручения аттестатов еле держался на ногах. Однако на это почтительно не обратили внимания, ибо я, в противоположность большинству выпускников, был настоящим фронтовым героем. На Хенриксгатан (ныне Маннергеймсвеген) я не отдал честь полковнику и на его строгое замечание ответил не задумываясь: «А катись ты знаешь куда!» Это без сомнения привело бы меня прямо в полевой суд, если бы, благодаря странной прихоти судьбы, этот полковник не оказался близким другом ректора нашей гимназии, а я был одним из его любимчиков. Высокие господа сменили гнев на милость, не стали возбуждать дела и ограничились совместным, основательным, но скорее отцовским, чем офицерским внушением.

Я привожу этот эпизод как пример своего горячего и строптивого нрава, который за мою жизнь сыграл со мной много опасных шуток, и фантастической, иногда совершенно необъяснимой удачи, сопровождавшей почти все мои начинания, и хорошие и плохие, и умные и глупые. Через год с небольшим мне опять повезло в похожей ситуации, однако более серьезного свойства. Поначалу пустяк, результат

бездумной, юношеской горячности после многих лет забвения превратился неожиданно в темное и роковое воспоминание. Я имею в виду того лейтенанта в подъезде и его убийцу; никто не узнал бы, кто убил лейтенанта, если б убийца не женился на...

Международная социал-демократия к концу второй мировой войны была так же глубоко скомпрометирована, как и после первой. Она грубо предала основные и сокровенные цели рабочего движения и трусливо поддержала империализм в его жестокой и кровавой военной авантюре. Таким образом, тот, в ком пробудилось социалистическое сознание, естественно, выбирал коммунизм и вступал в КПФ.

Я кончил гимназию, и с точки зрения партии это имело определенное значение. Кроме того, я был умен, любознателен, способен, энергичен, я старался как можно лучше выполнять все задания, которые мне поручали. По крайней мере сперва. Вряд ли я сильно преувеличу, если скажу, что со мной связывали большие надежды. Очевидно, во мне видели качества, необходимые для будущего руководителя. По совету старших товарищей я поступил на факультет политической экономии и статистики в Гельсингфорском университете. Я посещал вечерние курсы, чтобы постичь основы марксизма, и читал марксистскую литературу даже в свободное время, поскольку университетская программа, как известно, благоразумно не касается столь рискованных предметов. Я знаю, что предполагалось послать меня даже в Москву для более основательного обучения. Но из этого ничего не вышло.

Ко мне относились дружелюбно, и это произвело на меня сильное впечатление. Никогда прежде — ни дома, ни в школе, ни в армии — я не видел, чтобы общение между людьми, иногда даже малознакомыми, было таким сердечным и искренним, чтобы люди так заботились друг о друге и всегда были готовы прийти на помощь товарищу. Там не говорили ни «я», ни «мое», как дома, в школе или вообще в жизни, но только «наше», все делилось поровну, все во всем были вместе, и от этого человек чувствовал уверенность в себе, раскованность. Чувствовал себя свободным. Работа и знакомство с новыми людьми, товарищами по партии, дали моей жизни новое содержание, дали мне новую ясную цель, отчаяние послевоенных дней и мучительные кровавые воспоминания о фронте перестали быть такими болезненными. Понемногу они ослабли и превратились в абстрактные далекие картины, которые все реже посещали меня в ночных кошмарах, все реже всплывали в сознании в виде панического страха.

Я вернулся домой с войны неотесанным, необразованным и почти совершенно законченным хулиганом. Фронтовая жизнь ничему не научила меня. По любому поводу я затевал ссору, любил драться, таил в душе страх, все ненавидел и нисколько не интересовался будущим. Только два занятия в основном занимали мое время и силы: бабы и выпивка. В то время меня вполне устраивала подобная жизнь. Но женитьба на Синикке не только внушила мне чувство собственного достоинства, придала моему существованию некоторую стабильность, наметила четкое, заманчивое и конструктивное направление жизни, но и пробудила дремавшую во мне склонность к так называемому карьеризму, я захотел стать не только чем-то, но и чем-то весьма значительным. Я прекрасно понимаю, что именно брак с Синиккой явился главной причиной того, что мое положение в партии быстро укрепилось, именно он за удивительно короткое время помог мне добиться значительного доверия и уважения. Ханнес Каапола оказывал мне поддержку своим безоговорочно добрым отношением. Для меня он был авторитетом и учителем, образцом, достойным восхищения, но с одной очень важной оговоркой — в будущем я собирался пойти даль-

ше, чем он, совершить больше, чем он, и достигнуть более высокого положения.

Потом из Америки приехал домой Эмиль.

Эмиль эмигрировал в США перед самым началом большого экономического кризиса. Ему тогда было восемнадцать лет. Мы знали, что он очень нуждался.

И вот неожиданно Эмиль появляется в Гельсингфорсе в роли важного господина и магната. Дело было зимой вскоре после перемирия. Поселился он в «Чемпе». На нем был солидный темный костюм в белую полоску, серый галстук, жилет и часы на золотой цепочке. Поскольку я в то время порвал все связи со своей семьей, я мог бы так и не узнать о приезде Эмиля, не столкнись я на улице с Оскаром, который очень кратко и сквозь зубы сообщил мне об этом событии.

Оскар был на два года моложе Эмиля, но больше чем на десять лет старше меня. Мы всегда терпеть не могли друг друга. Он работал мелким служащим в каком-то государственном учреждении, это был озлобленный, начисто лишенный чувства юмора сердечник, который всегда сидел дома за кухонным столом с мрачным видом. К маме он относился столь же нежно и заботливо, сколь враждебно ко мне. Я помню, что тогда, на улице, не сразу решился поздороваться с ним, в конце концов я взял себя в руки и все-таки сказал ему: «Привет!», и, как оказалось, не зря, потому что я узнал об Эмиле.

Я навестил Эмиля в «Чемпе». Он был искренне рад моему приходу, бурно проявлял свои чувства, угостил меня праздничным обедом довоенного образца, сорил деньгами, одним мановением руки одел меня в новый приличный костюм и сделал так, что уже через несколько дней я смог въехать в собственную квартиру в Тёлё, при этом он лично великодушно внес квартирную плату за первые месяцы. Короче говоря, Эмиль выступил в роли этакого капиталистического фокусника и гипнотизера высшего класса, продемонстрировав ошеломляющий империалистический или диснеевский номер, который показался бы совершенно невероятным большинству людей послевоенной разрушенной и опустошенной Европы.

Эмиль был настоящий фокусник; чем больше мы беседовали, тем больше он мне нравился, и я начинал проникаться к нему все большим доверием. Лишь много лет спустя я понял, что значительная часть его дружелюбия и участливости была доброй маской, которую надевал на себя жестокий и хитрый делец, чтобы спутать карты людей, которых он, с одной стороны, знал недостаточно хорошо, а с другой — стремился получить от них какую-то выгоду. От меня он, разумеется, не ждал выгоды, но подобное обращение вошло у него в привычку и стало выглядеть естественным. Когда пришло мое время, я сам с успехом пользовался этим приемом.

Эмилю я не сказал, что я коммунист.

«Чей черед, тот и берет»,— говорил Эмиль. Он предложил мне место в только что созданной им фирме, занимавшейся импортом (той самой фирме, которая потом перешла ко мне, которую я расширил и возглавлял столько лет). Я не задумываясь принял его предложение, пораженный всеми благами, которые внезапно на меня свалились. Эмиль был мой старший брат, и меньше чем за вечер он стал самым лучшим другом, какой у меня когда-либо был. Сеппо понемногу исчез с моего горизонта, я с грустью, но решительно простился с Хельгой, началась новая жизнь.

Днем я сидел в конторе на Микаельсгатан и постигал премудрости счетоводства, экономики и торговли. По вечерам я изучал марксизм и обсуждал различные методы свержения капиталистического строя. Я был освобожден от обязательного посещения лекций в уни-

верситете и занимался ночами, готовясь к зачетам и делая контрольные работы. А кроме того, я любил. После Хельги начался период случайных связей, даже с проститутками, но понемногу отношения с Синиккой становились все прочнее.

Более щепетильному человеку, который не так просто воспринимает происходящее, подобная ситуация показалась бы несколько сложной. Я же увидел в ней лишь захватывающую игру. Прелюдию к сказочным приключениям (что и было на самом деле). Я, просоветски настроенный коммунист, активный и убежденный член партии, с радостью принял должность — и обещание неограниченных возможностей по части повышения — в проамериканском и в высшей степени капиталистическом предприятии. Это было серьезное испытание для моих скрытых актерских способностей. Требовалось постоянно соблюдать равновесие между произносимой полуправдой и наигранным, внушающим доверие видом; это известным образом забавляло меня, и я смутно предчувствовал, что когда-нибудь смогу извлечь пользу из этих упражнений. Эмиль же и не подозревал о моей политической деятельности.

Думая о Хельге, первой женщине, оставившей неизгладимый след в моей жизни, я с удивлением констатирую, что мои отношения с женщинами образуют странную и загадочно симметричную фигуру. Любовь похожа на музыку; подобно тому, как звуки сливаются в гармонию или образуют дисгармонию, повинуясь музыкальным закономерностям, так и вариации и периоды любви непостижимым образом подчиняются своей закономерности. Женщины в моей жизни — это голоса в тематическом развитии фуги, это инструментальный разговор в concerto grosso [1], это внутренняя связь отдельных частей, логическое единство тематических и ритмических противопоставлений в романтической симфонии. Для моей жизни характерно контрапунктическое развитие, а это, можно сказать, почти то же, что диалектическое.

Возрастная разница с Хельгой, которая была старше меня почти на целое поколение, уравновешивалась разницей в возрасте с Элиной, которая была почти на поколение моложе меня. А энергия Синикки в повседневной жизни, ее самостоятельность, чувство реальности, сила воли и практическая, лишенная иллюзий житейская мудрость, обогащенная горьким опытом детских и юношеских лет, по-своему загадочно, но, повинуясь неумолимой внутренней логике, уравновешивалась зрелым, утонченным интеллектуализмом и эстетством Ванессы, ее умозрительной философией, которая доминирует над фантазией, всем ее жизненным поведением. В этом контрапунктически противоречивом равновесии самостоятельность и энергия, воля к жизни и своенравность являются общей темой. Если Хельгу можно назвать прелюдией, то Элину фугой, а Синикка была аллегро в той симфонии, где Ванесса — адажио. Но адажио не sostenuto[2], а con moto[3]. Адажио con moto!

Гюннель была столь же не похожа на Синикку, как cis-moll на C-dur. И Лаура была типичным антиподом Гюннель, контртемой. После долгой зависимости — опьяняющая независимость, после бурной близости — гармоническое отделение. Однако Лаура — не больше чем каденция, интерлюдия. Даже не знаю, почему именно сейчас меня так привлекают эти музыкальные сравнения. Вообще-то в них не столь уж много смысла. Музыка — это музыка. Но каким-то образом они помогли мне все упорядочить. Понять, пусть даже ограниченно, поверхностно, геометрически.

[1] Форма ансамблево-оркестровой музыки XVII—XVIII вв. *(итал.).*
[2] Выдержанно, сдержанно *(итал.).*
[3] Подвижно, оживленно *(итал.).*

Не надо забывать, что я во всех отношениях происхожу из простой и бедной среды. И все, чему я научился, чего достиг и что совершил, является плодом моих личных способностей, неиссякаемой любознательности и личной инициативы.

Единственное, что связывало меня в детстве с миром искусства, с просвещением и той стороной буржуазного тщеславия, которая называется утонченностью,— это театр, где я бывал благодаря отцу, но театр не в качестве торжественного храма искусств, а как весьма прозаическое, будничное, хотя в известном смысле интересное и необычное рабочее место. Отца интересовали скудные деньги, которые он там получал, а не то, что показывали на сцене. Ни он, ни мать книг не читали. Никто из семьи не пользовался библиотекой. Отец по вечерам читал «Хувудстадсбладет», если у него случалась свободная минутка до ухода в театр. Мать читала Библию и Псалтырь — в тех случаях, когда она вообще что-то читала. Она была поглощена своей религией и своими обязанностями, которые давали ей достаточно и для раздумий и для огорчений. Когда отец и мать разговаривали друг с другом, что случалось крайне редко, они говорили, как правило, о самых обычных вещах, о том, что на лестнице не горит свет, о съехавших или, наоборот, въехавших семьях, о делах нашего дома, о том, что одна из благородных дам чересчур задирает нос или что наглость хозяина уже в который раз превосходит всякие границы: он делает замечания без какого-либо повода. Часто их разговор касался меня, какой-нибудь чепухи, в которой меня обвиняли,— в «порче имущества, принадлежащего дому», или в жестоком обращении с благородными и нежными господскими отпрысками, в чьих играх под нашим окном мне строго-настрого запрещалось принимать участие.

Оскар был совершенно лишен духовных запросов, вял и не интересовался ничем, кроме своей болезни и жалкой, нудной работы в конторе, которую он выполнял с большим чувством ответственности. Радио было нам не по карману, в тридцатые годы радио не было обычным предметом обихода в рабочих семьях. А Эмиль, самый умный, самый честолюбивый и способный из всей семьи, удрал за границу еще до того, как я пошел в начальную школу. Крохотная орбита нашего дома душила меня, атмосфера была слишком затхлой, пространство слишком ограниченным. Как мне было не понять Эмиля!

Одним словом, все, что касается знаний в различных областях жизни, искусства, владения иностранными языками,— все это мне пришлось брать с бою, ничего не досталось мне даром. И да простится мне, если я порой выгляжу хвастуном Меня нельзя назвать интеллигентом в обычном буржуазном смысле этого слова. Я — выскочка и всегда вел и буду вести себя как выскочка.

Что же касается музыки, то есть моей любви к музыке,— это для меня особенно щепетильный вопрос. Когда осенью 1944 года я вырвался из джунглей войны, среди прочитанных мною к тому времени книг не было ничего, кроме школьных учебников и низкосортных приключенческих журналов. Мои познания в музыке ограничивались тогдашней популярной музыкой — песнями из кинофильмов и шлягерами, о живописи я не знал вообще ничего. Я был совершенно равнодушен к этому необозримому полю человеческой деятельности, разве что испытывал неудовольствие, когда пытался скрыть смутное чувство унижения и собственной неполноценности под маской демонстративно холодного презрения. Я был совершенно лишен духовных запросов, или, вернее, не обладал осознанным интеллектуальным честолюбием.

Но я был достаточно умен и чуток, чтобы понять, откуда дует ветер. Я очень быстро увидел, что от политики никуда не денешься и каждому необходимо обзавестись политическими убеждениями... Со-

вершенно ясно, что лишь изучение работ Маркса, Энгельса и Ленина открыло передо мной запретные двери в мир литературы и искусства и заставило сделать первые робкие и испуганные шаги по той дороге, что ведет на необозримые просторы человеческой культуры.

Но это было только подготовкой, пока что только пассивным и смутным признанием. Лишь Гюннель, которая родила мне троих детей и с которой я прожил десять лет, Гюннель, которая была необыкновенно музыкальна, но совершенно глуха к литературе и не интересовалась книгами — или была illiterate [1], как выразились бы некоторые культурные снобы, которая сама превосходно исполняла на фортепьяно Шумана и Сибелиуса,— только она каким-то непостижимым косвенным образом научила меня ценить книги, любить художественную литературу, читая, обогащать свои знания. Именно Гюннель исподволь, обходным путем пробудила во мне мысль, что человеку полезно и нужно читать книги. Читать — значит иметь право носить медаль образованности. И тогда я, вопреки ее ожиданиям, пусть в каком-то детском, но вполне естественном мальчишеском протесте, ухватился за то, что осталось за пределами ее внимания, и реагировал по-своему: она ведет меня, но она ведет неверно; туда, куда она хочет, я за ней не пойду. К тому же я был уже не новичок в этой области. Мы с Синиккой довольно много читали вместе. А вот разделить с Гюннель ее музыкальные интересы я так и не смог.

Совершенно обратное было потом с Лаурой. Лаура была настоящим книжным червем. Может, это и явилось причиной того, что я оставил Гюннель ради Лауры. Сама того не ожидая, Гюннель привила мне вкус к книгам, и я надеялся удовлетворить свой книжный голод. Может, это и не совсем верно, но отчасти это так. Лаура знала литературу как свои пять пальцев. Но говорить с нею о книгах было трудно. У нее были слишком категорические суждения и слишком обширные познания. Это меня останавливало. Я очень скоро почувствовал себя простачком, даже глупым. А мне невыносимо чувствовать себя таким. Я всегда изо всех сил стараюсь избегать этого.

Интерес Лауры к музыке был в целом поверхностный и слегка подпорченный интеллектуальным снобизмом. Каким-то загадочным образом получалось, что любить Чайковского, Рахманинова или Сибелиуса не совсем аристократично. Другое дело, застыв в неподвижности, слушать ползущий бесстрастный поток, или капе́ль, или замирание звуков у Штокхаузена, Лигети или Луиджи Ноно. От зевоты у меня сводило челюсть. И в конце концов я начал, опять же в виде протеста, самостоятельно интересоваться старыми мастерами. Поскольку в обществе литературной Лауры литература воспринималась мною как большое опасное минное поле, музыка, благодаря ее нетерпимости к музыке, оказалась значительно более надежным видом искусства, которому я мог посвящать время, внимание и интерес. За год жизни с Лаурой мой интерес к музыке углубился и созрел. Именно тогда музыка, как говорится, стала частью моей жизни.

Музыкальная, но совершенно глухая к литературе, Гюннель обходным путем научила меня любить литературу. А не чаявшая в литературе души, но немузыкальная Лаура обходным путем научила меня любить музыку. Как в фуге, где в конце достигается единство противоположностей.

Психоаналитик, разумеется, по-своему объяснил бы эту связь.

Синиккa во всех отношениях была великолепной и достойной восхищения женщиной. Нельзя сказать, чтобы она была красива, но у нее было удивительно мягкое, покорное и в то же время неподатливое тело, я до сих пор помню его, и до сих пор меня охватывает голово-

[1] Необразованная *(англ.)*.

кружительное возбуждение, стоит мне углубиться в воспоминания. Мы были тогда слишком молоды и неутомимы в любви. Однако восхищение мое она, естественно, вызывала совсем другим.

Восхищения достоин был ее характер. Ее чувство ответственности, ее неподкупная преданность идеалам и людям, с которыми она в то или иное время связала себя. И ее мужество, то есть все то, что первоначально по-французски называлось civil courage [1]. Думая о Синикке, я невольно вспоминаю Бернадетту Девлин. Синикка всегда прямо высказывала свое мнение, защищала свои политические и этические убеждения или своих товарищей, попавших по какой-либо причине в беду. Ее работоспособность была поразительной, ничуть не меньшей, чем моя. Наверно, именно это так и сблизило нас вначале: наша общая жадность к работе и радость, приносимая нам работой, постепенно переросли в глубокую, искреннюю любовь, и дело закончилось браком.

Когда у нас родился Майлз, Синикке сперва хотелось, чтобы мы назвали его Ирьё — в честь Ирьё Сирола. Я вырос в двуязычном доме и принципиально, конечно, ничего не имел против такого выбора. Хотя, с другой стороны, мне было трудно принять его, уж слишком обычным, слишком скромным было это имя. Мое честолюбие, мое тщеславие, мои скрытые в глубине души тайные мечты о будущем требовали более помпезного, более яркого и редкого имени. Тогда Синикка предложила Карла — в честь Карла Маркса и Карла Либкнехта. Или Карла XII, заметил я. Но и это имя тоже казалось мне слишком банальным, распространенным и затасканным, слишком непритязательным и скомпрометированным, несмотря на некоторых великих предшественников, носивших его.

Синикку мои возражения удивляли. Имя значит не так уж много. Существенно в человеке не то, как его зовут, но то, что он собой представляет и что он делает. Кроме того, для ребенка всегда лучше, если у него простое, а не какое-нибудь мудреное имя. В этом она была совершенно права. Но я был упрям. И решил во что бы то ни стало настоять на своем. Может быть, это предрассудок, но я считал, что выбирать имя сыну должен отец, вот когда речь идет о дочери, решающим может быть желание матери.

Эмиль привез с собой из США электрический патефон, или проигрыватель, и стопку пластинок. Проигрыватель был последней модели, таких мы у себя еще не видели, и пластинки к нему были тоненькие, гибкие. Все это Эмиль подарил мне, поскольку меня единственного из всей семьи мог порадовать такой подарок; конечно, я был в восторге. Среди пластинок было несколько штук с джазовой музыкой 30-х годов, немного — Гленн Миллер и Арти Шоу, но главным образом — посредственная танцевальная музыка военных лет. Много лет спустя Лаура, вопреки всему, назвала эти пластинки «настоящими раритетами». Были там и две пластинки тромбониста, которого звали Майлз, не помню как дальше, но только не Майлз Дэвис. Нельзя сказать, чтобы этот Майлз восхищал меня своим исполнением, но имя его звучало экзотически и заманчиво. По каким-то необъяснимым, таинственным причинам оно казалось мне исполненным благородства и достоинства. Отчасти, наверное, потому, что я случайно узнал, как оно правильно произносится по-английски. Разве есть хоть один финский гражданин с таким именем? Я, по крайней мере, не знал ни одного. Майлз — вот как нужно назвать мальчика.

— Неужели нам нужно импортировать имена из Соединенных Штатов, мало нам табака, косметики и плохих голливудских филь-

[1] Гражданское мужество *(франц.)*.

мов? — недоумевала Синикка.— И всяких темных дельцов,— прибавила она, намекая на Эмиля, к которому относилась с большой подозрительностью. Я возразил, что этот Майлз наверняка негр и что мы проявим уважение и солидарность с угнетенным и дискриминируемым расовым меньшинством в богатейшей и могущественнейшей державе мира, назвав своего сына его именем.

Тогда мне было разрешено поступить, как я хочу, и мы записали Майлза Майлзом в нашей гражданской регистратуре.

Примерно через два года Синикка родила девочку и, без каких-либо возражений с моей стороны, назвала ее Розой в честь Розы Люксембург.

Мое отношение к детям всегда было двойственным. Я любил производить их на свет и никогда не испытывал к своим женам такой нежности, такой — я бы сказал — неистовой сердечности, как во время их беременности. Но потом все осложнялось. Я не выношу надолго оставаться с детьми. С детьми весело побыть иногда, часок, когда у тебя нет другого, более интересного занятия. Но жить с ними долго? Пока они не вырастут? Год за годом, ночь и день, день и ночь, без перерыва? Этого я не выдерживал. Да, признаюсь откровенно, мне не хватало душевных сил, выдержки, самоотверженности, которые необходимы хорошему воспитателю, наставнику, отцу. Я никогда не был хорошим отцом. Пытался, но не мог. Дети требуют абсолютного внимания в течение неограниченного времени, а моя личность, мой жизненный ритм, сама форма моего существования бурно восставали против подобного самопожертвования и самоотречения. Проведя вечер в обществе ребенка, которого надо кормить, развлекать, утешать, мыть и поминутно запрещать ему то одно, то другое, я бывал подавлен, опустошен и измотан. Ночью я уже не мог спать. Кипел яростью и раздражением, и вместе с тем меня переполняло чувство вины, оно колобродило во мне, как газы в животе у человека, съевшего слишком много горохового супа. Не говоря уже о том, что я дурел от детского крика.

Мне кажется, что Синикка, с ее активностью и широтой интересов, мучилась теми же проблемами. Но мы не могли заставить себя открыто в этом признаться. Очевидно потому, что мы оба одинаково относились к этому как к слабости, а слабость считали чем-то постыдным. С самого начала мы столкнулись с трудностями и тайными огорчениями, связанными с детьми. Появились первые признаки разрыва.

Синикка, как и я, стремилась чем-то стать в жизни. Но наши мечты и планы на будущее не совпадали в самом существенном. Ее честолюбие ограничивалось только политической сферой. Для меня же политика не была столь важна. Честно говоря, для меня она была лишь средством, одним из многих, чтобы выбиться наверх. Я думаю, Синикка мечтала, чтобы мы оба заняли места в партийном руководстве. А на практике в те времена это означало — в руководстве всей страной. Это может показаться несколько романтичным, но куда же и стремиться, если не к звездам. Теперь она уже давно член рексдага.

Я начал как ревностный и целеустремленный коммунист. Эмиль подкинул моим мыслям другую пищу. Я был типичным сыном своего времени. Мне не трудно было свернуть с пути равенства и справедливости на путь барыша и выгоды.

В сущности я всегда следовал принципу выгоды. Даже когда дело касалось женщин. Моя жизнь четко размечена, и ее направление определено современным принципом выгоды, грубым и безусловным стремлением к наживе, которое в обнаженном виде настолько безобразно, неприятно и страшно, что ловкие люди считают необходимым

украсить его и задрапировать всевозможными добродетелями и хитростями, моральными и экономическими побрякушками и всякой культурной дребеденью. Стремление к наживе — как основа силы и благосостояния отечества, стремление к наживе — как предпосылка полной занятости рабочих и гарантия обеспечения масс, стремление к наживе — как поддержка и опора искусства и науки. Когда я раскусил весь этот обман? Якоб всегда вещал об этом, но я высмеивал его. Якоба никто не принимал всерьез. Майлз — вот кто открыл мне глаза. И в этом было что-то унизительное. Определенно было. И мне пришлось сделать большое усилие над собой, чтобы согласиться с ним.

Хельгу я бросил, когда она перестала быть для меня выгодной. Это настолько очевидно, что не требует никаких объяснений. Синикка была выгодна, пока могла наладить или гарантировать необходимые мне (с точки зрения моей карьеры бизнесмена) связи со ставшими неожиданно влиятельными представителями КПФ в муниципальной администрации и правительственных кругах. Мне всегда было ясно, какое огромное значение имеют связи. Я вообще неравнодушен к связям. Я оставил Синикку ради Гюннель, потому что Синикка перестала быть мне выгодной: я мог уже самостоятельно обеспечивать себе связи в этом направлении. Гюннель Линдерманн принадлежала к другому социальному и политическому кругу. Мне страстно хотелось проникнуть в него. Я нуждался в тесных, постоянных, многообразных связях с этим кругом. Поэтому я по уши влюбился в Гюннель Линдерманн и любил ее как одержимый, бросив бедную Синикку в другом мире, мире справедливости, равенства и человеческой солидарности. Синикку и детей. Синикку, Майлза и Розу.

Что было бы с ними, если бы я их не бросил? Бессмысленный вопрос. Я их бросил.

Синикка считает, что она меня бросила, а не я ее. Потому что я неожиданно оказался не тем, за кого она меня принимала, не тем, в кого она влюбилась, не порядочным человеком, а, попросту говоря, обманщиком и дрянью, если уж называть вещи своими именами. Бóльшую часть вины она возлагала на Эмиля. На его зловредное американское влияние... Ведь нужный толчок дал мне именно Эмиль. Он действительно виноват, что я обманул и Синикку и партию и пошел своим путем. Но я обманул и Эмиля. В этом-то вся соль.

Вообще-то я очень горжусь, что дошел до этого принципа выгодности. Разумеется, он распространяется не только на чисто экономическую сферу, но и на многое другое. Современный капитализм заразил своими идеалами практически все области жизни. Говорят же теперь и о «духовном капитале» и т. п. С другой стороны, было бы явным упрощением и фальсификацией действительности утверждать, что я женился на Гюннель только потому, что считал это выгодным с материальной и социальной точек зрения. Я горячо любил Гюннель. И женился на ней по любви, отрицать это было бы ложью. Все это навело меня на мысль, что ход жизни определяется не одним принципом, а многими. Каждый период жизни направляется не одной силой, а многими. Жизнь не однозначна, а многозначна.

Разве можно было бы, исходя только из принципа выгоды, объяснить, например, тот факт, что я за эти годы завел шестерых детей, которых должен любить и содержать? Дети невыгодны. Во всяком случае, в нашем зрелом капиталистическом обществе, которым правит рынок. Тогда почему же? Все мои дети были желанны. Я никогда не был против детей, каждый раз, узнав, что у меня ожидается но-

вый ребенок, я переживал своеобразную спонтанную и бурную радость. Трудности возникали только после рождения ребенка и росли вместе с ним. Зачем я завел всех этих детей? Ведь я довольно рано обнаружил, что я никудышный отец и воспитатель.

Может, это связано с тем, что некоторыми людьми движет непреодолимое желание себя обессмертить? А дети являются своего рода гарантией бессмертия, хотя и малоудовлетворительной с точки зрения индивидуального сознания, но тем не менее они — все-таки суррогат бессмертия и, может быть, лучший из имеющихся. Так же как книги и вообще произведения искусства. Писать книги — это тоже способ попытаться обессмертить себя, воздвигнуть себе памятник. Может, именно тут и кроется истинная причина того, что я после успешной карьеры предпринимателя и дельца пытаюсь утвердиться и как автор мемуаров? Я писатель? Я — и бессмертие?

Но создать предприятие, сделать техническое открытие, играть видную роль в политической и общественной жизни своей страны — это ведь тоже все равно что воздвигнуть себе памятник, оставить будущему миру частичку себя, навязать будущему миру частичку себя. Великие люди? Так называют летописцы всех, кто совершил что-то значительное, кто заслужил место в истории своей страны или своего времени. Великий человек? Вот, может быть, куда метит мое честолюбие? Чтобы меня когда-нибудь назвали великим человеком? Считали великим из великих в роду фон Бладов — Бладов — Лехтисуон-Лехтиненов? А мой вклад в целый ряд вариантов этого имени — Блаад, вариант выскочки, бессмертного выскочки? Но разве первый фон Блад не был выскочкой в мире дворян? Так же как первый Блад — в буржуазном сословии? Что такое выскочка, черт побери? Способный человек, если не вдаваться в подробности? Почему я все время жую и пережевываю это слово?

Но много детей, многократное отцовство, еще никогда и никого не сделали великим человеком. Почему у меня была потребность окружить себя множеством детей, оставить после себя во времени так много человеческих следов, таких дорогостоящих и таких совершенно бесполезных?

Если существует принцип выгоды, которым определяются наши жизненные устремления, то, может быть, существует и принцип совершенства? Чудодейственная движущая сила всех выскочек? Желание быть совершенным во всех областях и во всех отношениях? В том числе и как многодетный отец, создатель новой жизни? Не знаю. Но тот, кто захочет измерить мою неполноценность, определить меру моих неудач, совершенно очевидно должен будет начать с вопроса о детях. Именно там пропасть между «хочу» и «могу» разверзается самым издевательским образом. Именно в этом месте зияет самая большая дыра в панцире совершенства, там краснеет кровавое пятно горячей пульсирующей молодой человеческой крови. Дети мои, о господи, если бы у вас был другой отец.

Синикка была выгодна, и Эмиль был выгоден. И Хельга и Гюннель. Но Синикка перестала быть выгодной, так же как Хельга и Гюннель. То же самое произошло и с Эмилем. Он перестал быть выгодным. Или, вернее, он стал совершенно бесполезным.

Я никому не говорил, что бросил заниматься политической экономией и перевелся на факультет агрономии и лесоводства. Мне пришла в голову одна хитрость, одно по-настоящему выгодное дело, и я отчетливо понимал, что чем дольше сохраню все в тайне, тем для меня же будет лучше. Тем больше у меня будет шансов выиграть это дело. Когда Синикка обнаружила, что я переменил факультет, она крепко задумалась. Или, вернее сказать, рассердилась: она была

поражена и разочарована. Я в самых мягких и завуалированных выражениях пытался объяснить ей все выгоды, но поскольку она была умная женщина, она очень быстро уловила истинный смысл, то есть, грубо говоря, поняла, что речь идет о каком-то обмане, о какой-то форме мошенничества, которое я задумал. И хотя пока еще речь шла только об обмане моих братьев, она сочла этот вопрос достаточно серьезным с моральной точки зрения.

Дело касалось дедушкиного Нюгорда.

Эмиль, должно быть, еще до отъезда из США пронюхал о том, что дедушка смертельно болен. Возможно, с ним переписывалась Свеа. Никто из нас, остальных членов семьи, не знал о дедушкиной болезни. У него была лейкемия. Мне об этом сообщил Эмиль. В своей обычной сентиментальной и участливой манере. Именно поэтому он так неожиданно вернулся в «бедное растерзанное отечество». Конечно, не из-за дедушки, как он деликатно намекнул. Но из-за Нюгорда. Я его быстро раскусил. Ведь хотя Эмиль и был прожженным дельцом, прикрывающимся маской доброжелательности, порой невыносимо сентиментальной, лгать и представляться ему было труднее, чем мне, во всяком случае, в кругу нашей семьи. Я раскусил его. Он охотился за Нюгордом. Вскоре я был уже почти убежден, что он вынашивает тайные планы прибрать к рукам весь Нюгорд целиком. Вероятно, откупив его у меня с Оскаром за сходную, то есть бессовестно низкую, цену, разумеется, с нашего братского согласия.

Эмиль знал о Нюгорде такие подробности, о которых мы даже и не подозревали. Если Оскар настолько глуп, что попадется в эту ловушку,— его дело, думал я. Но меня Эмилю не перехитрить. Мне было интересно, что еще, неизвестное нам, знает Эмиль. Потому что дело было не только в Нюгорде. Оно касалось и более значительных вещей, а именно — капиталовложений.

Знал ли Эмиль, как распределятся сферы влияния в новой, послевоенной Европе? Мог ли он знать это? Или он самостоятельно все рассчитал? По чьему заданию, в конечном счете, Эмиль вообще вернулся в Финляндию? Разумеется, я не был настолько проницателен, чтобы в то время сознательно ставить такие вопросы. Но я ставлю их теперь. Ибо совершенно непонятно, каким образом Эмилю удалось в столь короткий срок после перемирия собрать такой солидный американский капитал, чтобы рискнуть и вложить его в нашу страну, притом что Советский Союз, без всякого сомнения, должен был стать врагом номер один в «холодной войне», готовой вот-вот разразиться? Откуда Эмиль знал, что коммунисты не придут к власти в Финляндии, как пришли они в Польше и Чехословакии? Что его долларам ничто не угрожает? Что именно так все было запланировано власть имущими? Неужели он был агентом ЦРУ? Ввозил в Финляндию доллары по тайному поручению ставки заокеанского империализма, преследующей какие-то свои цели даже в нашем северном уголке Европы? Был ли Нюгорд лишь предлогом, или земля Нюгорда рассматривалась как отечественный фундамент другого, более крупного капиталистического здания?

Откуда мне было все это знать? Итак, речь шла о Нюгорде с его выгодной близостью к Гельсингфорсу, если учесть ожидавшийся в скором времени быстрый рост цен на землю, а также «ускоренное освоение» — принудительную передачу сельскохозяйственных и лесных угодий эвакуированным из тех районов Карелии и Поркалы, которые должны были отойти к Советскому Союзу. Мы с Эмилем посетили Нюгорд в его большом черном «понтиаке». Эмиль с большим участием и чрезвычайно осторожно расспрашивал деда об урожае, о качестве леса, о рентабельности сельского хозяйства в наше время

и вообще об экономике. Он как фокусник явился к дедушке и Свеа с богатыми подарками и подношениями из великой страны за океаном... Однако дед Эмилю не доверял, не мог заставить себя быть с ним откровенным. Из-за его большого черного автомобиля, из-за подношений, из-за светских манер. Так или иначе именно тогда я и перешел в университете на другой факультет, сохранив это в тайне от всех, кроме дедушки: я решил, что мой жизненный путь — это путь земледельца, хотя бы только временно и формально. Как говорится, номинально.

Естественно, что никто добровольно не желал отдавать свою землю безземельным эвакуированным людям. Хитрые землевладельцы, располагавшие крупными земельными угодьями, постигшие все тонкости юриспруденции и привыкшие использовать любую лазейку и любые связи, сумели дешево отделаться, выделив относительно умеренное количество земли, а вот доверчивым, покорным закону и не имевшим своей руки в правительстве людям пришлось несладко. Ибо закон у нас сформулирован власть имущими, а в той среде было немало крупных землевладельцев. И коррупции. Взятки были вполне обычным явлением. Особенно удобными для отчуждения в целях «ускоренного освоения» были земли, сдаваемые в аренду и вообще такие, которые возделывались не самим владельцем. Дедушка был очень стар и, что для большинства уже не было тайной, смертельно болен. У него не оставалось наследников, которые немедленно и несомненно взяли бы на себя всю работу в случае его кончины. У него было три внука, из которых ни один не знал крестьянского труда. Другими словами, Нюгорд находился в зоне опасности, представляя собой лакомый кусочек для «ускоренного освоения». Тут-то я и вынырнул, словно палка, сунутая в колесо естественного хода событий. Я опередил своего хитрого братца Эмиля. Как бы случайно я явился туда в обличии крестьянина.

Я досконально изучал закон, пока не узнал все о земельной собственности, праве наследования и том новом туманном мероприятии, которое называлось «ускоренным освоением». Прежде всего мне нужно было завоевать полностью дедушкино доверие. За счет Эмиля. Это было нетрудно. В то время как Эмиль приезжал и уезжал на своем «понтиаке», я старался пробыть в Нюгорде как можно дольше, помогал то в одном, то в другом и не гнушался никакой работой, даже уборкой навоза. Я был сильный, сметливый, расторопный, и я признался дедушке, что всегда мечтал о жизни свободного крестьянина. Дедушка очень обрадовался, услышав это, а в том, что он искренне рад моим посещениям Нюгорда, трудно было усомниться.

Наконец черным по белому был написан документ, которого я так долго и упорно добивался. Законно, надлежащим образом засвидетельствованное и оформленное по всем юридическим правилам завещание, в котором я назывался единственным наследником дедушки, единственным законным и полномочным владельцем усадьбы Нюгорд после дедушкиной смерти.

Это был ценный документ, не менее ценный, чем золото. Мое счастье и гордость от сознания того, что он существует, не знали границ. Я долго рассматривал его: ведь это был мой первый крупный дипломатический успех, первый по-настоящему гениальный шахматный ход, сделанный мной в жизни, тем более замечательный и даривший мне тем большее чувство удовлетворения, что мои братья, Эмиль и Оскар, не имели о нем ни малейшего представления.

Между тем ситуация складывалась так, что паровой каток «ускоренного освоения» после смерти дедушки должен неумолимо пройтись по Нюгорду и вряд ли законным наследникам останется после

этого что-нибудь, кроме ничего не стоящих крох, если не принять вовремя особые меры. Эмиль не хуже меня знал о нависшей опасности. Но он рассчитывал, что располагает надежными каналами, благодаря которым право собственности на Нюгорд будет закреплено и его неделимость гарантирована. К его, Эмиля, односторонней выгоде. Он ошибался. У меня тоже были каналы, и как раз в то время они оказались более надежными, чем его. Вскоре это подтвердилось. Эмиль не рассчитал, что младший брат окажется гораздо хитрее его. У Эмиля были доллары, которые он черпал из неиссякаемого источника, и сильные американские связи. Но я был коммунистом. А это в послевоенной Финляндии было гораздо важнее.

Эмиль не знал, а может, просто упустил из виду, поскольку жил в незыблемой уверенности, что я по-прежнему изучаю политическую экономию, что крестьянин или землевладелец, назначивший своим наследником родственника, обладающего законным правом наследования, который фактически, а не на словах собирается посвятить свое будущее возделыванию земли своих предков, может жить относительно спокойно, зная, что «ускоренное освоение» не слишком сурово отнесется к его собственности и что его земля, его усадьба, останется более или менее неделимой. При условии, что этот молодой родственник, когда придет время, на самом деле примет на себя ведение хозяйства.

Вот так я стащил из-под носа у своих братьев их долю в Нюгорде. Что касается Оскара, то тут я испытывал, хотя это и звучит непривлекательно, чистое, ничем не омраченное злорадство. Я честно отомстил ему за всю его мелочность и невыносимую спесь. Что же касается Эмиля — тут я, напротив, испытывал некоторые угрызения совести. Ведь он действительно мне помог, буквально спас в трудную минуту и был неизменно добр ко мне. С другой стороны, я точно знал, что он собирался обхитрить и меня и Оскара. Поэтому — а особенно если учесть разницу между ними в возрасте и в жизненном опыте — было только естественно, что торжество победителя, от которого голова шла кругом, перевешивало угрызения совести.

Эмиль умел проигрывать, он не был какой-нибудь bad loser [1]. Оправившись от первого шока, он сумел посмотреть на дело с юмором и посмеяться над всем. Если на то пошло, мы с ним одного поля ягода. К тому же для него это не было вопросом жизни. Может, он испытывал ко мне даже немного отцовское чувство, благодаря которому втайне гордился тем, что я обошел его, гордился, как гордятся успехами сына. Вместо того чтобы терзаться разъедающей братской завистью.

Оскар же, напротив, принял все слишком близко к сердцу. Ведь он жил очень скудно на свое крохотное государственное жалованье, хотя и был холостяком. Мой триумф он воспринял как личное оскорбление, пришел в бешенство и некоторое время даже не здоровался со мной, встречая меня на улице. Но это не задело меня. Разве что усилило мое презрение к его жалкой особе. А Свеа? Что стало с ней? С многолетней незаменимой дедушкиной помощницей, его правой рукой, верной подругой, спутницей его жизни и старости? Разумеется, мы позаботились о ней. Ее поместили в дом для престарелых. С отдельной комнатой и всем прочим.

При разделе наследства, через некоторое время после дедушкиной смерти, чиновнику, производившему его, оставалось лишь констатировать наличие определенного законного завещания. Это сообщение произвело на собравшихся впечатление разорвавшейся бомбы.

[1] Человек, впадающий в уныние от неудачи *(англ.)*.

У Эмиля отвисла челюсть. Он лишился дара речи. Но как опытный делец быстро оправился и тотчас же нанял собственного адвоката, который убил целый день, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы объявить дедушкино завещание не имеющим законной силы.

Я одержал победу. Я был богат. Мы с Синиккой в самом деле переехали в Нюгорд, и я некоторое время, наряду с другими делами, занимался сельским хозяйством, ожидая, пока цены на землю не вырастут до небес. А тогда я продал землю и приобрел долю в строительной фирме «Рапи», войдя одновременно в ее правление. Но это уже совсем другая история. Моя, то есть тогда еще принадлежавшая Эмилю и недавно им созданная фирма, занимавшаяся импортом, служила и служит до сих пор одним из главных поставщиков «Рапи», обеспечивая ее строительными материалами.

Выиграешь одно — потеряешь другое. Таков закон жизни. Разве не так? Я выиграл в материальном отношении, в видах на будущее, но потерял в любви и человеческом тепле. Казалось бы, Синикка не должна была слишком бурно реагировать на то, что ненавистный капиталист Эмиль потерял аграрный объект для вложения капитала,— с точки зрения ее убеждений это был пустяк. Но она, как я уже говорил, была неподкупна в своей честности. Я действовал как предатель, а предательство при любых обстоятельствах было несовместимо с ее моралью. Классовая борьба признавала, разумеется, некоторые компромиссы, если они безусловно продвигали вперед дело классовой борьбы, но здесь речь шла не об идеях или практической политике, а совершенно явно о личном обогащении. Я пытался оправдать себя тем, что, дескать, тот потенциальный капитал, каким является Нюгорд, теперь легче передать в распоряжение партии, чем если бы две трети его отошли братьям. Она только презрительно засмеялась. Она раскусила меня. Поняла, что личная выгода значит для меня больше дружбы и солидарности и что я ради наживы готов пожертвовать любыми идеалами и принципами. Другими словами, я наглядно продемонстрировал свою низость и лживость, а такие люди в коммунистическом движении не нужны. Мое падение было окончательным и бесповоротным: из молодого человека, подающего большие надежды, я превратился чуть ли не в предателя и сомнительную личность.

К разочарованию Синикки во мне лично присоединилось и чрезвычайно огорчительное для нее открытие, что в партию затесались люди случайные... Большинство, конечно, составляли честные, убежденные коммунисты, однако были среди членов партии и циничные искатели удачи, рассчитывавшие на легкую и быструю политическую карьеру в неожиданно вновь разрешенной и модной партии.

Так вот о выгоде. Эмиль снова уехал в США. Может, его тайное задание в Финляндии было уже выполнено? В последнее время он был не в духе. Постоянно вел затяжные бои с министерством финансов, министерством народного хозяйства и Финляндским банком. Министр финансов, социал-демократ, придерживался иного взгляда на экономику, чем Эмиль, чертыхавшийся по поводу того, что во всех инстанциях на всех уровнях он обязательно натыкается на кого-нибудь, кто вставляет палки в колеса свободной экономике, как он выражался. «Эти глупые упрямые люди не понимают собственной выгоды»,— ворчал он. В один прекрасный день терпение Эмиля лопнуло, и он убрался восвояси. А фирму, которая уже была учреждена и превосходно разрекламирована, предстояло возглавить мне. Он так хотел. Таков был его решительный приказ. Я стал исполняющим обязанности директора, хотя мне еще не было двадцати трех. Вот так все и началось. Но это уже другая история.

Когда родилась Роза, наш брак с Синиккой уже серьезно трещал по всем швам. Я встретил Гюннель и ее друзей. К этому времени я уже был влиятельным директором фирмы. Синикка решилась на развод, и я вышел из КПФ. Но я позаботился о том, чтобы сохранить важные связи. Мы договорились, что дети будут жить с Синиккой. Гюннель ни в коем случае не соглашалась брать на себя такую обузу. Если человек хочет преуспеть как делец, ему не следует быть членом коммунистической партии. Мне это объяснила не Гюннель. Я и сам хорошо сознавал это.

Кстати о выгоде. Мне хочется рассказать один случай, который однажды произошел со мной в Стокгольме. Он, как мне кажется, иллюстрирует принцип выгоды в его обнаженной (вот черт, все определения приобретают в этой связи иронический смысл, оттенок какой-то неуклюжей шутки) и неумолимой форме, доведенной до абсурда. Речь пойдет об одной танцовщице стриптиза, то есть о современном варианте проститутки, об одной из тех, что предпочитают «приличное» профессиональное название: танцовщица стриптиза или хозяйка секс-клуба.

Я приехал в Швецию для переговоров с руководством шведских железных дорог о продаже им нового технического изобретения, сделанного в Финляндии одним инженером-сантехником. Это была более простая и совершенная, а главное, значительно более дешевая, в смысле расходов на установку, система водоснабжения для поездов, которая обещала большие выгоды. Упрямые шведские железнодорожные бюрократы встретили мое предложение с чрезвычайной подозрительностью. Они поставили под сомнение его выгодность и эффективность, выдвинув множество псевдоаргументов и отговорок, обнаруживавших их косность и предвзятость. На самом деле их сопротивление объяснялось, по-видимому, тем, что это предложение исходило из Финляндии, их бывшей колонии. Таковы шведы, так действует их древний, протухший комплекс великодержавия. Это было сопротивление принципиального характера, объяснявшееся национализмом, вот если б эта идея исходила из США или ФРГ, они, без сомнения, загорелись бы и слизнули этот проект с моей протянутой руки. Без каких-либо мелочных и непрофессиональных опасений по поводу его выгодности, которая была очевидна и не подлежала сомнению.

Между прочим, потом я стал поставлять эту новую удобную систему водоснабжения железным дорогам доброй половины европейских государств (Бельгии, Австрии, Польше, Венгрии и т. д.), большинству государств Латинской Америки, Южной Африки и другим. Однако та неудача в Швеции не на шутку взбесила меня, и у меня возникла — что теперь уже бывает со мной редко — потребность выразить свой протест, нарушив какое-нибудь из общепринятых правил, захотелось излить свою злость в диком разгуле. Прежнее юношеское или нуворишское и давно уже как будто преодоленное желание сорить деньгами вновь вспыхнуло во мне.

Я взял напрокат большой черный «крайслер», поехал в «Стальместаргорден» и пообедал там в одиночестве, стараясь истратить как можно больше денег. Я разбираюсь во всех тонкостях меню и вин, а также в the Rules [1], диктуемых тщеславием (чтобы научиться этому, мне понадобилось три года жизни с Гюннель), и знаю, что самое дорогое, то есть самое лучшее, не обязательно бывает самым дорогим в буквальном смысле, по цене. Но я выбрал самые дорогие блюда. И самые дорогие вина. Я знаю наизусть годы выпусков и бордо и бургунд-

[1] Правилах *(англ.)*.

ского: повторяю их по утрам, чтобы скоротать время в туалете. Обычно я беру виски с черной этикеткой, а коньяк—«Кордон блё». Но могу блеснуть и другими, более изысканными вариантами, если представится случай. Чаще всего это бывает в ресторанах Лондона или Парижа, поскольку в Гельсингфорсе или Стокгольме, как правило, придерживаются самого обычного и ограниченного ассортимента. Наверное, и это тоже надо считать своего рода признанием?

Из «Сталльместаргорден» я поехал в один из самых изысканных секс-клубов Стокгольма, где я бывал несколько раз очень давно.

А оттуда около полуночи я поехал в одно заведение, где по прежним приездам знал двух девушек.

Заведение называлось «Веселые птички». Оно было намного скромнее в смысле обстановки и претензий, чем то, из которого я только что приехал. И дешевле. Здесь царило более непринужденное настроение, более раскованное, публика была моложе, веселее (и пьянее), атмосфера не претендовала на утонченность и не была такой напряженной — своей молчаливой торжественностью она не напоминала церковную службу.

Я пробрался к свободному месту в первом ряду.

Фильмы были очень похожи на те, которые я видел в первом заведении, но с технической точки зрения более низкого качества. В целом впечатление было грустное и неприятное. Здесь вы видели одно из самых отвратительных следствий самодержавного господства принципа буржуазной выгоды в мире буржуазной культуры. Часто в фильмах снимались мужчины и женщины, чья молодость была далеко позади, чьи тела уже потеряли упругость и силу, которые делали их привлекательными для глаз; скрывая робость под маской наигранной веселости или отвратительно фальшиво разыгрывая страсть, они пытались создать видимость желания и наслаждения, тогда как сами вели отчаянную, явно мучительную и явно неравную борьбу с унижением, стыдом и неумолимыми признаками старости. Сколько платили им за эту рафинированную и узаконенную принципом «свободного предпринимательства» сексуальную пытку, являвшуюся для них источником существования и дохода? Этого я не знал.

Сколько бы взял я сам за то, чтобы совершить перед камерой половой акт, зная, что даже самое незначительное выражение моего лица будет запечатлено и увековечено с той же точностью, что и мои сексуальные реакции или их отсутствие? Миллионы я бы потребовал, миллионы. И наверное, не согласился бы даже за миллионы. Эти же несчастные, эти отверженные и отторевшие получали самое большее по сотне. А сколько платил я сам?

Когда-то, очень давно, я гастролировал даже в этой отвратительной отрасли. Как раз я по уши увяз в долгах, купив и обставив большой стандартный дом — «жилище для престижа», достойную раму для наших с Гюннель нуворишско-аристократических развлечений, а между тем в стране временно запретили импорт, фирму обложили очень высоким налогом, кредитов не давали и всякое строительство практически было парализовано. Один-единственный раз за всю свою долгую и в целом удачную карьеру я действительно попал в тиски. Тогда-то я и присоединился, поддавшись панике (и разумеется, в глубочайшей тайне), к некой чудаковатой компании, которая собиралась нелегально выпускать и распространять порнографические фильмы.

Это оказалось невыгодной затеей, мои долги только увеличились. Мы занялись этим делом чуть рановато. В самой Финляндии для такой продукции еще не было рынка сбыта, а наладить эффективные международные связи нам не удалось.

Но я удивительно хорошо помню те вечера и ночи, когда мы снимали эти фильмы. Помню девушек, которых мы заманили с обычных танцулек неопределенными обещаниями головокружительных доходов и видов на будущее. И безработных юношей, которых мы подобрали на вокзале и уговорили выступить за сотенную бумажку. Результат был еще хуже, чем те фильмы, что показывали у «Веселых птичек».

Новая «фантастическая» девушка, из-за которой я, собственно, и завел этот рассказ, к моему удивлению, оказалась старой знакомой. При первом же взгляде я сразу понял, что знаю ее, но не мог вспомнить, где мы встречались. Так или иначе свое дело она знала.

Номер длился долго, минут двадцать или даже больше. Это действительно было фантастическое зрелище, то есть, конечно, для тех, кто имеет вкус к подобным представлениям. (Якоб, очевидно, плевался бы от отвращения.) Девушку наградили долгими и единодушными аплодисментами. Когда она раскланивалась, лицо ее было совершенно серьезно, на висках и на переносице блестели капельки пота.

— Ну как? — поинтересовалась хозяйка заведения с веселой улыбкой, когда я в несколько затуманенном состоянии вышел в вестибюль.

— Фантастика, ты права. Я хочу немедленно ее видеть, если она свободна.

Мы прошли в комнату в самом конце коридора. Она была побольше остальных и, пожалуй, обставлена с большей претензией на уют и комфорт — своего рода люкс, забронированный для гостей категории VIP [1], подумал я не без самодовольства.

Вскоре пришла Сив с новенькой. Я налил им шампанского.

— Это Дони, директор фирмы из Финляндии, денег — куры не клюют,— сказала хозяйка девушке.

— Ты была неповторима,— сказал я и поцеловал девушку в щеку.

В ее глазах мелькнуло замешательство. Она избегала встретиться со мной взглядом. И выглядела смущенной, словно у нее была нечистая совесть и ей хотелось, чтобы я узнал об ее проступке.

— Ее зовут Маргита, вообще-то она тоже из Финляндии,— сказала хозяйка.— Верно?

Девушка кивнула.

В то же мгновение я вспомнил, кто она и где я с нею встречался... Настоящее имя девушки было Сиркка-Лииза, или фрёкен Ярвинен, несколько лет назад она работала няней у моих так называемых родственников — Юхани и Маргиты Лехтисуон-Лехтинен... Впервые я услышал ее смех. Казалось, ей стало легче.

— Давай сразу договоримся,— сказала она по-фински,— если ты начнешь читать мне мораль и выспрашивать, как я сюда попала, у нас с тобой ничего не выйдет. Запомни.

Я предложил спросить у хозяйки, нельзя ли выкупить Сиркку на остаток ночи, если девушка не возражает.

— Попытайся,— равнодушно сказала она.

— Порядок, хозяйка не возражает, я дал ей тысячу. Надо думать, этого достаточно? — спросил я, вернувшись.

— Да, конечно,— только и сказала она.

Самому мне казалось, что это царская плата за несколько коротких часов или, иначе говоря, недурная почасовая оплата, и меня несколько задело отсутствие какой-бы то ни было благодарности с ее стороны.

Мой взятый напрокат «крайслер» не произвел на нее особого впечатления. Это тоже немного задело меня.

[1] VIP (Very important persons) — особо важные лица *(англ.)*.

Трое суток ноги ее не было в «Веселых птичках». Большую часть времени мы лежали в постели. Или бродили нагишом по ее маленькой квартирке, варили кофе и разогревали консервы. Я одевался только в тех случаях, когда надо было выйти за едой, пополнить наш запас шампанского или получить по чеку деньги.

Она рассказала мне, что закончила среднюю школу в своем родном городе Йоэнсу, а потом курсы по уходу за детьми. У нее был парень, которого она очень любила и собиралась за него замуж, но все лопнуло, когда он стал студентом и перспективы на их будущее предстали перед ним в виде бесконечной мрачной череды лет, лишенных даже надежды на возможность содержать семью. В Гельсингфорсе она забеременела, и Юхани Лехтисуон-Лехтинен сделали ей аборт. Она тогда работала у них нянькой. Вскоре после этого все и случилось.

Что случилось? Ну, ее выгнали и велели убираться. Почему? Да так, она вдруг оказалась недостойной воспитывать детей семейства Лехтисуон-Лехтинен.

Потом она приехала в Стокгольм, как приезжают тысячи финских девушек ее возраста в надежде на большие деньги и легкую работу. Сперва она служила в ресторане, потом санитаркой в больнице, одно время у нее было очень выгодное место в детском саду. Ведь кроме финского она владеет и шведским — это помогало. Но, очевидно, есть какой-то дефект в ней самой: она не выдерживала нагрузки скучного и бесконечно однообразного рабочего дня. С трудом дотягивала до конца. Мало-помалу эта однообразная регулярность стала совершенно невыносимой.

Зато как просто было добывать деньги полупроституцией.

— А что ты собираешься делать потом?

— Когда потом?

— Через несколько лет, когда постареешь и на тебя уже никто не захочет смотреть... Нравится тебе или нет, но такое время наступит.

— Тогда я выйду замуж.

На третий день утром она неожиданно задала мне странный вопрос. Я собирался уходить, это была минута прощания, вечером я улетал домой, в Гельсингфорс.

— Если я скажу тебе, что люблю тебя, чуть-чуть люблю, сколько это будет стоить, а, Дони?

Сперва я не понял, что она имеет в виду. Потом сказал:

— Это будет стоить столько же, сколько и мои слова: я чуть-чуть люблю тебя — ни больше, ни меньше.

Она задумалась.

— Нет, ты меня не понял.

— Прекрасно понял, но деньгами нельзя измерять чувства, ни чувства, ни слова, это невозможно.

— Ты так думаешь? Неужели ты настолько наивен? Ты говорил, что у тебя было три жены, что у тебя пятеро детей и что дома, в Гельсингфорсе, тебя ждет женщина. Неужели ты никогда не давал им денег? И ни одной из своих жен? Ведь в основном вы жили на твои деньги, правда?

— Сиркка, милая, такие вещи нельзя сравнивать...

— Почему? Какие вы, мужчины, все-таки лицемеры! Я маленький человек и не стою ничего сверх того, что стоит мое тело. Тебе наплевать на меня, на меня всем наплевать. Ты получаешь удовольствие за мой счет, пока тебе этого хочется, а потом убираешься восвояси, и так поступают все. Мы очень недолго были вместе, я почти ничего не успела сделать для тебя, но что-то мы все-таки сделали друг для друга за эти дни, вспомни, мы не много успели сказать друг другу,

но кое-что все-таки рассказали, мы вместе ели, вместе спали и... Разве в общих чертах это был не брак в том самом смысле, что и твои предыдущие браки, только более короткий, совсем маленький? Та жена, с которой ты прожил десять лет, сколько, например, ты успел дать ей денег, если сложить все вместе? Наверно, миллионы и миллионы. Ей не приходилось заботиться, чтобы ты платил ей наличными за каждое сказанное тебе слово, за каждую оказанную тебе услугу, за то, что она позволяла тебе делать с ней все, что тебе заблагорассудится, за то, что она вообще любила тебя. Ей не приходилось об этом заботиться только потому, что она могла быть уверенной: деньги поступают автоматически, они все время в ее распоряжении, это, собственно, и есть брак. В моем случае все иначе: если я не потребую наличными за каждое свое слово, за все то, что в обычном браке оплачивается автоматически, то не получу вообще ничего, останусь с пустыми руками, сдохну с голоду. Понимаешь, это то же самое, разница лишь в том, что я маленький человек и цена мне грош, вот мне и приходится выпрашивать этот грош, унижаться, клянчить, почтительно вымаливать те деньги, которые другие женщины получают как нечто само собой разумеющееся, которые естественно текут к твоим женам и ко всем другим женам. Такова жизнь или, лучше сказать, такова наша система, ведь правда?

— Да, Сиркка, ты права, все так и есть.

Она долго, молча смотрела на меня, в ее красивых зеленых глазах стала поблескивать влага. Подняв руку, она ласково коснулась моей щеки.

— Так сколько же будет стоить, если я скажу, что люблю тебя, чуть-чуть люблю?

— Не знаю... я...

— Тогда я знаю, Дони. Сто крон... Дай мне сто крон,— сказала она повелительно с ноткой прежнего, знакомого мне профессионального холодка в голосе.

Медленно — и все еще как во сне — я достал бумажник, вынул стокроновую бумажку и протянул ей.

Она скомкала ее и швырнула под стол. Как только я уйду, она ее достанет и расправит.

Потом она обняла меня, и прошептала: «Я люблю тебя, Дони, я люблю тебя», и все повторяла эти слова с горячностью, отчаянием и нежностью, так что я совсем растрогался и у меня перехватило дыхание.

В детстве я очень гордился своим именем. Дональд! Это звучало гораздо значительнее, чем Калле, Вилле или Лассе. Позже, когда я возвысился до буржуазного сословия, закрепив для гарантии свою буржуазность браком с Гюннель Линдерманн, мне, откровенно говоря, хотелось, чтобы меня звали как-нибудь иначе, чтобы у меня было какое-нибудь другое, более традиционное буржуазное имя, более обычное с точки зрения буржуазного сословия, например, Юхан, Хенрик, Карл-Густав, пусть даже Макс, Мориц или Никлас. Только не Дональд. Это имя неумолимо разоблачало мое происхождение, я достаточно быстро это сообразил. Причем разоблачало именно в тех кругах. Так же как Кларк, Глэдис или Саломея. Оно звучало вульгарно, фальшиво-благородно, от него разило выскочкой. Теперь имя, разумеется, не играет уже никакой роли. Моя личность достигла тех масштабов, к каким я когда-то стремился и какие были в моих человеческих возможностях.

Эмиль, Оскар и вдруг Дональд! Может, мне и дали это гордое иностранное имя как своего рода жалкую компенсацию за то, что я

явился на свет нежданным и нежеланным через много лет после моих братьев, в такое время, когда, по крайней мере, Сайми рассматривала деторождение как уже давно пройденный этап своей жизни.

Рано, очень рано мое социальное положение заставило меня пройти школу горечи и унижения. Задворки, наша деревянная развалюха, ютившаяся в тени, зажатая высокими каменными фасадами,— я уже говорил об этом.

Летом в каменной крепости становилось почти пусто. Господа уезжали в деревню, каждый в свое гнездо, на собственный клочок родной земли — кто к суровому морю, кто на живописные берега озер, в зависимости... главным образом в зависимости от языка и доставшегося наследства: шведы — к морю, финны — на озера. Как бы там ни было, но летом двор принадлежал мне. В большей или меньшей степени. Как прерии — индейцам. И так же как индейцев в свое время безжалостно вытесняли белые колонизаторы и искатели приключений, так и меня, когда приходила осень, вытесняли маленькие буржуазные колонизаторы — пусть это было на уровне игры, безжалостная действительность классовых противоречий была настоящей. Зимой моим уделом было сидеть на кухонном окне, прильнув к грязному стеклу, слушать, как мать, молча, не обращая на меня внимания, гремит конфорками и кастрюлями, и смотреть на господских детей, этих избранных, которые возились там в снегу. Во мне росла горечь и потихоньку начинала клокотать ненависть.

И одеты они были совсем не так, как я. Меховые шапки, яркие шарфы, толстые гамаши с кнопочками, которые расстегивались до самой щиколотки, на некоторых — красивые белые шубки. И у всех — салазки. Они лепили снежных баб и строили снежные крепости. Им было весело вместе. Вечером, под покровом темноты, я пробирался во двор, разрушал их крепости и сбивал нокаутом снежных баб, стирал с лица земли их работу, крушил, ломал, уничтожал. Как индейцы. Преисполненный того же праведного гнева, того же оскорбленного чувства справедливости.

Я рано постиг разницу между людьми и скотом. Эти буржуазные отпрыски рано пробудили во мне классовые чувства. Сперва, когда я еще не лишился своей социальной невинности, мне хотелось играть с ними, и я пытался примкнуть к их компании. «Смотри, у тебя на локте дырка»,— говорили они. «У тебя чулки сползают!», «Ты грязный», «От тебя дурно пахнет», «Уходи!» Мне не помогало даже имя Дональд. Если ты сын дворника, пощады не жди. Наконец до меня дошло, что все это всерьез, что такова жизнь, что она сурова и надо либо подчиниться ей, либо бунтовать. Либо согласиться на их наглые условия, либо продиктовать собственные, и тогда уже стоять насмерть. Я выбрал последнее. Такой у меня характер. Я не похож на маму и Оскара.

«У тебя вши!» Я платил, не задумываясь. Давал в зубы. Они исчезали со слезами, ища защиты в надежных материнских объятиях. Поскольку они отказались быть моими друзьями, я стал их врагом. Мы с Тапио любили, спрятавшись в подвале, стрелять в них маленькими камешками из наших рогаток. Парад господских мамаш к нашей двери был нескончаем, они приходили, стучали, ругались, тявкали и угрожали. А жалостные литании Сайми, гневные нахлобучки, пощечины, оплеухи, ее безоговорочная солидарность с мамашами из каменной крепости, ее непостижимое неизменное предательство, когда дело касалось меня! «Вши!» С этим она, конечно, не могла согласиться. Но тем не менее.

И я постиг, что никто о тебе не позаботится, если ты не позаботишься о себе сам, что никто не защитит тебя, если ты не защитишь

себя сам. Что кулак — это козырь. И эта премудрость прочно засела во мне. Сила — вот единственно действенное оружие обделенных. Теперь она больше не нужна мне, но случается, что в гневе я по-прежнему пускаю в ход кулак, мгновенно, почти инстинктивно. Разумеется, это причинило мне много неприятностей в более поздние годы. Ну и плевать, таково воспитание, данное мне классовым обществом, этого уже не исправишь.

Оправдательное слово! При чем тут оправдательное слово? Я все хожу вокруг да около и все тяну, тяну. Обязался писать о настоящем, поскольку прошлое уже невозможно ни воссоздать, ни оживить, и все же судорожно цепляюсь за это прошлое, страница за страницей. Заслоняюсь прошлым от настоящего. Торбьёрн не идет у меня из головы, в этой главе я непременно должен написать о Торбьёрне, о его трудном возрасте, о наших отношениях, которые как раз сейчас настолько осложнились, что недалеко и до разрыва. И о долголетнем браке с Гюннель, таком счастливом и таком неправильном в своей основе. Какие странные, неспокойные были эти последние сутки. Я получил письмо от Ванессы, непонятное письмо, сколько в нем противоречий и отговорок! Она все еще в Лондоне. Ведет переговоры с Ленинградской филармонией. Или флиртует с Ричардом Бэртоном. Я так и не понял, чем именно она занята. С Майлзом произошло несчастье, но сейчас я еще не могу говорить об этом. Сперва должно закончиться полицейское расследование, то есть ни при каких обстоятельствах нельзя допустить полицейского расследования. Я ничего не понимаю. Это непостижимо. Какой-то кошмар. Только что позвонила Хелен, сестра Якоба. Невыносимая зануда, унылая, безразличная, лишенная чувства юмора. Она пыталась уверить меня, что возмущена слухами, которые якобы ходят обо мне, о Майлзе и о делах моей фирмы, но я знаю, что в глубине души она преисполнена злорадства, и черт с ней.

Хелен — стоматолог, и к тому же она алкоголичка, хотя это держится в строгом секрете, она замужем за своим троюродным братом Мартти Лехтисуон-Лехтиненом, таким же занудой, как и она сама, он один из бесконечного сонма преподавателей, которых так много именно в этой родовой ветви, профессор юриспруденции, точнее, кажется, гражданского права.

Своим скрипучим голосом Хелен плела о том непонятном, что произошло с Майлзом (как будто не Майлз сам совершил что-то, а что-то случилось с Майлзом, точно он — всего лишь орудие и не очень-то виноват... именно так и действует всегда истинно буржуазная семейная солидарность): ведь Майлз такой образцовый член общества, с таким чувством ответственности, такой честолюбивый, такой замечательно одаренный, такой доброжелательный и заботливый, такой благородный человек, благородный в прямом значении этого слова, он образец всех добродетелей, исключительный мальчик, превосходный во всех отношениях, замечательный, безупречный на все сто процентов, а какой красивый, изумительно красивый и такой умный, такой зрелый, такой воспитанный, такой самоотверженный, такой прекрасный, с таким богатым внутренним миром, такой обходительный, такой скромный в своих привычках, такой... такой... И вдруг весь этот кошмар, коварная, злобная, дьявольская интрига, и он — ее жертва, бедный мальчик, и все же несмотря ни на что он имел мужество сознаться в своем поступке, отвечать за свое... да, за свое преступление, увы, приходится называть это именно так...

И она стала сперва обиняками, а потом весьма откровенно рассказывать мне, что в «городе» ходят слухи, будто на самом деле за всем этим стою *я,* будто мой *совершенно неожиданный* уход с поста

генерального директора фирмы имеет самую прямую связь с «поступком» Майлза, будто наши убытки за последние два года были просто астрономические, будто наше акционерное общество, мягко говоря, находится на грани банкротства, и потому я, со своей всем известной привычкой использовать любые отношения, знакомства и лазейки, вынудил Майлза... И вот тут-то, видно, мне и придется несмотря ни на что открыть, какой «поступок» совершил мой старший сын... Вынудил Майлза, и тот с помощью одной маленькой, вернее очень большой, махинации — раз, два, три и готово! — похитил, вернее прикарманил, ни больше ни меньше как три миллиона из кассы того солидного концерна, в котором уже много лет работал в качестве юриста и совсем недавно был назначен коммерческим директором, и теперь эти три миллиона вложены в мою фирму! Разумеется, она не верит ни единому слову — это я, конечно, понимаю? Она только хотела, чтобы я знал, считала своим долгом сообщить мне, о чем говорят в городе. Все-таки кровь — не вода, подчеркнула она с присущей ей фальшью.

Я так и видел, как она сидит в своей изысканной спальне, застеленной огромным ковром и обитой цветным шелком, сидит на краешке кровати, утопая в пуховой перине, выпрямив негнущуюся спину, в строгом бежевом платье, сжав колени и чуть-чуть отставив ноги вбок, как и следует сидеть воспитанной даме, до тошноты пристойная,— представил себе ее увядшее, невыразительное, немного желчное и алкоголически одутловатое лицо, седые, с лиловатым оттенком, безупречно уложенные волосы, тонкие бесцветные губы, которые всё говорят, говорят, говорят, темно-красная трубка возле уха, ночная тумбочка с восковыми затычками для ушей в маленькой коробочке, снотворное, аэрозоль от насморка, последние номера дамских журналов, Виктория Холт в переводе на шведский, Агата Кристи по-английски и вне всякого сомнения все еще «В зале усадьбы Аластало» Волтера Килпи, часть первая — роман, который лежит в этой комнате, сколько я ее помню, очевидно, с конца пятидесятых годов и о котором она любит поговорить в самых восторженных выражениях на семейных вечерах и обедах... Да, да, да, ага, угу, отвечал я, и мне казалось, что слабый запах хереса начал проникать в комнату из трубки возле моего уха, но я старался, чтобы мой голос звучал дружелюбно: разумеется, я понимаю, что она не верит этой грязной и низкой клевете, я очень благодарен, что у нее нашлось время, чтобы позвонить и сообщить мне... разумеется, разумеется, разумеется... Наконец-то в нашем разговоре возникла пауза, и я смог закончить его, не проявив бестактности.

Если бы хоть понять, чего он хотел, но понять это невозможно! Все это, как я уже сказал, было совершенно непостижимо. Майлз входил в состав директоров одного из крупнейших концернов нашей страны, хотя ему нет еще и тридцати. Он сделал молниеносную блестящую карьеру на деловом поприще и в перспективе мог получить к пятидесяти годам почетный титул горного советника. Жалованье у него княжеское, его личное состояние ежегодно увеличивается благодаря умному и дальновидному помещению капитала. Не пьет. Разделяет врожденное отвращение отца к азартным играм. Не имеет ни законных, ни внебрачных детей или каких-нибудь других материальных обязательств. Вообще не женат, хотя вот уже несколько лет живет с девушкой, очень хорошенькой, умной и к тому же прекрасно обеспеченной, поскольку она кандидат медицины и социологии и недавно назначена на высокую должность в министерстве социального обеспечения. Одним словом, не было у него никаких видимых или хоть с какой-нибудь точки зрения объяснимых причин, чтобы присваивать себе чужие деньги. Я думал, что хорошо знаю его.

Думал, что он мне ближе всех моих детей, что он больше всех похож на меня. Думал, что наши прежние отношения «отец — сын» приобрели постепенно характер равенства и теплой дружбы и что это чувство дружбы обоюдное. Я считал, что мы питаем доверие друг к другу, и это долго радовало меня. Как много человек полагает и как мало знает! Единственное, что я знаю сейчас: не было ни одной маломальски разумной причины, которая могла бы заставить его совершить этот ужасный поступок, тем более необъяснимый, что все, сказанное Хелен про Майлза,— истинная правда, а не преувеличение. Он действительно такой, как она говорит: очень приятный, преуспевающий молодой человек, всеми уважаемый и ценимый, многими любимый, баловень судьбы, настоящий счастливчик.

Обстоятельства моей супружеской жизни не позволяли мне часто видеться с Майлзом в годы его детства и отрочества. Синикка ничего не имела против наших встреч, но Гюннель была принципиально против всего, что касалось моего первого брака, в том числе и детей. Поэтому мы с Майлзом сблизились и стали регулярно видеться, когда он уже начал учиться в университете, только тогда я получил возможность дать ему некоторые полезные советы и определенным образом направить его жизнь, именно в те годы состоялось наше настоящее знакомство и началась наша дружба. Так что мы были знакомы и дружны не так уж долго, если учесть, что речь идет об отце и взрослом сыне. Всего лет десять, не больше.

С Майлзом никогда не было никаких забот. Ни один ребенок в детстве и отрочестве не доставлял своим родителям меньше огорчений, чем Майлз — нам. Мы почти не заметили, как он миновал переходный возраст. Со школьными делами он справлялся в основном блестяще, отметки у него были прекрасные. Ровно два года потратил он на то, чтобы стать кандидатом юриспруденции. Он — прапорщик запаса. Все шло как по маслу. Все складывалось как нельзя лучше. Не к чему было придраться. И вот, пожалуйста!

Два случая из его школьной жизни остались у меня в памяти — два раза, когда Синикка чувствовала себя беспомощной и обращалась ко мне, чтобы посоветоваться, как быть. Но разве эти случаи играли хоть сколько-нибудь значительную роль в его жизни? Разве они характерны для Майлза или имеют какое-то отношение к тому, что он, пока еще непонятно каким образом, присвоил три миллиона? Я не вижу тут никакой связи.

Уже в тринадцать лет, то есть в начале переходного возраста, Майлз надменно произнес, можно сказать, классическую фразу всех одаренных учеников. Произошло это так. У них был учитель гимнастики, с которым Майлз не ладил. Говорили, что Майлз злостно срывал уроки гимнастики и, по-видимому, был для учителя бельмом на глазу. Кто из них был прав, а кто виноват, теперь уже трудно установить, но так или иначе отношения у них с самого начала были накаленные. Хотя Майлз превосходный гимнаст и спортсмен. Однажды в конце апреля, когда уже растаял снег, учеников вывели на школьный двор играть в лапту. Майлза назначили капитаном одной из команд, но он отказался. «Мне лень»,— сказал он, явно дерзя. Ему было сделано замечание, с моей точки зрения вполне заслуженное; хотя, надо признаться, учитель оказался настолько либеральным, что принял его отказ. Не настаивая, он назначил капитаном другого ученика. Между тем Майлз упрямо и без каких-либо причин продолжал свою обструкцию. Когда подошла его очередь бить, он, даже не пытаясь попасть по мячу, небрежно швырнул биту. И не побежал, а неторопливым шагом направился из «города» в «поле». К тому же, как мне потом рассказывали, он все время презрительно смеялся. Ко-

роче говоря, он сорвал игру, что, естественно, возмутило учеников ничуть не меньше, чем и без того униженного учителя. В конце концов игру прекратили, и Майлза призвали к ответу. Насколько я помню, по словам Синикки, а потом и самого Майлза, обмен репликами происходил примерно такой:

— Что с тобой творится, Блаад, ты что, не в себе или вдруг настолько поглупел, что не в состоянии играть в самую обычную игру? Ты же сын богатого и всеми уважаемого человека!

— Моего отца никто не заставляет бегать по идиотскому школьному двору и бить деревянной палкой по идиотскому мячу.

— Может, ты у друзей своей мамы научился дерзить и не уважать товарищей?

— Вы должны извиниться, я не потерплю, чтобы о моей матери говорили плохо только потому, что она коммунистка.

— Послушай, Блаад, ты не только дурно воспитан, ты вообще человек антиобщественный. Я уже давно понял, что ты нуждаешься в хорошей взбучке, иначе из тебя в жизни ничего не получится, запомни мои слова.

— Попробуйте.

— В последний раз предупреждаю тебя, Блаад. Как ты думаешь, что из тебя получится, если ты будешь вести себя как антиобщественный элемент, как настоящий хулиган?

Вот тут-то Майлз и выпалил:

— Если из меня ничего не получится, учителем гимнастики я смогу стать в любое время.

В школьной жизни эта реплика, разумеется, не нова, тем не менее она всегда почему-то производит очень сильное впечатление. И на этот раз эффект был поразительный и совершенно неожиданный. Учитель заплакал и, не сказав больше ни слова, отправился к ректору. Майлзу было велено две субботы оставаться в гимназии после занятий на два часа. Тогда-то Синикка и связалась со мной: наказание показалось ей слишком строгим. Я был с ней согласен. Позвонил ректору и довольно горячо с ним поспорил. Подобно всем задетым и самоуверенным отцам, я не стеснялся в выражениях. Однако он сообщил мне некоторые подробности, которые потом заставили меня задуматься кое о чем. Может, Майлзу был свойствен известный цинизм, известное бессердечие, которые в тот раз впервые неожиданно выплыли наружу?

У преподавателя гимнастики были очень тяжелые семейные обстоятельства, жизнь его сложилась так, что он воистину был достоин сочувствия. Жена родила ему троих детей, потом у нее обнаружилась шизофрения, и в конце концов как неизлечимого хроника ее поместили в психиатрическую лечебницу. После долгих и мучительных раздумий он развелся с ней и снова женился на женщине, которая родила ему еще двоих детей; в один прекрасный день его вторая жена сбежала с посредственным итальянским эстрадным певцом, гастролировавшим в каком-то третьеразрядном ресторанчике в Гельсингфорсе. На руках у учителя осталось пятеро детей, которых он должен был содержать на свое скудное жалованье. Мало того, его старую мать, которая переехала к нему, чтобы присматривать за внуками, неожиданно разбил паралич, и она уже до конца жизни оказалась прикованной к постели. В довершение ко всему надо сказать, что бедняга никогда и не думал преподавать гимнастику, к этому его вынудили обстоятельства. Его страстной мечтой всегда была биология, ему хотелось быть биологом, исследователем, ученым.

Все это ни для кого не было тайной. Об этом знали и учителя и ученики. Он был не из тех, кто страдает молча, он жаловался на

судьбу откровенно, всем без разбора, часто и охотно. Майлз, конечно, все знал. И очевидцы рассказывали, что во время разговора с учителем он не только дерзко, вызывающе и по-детски упрямо смотрел учителю в глаза, но было в его поведении что-то более серьезное, говорившее о сознательном желании уязвить или, хуже того, наводившее на мысль о явно злорадном и садистском удовольствии, которое наблюдается у некоторых детей, когда их неожиданно охватывает, по-видимому, совершенно непреодолимое желание мучить что-то живое: мух, птиц, кошек — безразлично кого.

Несколько лет спустя ректор гимназии сам обратился ко мне. Тогда мы с ним были уже близко знакомы и давно помирились, поскольку случай и общие друзья свели нас в небольшой компании, которая, насколько позволяли время и обстоятельства, более или менее регулярно играла в теннис. Это было в самом начале шестидесятых годов, очевидно, незадолго до того, а может, и сразу после того, как я был министром обороны. По вполне естественным причинам, объяснявшимся, так сказать, воспитанием с колыбели, Майлз примкнул к леворадикальному движению, которое в те годы быстро росло и прокатилось могучей волной, неся освобождение и перемены, по школам и высшим учебным заведениям почти всех западноевропейских стран.

Помню, Майлзу было тогда пятнадцать лет, значит, шел 1962 год, и это свидетельствует о том, что Майлз опередил свое время, став активным левым радикалом за несколько лет до того, как левый радикализм разросся у нас в модное молодежно-политическое движение. Но благодаря Синикке коммунизм был у него, так сказать, в крови. Майлз очень рано развился. Странно другое: позже, уже в университете, когда мы с ним сблизились, он никогда не обнаруживал никакого интереса к политике и тем более не высказывал никаких социальных взглядов. Всю свою энергию и внимание он сосредоточил на изучении права, которое для него лично должно было послужить воротами в деловой мир.

Итак, ректор гимназии позвонил мне. Оказалось, что Майлз возглавляет в своем классе леворадикальную группу, которая сеет смуту среди учеников и доставляет заботы учителям. Дело дошло до того, что этой леворадикальной группе удалось подбить весь класс на сидячую забастовку, она длилась уже две недели и была направлена, по утверждению Майлза и его дружков, против тенденциозно-буржуазного, или, другими словами, лживого и искаженного преподавания истории. Ученики отказывались отвечать на уроках, пока преподавание не будет в корне перестроено по марксистскому образцу. Минимальное требование заключалось в том, чтобы в курс истории было включено изучение основ марксизма.

Ректор гимназии объяснил мне, что даже это минимальное требование в той форме, в какой оно высказано, выполнить невозможно хотя бы потому, что нет подходящего учебного материала. Кроме того, преподаватель истории не владеет марксистской теорией, и она его нисколько не интересует. У него свои методы и свои взгляды. Новая, совершенно неожиданная ситуация, в которую он попал, возмутила его, довела до бешенства, короче говоря, из престижных и принципиальных соображений он отказывается от каких-либо переговоров и уступок. К сожалению, дело приняло такой оборот, что единственно возможное решение конфликта — немедленное исключение из гимназии Майлза и, может быть, еще двух-трех заводил. Все это крайне неприятно, Майлз всегда числился одним из лучших учеников, но при сложившихся обстоятельствах... Ведь ты сам понимаешь. Не понимаешь? К сожалению, это единственный выход.

Сперва я не мог решить, как себя вести. Потом согласился и обещал поговорить с Майлзом. Естественнее поддержать постоянного партнера по теннису, чем сына-подростка, которого редко видишь и плохо знаешь. В тот же вечер у меня состоялся серьезный разговор с Майлзом. До того мы долго не встречались и вообще впервые разговаривали как взрослые люди. Я изложил ему точку зрения ректора, которая ему, несомненно, уже была известна, и попытался в самой товарищеской форме и нейтральных выражениях выступить в защиту его реакционного противника. Сперва Майлз держался настороженно и заносчиво, но, заметив, что я не глух к его доводам, явно обмяк и под конец стал удивительно откровенен и красноречив. Однако мои слова не возымели никакого действия. Он был совершенно непоколебим в своих требованиях, аргументы его отличались убийственной логикой, и вообще он произвел на меня очень сильное впечатление своим максимализмом, своим пафосом и прямо-таки лютеровским заявлением: «На том стою и не могу иначе». Его мужество вызывало восхищение, особенно если учесть юный возраст и все, что он ставил на карту в этой игре. Сперва я хотел рассердиться и выбранить его на манер ограниченного отца или самодовольного дядюшки, но быстро сообразил, что лучше сдержаться. Майлз был отнюдь не тот юноша, которого можно бранить. Кроме того, это было бессмысленно, он даже не обратил бы внимания на мои слова, просто счел бы их еще одной из многих слабостей своего «предка».

Одним словом, он не сдался. Он требовал, чтобы в программу был введен марксизм. В конце концов мы забрали его из этой гимназии и перевели в другую, где учитель истории был как будто немного либеральнее в своих взглядах,— во всяком случае, он был моложе и более расположен к спорам, более гибок, он хорошо понимал и энтузиазм юности, и ее бескомпромиссность.

(Окончание следует)

КАРЕЛ СЛАВИНСКИЙ
Чехословакия.
Рисунок.

ЖОЗЕ Ж. ВЕЙГА

Тени бородатых королей

ПОВЕСТЬ

Перевод с португальского ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

Где же происходит действие этой повести — в какой стране, в каком городе? Умалчивая о стране, автор называет городок, в котором мы встречаем персонажей произведения. Бесспорно, Таитара находится где-то в Латинской Америке, это подтверждают страницы повести, однако и на самой подробной карте континента и прилегающих к нему островов напрасно искать Таитару — такой же неизвестный географам город, как, скажем, Макондо у Габриэля Гарсиа Маркеса в романе «Сто лет одиночества», равно как Нуэва Кордоба — столица неназванной республики в романе «Превратности метода» Алехо Карпентьера.

Да, собственно, город ли эта Таитара?.. Читаем повесть, и невольно возникает мысль: быть может, Таитара — отражение в капле воды некоей латиноамериканской страны, где поныне господствует диктаторский режим? Чили или Гватемала, Сальвадор или Уругвай, Гаити или...

Бразильский писатель не ставит точку над i, предоставляя латиноамериканскому читателю сделать заключение. Жозе Вейга не конкретизирует свою критику, сатирическую направленность произведения, но резко-обличительная его форма не оставляет сомнения в том, что автор имеет в виду совершенно определенную цель. Прибегая к аллегории, к гротеску, к иносказанию, автор закладывает в свою притчу — между строчками — реалистическую правду, в известной степени раскрывает социальный смысл явления. В этом — значение и политическое звучание повести «Тени бородатых королей».

Весьма красноречиво говорится во вступлении от португальского издательства, выпустившего в свет повесть бразильского писателя: «Это — ужасная история нашего времени... Кто знает, где оканчивается действительность и начинается художественный вымысел».

Диктатура — в повести Жозе Вейги всемогущая Компания, бразды правления в которой перешли в руки неких иностранных капиталистов (лишь в одном случае автор дает понять — и то в игре слов — о ком идет речь),— вводит в Таитаре режим угнетения, навязывая свою волю, устанавливая для жителей города невероятные по абсурдности своей нормы жизни, приводящие к подавлению личности, к фактической ликвидации прав человека. Удушливая обстановка страха, террора царит в Таитаре, где никто не может жить свободно, где за каждым жителем ведется строжайшая слежка, где становится опасным просто выходить на улицу.

О том, что произошло и что происходит в Таитаре, мы узнаем из дневника мальчика, которому мать запретила покидать дом, опасаясь за его жизнь, и которому ничего иного не остается, как записывать свои воспоминания, размышления, мечты. Трагедия Таитары стала и трагедией семьи мальчика: погибает его дядя, изгнанный из Компании захватившими в ней власть иностранцами: за «нелояльность» к Компании брошен в тюрьму его отец, поначалу ревностно ей служивший и вследствие этого потерявший уважение со стороны своих земляков, соотечественников.

Разумеется, было бы странно ожидать, что мальчик в своих записях сумеет сделать более или менее глубокий анализ происходящих в этой стране, то бишь в Таитаре, событий. Не исключено, что и самому автору, в силу тех либо иных причин, трудно

© José J. Veiga, 1976.

было договорить. Спорна, к слову сказать, некая идеализация явного представителя национальной буржуазии, дяди Балтазара, павшего жертвой иностранной монополии.

Но не забудем — мальчик, естественно, смотрит на окружающее, на микрокосм через свою призму: по-мальчишески он воспринимает приезд иллюзиониста в Таитару, где чуть не все запрещено, где нет праздников; по-мальчишески он мечтает о летающих людях — ведь так страстно хочется ему вырваться из стен, закрывающих горизонт!

Повесть Жозе Ж. Вейги, аллегорически рисующая жизнь латиноамериканского городка (страны?) в условиях антинародной диктатуры, все же оптимистична: и обитатели Таитары, несмотря на всяческие притеснения, не утратили своего достоинства, и мальчик — в рамках своего миропонимания — верит в наступление новых, лучших времен.

1

Приезд

Ладно, мама, сделаю, как ты хочешь: напишу о том, что произошло здесь, в этом городе, после приезда дяди Балтазара. Я, конечно, знаю, что твоя настойчивая просьба не что иное, как желание засадить меня дома. Ты ведь считаешь, что и сейчас, когда фискалы уже не так строго следят за каждым из нас, ходить по улицам небезопасно. А потом, и у меня есть надежда, что мое писание окажется неплохим времяпрепровождением. Надоело мне бродить по одним и тем же местам, видеть печаль опустевших домов, двери и окна которых хлопают от ветра, и дворы, раньше такие ухоженные, а теперь заросшие бурьяном, где снуют обнаглевшие ящерицы, а двутробки, не смевшие селиться даже в глубине двора, словно в отместку вьют гнезда в погасших очагах.

Мне казалось, что, так хорошо помня случившееся, я легко опишу эту историю. Но... Как только я сел за стол, взял карандаш и положил перед собой тетрадь — все испарилось. Я не знаю, с чего начать. Мать сказала, что не будет читать мои записки, потому что ей некогда и потому что она знает все не хуже меня. Хм! Это ведь способ подзадорить. Она — хитрая, все обдумывает. Но тетрадь лучше не бросать где попало, лучше быть осторожным, особенно если я решу написать о своем приезде в дом дяди Балтазара.

А вот интересно, стал бы я писать, если бы дядя не приехал к нам и не решил основать Компанию? Нет, он не виновник случившегося. Сама-то идея была хорошая и всех воодушевила. Но все-таки то, о чем я буду рассказывать, началось именно с его приезда. Кто бы мог вообразить в тот радостный и праздничный день, что такое хорошее начинание обернется злосчастной Компанией по улучшению Таитары? Бедный, бедный дядя Балтазар! Как бы он страдал, если бы был жив. Думаю, что именно поэтому мать и не плакала, когда получила известие о его смерти.

Когда дядя Балтазар приехал к нам впервые, мне минуло одиннадцать. Он же был женат во второй раз и имел репутацию человека богатого. Приехал он один, без жены. Вспоминая то время, отец говорил мне, что, прожив у нас всего несколько дней, дядя решил отказаться от своей идеи и уехать. И снова я задаю себе вопрос: был бы он до сих пор жив, если бы именно так и поступил? И если бы он не создал эту самую Компанию, пришлось бы нам пережить все то, что мы пережили? Но задаваться подобными вопросами все равно что спрашивать: что было бы с соседским телком, если бы он не сдох? А я ведь

решил рассказать о том, что случилось, а не о том, чего могло бы не случиться.

Дядя Балтазар. Имя, известность, бесчисленные фотографии — вот то, что я о нем знал. Похоже, он считал абсолютно обязательным фотографироваться если не каждую неделю, то каждый месяц. Мать то и дело получала от него и профессионально сделанные, и просто любительские снимки. Особенно мне запомнился один снимок, запечатлевший его за рулем великолепного спортивного автомобиля, о котором местные знатоки говорили, что он итальянской марки и очень дорогой. На нем дядя Балтазар выглядел как артист кино. Пальто в клетку, сорочка с расстегнутым воротником, волосы на прямой пробор, левая рука — на дверце кабины, во рту мундштук с сигаретой, на симпатичном лице — широкая улыбка. Эта фотография с посвящением, адресованным моей матери, произвела огромное впечатление на всех наших друзей, так что многие, кто видел ее, хотели показать тем, кто не видел. Из чувства гордости мать, конечно, давала фотографию, но если фотографию держали долго, то мне поручалось забрать ее обратно — не мог же такой важный документ оставаться бесконечно вне пределов нашего дома!

И если я решил писать правду, то никак не могу скрыть своего разочарования, которое испытал, когда увидел дядю Балтазара. Он вылезал из машины у дверей нашего дома. В первый момент я даже подумал, что это кто-то другой, какой-нибудь знакомый или сослуживец отца. Волос на его голове было мало, и никакого прямого пробора. Может, мода прошла? И лицо совсем не такое молодое, как на фотографиях. Но особенно потрясло меня отсутствие руки. Где же та левая рука, что так небрежно лежала на дверце кабины, все на той же знаменитой фотографии? Я увидел, что выйти из машины ему помог шофер, увидел пустой левый рукав, заткнутый в карман, и вместо прежнего светлого образа победителя многих спортивных соревнований — явно раздраженного человека. Я, конечно, и раньше встречал людей без ног, без руки, даже без носа, даже без обеих ног — ну, хотя бы у церкви на святой неделе, но они не были моими родственниками. Я так расстроился, что спрятался и не появился к ужину. Это, конечно, очень трудно понять, но, раздумывая над потрясением того дня, мне кажется, я обвинял дядю Балтазара в том, что он потерял руку специально, чтобы унизить меня перед моими друзьями.

Однако мое отсутствие никто не заметил. Только мать разок позвала меня, и все. Это уж совершенно не укладывалось у меня в голове. Что же за причина такого безразличия? Уж если мое отсутствие не заметили, то, вероятно, там, наверху, пока я тут, внизу, в потемках, прятался, происходило что-то значительное. Конечно, я решил выйти из своего укрытия и теперь думаю, что лучше было бы и не прятаться вовсе.

Вначале я пошел на кухню перехватить чего-нибудь, обдумывая, как мне появиться в комнате. Но в тот самый момент, когда я рыскал по кастрюлям, появилась мать и с изумлением меня обнаружила:

— Вот те на, Лу! — сказала она, ни с чем не связывая мое исчезновение.— Приехал твой дядя, а тебя нет. Неужели улица обождать не может?

Хорошо, что именно так она подумала. Ведь я и сам уже считал, что прятаться от дяди только потому, что у него не оказалось руки, глупо. Разве тот, кто теряет руку или ногу, перестает быть человеком? Как жаль, что я не вспомнил детективный фильм, который недавно видел! Каких там покалечили великолепных бандитов! Как жаль, что я сразу не вспомнил тот фильм!

Мать продолжала стоять и смотреть на меня. Тут я понял: правда ей известна. Но вместо того, чтобы меня пристыдить, она погладила мою голову и сказала:

— Съешь что-нибудь и иди к дяде. У него для тебя есть подарок, и он очень хочет знать, понравится ли он тебе. Я скажу, что ты задержался в школе из-за собрания.

Я затолкал в рот кусок и вошел в комнату, утирая рот.

— Наконец-то явился прилежный ученик,— сказал дядя Балтазар, положив сигару в пепельницу.— Ну-ка, иди ближе, хочу тебя рассмотреть. Так он же вылитый дед, а? Ну и ну! Никогда не видел подобного сходства. Как дела в школе? Отметки как? Учись, учись, но пошалить не забывай. Кто только учится и не шалит, делается тощим и противным. Мы в своей семье такого не терпим. Верно, Орасио?

Вопрос был задан моему отцу, который молча курил, сидя за столом. Но, раньше чем отец ответил, дядя Балтазар, вынув сверток из кармана, продолжил:

— Вот это я привез тебе. Ну-ка посмотри, понравится ли?

Мать кивком подала мне знак, чтобы я развернул; отец все курил, стараясь сохранять равнодушный вид. (Я до сих пор так и не знаю, что же все-таки было между отцом и дядей.) Развернув бумагу, я увидел небольшую черную коробочку с защелкивающейся крышкой. Раскрыл ее и не поверил своим глазам. Внутри на черном бархате сверкали позолотой часы и браслет. Настоящие часы!

Мы примерили их на мою руку. Дядя Балтазар показал мне, как сделать браслет короче, но и укороченный он все же был велик. Мать сказала, что нужно подождать месяца два-три, тогда часы будут как раз. Но я даже слушать не хотел: они хороши и так, и поскорее отошел в сторону, чтобы не отобрали. Тут отец не выдержал, рассмеялся и заметил, что у меня вряд ли хватит терпения ждать два-три месяца.

Глядя на свою руку с часами и чувствуя их тяжесть, я в одно и то же время испытывал и радость и неловкость: такой подарок был, конечно, рановат для меня, и это долго не давало мне покоя. А вот сознание, что дядя — калека, исчезло сразу, как только он надел часы на мою руку, а потом снял и, положив на стол, укоротил браслет одной-единственной рукой легко и просто.

Когда мать узнала, что дядя Балтазар снял номер в «Гранд-отеле Сирия и Ливан» и не будет жить в нашем доме, трудно даже сказать, как она рассердилась. Но жил-то он как раз у нас: у нас обедал, у нас ужинал, а по воскресеньям возил меня на автомобиле, правда всегда одного, потому что мать укачивало, а отец, как правило, не мог ехать: то у него болела голова, то он был усталым, то должен был навестить того или другого знакомого — так ни разу и не сел в машину дяди.

Однажды дядя Балтазар уехал за тетей Дулсе, и новый его приезд стал новым праздником, и лучшим, чем прежний, так как дядя задержался здесь на многие годы.

2

Бегущий человек

Любопытно все-таки, как могут люди не замечать, что творится вокруг, а когда замечают, убеждаются, что все уже старо и привычно. Потом, правда, и это старое и привычное меняется, и тоже никто не замечает. Мне даже в голову не приходило, что дядя Балтазар может кому-то не нравиться. Если бы я услышал подобное, я бы очень уди-

вился. И я действительно удивился, услышав это в своем собственном доме.

Поначалу мне казалось, что отец — большой друг дяди Балтазара; я не замечал, что он либо молчит, либо выходит из комнаты, как только мать заговаривает о брате. Но бомба замедленного действия должна была взорваться, и она взорвалась, когда однажды за кофе, который отец, как правило, пил молча, мать принялась превозносить дядю. Оттолкнув чашку, отец закричал:

— Хватит, Ви! Я знаю, что это восьмое чудо света!

Зло хлопнув дверью, он вышел.

— Не понимаю, почему твой отец недолюбливает Балтазара,— грустно сказала мать, но тут же спохватилась и поправилась: — Ах, глупость какая! Отец просто нервничает...

Я стал приглядываться и обнаружил, что он не просто нервничает и не просто недолюбливает, а ненавидит дядю и не скрывает этого. Теперь мне бросилось в глаза и то, что мать не очень любезна с тетей Дулсе. Дядя Балтазар, конечно, делал вид, что не замечает ни отцовской ненависти к себе, ни отношения матери к тете Дулсе.

Привыкнув ко всему этому, я счел разумным никогда ничего не усугублять и уж во всяком случае не удивляться, если ненависть вдруг сменится любовью. И она сменилась. Но как и почему это произошло — а это произошло,— я даже не знаю. Знаю только, что в нотариальной конторе возник спор. И такой спор, что дядя Балтазар чуть не побил нотариуса. Не побил потому, что собрался народ и разнял их. И вот после этого случая дядя Балтазар и отец стали друзьями, и не просто друзьями, а неразлучными друзьями: рыбу ловили вместе, и отец даже червяков для дядиной удочки копал.

Мать была рада-радешенька и без стеснения расхваливала дядю Балтазара. Отец поддакивал ей, находя в нем новые и новые достоинства. А однажды при мне — видно забыв, что ругал его раньше,— сказал, что Балтазар — человек с твердым характером и определенными взглядами. Позже я узнал, что в нотариальной конторе дядя как раз отца-то и защищал. Но перемена отношения отца к дяде Балтазару не повлекла за собой перемену отношения матери к тете Дулсе.

Когда дядя Балтазар заговорил о своем проекте основать Компанию, мой отец пришел в дикий восторг. Тот, кто в те дни увидел бы отца, воодушевленно объяснявшего суть дела и отвергавшего всякую критику, подумал бы, что проект принадлежит ему, не иначе. А сколько раз я был свидетелем того, как дядя старался охладить его пыл, но был повержен отцовской энергией.

Из разговоров здесь, в доме, я узнал, что самое серьезное в этом деле — капитал, но именно капитал-то и недооценивал отец. Он считал, что главное — энтузиазм и вера. Дядя Балтазар соглашался, говоря, что без этих двух составных даже первую сваю вбить нельзя, но спрашивал, чем же будет жить предприятие, пока не окрепнет? И чем они будут покрывать расходы на служащих, поставщиков... и все прочие другие, которые сейчас и предвидеть невозможно. Ведь его денег не хватит и на маленькую фабричку, и ее жалкое существование вынудит залезть в долги, которые будут расти изо дня в день.

— Все будет хорошо,— говорил отец.— Главное — начать! Остальное приложится. Энтузиазм и вера сделают свое дело.

— Да начать-то можно, но хорошо будет, только когда имеешь капитал или кредит — что по сути одно и то же! — услышал я однажды, как дядя Балтазар втолковывал отцу такую простую истину.—

Когда у меня будет достаточный капитал или гарантированный кредит — начнем. Раньше же начинать рискованно.

И надо сказать, что дядя не сидел сложа руки, ожидая, что этот самый капитал упадет ему с неба. Он действовал. Писал письма, получал ответы, завоевывал уважение окружающих, которые теперь называли его не иначе как «деятель Компании». К тому же он все время был в разъездах. То где-нибудь по соседству, то в дальних краях, но всегда с папкой деловых бумаг. Отец же твердил, что Балтазар тратит время попусту и что его разъезды и разговоры с людьми, которые ни черта не смыслят в деле, ничего не дадут. А надо бы начать строить фабрику. Начать, и все тут.

Во время дядиных разъездов я, по просьбе матери, составлял компанию тете Дулсе, и это мне очень нравилось: дядя с тетей жили в огромном доме, и я в одной из его комнат с цветными гардинами, коврами, зеркалами, лежа на надушенных простынях, слушал перед сном рассказы тети Дулсе о дяде и их совместных путешествиях. Рассказы эти сопровождались показом фотографий, которые хранились в деревянном лакированном ящике.

Потом... потом в город стали приезжать чужие люди, не бог весть как одетые и достаточно примитивные. Они селились в «Гранд-отеле Сирия и Ливан», конечно, за дядин счет, но разговаривали с нами как с дикарями или неотесанными болванами (моего отца именно это и раздражало) и ругали все: дома, еду, пыль — точно ранее привыкли к роскошной королевской жизни. А в беседах с дядей высказывали недоверие к его бумагам, задавали тысячу вопросов, на которые он не всегда мог ответить, и уезжали, оставляя его ни с чем. И дядя падал духом, правда в конце концов признавая, что они правы: планы еще не вызрели,— а после опять воодушевлялся и опять принимался за дело. Отец говорил, что Балтазар поглупел, раз тратит и без того скудный капитал на всех этих ловкачей, что съезжаются сюда, рассчитывая выпить и закусить за чужой счет, а потом, ковыряя в зубах и посмеиваясь, уехать.

Когда и я отчаялся увидеть дядины планы претворенными в жизнь, прибыл этот симпатичный и воспитанный старикашка — доктор Маркондес, прибыл с сыном на светло-голубом «шевроле», вызвав удивление всех обитателей,— мы и не знали, что автомобили могут быть иного цвета, чем черный. И пока доктор Маркондес беседовал с дядей о делах Компании, его сын катал меня на этом самом «шевроле». Сын был таким же симпатичным, как отец, и так же плохо, как мой отец, отзывался о тех, кто приезжал к нам раньше. Наверное, потому он мне и понравился. Звали его Филипе. Он был одержим страстью фотографироваться, фотографироваться в любом месте, даже на фоне старой, полуразрушенной стены. Филипе научил меня обращаться с фотоаппаратом. Я и фотографировал его и у этой самой стены, и у угла дома, и у каменного портала церкви, и облокотившимся на парапет моста, и смотрящим вниз, и плавающим в реке, и ловившим рыбу. А когда мы отправлялись за город, Филипе интересовало все: названия деревьев, цветов, птиц, любого встретившегося зверька и даже наших телят, вряд ли чем отличающихся от всем известных.

Филипе очень смешно говорил. Все, что он считал хорошим, называл «уникальным», плохое — «рвотным», некрасивое — «занюханным», красивое — «клевым». Такие слова разве что в книге вычитать можно! Однако очень скоро все местные ребята только так и изъяснялись. А те, кто постарше, посмеивались:

— Что-что, а это они быстро выучили.

Пока доктор Маркондес пребывал в Таитаре, у дяди Балтазара не было ни минутки, и если он и забегал к нам, то от него разве что «добрый день» или «добрый вечер» мы и слышали. О чашке кофе и речи быть не могло: нельзя же доктора Маркондеса заставлять ждать! Однако отец успел дяде посоветовать, что держаться нужно умно и помнить: иностранцы чем симпатичнее, тем опаснее. Знал, что ли, он о делах больше, чем дядя?

Когда же доктор Маркондес сказал, что должен посоветоваться со своими компаньонами на родине, дядя Балтазар устроил ему такие проводы, каких мы в жизни не видели и, должно быть, не увидим. Вереница машин, да просто все машины города, даже грузовики, украшенные гирляндами цветов, сопровождали высокого гостя по пути его следования. Филипе, прощаясь со мной, снял фотоаппарат со своего плеча и повесил на мое. Но я никак не реагировал, или, вернее, почувствовав себя неловко, размышлял, могу ли я принять такой подарок. Тогда Филипе объяснил, что этот фотоаппарат ему уже не нужен, так как он уже присмотрел в каталоге новый — вещь клевую и уникальную. Вот друг так друг.

И снова вопрос о создании Компании повис в воздухе. Жалуясь на усталость, дядя Балтазар взял с собой тетю Дулсе и отправился в имение своего друга, местечко Канастра. Там он собирался отдохнуть, но многим казалось, что он больше не вернется. Отец же говорил, что Балтазар опять обманут в своих надеждах, и это неплохо: пора же, наконец, перестать быть наивным, сколько можно?

Неужели такие симпатичные люди, как доктор Маркондес и его сын, окажутся бессовестными ловкачами? Зачем было Филипе дарить мне свой фотоаппарат? Я ведь его не просил. Ну, а доктор Маркондес, зачем он говорил дяде, чтобы тот ему подыскал жилье где-нибудь поблизости за городом: «Так, чтоб с фруктовым садом... я не выношу городскую жизнь». Уж очень непохоже все это на игру. И все-таки я был расстроен и, чтобы не вспоминать ни о Филипе, ни о его отце, не прикасался к фотоаппарату.

Но неожиданно все стало на свои места. Первым вернулся порозовевший и пополневший дядя Балтазар и принялся рассказывать свои охотничьи истории, и о купании в водопаде тоже рассказывал, говоря, что от всего этого он помолодел лет на десять. Потом вернулись, нет, не вернулись, а прибыли люди доктора Маркондеса. Тут все забегали, забегали. Что ни день, то заседания. Телеграммы туда — телеграммы сюда. Грузовики — один за другим. Люди в волнении. Не до еды было в эти дни ни дяде Балтазару, ни моему отцу.

Спустя два года, а по подсчетам дяди — через двадцать один месяц, фабрика была готова. День ее открытия до сих пор остается самым замечательным днем в нашей жизни. Никогда я не видел такой всеобщей радости и думаю, что никогда, сколько буду жить здесь, не увижу. От того дня осталась у нас фотография, сделанная людьми доктора Маркондеса. На ней все изображены во весь рост во дворе фабрики. Мать и тетя Дулсе в первом ряду, обе в перчатках и шляпках. Тетя под руку с доктором Маркондесом и дядей; мать, держась за пустой рукав дяди и мою руку. Отец в крайнем левом углу, потому что пришел с опозданием и не хотел нарушать порядка, и еще потому, что тут же, так только фотограф щелкнул, убежал по делам: он готовил весь праздник. В эти дни мой отец бегал, не жалея ног; если бы он только знал, куда бежит, он бы умерил свою прыть.

3

Отъезд

Люди много говорят о счастье и что только не делают, чтобы стать счастливыми, но очень немногих заботит счастье других. А жаль! Ведь счастливый человек может осчастливить всех, даже о том и не помышляя. Дядя Балтазар был абсолютно счастливым в течение двух-трех лет. И именно в те годы стоило его видеть! Фабрика процветала, и все вокруг были довольны и счастливы. В то время пройтись по улице с дядей было равносильно тому, что пройтись с господом богом или святым угодником. Ведь перед ним разве что ниц не падали.

Жили они с тетей в приобретенном на аукционе особняке — большом, обставленном шикарной мебелью и украшенном всякими купленными за границей безделушками. А новые и новые ящики с заказанной тетей Дулсе домашней утварью все прибывали и прибывали. Отец тогда говорил, что, бывая у Балтазара, он всякий раз опасался, как бы не повредить ковры, бархат и шелк его апартаментов. Но он явно преувеличивал. Я никакой такой опасности не испытывал. Вот когда у них были званые вечера для тех, кто прибывал из-за границы инспектировать фабрику, вот тогда я чувствовал себя у них стесненно: я понимал, что разгуливать по уставленным дорогими безделушками комнатам не следует, и старался уйти. Да мы, как правило, и не приходили в эти дни к дяде; отец жаловался на усталость, а мать не имела достойного для подобных случаев туалета. Она говорила: «Чтобы бывать на тетиных шикарных приемах, нужны большие деньги».

Вскоре эти приемы, повседневно одолевавшие дядю заботы и разъезды по делам фабрики совсем лишили нас его общества. Даже работавший с ним отец по неделям не видел его. Правда, дядя нет-нет да присылал нам приглашения, желая принять нас у себя в особняке, но мать уклонялась, говоря, что в их доме теперь всегда чужие люди, а ей не хочется видеть чужих. Однажды она и вовсе вот что сказала: «Чтобы любить дядю, не обязательно ходить к нему в гости, ведь любила же я его, когда он жил далеко. И молю бога лишь об одном, чтобы не променял Балтазар старые привязанности на новые».

Кому-кому, а мне жаловаться на то, что я редко вижу дядю, не приходилось: служебные часы его мне были известны, и я, если хотел, шел встречать его на дорогу. Он же, заметив меня, останавливал машину и затаскивал внутрь. Если в машине сидели иностранцы, он представлял меня им: «Это — Лукас, мой племянник. Он будет инженером, а когда я выйду на пенсию, займет мое место». Потом он спрашивал об отце, о матери, передавал мне для них очередное приглашение, а когда мы прибывали на место, приказывал шоферу отвезти меня домой. Поначалу мне это доставляло большое удовольствие — я ведь вызывал зависть у своих сверстников. Потом вошло в привычку для всех и для меня.

Иногда я встречал дядю, возвращавшегося домой пешком. И это были самые прекрасные дни; он клал мне руку на плечо и шел рядом, расспрашивая о занятиях в школе, о необходимых мне книгах, игрушках и всем прочем. И даже если я говорил, что ни в чем не нуждаюсь, заходил со мной в магазин и покупал мне ботинки, носки, рубашки и все остальное, что, по его мнению, было модно, говоря, что в одежде человек нуждается всегда. Потом велел приказчику отправить покупки на дом. Я никогда не был так хорошо одет, как в то время. Жаль только, что матери он ничего не покупал. Должно быть, отца не хотел оскорблять.

И все-таки полного примирения между отцом и дядей так и не произошло. Но и сегодня я не могу ответить, что же вызвало их взаимную неприязнь? Что касается дяди Балтазара, то он старался ее не выказывать. Человеку с достатком легко было ни на что не обращать внимания или делать вид, что он ни на что не обращает внимания. Отец же, занятый мелочами, то и дело срывался. Мне даже кажется, что свою службу в Компании отец расценивал как лишнюю возможность досаждать дяде. Ведь и тогда, когда фабрика преуспевала, отец только и знал, что зло критиковал каждый его шаг, а это сразу же доходило до дядиных ушей. Теперь-то я понимаю, что это он делал, чтобы выглядеть независимым и не быть среди тех, кто на каждый чих директора говорил: «Будьте здоровы!», но должен сказать — не лучший это способ выглядеть независимым.

Отец все критиковал, все высмеивал: дядины приемы, дядины машины, наконец, ящики с вином, которые дядя получал из-за границы, и даже... даже дядин физический недостаток. Услышав это, мать жестко поговорила с ним. Покраснев от стыда, отец прикусил язык и впредь стал помалкивать. Помалкивала и мать и мне советовала: «Не защищай дядю — не зли отца».

Но однажды отец опять сорвался — он атаковал дядю Балтазара за дорогие сигары. Он сказал, что ящик таких сигар стоит ровно столько, сколько шерстяной жакет для матери. Матери это совсем не понравилось. Они заспорили. Мать повторяла, что Балтазар имеет право тратить деньги как ему заблагорассудится, что он хороший человек, многим помогает и собирается на свой счет дать мне инженерное образование. Вот тут-то нас и озадачил отец.

— Хорошо, что ты об этом заговорила, — сказал он.— Думаю, Лу, тебе следует отказаться от мечты стать инженером.

Мать пришивала пуговицы к моим брюкам. Услышав сказанное, она отложила работу в сторону и, волнуясь, спросила:

— Отказаться? Это почему же?

— А потому, что инженерное образование — для богатых!

— Но ведь Балтазар богат. Он будет платить, как обещал.

— Обещал-то обещал, но может не исполнить обещания. Никто не знает, что ждет его завтра.

— Что за ерунда,— сказала мать, чуть успокоившись.— Он не стар и, слава богу, здоров.

— Все так. А я и не о старости и не о здоровье.

— Тогда о чем? Думаешь, передумает?

— Нет, он не передумает, но другие... другие могут передумать.

Я не понял, и мать, похоже, тоже не поняла, при чем тут другие. Почему они, эти другие, могут передумать за дядю. Отец заметил наше недоумение и решил пояснить:

— Я говорю, что другие могут передумать в отношении самого Балтазара.

— Ну и что?

— Как это что? Все и полетим в тартарары!

— Почему?

— Да потому что... Все очень просто. Влиятельные лица решат, что он не компетентен, и... Вот так-то. Дела Компании не процветают, не процветают и дела твоего брата: не один он командует. И надо быть готовыми к переменам, и не к лучшим.

Вот она, эта причина, почему отец так критикует дядю. Нам-то и в голову не приходило, что кто-то, кроме дяди Балтазара, может руководить делами Компании или быть с ним, с дядей, не согласен. Я посмотрел на мать — она снова взялась за мои брюки, явно выражая недоверие к словам отца. Потом спокойно сказала:

— Не пугай, Орасио. Балтазар будет хозяином положения до тех пор, пока захочет.

— Да-а? Ну и продолжай так думать. Только ведь мне известно больше, чем тебе. Я на фабрике все вижу и все слышу. Вот и предупреждаю, чтобы потом не рвали на себе волосы. А Лу должен выучиться какому-нибудь ремеслу или найти себе работу.

— Что же такого плохого ты знаешь о Балтазаре? — снова начала мать.

Отец молчал.

— Что плохого знаешь ты о нем, Орасио? — продолжала допытываться она.

В те дни на мать было горько смотреть. Зная отца, она понимала, что большего из него не вытянешь, и все время раздумывала, чем бы помочь Балтазару. Да, чем? Или в чем? Хотя прекрасно понимала свои возможности, возможности простой домохозяйки. Что она может против тех, кто окажется сильнее, чем дядя Балтазар?

Неожиданно она пошла на сближение с тетей Дулсе. Посещала ее каждую неделю, главным образом днем, когда меньше всего рисковала встретить в их доме посторонних. Поначалу мать ходила вместе со мной — ведь мы с тетей Дулсе были дружны, и это облегчало их сближение. Цель материнских визитов была ясной и четкой — предупредить возможные события, и тетя Дулсе сразу все поняла и успокоила ее, сказав, что Балтазар привык к интригам и его так просто не возьмешь. Потом, он знает все, что происходит, и пока кто-то варит кашу, он ест уже готовую.

Я не знаю, о чем еще они говорили в часы своих встреч, как раз в ту пору у меня в школе началась новая жизнь. К нам пришла учительница, одержимая желанием сделать из нас актеров. Я тут же получил роль — и только и делал, что зубрил ее, позабыв обо всем на свете: и о дяде Балтазаре, и о неурядицах его Компании. Но теперь мать и тетя Дулсе были большими друзьями, и все, что узнавала тетя Дулсе, становилось известным матери, а следовательно, нашей семье. К тому же если дядя Балтазар был в курсе всех интриг, как говорила тетя, то, уж конечно, он знал и о тех, на которые намекал отец. Так зачем волноваться? Волнуйся не волнуйся — ведь все равно папее папы я стать не мог.

Мы все время проводили у нашей новой учительницы, которая предоставила нам под сцену свою самую большую комнату, предварительно начертив мелом на полу все, что положено, включая кулисы. До чего же легко было любому из нас оказаться за кулисами! Переступил черту — и нет тебя на сцене, а партнер тут же изображал, что не видит и не слышит тебя. Я, например, стоя за кулисами, наслушался оскорблений, а только вышел на сцену — услышал похвалы и льстивые речи. Как только не рассмеялся и не испортил все — не знаю. А может, именно эту игру людей и имела в виду наша учительница, когда говорила, что театр учит жить.

Наши занятия шли хорошо. Каждый знал роль назубок, и никто не сбивался. Заказаны были даже костюмы, в которых предстояло выступать. Вот тут-то я узнал, что дядя Балтазар распорядился помочь нам приобрести декорации и все прочее остальное и что на следующую репетицию, когда мы будем в костюмах, придет он и тетя Дулсе. Надо ж! Мой актерский пыл угас: я испугался, что начну заикаться, забуду роль и стану очень переживать...

Однажды во время репетиции кто-то вызвал нашу учительницу и о чем-то очень тихо переговорил с ней. Вернулась она озабоченная

и сказала, что мы можем разойтись. В тот день я даже не обратил внимания на ее несколько особое отношение ко мне: она положила мне руку на плечо, проводила до двери, расхваливая мои способности.

Оказавшись на улице, я сразу понял, что что-то стряслось. Люди спешили в сторону фабрики, расспрашивали тех, кто оттуда возвращался. Заметил я и то, что знакомые странно поглядывали на меня, словно не понимали, почему я здесь в этот час. Я спросил одного, другого, но не получил никакого вразумительного ответа. Один сказал, что произошел несчастный случай, другой — что совершено преступление, а третий бросил единственное, но более определенное слово: ссора. Я тут же подумал о дяде и побежал домой.

Однако мать дома не знала и того, что знал я. Она очень удивилась, увидев меня на пороге.

— Так рано кончилась репетиция?

Я промолчал. Поболтался дома, проглотил бутерброд и молоко и брякнул первое, что пришло в голову:

— Пойду навещу дядю.

— Тогда захвати тетино платье. Я его уже починила и завернула. Только не сомни. Уж если что не так, пусть извинит.

Тетю я нашел взволнованной. Она ходила из угла в угол. Я даже не успел ее поцеловать, как она велела положить сверток на маленький столик, где стояла полная окурков пепельница. Вдруг она остановилась против меня, спросила о матери. Я только было открыл рот, как тетя бросилась к окну, и я, беспомощно глядя на нее, так и остался стоять посреди комнаты с открытым ртом. Мне хотелось что-то сделать, чем-нибудь помочь, но что и как, я не знал.

Потом тетя Дулсе вернулась к столику, переложила сверток, взяла сигарету, закурила и, тотчас же погасив ее, поглядела на меня так, словно я вырастал у нее на глазах. Тут я понял, что случилось что-то очень серьезное и мое присутствие нежелательно. Быстро чмокнул ее, повернулся и ушел, так ничего́ и не узнав.

Когда я уже спускался по лестнице, к особняку, беря крутой подъем, подкатывал автомобиль дяди. Желая остаться незамеченным, я спрятался за каменной урной и следил за происходящим. Автомобиль стоял у подъезда. Шофер открыл дверцу, вышел, обошел вокруг машины, чтобы помочь дяде Балтазару. Дядя Балтазар неподвижно сидел на заднем сиденье и неотрывно смотрел прямо перед собой. Тут я увидел сбегающую по ступеням и, конечно, не замечающую меня тетю.

Эту ночь мы с матерью провели без сна, ожидая отца, чтобы узнать наконец о происшедшем, и ожидали напрасно: он явился домой только утром, а тетя Дулсе увезла дядю за границу. Они не оставили нам ничего, даже краткой записки со словами прощания. И очень умно поступили, так вот просто дав нам понять, что мы оказались неблагодарными.

Спустя какое-то время мы узнали, что их особняк, его обстановка, машины и все прочее было продано по доверенности. И долго, очень долго никаких вестей ни от дяди, ни от тети мы не имели.

4

Стены, стены, стены

С отъездом дяди Компания перестала существовать для нашей семьи. Правда, отец продолжал там работать, но ни я, ни мать не верили, что это будет длиться долго. Вскоре объявившиеся новые ше-

фы уволили с фабрики всех тех, кто так или иначе был связан с дядей. Пощадили только отца. И пощадили, видно, потому, что увольнение посчитали полумерой для родственника бывшего хозяина и ждали только подходящего случая, чтобы расправиться с ним по всей строгости. Ясно было, что дни его пребывания в Компании сочтены, однако сам он так не считал.

Да в то время в общем-то особой разницы не было, что остаться на службе в Компании, что быть уволенным. Ведь жалованье было заморожено, инспектора и техники приходили на фабрику и уходили так же поспешно, как врачи к тяжело больному клиенту. Но из того немногого, что доходило до наших ушей, было ясно: отъезд дяди Балтазара очень сказался на репутации Компании, и новые шефы никак не могли наладить дело. Ходили слухи, что, дескать, они подумывают, не попросить ли дядю вернуться, но я решил, что эти слухи распространяли друзья, выдавая желаемое за действительность.

Особняк дяди Балтазара был куплен одной испанской семьей и перестраивался под отель. Мне было больно смотреть, как его стены красили в фиолетовый цвет, а на газоне — ну просто сердце разрывалось — вырастали мусорные свалки. Однако, проходя мимо в третий или четвертый раз, я подумал, что расстраиваться, собственно, не стоит: ведь это лишь здание, а есть кое-что и посерьезнее — крах Компании.

Однажды именно это я высказал дома и вдруг услышал резко противоположное мнение отца. Он даже как-то испуганно поглядел на меня и спросил:

— Крах Компании? С чего это ты взял?

— Все так говорят,— ответил я.

— Хм. Да что они знают?! Ну, пусть говорят. Вот удивятся, когда узнают-то истину.

— Значит, это не так?

Он улыбнулся и сказал:

— Послушай, Лу, мы скорее увидим осла летающим, чем Компанию прекратившей свою деятельность. Кончай повторять чужие глупости.

И все же я продолжал сомневаться и раздумывать: прав ли отец или заблуждается так же, как те, что ждут возвращения дяди Балтазара.

И вдруг стены, стены, стены. Они выросли за одну ночь, прямые, изогнутые, ломаные, возносящиеся вверх, устремляющиеся вниз, дробящие город в соответствии с определенным планом, воздвигающие преграды между людьми, закрывающие собой все, преграждающие доступ света и воздуха. До сих пор мы так и не знаем, откуда они взялись. Построили ли их здесь, на месте, или привезли готовыми из-за границы? Поначалу мы все ломали головы, не зная, как попасть на ту или другую улицу, и думали, что никогда не привыкнем, но сегодня с закрытыми глазами находим дорогу из одного конца города в другой, как будто этих стен и не существует.

Но как же эти стены, на которые мы натыкались каждый день и между которыми долгие часы плутали, как же тогда они осложнили нашу жизнь — жизнь города, не семьи нашей, нет. Ведь отец так и не был выброшен с фабрики, а, наоборот, продвинулся по службе: получил высокую должность фискала. Чувствуя себя на седьмом небе, он теперь ходил в форменном костюме голубого цвета, который мать обязана была содержать в полном порядке. Не дай бог, если на нем вдруг морщинка или какое пятно обнаруживалось — отец требовал

устранить. Он даже увеличительное стекло приобрел, чтобы рассматривать все возможные дефекты. Когда я вспоминаю мать в те годы, перед моими глазами возникает растрепанное, склонившееся над столом существо, которое вечно гладило, чинило, чистило, штопало.

Отец же очень скоро снискал уважение, и такое, какое не снилось даже дяде Балтазару в самые лучшие его дни, когда каждый встречавший его на улице чуть ли не в пояс ему кланялся. Нет, с отцом, конечно, все было иначе, не как с дядей: ничего похожего на искреннее и бескорыстное поклонение, а вроде бы вынужденное заискивание и страх — ведь отец, будучи фискалом, мог и добро сделать, и вред причинить: фискалам все дозволено, и они ни за что не несут ответа.

Хуже всего было то, что это самое «уважение» распространилось и на меня. Мои друзья теперь мне ни в чем не перечили, и все, что я говорил, тут же сразу принималось. Похоже, я стал над ними негласным шефом. Похоже... Ничего подобного! Те, с кем я действительно дружил, теперь избегали меня, точно я заболел проказой.

И причиной тому, по всей вероятности, была отцовская форма. Я ведь знал и других фискалов Компании. Они время от времени собирались у нас дома, чтобы согласовать свои действия и обменяться информацией. Так вот, никто из них такой формы не носил. Должно быть, отец был главным над ними, раз у него одного она и была? Однажды отец вернулся домой особенно довольный, и я рискнул спросить его, так ли это. Он засмеялся и ответил:

— Я? Глава над всеми остальными фискалами? Нет, Лу. Эту самую форму я сам же и придумал. Понимаешь, больше почтения.— Он повернулся на каблуках, показывая мне ее со всех сторон.— Хороша, верно? Видел бы ты, как всякий лебезит передо мной! Разве что в штаны не льет от страха. Как-нибудь пройдемся вместе, сам увидишь.

Теперь я только и думал, как бы избежать этого случая. И, возвращаясь из школы домой и завидев на вешалке голубой берет отца, я сразу же вытаскивал из портфеля тетрадь и книгу, делая вид, что занят уроками. Я даже всякие боли себе придумывал. То в ногах, то в голове. А поскольку я не умел притворяться, мать тут же догадывалась, но не выдавала меня, а, наоборот, стала всячески мне помогать. Теперь я и на улице не мог играть с ребятами спокойно: все время был начеку, все время одним глазом поглядывал, не появилась ли на горизонте голубая форма. И если, как говорил отец, его жизнь — жизнь фискала — несладкая, то уж моя-то — сына фискала — просто горькая была.

А вот достаток в доме с каждым днем был все ощутимее и ощутимее. Первой ласточкой достатка явился утюг — электрический утюг. Его купил сам отец — ведь мать должна была гладить форму без риска спалить ее тлеющими углями. Потом он купил холодильник. Потом новую мебель для гостиной — гарнитур в мексиканском стиле: стол, кресла и сервант. Все это за один год. И еще мне к рождеству был обещан велосипед, но только при условии, что я не буду вместе с ребятами писать на стенах ничего позорящего Компанию.

Достаток стал ощутим и в еде. Теперь кроме деликатесов, что покупал отец — раньше их видели разве что в доме дяди Балтазара,— мы ежедневно получали самые разные подарки от самых разных, даже незнакомых нам людей. То были коробки с бисквитами, длинные, бесконечно длинные свиные колбасы, дюжины сыров, ящики и ящики с консервами, молочные поросята, индейки, всевозможные сладости. И все это в таком количестве, что мать не знала, как и где хранить — ведь даже под кроватями уже пустого места не было.

Однажды, когда мать раздумывала, куда засунуть еще две огромных коробки с бисквитами, отец выпятил живот, вскинул голову и сказал:

— Места меньше, чем еды.

— Вот именно,— сказала мать.— Все кругом забито. Могли бы и повременить, не посылать.

Но отец, с удовольствием потянувшись, ответил:

— Вот так-то! Я побогаче твоего братца Балтазара стал.— Но, заметив неудовольствие матери, тут же добавил: — Как он там? Есть что-нибудь от него?

— Нет,— сухо бросила мать и вышла из комнаты.

Отец хитро подмигнул мне. Я сделал вид, что ничего не слышал, а он, насвистывая, вышел на улицу.

Остаток дня мать провела в большой грусти. Все время о чем-то думала, вздыхала, глядела вдаль. Я попытался отвлечь ее: стал рассказывать о школьных делах, о роли, которую должен играть, о велосипеде, который уже не за горами. Она, как могла, старалась быть внимательной, но это ей не удавалось: мысли ее были далеко.

Ко всенощной она попросила проводить ее. В церкви мать упала на колени и, неотрывно глядя на образ пресвятой девы, принялась исступленно молиться. Видя ее простершейся на каменных плитах и горько плачущей, я поклялся, что бы ни случилось, никогда больше не обижать ее, а вспомнив все свои прегрешения, тоже бухнулся на колени и припал к ней головой.

Она испуганно взглянула на меня, как видно поняв мои мысли, и, улыбнувшись, обняла. Так мы с ней и простояли какое-то время.

Звук упавших четок вернул нас к действительности. Мать вытерла слезы и неожиданно решительно сказала:

— Ну, будет, будет. Как же мне встать-то, ведь ты висишь на мне!

Не знаю, чем мой отец, будучи фискалом, занимался, только уходил он рано, взяв свою записную книжку, а возвращался поздно и подолгу, не ложась спать, просматривал сделанные им записи, разнося их в картотеку, которую прятал в ящике стола. Раз в неделю эту самую картотеку, плотно упакованную и заклеенную со всех сторон, он относил в Компанию.

Я все время обдумывал, как бы это заглянуть в его записную книжку или картотеку, чтобы узнать, что он там пишет, но отец был начеку, словно разгадал мои мысли, и нигде никогда не оставлял ни то, ни другое. Как-то раз, когда мать спустилась в сад и задержалась там, я попытался осуществить возникший у меня план: взял нож, просунул его в щель между ящиком и крышкой стола — так отец в моем присутствии открыл ящик в доме Балтазара — и был уже у цели, когда неожиданно вошла мать.

— Нехорошо, Лу. Оставь нож! Не хочу тебя видеть в роли взломщика.

Я, конечно, ничего не мог придумать в свое оправдание. Пришлось сказать правду.

— Я и сама все поняла. Только больше не делай этого. То, что там лежит, ни тебя, ни меня не касается.

Все еще в замешательстве, я спросил, не хочется ли ей узнать, что там в этой картотеке?

— Нет, не хочется. Иногда лучше не знать, чем знать.

Однако высказанное ею нежелание только утвердило меня в мысли, что ей что-то известно, и мое любопытство возросло.

Как раз в то время нас стали осаждать толпы плачущих женщин с детьми. Они приходили к нашему дому и часами стояли перед дверьми, поджидая отца. Грязные, худущие ребятишки не переставая плакали, а получив шлепок, принимались плакать еще громче. Когда же появлялся отец, женщины окружали его плотным кольцом и слезно молили о чем-то. О чем? Разобрать было невозможно из-за страшного шума: женщины и дети плакали, отец расталкивал их и отвешивал пощечины, не раз случайно попадая по ребенку, кричал, чтобы они не дотрагивались до его формы и немедленно убирались.

Я спросил отца, что хотят эти женщины и почему так плачут. Он, пожав плечами, ответил:

— Хотят невозможного. Зачем удерживали своих мужей, уговаривали не выполнять приказа? Вот и расплачиваются.

Видя, что от отца им ничего не добиться, они стали просить помощи у матери, показывая ей своих больных детей с распухшими ногами и искривленными руками, говорили о мужьях, с которыми не знаю где, но плохо обращались, уверяли, что мой отец может им помочь. Взволнованная и удрученная, мать, понимая, что бессильна, плакала и шла в дом за продуктами в надежде хоть чем-то их поддержать. Одни принимали принесенное, другие зло отказывались, говоря, что не за подачками приходили.

Это длилось до тех пор, пока не воздвигли — очевидно, по просьбе отца — перед нашим домом стену. И если, с одной стороны, появление этой стены принесло нам покой — она так изощренно, делая тысячи поворотов, прикрывала вход в дом, что отыскать его можно было только с помощью плана, то с другой — очень осложняла нашу собственную жизнь. Все ее повороты, которые запутывали непрошеных гостей, запутывали и нас самих. И для того, чтобы выйти или войти в дом, требовалось не десять минут, как раньше, а час с лишним. Поначалу даже отец был вынужден пользоваться планом, а мать, так та вообще перестала выходить. Потеряв возможность посещать церковь, она молилась, встав на колени у постели.

Конечно, при таком количестве стен, изматывающих тебя физически и угнетающих морально, мы уже совсем не знали, что́ происходит в городе и что́ думает и говорит народ. Раньше я возвращался из школы полный новостей, теперь же уходил и приходил, никого и ничего не видя, а если и видел кого-то, то те никого и ничего не видели или не желали говорить. Ведь куда ни кинешь взгляд — повсюду были только стены да стены. Разве что, подняв голову к небу, можно было видеть тучи и стервятников-грифов.

5

Горизонтальные кресты

Да, грифы. Не знаю, было ли так всегда, а может, именно теперь, когда мы все чаще и чаще поднимали глаза вверх, к небу, чтобы отдохнуть от мозолящих взгляд бесконечных стен, мы обнаружили, что количество кружащих над городом грифов все увеличивается и увеличивается. А между тем гриф совсем не та птица, что приносит счастье, а как раз наоборот, согласно известным нам легендам. Это-то и заставило нас призадуматься. Что бы это могло значить? Почему они облюбовали именно наш город? Дурное предзнаменование. Гриф на страже — горе в семье, гриф на крыше — горе вдвойне, говорили с соответствующим выражением те, кто верил предсказаниям.

Правда, на крышах грифов еще не было, а были только их тени. Эти птицы появлялись сразу же, как вставало солнце, к полудню в их власти оказывалось все небо, и от их черных, раскинутых над нашими головами крыльев, похожих на черные кресты, на улицы, дома, крыши падали густые, плотные тени.

В надежде разгадать их заговор, а скорее чтобы чем-нибудь занять себя, мы внимательно следили за ними. Кто был с достатком, покупал в магазине бинокли или даже игрушечные подзорные трубы, если ничего другого не было. Ну, а все остальные обходились либо собственными глазами, либо прибегали к помощи свернутой в трубочку бумаги. Но увлечены были все. У многих даже разболелись шеи от вечно задранной вверх головы.

У некоторых моих друзей как раз были бинокли, и они с большой охотой, если я их, конечно, просил, давали мне посмотреть. Но чтобы не одалживаться и не быть зависимым, я решил попросить отца купить мне один из этих приборов — мне все равно какой, хоть самый дешевый. Отец ведь теперь только и говорил, что хорошо зарабатывает и даже в долг дает под проценты. И вот после долгих колебаний я, наконец, отважился заговорить с ним на эту тему.

Отец стоял перед зеркалом в пижамных штанах, с намыленным подбородком и бритвой в руке.

— Зачем это тебе бинокль? — спросил он, не глядя на меня.

— Чтобы смотреть на грифов,— сказал я, несколько обеспокоенный.

Он ответил не сразу. Внимательно осмотрел лезвие, осторожно провел по нему ногтем. Я уже подумал, что он и не ответит, и повернулся, чтобы выйти вон, когда услышал:

— Чтобы смотреть на грифов? Тебе только этого недостает?

— Очень интересно, отец. Да и все смотрят!

— Но это ненадолго,— сказал он, повернув левую щеку к зеркалу.

Истолковав его слова как опасение, что бинокль быстро сломается, я поспешил объяснить:

— Нет, почему же? Он служит долго, если его не бросать на пол.

— Я не о том. Очень скоро никто не будет слоняться с биноклями. Этот вопрос у нас уже на очереди.— Сказав, он повернулся ко мне, держа бритву в руке, и предупредил: — Но только между нами. Никому ни слова. Понял? Ни-ко-му.

А, дурак я, дурак! Ну какой дурак! Что, получил бинокль? Сам не получил и, выходит, лишил всех остальных. Теперь дело сделано. Ничем помочь нельзя. Скоро все бинокли и все подзорные трубы отберут, и все!

И, зная, что это произойдет, и очень скоро, я никому не могу ничем помочь. Я ведь вынужден молчать. Как же потом я буду смотреть в глаза своим товарищам?

Не представляя, что буду делать, когда бинокли начнут отбирать, я рисовал себе страшную картину казни, что меня ожидает: с двух сторон между высоченными стенами на меня наступают бывшие мои друзья, чтобы схватить и заклеймить раскаленным железом.

Хотя меня преследовал этот кошмар, я не признавался матери — у нее и так много хлопот: отец, дядя Балтазар, от которого ни слуху ни духу, женщины с детьми. Они, обнаружив проход к дому, опять осаждали нас, докучая жалобами и плачем. И я посчитал, что если уж я не в силах облегчить материнские страдания, то, во всяком случае, не буду взваливать на нее свои собственные. В те трудные дни я твердо усвоил, что человек — любой человек, кем бы он ни был,— ответствен за то, что творит в этой жизни, даже если старается избежать или уклониться от ответственности. И выход искать мне нужно самому, а не найду — бороться в одиночку.

Начать действовать меня вынудил отец, вернее, его поведение. Как-то утром мы трое сидели за столом. Мы с отцом пили кофе, мать перебирала к обеду фасоль и, разговаривая со мной, попросила помочь ей в огороде. Встав из-за стола, отец пошел одеваться. Я бросил в чашку кусок хлеба и ждал, когда он намокнет, чтобы отправить в рот. Тут послышался громовой голос отца.

— Смотри-ка сюда,— он показывал форму.— Что это, по-твоему?

— А что такое, Орасио? — спросила мать.

— Что такое, что такое? Если ты не видишь, то ослепла! Смотри сюда, ну?

— Я гладила форму вчера и очень аккуратно повесила ее, чтобы не помять.

— Носом, должно быть, гладила. Смотри, смотри сюда. Видишь, как морщит? Могу я такое надеть?

— Не морщит, Орасио. Это от утюга. Ткань со временем вытягивается.

— Вытягивается со временем? Отглажено плохо, вот что!

— Сними, я попробую отутюжить.

— Конечно, сниму. Но почему не делать сразу как надо!

— Я старалась.

— Нет, не старалась. Да-а, надо искать мне гладильщицу, так как моя жена, как видно, не научилась гладить.

— Сними, я еще раз поглажу,— сказала мать покорно.

— А вот не сниму. Знаешь что? Пусть все видят, какая у меня прекрасная жена! Но знай. Чтоб это в последний раз...

Громко стуча каблуками, отец удалился, а мать продолжала стоять, роняя горькие слезы, беспомощно глядя на рассыпанную на столе фасоль. Скрыть, что все понимаю, я не мог. Ведь надо быть бесчувственным чурбаном, чтобы не замечать, как ей больно и тяжко. Я сжал ее руку, хотел сказать что-то, но только одно слово «мама» и сказал.

— Не знаю, что и делать,— вымолвила она наконец.— Просто не знаю. Столько капризов с этой формой.

Вот в эту минуту я и принял решение. Встал, поцеловал мать и, не говоря ни слова, вышел из дома.

На улице, горя решимостью, я стал предупреждать о биноклях и подзорных трубах каждого, будь то ребенок или взрослый. Но как трудно что-то делать бескорыстно! Никто не верил. Все считали, что это моя выдумка. Действительно, запретить иметь бинокли! Что это — оружие, что ли? Ведь ни очки, ни бинокли не ранят и не убивают — так отвечали почти все, едва кинув взгляд в мою сторону, и тут же опять принимались рассматривать грифов. Правда, кое-кто и благодарил, и обещал быть осторожным, но немедля наводил бинокль на небо.

В школе мне тоже никто не поверил. Нашлись даже такие, которые сочли, что это я из зависти выдумал: ведь у меня-то самого нет бинокля, вот и несу всякую чушь. Я готов был расплакаться, только бы убедить их, но потом, поразмыслив, счел, что это слишком. Пусть делают что хотят. Ведь как обидно: я рискую заработать трепку от отца, а меня еще подозревают в интригах. И только один парнишка, сын пастора-протестанта, который похвалялся, что кроме бинокля у него дома есть подзорная труба, сказал:

— Ребята, подождите. А если это правда?

И вот когда они подступили ко мне с расспросами, откуда и как я все это узнал, я повернулся к ним спиной и ничего не ответил. Все, что мог, я сделал, и совесть моя была спокойна.

Нет, не совсем спокойна! Я не знал, как поступит Компания с моим отцом, если дознается, кто всех предупредил, а она способна

на дознание по любому поводу и рано или поздно все раскроет. Я бы, конечно, желал только одного, чтобы отца в наказание уволили. Ведь если его уволят, он не будет носить форму, а следовательно, не будет заставлять страдать мать. А что, если его не уволят, а накажут как-нибудь иначе? Что, если наказание будет строже, чем я думаю? Когда мне приходили такие мысли, я старался их гнать всеми силами.

Бомба взорвалась на следующий же день. Я еще нежился в постели, ожидая, что мать позовет пить кофе, когда услышал тяжелые шаги и громкий голос отца. Ничего другого, кроме биноклей, мне в голову не пришло, и я решил защищаться. Я, конечно, понимал, что виноват, но так вот просто сдаться, сдаться сразу мне не хотелось. Самому признаться хорошо, но, может, и ни к чему. Ведь и другие служащие Компании могли знать планы своего начальства. Так почему именно мой отец раскрыл их? Зачем же с самого начала-то признаваться? Пока возможно, лучше отрицать. Но отрицать только то, что спрашивают. Не лезть наперед всех в пекло. Ведь, может, совсем не о том речь. Но если о биноклях, то я никому ничего не говорил. Не говорил, потому что забыл. А забыл, потому что не поверил. Чему тут верить? Ведь это же глупо. Бинокли — не оружие, они не ранят. Но все же надо быть осторожным, не запутаться в ответах и не торопиться, поразмыслить, прежде чем отвечать.

В комнату вошла встревоженная мать.

— Отец хочет поговорить с тобой. Что ты наделал, Лу?

— Ничего не наделал. А что такое?

— Он говорит о каких-то надписях на стенах.

— Я ничего не писал. (Не наврать бы о том, о чем не спрашивают.)

— Иди к нему, пока он сам не пришел. Надень туфли.

Как ни в чем не бывало я вошел в столовую. Поздоровался. Отец не ответил. Зло посмотрел на меня и принялся отчитывать:

— Длинный язык, слишком, вот что. Подрезать бы надо. Нечего сказать, хорош!

— Я ничего не сделал.

— Ничего не сделал?! Так ведь это я сказал, что будут отбирать бинокли, а ты?.. Ты рассвистел всему свету. Не знаю, где только была моя голова, когда я это говорил. Дожили! Даже собственному сыну ничего доверять нельзя.

Он был явно встревожен. И его тревога заставила меня задуматься; может, признаться и разделить с ним вину? Что говорить, в общем-то это подло с моей стороны, но он заслужил такое отношение к себе. Обдумывая каждое слово, я сказал:

— У меня случайно вырвалось. И совсем не всему свету, а только своим товарищам, которым очень завидовал. Мне так было завидно, что все само выскочило. Но они не поверили, решили, что я со злости.

— Я же говорила, что он не мог нарочно сказать,— пролепетала мать, стараясь защитить меня.

Мне стало стыдно, что мать так верит мне, но, вспомнив все ее слезы, пролитые над отцовской формой, я взял себя в руки. Если отец потеряет работу, то всем нам только лучше будет, и отцу тоже — ведь все ненавидят фискалов. Как он этого не понимает?

Битый час отец шагал из угла в угол и, не закрывая рта, ругал меня. Ругал за то, что не умею хранить секреты. Потом себя — за то, что доверился, и кому? Сыну! Потом стал говорить о том, что пойдет расследование.

А немного спустя уже другим тоном заговорил о Компании, ее новых внутренних порядках, несправедливостях, интригах, покрови-

тельстве плохому и препятствиях хорошему, а спустя еще немного — о дяде Балтазаре: как он был хорош и как ужасны новые шефы! В этот момент мать, пока отец стоял спиной, подняла к потолку глаза и перекрестилась. И правда, что уж оставалось делать, как не молиться, раз отец добрым словом помянул Балтазара.

Мать подала кофе — и он немного успокоился. А когда стали появляться другие фискалы, все как один очень озабоченные, отец, заняв оборонительную позицию, делал вид, что не придает большого значения случившемуся.

— Даже сомневаться нечего, что они начнут расследование,— сказал один из них, кусая ногти и сплевывая в сторону.

— Конечно, нечего,— подтвердил отец (он уже поборол свой страх и теперь развлекался страхом своих сослуживцев).

— А что, если пустят в ход детектор лжи? — спросил другой.

— В крайнем случае и это возможно. Но не думаю, что это потребуется,— опять спокойно сказал отец.

Я уже опаздывал в школу и не имел возможности дослушать разговор до конца, но по волнению всех их я понял, что сболтнул о биноклях не один отец.

По дороге в школу я наслаждался надписями, сделанными на стенах. Они предупреждали о грозящей опасности тем, кто имеет бинокли и подзорные трубы. И не только наслаждался, но и испытывал гордость, словно сам собственноручно это написал. Теперь все, даже самые неверящие, предупреждены.

Однако так вот, сразу, ничего и не произошло. Единственно, к чему прибегла Компания,— она заставила жителей города смыть надписи со стен. Этого-то как раз все мы ждали. На мойку вышли семьями. Родители стояли в сторонке, отдавая команды и покрикивая, а дети весело, шумно, точно на празднике, исполняли все, что им приказывали. Цинковые белила легко отмывались: достаточно одному было обливать стену водой, а другому тереть щеткой или веником, и большая часть работы была сделана. Ну а оставшееся домывали идущие следом. Нас было так много, что не хватало инвентаря, и мы выхватывали друг у друга щетки, ведра, как только подходила очередь. Стены-то мы вымыли, но что стало с улицей... Жалкое зрелище.

Я часто слышал, как мужчины в разговоре между собой говорили, что женщин трудно понять. Но и женщины — те, что раньше приходили к матери поболтать, тоже говорили, только наоборот, что мужчин понять трудно, как вообще трудно понять любого человека, будь то мужчина или женщина. Подчас думаешь, что понял, но не тут-то было, ошибся. Вот хоть, к примеру, моя собственная мать: пеклась теперь о форме больше, чем отец. Она не выпускала утюга из рук, гладила, расправляла, потом показывала свою работу отцу. А тот бросал беглый взгляд, а иногда и вовсе не бросал, отговорившись, что все в порядке.

По всему вроде бы затея с надписями на стенах обошлась. А все-таки что-то не так было, что-то явно случилось. Правда, отец, как правило, и раньше в разговорах с нами старался не касаться Компании, но теперь он как в рот воды набрал. Похоже, перепуган был и озабочен и скрыть этого не мог. Дома он только и делал, что курил одну сигарету за другой, время от времени засовывая в рот таблетку бикарбоната, чтобы унять жжение языка. Записная книжка, которая

велась им с таким тщанием, была заброшена, как и картотека. Отец был грустный и расстроенный.

Наблюдая за ним, я подумал, что он получил выговор... А может, его понизили в должности? Я даже раскаивался и желал только одного: чтобы кончились его мучения.

А вот бинокли так и не отобрали. Они стали не нужны. Зачем? Грифы теперь летали так низко и садились ну чуть ли не рядом с тобой, и бинокли только мешали тем, кто не боялся рассматривать эту огромную, парящую над собой черную массу с кровавым пятном на клюве. А вскоре и вовсе грифы почувствовали себя хозяевами положения: усаживались на стены и сами рассматривали нас, заглядывая в окна наших домов. Бесцеремонность их дошла до того, что они даже не поднимались в воздух. День и ночь они сидели на стенах, то разглядывали нас, то искали блох, то дремали и разве что, когда их гнали, в тревоге взлетали, но тут же, описав небольшой круг, снова садились, всем своим видом показывая, что летать не желают.

Да, в общем-то мы бы и не обращали на них внимания, если бы не все возрастающее их количество и не пугающий всех нас зловещий цвет. Пользуясь нашим безразличием, они даже залезали в кухни, чтобы чем-нибудь поживиться, схватить какой-нибудь кусок. И это понятно, ведь на стенах-то ничего съестного не было. Поначалу мы их гнали щетками, но потом примирились с ними и даже стали оставлять им кости или мясо в легко доступных местах, чтобы можно было проследить за их поведением и определить их разумность.

Чувствуя расположение, грифы даже подозрительность утратили. Они теперь сидели на окнах и в дверях наших домов. А вскоре и в дома вошли и кружили в основном около хозяек, понимая, что еда в их руках. А насытившись, спокойно устраивались в уголке, втягивали голову в плечи и, как куры, дремали. Это было нечто новенькое в нашей жизни. Когда же это раньше можно было видеть грифов спокойно спящими в углах комнат, на мебели и даже на пороге, у входа в дом? Они уже даже не боялись, что их раздавят.

А дети... дети так просто подружились с ними. Почти каждый мальчик (или девочка) имел своего собственного грифа, ну как собаку, и тоже на поводке, а иногда и без поводка, сопровождающего ребят на улице. Разве только старые люди продолжали испытывать предубеждение к этой птице — предвестнику несчастья и смерти, и когда сталкивались с черным пятном на дороге, то крестились, а завидя издали, обходили стороной. Но, как часто бывает, и они свыклись с грифами и даже очень переживали, когда Компания объявила войну этим тварям.

Да-а! Пока мы сживались с грифами, Компания обрушила на город новые беды. Обнародовала такие глупые запреты — дальше ехать некуда. Запреты ради запретов (не плевать вверх, не наполнять водой плетеные корзины, не закрываться сеткой от солнца. Будто весь мир только этой чепухой и занимается!), а кое-какие совсем возмутительные. Ну, например: не прыгать через стены, если хочешь сократить путь. Прыгали почти все, кто не страдал ревматизмом, но чаще других и прежде всего, конечно, дети. Не надеясь, что запреты и суровые наказания достигнут желаемой цели, Компания приказала покрыть стены битым стеклом. Я счел такую меру лишней и заговорил об этом с матерью. Отец же, услышав наш разговор, пояснил мне:

— Видишь ли, раньше, когда все шло хорошо, достаточно было одного декрета, а теперь Компания не считает возможным ни в чем

допустить просчета. Поэтому тот, кто ослушается, сам себя же и накажет, ну, а если не накажет, если сумеет не порезаться, подстелив под себя что-нибудь, тогда...— Тут отец сделал жест, каким сворачивают голову индюку: — Цок! И получит по заслугам.

Компания знала, что делала. Ведь, несмотря на опасность, кое-кто еще продолжал прыгать через стены, но тут же, не успев даже приземлиться, попадал в лапы блюстителей закона, ну и получал, как говорится, по заслугам. У одного мальчика-заики — он сидел в классе недалеко от меня — все пальцы правой руки были сшиты друг с другом. Это ему сделали в больнице Компании. Все время, как полоумный, он смотрел на свою руку. (Если кто не верит, что это испытание трудное, пусть попробует хоть полчасика пожить со связанными или склеенными пальцами!) А у других, кто возвращался из той же больницы, к ногам были пришиты пластины, чтобы ноги не сгибались, или надеты на руки мешки с тяжестью, или еще что похуже. Хорошо, что я не пытался экспериментировать. Сразу поверил, что не миную наказания.

А еще Компания запретила смех. Громкий смех в общественных местах. Нет, никто так, беспричинно, не смеялся,— конечно же, повод был. Ну, например: как можно было не смеяться, когда на улице ты видел фискала, преследующего грифа (фискалам был дан приказ вылавливать их). Гриф, спасаясь от преследователя, убыстрял шаг, чуть взлетая, а когда казалось, вот-вот будет настигнут, быстро взмывал вверх и усаживался на стену, с любопытством поглядывая на распластавшегося на земле незадачливого блюстителя закона, не понявшего простую шутку. Вот все и смеялись, и даже не над фискалом, а над самой сценой. Разве не смешно?

Однако фискал — представитель Компании на местах и осмеян быть не может. А если осмеян, то насмешник должен понести наказание. Вот поэтому-то теперь для того, кто, забываясь, принимался смеяться, видя пригнувшегося к земле, занявшего выжидательную позицию фискала и замершего в надежде на продолжение игры поддразнивающего его грифа, смех мог стать последним смехом в его жизни. А чтобы обезопасить себя от этого, все мы носили в карманах тряпичный или ватный кляп и в соответствующий момент запихивали его себе в рот. Но случалось, что мы не успевали воспользоваться этим средством, тогда ничего другого не оставалось, как отвернуться или закрыть глаза.

Да, Компания объявила грифам войну. Их появление на улице категорически запрещалось, а тот, кто желал держать эту птицу дома, должен был зарегистрировать ее и нацепить ей на лапу выданное по регистрационному акту металлическое кольцо. Всякого же неокольцованного, беспризорного грифа ловили, казнили и кремировали с последующим отнесением всех расходов за счет виновных, проживающих на улице, где он был отловлен.

Вот это была сложная проблема для всех нас. Что говорить, кому хотелось — хотя эта птица и нашла приют в наших домах, став членом семей, и жила в полном с нами согласии и дружбе — стать официально зафиксированным хозяином грифа? А к тому же еще идиотская такса за каждую голову! Неуплата ее означала смертный приговор грифу. А между тем в каждом доме был не один, не два, а несколько грифов. Кроме общих, принадлежащих всем членам семьи, были и личные, собственные — у детей. И всяк со своими особенными данными: неповторимостью, исключительностью. Скольких же регистрировать? Какому отдать предпочтение? И почему тому, а не этому? Как решить такой вопрос? Ведь, отдавая предпочтение одному, других тем самым ты приговариваешь к смерти.

Не решаясь выносить смертные приговоры, большинство семей закрыло глаза на свалившиеся на них новые расходы и зарегистрировало всех своих грифов. Что же касается уличных, мы вынуждены были организовать постоянную службу бдительности: не разрешать им садиться на стены, крыши домов, окна, чтобы потом не оплачивать их поимку и не присутствовать на их кремации. Организованный нами дозор ежечасно ходил по улицам, оглашая их барабанным боем: кто-то сказал, что грифы не выносят именно барабанного боя. Это было очень утомительно. А что делать? Что? Если только так мы могли спасти грифов от смерти, а себя от лишних расходов?

Но наше добросердечие прежде всего отразилось на самих грифах. Не видя своих собратьев, летающих за окнами и завидующих им, устроившимся с таким комфортом, одомашненные грифы загрустили. С поникшей головой и явным душевным разладом, что, конечно, сказывалось на нас, они проводили дни, забившись в самые темные углы. Вызвать их на игру возможным не представлялось. Утратив всякий интерес, теперь они не бегали за нами и не убегали от нас, что, бывало, всех и каждого так развлекало. Даже у новорожденных птенцов ощущалось отвращение к тому миру, в который они являлись. Какой толк веселить их? Самое большее, что можно было у них вызвать,— это рвоту. После чего, обмякшие и уставшие, они ни на что не были способны.

Оставалось лишь одно — отпустить грифов на волю; многие из них уже и пищу не принимали. Тогда мы, взяв каждый своего, отправились за город. Взобрались на самую высокую точку, сняли с их лап злополучные кольца и, ласково попрощавшись, подбросили в воздух. Некоторые тут же, в знак или бытующего конформизма, или неблагодарности, заработали крыльями, а некоторые, в силу возникшей к нам привязанности, а возможно, забыв технику своего дела, отказывались принадлежать к отряду пернатых, однако наша настойчивость либо возбуждение, охватившее собратьев по перьям, подняли и их в воздух. Кольца мы оставили на память.

Говоря откровенно, мы от грифов устали. Ведь по сути-то своей гриф никогда не был домашней птицей. Он не поет, у него и внешность неприглядна. На нем много вшей, и воняет он... и, наконец, он же все-таки вестник несчастья!.. Да и в домах этих птиц мы приютили только потому, что Компания их преследовала. Когда же все это нам наскучило, мы с ними распрощались.

Но и этот шаг, внешне, казалось бы, добрый, не остался безнаказанным. Как только мы вернулись домой с коллекцией колец в карманах, связали их и засунули в дальний ящик (хорошо понимая, что отныне будем вспоминать грифов, только разыскивая какую-нибудь вещь и случайно натыкаясь на эти кольца), так сейчас же почувствовали их незримое присутствие. В доме стояла сильнейшая вонь от помета, который они оставляли везде и всюду. А блохи и перья! Черные перья появлялись в самых неожиданных местах, точно их подсовывала чья-то невидимая рука, чтобы мы постоянно помнили о нашей подлости.

Грифы все еще парили над городом. Парили очень высоко, демонстрируя нам свое превосходство, свою независимость и то, что дружба между нами была случайной и ложной.

Опустевшие от грифов стены опять стали выполнять одну-единственную функцию — разделять, препятствовать, затруднять общение людей — и казались нам еще выше и еще ненавистнее.

Правда, мы не ожидали, что так остро будем чувствовать отсутствие грифов.

Пауза для фокусника

Жизнь наша вошла в прежнюю, окаменевшую колею — смотреть на стены, обходить стены, проклинать стены и ждать, ждать какого-то случая, который избавит нас от всего этого. Дни потянулись друг на друга похожие, ничем не примечательные, казавшиеся одним-единственным бесконечным днем. Да, мы явно зашли в тупик, где понятия о времени просто не существовало. И наша жизнь была длинной-предлинной дорогой без обочин и путевых столбов; и находиться на определенном отрезке пути для нас было все равно что находиться на любом другом; «сегодня» у нас путалось со «вчера», а «завтра» и вовсе не существовало, не существовало даже в мечтах. И все же чего-то мы ждали, но чего? И должно ли это быть или было — не имели ни малейшего представления. Однако одну новость можно было отметить: в последнее время мы стали чувствовать сильный запах травы, зелени. Все зеленело вокруг, и мы тоже зеленели друг у друга на глазах. Зеленели наши руки, ноги, лица — и установить это не составляло большого труда, стоило взглянуть в зеркало. Мать говорила, что мы, того и гляди, станем подножным кормом и как-нибудь будем съедены быками и лошадьми.

И вдруг объявился фокусник, маг по имени Великий Узк. Вначале нам стали известны его имя и его слава, о которой кричали афиши. Именно с них маг смотрел на нас угольками своих глаз, горевших на темном фоне лица. Те, кто уже видел его фокусы в других городах, останавливались у афиш и рассыпались в похвалах его искусству.

С их слов мы знали, что Великий Узк прибыл с Востока (хорошее начало; настоящий маг должен приехать издалека, именно оттуда), его фокусы — подлинное искусство (он делал все, что его просили зрители: превращал камень в птицу, песок в воду, навоз в золото и обратно, согласно пожеланиям), и кроме тех, что показывал со сцены, имел кое-какие в запасе, которые можно было смотреть вблизи — ну хотя бы фокус с биллиардными шарами. Невероятно, мурашки бегут по коже!

Разговоров вокруг мага было много. Один говорил, что маг летает, как птица. Другой — что из пламени свечи он делает серьги сеньорам. Третий—что он бросает в воздух лягушку, а вместо лягушки летит колибри. Я не очень верил, но ведь и не верить трудно, когда говорят такие люди, как падре из церкви. Оставалось ждать и надеяться, что сам увижу, и скоро — ведь анонсы уже расклеены.

Те, кто бывали в разъездах, обязательно привозили известия о маге. Он — в Агуасава. Он — в Гуараваи. Вернулся в Помпейнья. Он в Манараирема — болен. Маг болен? Плохой признак.

Между тем анонсы в городе снимались. Снимались, срывались, скручивались, и от мага разве что остался где-то стреляющий глаз, где-то поблескивающий нос, какая-то буква или неполное слово, а вообще-то одно разочарование. Поговаривали, что он не приедет, так как Компания против всяких фокусов.

Поскольку возможность увидеть магию Великого Узка ускользала, мы окружали тех счастливчиков, которым довелось побывать на его представлениях в других городах, и слушали их во многом, конечно, преувеличенные рассказы. Слушали и просили новых. Тот, кто располагал средствами, ехал посмотреть на мага и рассказывал по возвращении всем желающим свои впечатления. Ну, а те, кому так и не удавалось его увидеть (как правило, они ехали по делам и в дру-

гом направлении), никак в том не признавались. Выдумывали что в голову придет, лишь бы не уронить свое достоинство.

Что говорить, мы негодовали на Компанию. И ночью я с несколькими моими друзьями, взяв с собой сок пальмы тукум, вышли на улицу и яростно, пока двое стояли начеку, начертали соком на стенах: «ДОЛОЙ CIA![1]». К счастью, наша выходка ничего за собой не повлекла. А ведь это было явное безрассудство с нашей стороны: тукум-то — красная, даже с рук несмываемая краска!

Я не переставал думать о Великом Узке и его фокусах, и чем больше думал, тем больше злился на Компанию. Какое она имеет право решать, в конце концов, что должны и что не должны видеть люди? Я даже мать не послушал, хотя она просила меня не заикаться в доме о Компании, и зло спросил отца:

— Почему это Компания запретила фокуснику приехать к нам?

Отец изобразил удивление и сказал:

— Мне не известно, что ему запретили. Если он не приезжает, значит, не хочет. Компания такими пустяками не занимается. И где это сеньор подобное услышал?

Отцовское обращение «сеньор» говорило об опасности, и мать поспешила мне на помощь:

— Известно, Орасио, известно. Всем известно, и все об этом говорят. Говорят, что фокусник не приезжает, потому что Компания не желает этого.

— А-а! Опять за свое,— сказал отец.— У вас во всем, что происходит и что не происходит, виновата Компания. Сопляк какой-нибудь сломает руку, сигая через стену,— Компания виновата. Дождь идет — Компания виновата. Не идет — опять виновата Компания. Остается только во всех смертях и рождениях тоже Компанию винить.

Мать явно что-то хотела сказать, но промолчала. Заметив это, отец стал настаивать.

— Нет, Орасио, я ничего не хотела сказать.

— Ну, говори, говори. Я ведь фискал только на улице, не дома ведь. В чем же дело? Говори. Ты же считаешь, что Компания — виновница и в смерти и рождении каждого. Так ведь?

— Да, в некоторых смертях виновата, да,— сказала мать.

Отец стал багровым, губы затряслись, дыхание перехватило. Казалось, обвиняли его, казалось, хозяином Компании был он.

— Нет, вы послушайте, что она несет! — воскликнул отец.— Компания трудится для всеобщего блага, а тут такие речи! И кто бы говорил! А? Жена фискала. Да ты должна благодарить Компанию за то, что ты живешь. А ты плюешь в тарелку, из которой ешь. А все ведь потому, что братца твоего погнали. И верно сделали! Чтоб ты знала:

Вместо ответа — на этот раз без слез на глазах, хотя обычно она плакала,— мать поднялась и, выходя из комнаты, сказала:

— Нет, с тобой разговаривать невозможно.

— Конечно,— сказал отец, сбитый с толку ее спокойствием.— Правда-то глаза колет.

А во всем виноват был я — не послушался материнского совета. Что мне дороже — Великий Узк с его фокусами или спокойствие матери? Ведь я хорошо знал, что ее спокойствие — деланное и, оставшись одна, она будет страдать. Я опустил глаза, чтобы не видеть отцовской победы (победы в отцовском понимании), и, улучив удобный момент, двинулся к двери.

---

[1] CIA — принятое в португальском языке сокращение слова «Companhia» — «Компания». Вместе с тем эта аббревиатура означает ЦРУ.

— Ты не должен держать материнскую сторону. Она злится на Компанию из-за своего брата. Компания никому не хочет зла, а те, кто старается представить дело именно так, будут наказаны — арестованы. Вот так!

Я молчал, чтобы не злить его и не предавать мать.

— Да, я совсем забыл,— сказал отец,— в будущем году Компания должна набирать учеников. Так вот, я приложу все усилия, чтоб тебя внесли в списки. Но радоваться рано, так как желающих пруд пруди.

— Хорошо,— сказал я, готовый всю ночь напролет молиться за победу моих конкурентов. Ведь большего несчастья, чем состоять служащим Компании, я себе не представлял. А сколько горя это принесет матери!

Несколько дней я пребывал в страшном унынии, ни в чем не находя успокоения. Вот тут-то и выручил меня Великий Узк. На улицах опять появились анонсы. Он приезжал на следующей неделе. Отец поглядывал на меня, явно вопрошая: «Ну как? Что я говорил?» Но те, кому были известны закулисные махинации Компании, рассказывали, что только после компромисса, на который пошел Великий Узк, обещая показывать исключительно угодные Компании фокусы, его приезд был разрешен. Я, конечно, ничего не говорил отцу — зачем? У него опять был медовый месяц с Компанией, а мне нужно было получить у него разрешение на поход в театр.

И вот наконец маг приехал. Приехал, вызвав в городе переполох. А когда стало известно, что он остановился в «Гранд-отеле Сирия и Ливан», мы с друзьями наладили дежурство у отеля в надежде здесь, у дверей, увидеть Великого Узка. Конечно, мы шумели, как шумят ребята, когда их больше двух, и очень скоро какой-то молодой человек, видно не вынесший нашего шума, вышел и сказал, что если мы ждем мага, то напрасно. Он давно ушел в театр и вернется только к ужину.

Мы верили и не верили — ведь это может быть своего рода хитрость, чтобы прогнать нас, а может... Мы поспешили к театру.

У дверей театра мы чуть не столкнулись с маленьким толстым человечком, беседующим с директором, а в фойе увидели огромные чемоданы и баулы.

Я кинул взгляд на своих друзей и увидел на их лицах разочарование. Нет, это не мог быть тот самый известный маг! Нет, ни лица, ни фигуры, ну ничего от Великого Узка. Может, это его помощник? Ассистент или секретарь? А маг, Великий маг отдыхает в отеле. Но когда мы услышали, что этого человека директор называет сеньором Узком, нам не оставалось ничего другого, как примириться с действительностью.

Надо же, какое разочарование! Где же тот высокий молодой человек с горящим взглядом? Конечно, по афишам трудно установить рост, но такие глаза могли быть только у высокого человека — во всяком случае, так думал я. Но чем больше я всматривался в лицо разговаривавшего с директором человека, тем больше находил сходство с тем, чьи глаза горели на анонсах. Похоже, это все-таки он. Он. Во всяком случае, глаза его. И лоб тоже... его.

Но вот голос... Голос — нет. Ну как мог быть такой голос у того, кто заставляет мир повиноваться своей воле? Тоненький, дрожащий. Разве можно таким голосом приказать лягушке стать бабочкой, воде — песком, ну, а навозу — золотом? Нет. Мы ждали колосса, а увидели пигмея.

И в довершение у этого человека вся левая щека, часть губы и подбородок были красновато-сизого цвета. И время от времени он носовым платком вытирал эту покрывавшуюся потом часть лица.

Ну и что? Ведь все-таки это был он, а не кто другой. И то, что мы раньше слышали, было сказано о нем. Возможно, и такой может быть магом, но вот каким? Хорошим или плохим?

Вышли мы молча, оставшись каждый при своем мнении, и, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, подшибали ногами все, что попадалось по дороге,— спичечные коробки, пробки, головы и сухие лапы грифов, погибших еще тогда, когда на них устраивались облавы.

Я лично потерял всякий интерес к Великому Узку и не пошел бы на первое представление, если бы не просьбы друзей, настойчивые, надо сказать, потому что они решили устроить ему достойную встречу, как только он появится на сцене, и мое участие в освистывании было им необходимо. Что ж, пришлось принести себя в жертву.

Мы с друзьями, глядя на тех, что стоят в очереди и толпятся у дверей театра, посмеивались, как заговорщики, зная наперед, что всех их ждет разочарование. Вот нас оно не ждало, так как мы уже познакомились с так называемым магом. Теперь я понимал, что расточавшие ему хвалу не хотели признаться в том, что они обманулись. Кому приятно быть обманутым? Нет, пусть все попадутся на удочку. Иначе как же? Та же история, что с очаровательной пещерой! Пещерой необыкновенной красоты, в которую мог протиснуться только один человек — проход был узок. И каждый, кто проникал в нее, видел лишь грязь и навоз, но, выходя, уверял остальных, что встретил там чудеса из чудес!

В зале театра нас ждало нечто новенькое — пунцовый занавес. А на занавесе знакомое по афишам лицо и большие черные буквы, подтверждающие, что это Великий Узк.

Из громкоговорителей неслись старые мелодии, уже порядком надоевшие. Зрители сидели на своих местах, а представление не начиналось. Когда, очевидно, весь имеющийся репертуар был проигран, записи пустили по второму кругу: зазвучали «Вершины Доброй надежды», потом, должно быть, пойдет «Ласковый», «Пробуждение горы», «Тропический путь», но тут кто-то крикнул: «Хватит!» — и весь зал поддержал. Музыка было стихла, но тут же возобновилась. Только теперь поставили новую пластинку: «Чай для двоих» — соло для органа. Но вдруг раздалось «Татандарараи, татандарараи, рук... татандарараи, рук...» — и ничего больше. Заело, видно, а рядом с проигрывателем никого не было. Тут мы стали шуметь, топать ногами, кричать. Те, кто постарше, оглядывались на нас, вставали, возмущались, требовали тишины, но мы прекратили свой концерт, лишь услышав звуки фанфар, оповещающих пролог. Женский голос попросил тишины, извинился от имени Великого Узка за задержку и объявил, что представление начинается. И все же танго «Ревность» нас заставили прослушать до конца.

Снова послышались фанфары, трижды торжественно прозвучал гонг, и занавес, скрывая в своих складках лицо и имя мага, пополз в стороны.

Трудно объяснить, что я почувствовал, когда моим глазам открылась сцена. Могу только сказать, что звуки все стали четче, яснее, будто мои уши, да и не только мои, а всех остальных, кто был со мной,— я это видел по лицам — прочистились, по телу побежала дрожь: стоящий на сцене человек, тот самый, которого мы несколько дней назад видели в фойе,— был Великий Узк со знакомых нам анонсов.

Великий Узк дал зрителям время рассмотреть себя; раскинув руки, он медленно поворачивался то в одну, то в другую сторону с едва уловимой улыбкой на преображенном лице.

Никто в зале не шевельнулся, никто не заговорил, и думаю, если бы он вот так, как Христос, и простоял до конца представления, никто бы не возмутился. А я даже не заметил, когда он начал свои фокусы. Все было так просто, так естественно, так непринужденно.

В этот вечер и в последующие вечера Великий Узк делал все, что ему заблагорассудится; вертел мир как хотел, разбирал его и собирал в том или ином виде. И все на наших глазах. Хочешь верь, хочешь не верь. Я так до сих пор не верю. Он летал, как бабочка, то тут, то там присаживаясь, то взмывая вверх, к потолку, то опускаясь вниз, на пол. Из вдруг застывшего пламени свечи он делал маленькие грушевидной формы серьги и раздавал их сеньорам. Бильярдный шар преображался в куб того же веса, и он предлагал зрителям удостовериться в этом. Песок превращался в воду. Кое-кто даже мыл в этой воде руки, а потом вытирал полотенцем. Великий Узк бросал в воздух лягушек, и всем казалось, что они падают на пол, но, не долетая до пола, лягушки оборачивались стайкой колибри, некоторые из них даже выпархивали в ночь через дверь и окна. А фокус с кирпичной стеной, сложенной каменщиками на сцене! Работа каменщиков была что надо! Но Великий Узк прошел сквозь стену несколько раз, будто она вообще не существовала.

Конечно, это — все трюки, иллюзия, обман: человек не может летать, как бабочка, проходить сквозь стену, превращать лягушку в колибри, песок в воду, огонь в стекло. Обман, обман — ничто другое. Но Великий Узк это делал. Мы сами видели. Видели, видели, видели.

Восхищенные и встревоженные, мы вышли из театра, тщетно пытаясь найти ответы на волновавшие нас вопросы. Я, например, чем больше думал надо всем этим, тем меньше что-либо понимал и очень пугался. Так ли уж безопасно заниматься подобным делом: показывать, что мир, который нам знаком с детства,— всего лишь иллюзия... Или он не единственный в своем роде? Если так, то какой реален? Может, тот, в котором камни и лягушки летают, песок превращается в воду, а огонь можно спрятать в карман? И, может, как раз наш рядом с этим потому абсурден? Тогда что же не абсурдно? Что?

Один из моих друзей даже предположил, что, может, ничего из того, что мы видели, в действительности и не происходило? А маг просто усыпил всех в зале, ну, невидимым порошком или газом, и все это нам приснилось. Может быть, и так. Все может быть. Тут любое объяснение сгодится.

Мы шли между стен, слыша обрывки разговоров, идущих впереди и сзади нас. Один мужчина, поравнявшись со мной, сказал своей жене:

— А, дорогая, он, видно, в сговоре с дьяволом. Хватит, хватит, ничего не хочу о нем слышать.

Да, мы совсем забыли о дьяволе! А ведь именно его помощь необходима, чтобы проделывать все эти и подобные этим штучки. С помощью дьявола и я в один миг покончил бы с мерзкими стенами и с Компанией. Неплохая идея?

Как раз в тот момент я расстался со своими друзьями, не переставая обдумывать мои будущие фокусы. Вот только вдруг я засомневался, в какого же зверя мне превратить директоров Компании? Зверь должен быть уродливым и страдающим.

Но когда я лег в постель и один на один оказался с темнотой, то тут же отказался от связей с дьяволом. Связи хороши, конечно, когда ты среди друзей, но один, да еще в темноте...

Я с головой залез под одеяло и в надежде, что утро настанет скорее, дрожа, стал читать «Верую». Я даже боялся уснуть — ведь дьявол ни с чем не считается, что ему сон человеческий!

На следующий день, возвращаясь из школы, я увидел около салона «Заря» толпящихся людей и решил узнать, в чем дело. Хозяин никогда не разрешал детям заглядывать внутрь своего заведения. «Но в этой-то толкучке...» — подумал я. И подумал верно — он ничего не заметил. Плотная стена людей окружала стоящий в центре залы стол. Пустив в ход локти, руки, ноги, плечи, я пробрался в первые ряды и увидел Великого Узка, играющего на бильярде.

Играющего? Нет. Великий Узк показывал фокусы с бильярдными шарами. Начал он, видно, незадолго до моего прихода, но уже завладел аудиторией. Маг выстроил в ряд несколько бильярдных шаров, потом присел, посмотрел, точно ли они стоят друг другу в затылок. Выровнял их кием и, прицелившись, ударил по первому. Шар от удара покатился и, стукнувшись о второй, вошел в него, второй вошел в третий, третий — в четвертый и так далее, и так далее до последнего, который слегка сдвинулся с места, покружился и застыл у борта. Все молчали и, похоже, не дышали.

— Где же шары, а? — спросил Узк.

Откуда нам было знать? Конечно, кое-кто попытался нагнуться, заглянуть под стол, но попытка так и осталась попыткой — теснота была невероятная. Да никто и не видел, чтобы шар летел через борт.

— Уж не в моем ли кармане? — опять спросил Узк и похлопал по карманам, чтобы показать, что они пусты.

— А-а, у меня во рту? — И он раскрыл рот, хотя в том не было необходимости: никто и не думал, что они там.

— Тогда в животе у мальчика.— И он легонько ткнул кием в мой живот. Я замер. Представляете, если бы все шары оказались у меня в животе?

— Ну, кто попытается угадать, ну смелее, смелее, я подскажу.

Смелым оказался хозяин бильярда. Он перегнулся через борт стола, попытался взять шар, но не сумел поднять его — не хватило сил.

— Точно, там. Сейчас покажу.

Великий Узк поднял шар и дал нескольким зрителям подержать его. И тот, кто брал его,— брал обеими руками, чтобы не уронить: очень он был тяжелый.

Но каким же сенсационным должен был стать фокус по извлечению шаров из шара. На лице хозяина бильярда появилось выражение неуверенности. Действительно, получит ли он свои шары обратно или они так навсегда и останутся в этом, последнем шаре?

— Я вижу, вы хотите получить свои шары обратно? Не волнуйтесь, это просто,— сказал маг.

Тут он взял шар и положил его в центр стола. Придержал рукой, потом с силой крутанул.

Как же это было здорово! Шар завертелся, и, пока он вертелся, от него один за другим отделялись шары и разлетались в разные концы стола.

— Еще, еще раз! — закричали сразу несколько человек, осознав происшедшее.

— Еще раз сделает вот он,— сказал Узк и ткнул пальцем в хозяина.

— Я?

— Да, сеньор, вы,— ответил Узк и предложил ему кий.

Хозяин бильярдной заколебался, но все видели, что ему очень хочется попробовать.

— Только ударить?

— Да, только ударить. Но ждите, я скажу когда.

Хозяин приготовился, целясь кием в шар. Великий Узк закрыл глаза, вытянул вперед, по направлению к шару, руку и скомандовал.

Послышался удар. То ли удар был недостаточно смелым, то ли преждевременным — чуть раньше, чем требовалось, то ли он промазал, только шар, покатившись, ударил впереди стоящий и вошел в него наполовину, образовав некое подобие восьмерки, которая, в свою очередь, с еще меньшей силой ударилась о третий, после чего на столе закружилась фигура, похожая на сросшиеся клубни картофеля. Она была такая смешная, что все начали смеяться. Хозяин бильярда попытался разнять шары, но, как говорится, не тут-то было. Ничего не получилось. Другие тоже попытались — они растаскивали шары, выкручивали, но... все без толку.

Великий Узк взял смешной картофель, положил посередине стола, посмотрел на него со всех сторон, покачал головой, всем своим видом показывая, сколь сложна задача. Потом вогнал свободным шаром наполовину вошедший, потом все тем же третий.

Однако поглотивший два шара деформированный предмет плохо двигался по столу. Великий Узк поднял его, осмотрел внимательно и сказал:

— Какой некрасивый! Ай-ай-ай! Попробуем что-нибудь сделать.

Тут он положил шар на стол и стал его мять, как тесто, без труда. Потом мягкую массу разделил на три части и слепил, ну, как из глины, три прекрасных шара.

Восстановленные шары были тщательно обследованы со всех сторон, взвешены каждый в отдельности в руке мага и объявлены совершенными. Великий Узк поблагодарил хозяина за предоставленную ему возможность показать свое искусство, за помещение, материал и, попрощавшись, вышел, вытирая платком фиолетово-красную щеку. Шары же лежали на зеленом сукне стола и продолжали изумлять стоящих вокруг людей. Потом один худущий парень из тех, что вечно толкутся в бильярдной, взял кий, поставил шары в ряд, как делал Великий Узк, прицелился и ударил. Ударил с такой силой, что два столкнувшихся шара издали звук — точь-в-точь выстрел. Остальные спокойно разлетелись по углам. Да, шары, как и прежде, были обыкновенные бильярдные шары.

Хозяин без лишних разговоров забрал у парня кий, мел и шары, а мы молча вышли.

И вот тот, кто на какое-то время отвлек нас от всех сложностей нашей жизни, которые создавала нам Компания, как видно, никогда больше не вернется в наш город. Похоже, и память о нем, как и о его невероятных фокусах, сгорела при пожаре, случившемся в театре. Или забвение — еще один продемонстрированный нам фокус? Но если это так, то почему не все о нем забыли? Как это понять? Что это? Фокусы мага, желающего разжечь страсти и посеять сомнения?

Интереснее всего то, что я сам уже не могу сказать, сколько же дней находился в нашем городе Великий Узк. Я попытался установить это, беседуя с другими, но получил самые разные ответы. Одни говорили — несколько недель, другие — несколько месяцев, а третьи клялись, что он никогда у нас и не был. Они помнили, что о маге много говорили, что в городе появились анонсы с его портретом, но сам он так и не приезжал, утверждали они.

Даже директор театра, который после пожара жил неподалеку от нас, никак не мог припомнить, сдавал ли он помещение хоть на день этому самому Великому Узку или нет. Разговаривать с бывшим директором было очень трудно. Старый, немощный, глухой, он отвечал совсем не то, о чем его спрашивали. Я спрашивал о Великом Узке, а он отвечал о Великом Карузо.

Может, я все это выдумал? Может, никогда никакой Великий Узк никаких фокусов здесь, у нас, и не показывал? Правда, некоторые его фокусы придумал я (мне очень хотелось их показать), но какие именно, теперь мне трудно сказать. А если все в городе будут продолжать сомневаться в его визите или твердо отрицать, то я, пожалуй, и сам приду к выводу, что никогда никакого Великого мага мы не видели.

Однако что ни говорят теперь разные люди, а Узк тогда нам очень помог — отвлек от действительности, которая была невыносима. И как только со своими баулами он отбыл из наших краев, все разом сникли. Ходили как в воду опущенные, полусонные, ко всему безразличные, натыкались на стены, друг на друга, даже наступали на пятки фискалам, за что дорого расплачивались.

А Компания решила отыграться на нас за все те дни, когда мы, зачарованные, аплодировали магу. Все забытые на это время запреты были возобновлены, и виновные карались со всей строгостью. А вскоре и вовсе без всякого предупреждения, просто так, в один прекрасный день оказалось под запретом спрашивать и отвечать который час, говорить о жаре или холоде, здороваться друг с другом или не здороваться, случайно, по рассеянности, поднимать оброненный на улице предмет или, видя его, не поднимать.

Улицы опустели. Да и кто мог отважиться выйти из дома, зная все эти запреты? Только в крайнем случае, и то — одна нога здесь, другая там, как за огнем, и не дыша, чтобы не задуть. А еще ни в коем случае не соглашаться выполнять просьбы соседей — они, держа в руках записочки с поручениями подстерегали всякого, вышедшего на улицу. Согласишься помочь людям — ну и пропал. Каждая лишняя минута на улице — лишняя опасность. Вот так!

Даже отец забеспокоился: разрешил мне ходить только в школу и обратно и чтоб по дороге не задерживался и ничьих просьб не выполнял. Он сказал, что положение крайне серьезное: Компания проводит чистку «частым гребнем», фискалам приказано ни с кем не церемониться. Он и сам был загнанный, как никогда. Уходил с утра и возвращался за полночь, иногда так и не обедая.

Мы же практически стали узниками, запершись в своих домах, и даже не могли узнавать, что делается за их стенами. И к окнам перестали подходить. Что толку-то? Ведь, кроме стен, все равно ничего не увидишь, а опасность — она тут как тут. Самым большим развлечением — и то на это нужно было отважиться — мы считали возможность приоткрыть окно на ладонь, лечь на пол и смотреть вверх на бегущие по небу тучи и свободно парящих грифов. Похоже, так развлекались многие, потому что, идя в школу, я видел очень много приоткрытых окон. Однажды я не выдержал и решил заглянуть внутрь, чтобы убедиться в своей догадке, но я ничего не успел разглядеть, так как тут же вынужден был отскочить от окна — его с силой захлопнули.

Надо сказать, что мать этого заточения не ощущала: она уже много лет жила такой жизнью. Вот только озабочена была тем, что я не находил себе места, сновал по дому, во все лез и ко всему был безразличен. Всеми средствами она старалась занять меня. Даже приня-

лась рассказывать всякие истории из своего детства. Они никак меня не увлекали, наоборот, надоедали мне. Я, конечно, старался это скрыть, но выражение лица, глаз да и поведение выдавали меня с головой.

От дяди Балтазара известий не было никаких и очень давно. Мать даже перестала вспоминать его. К чему злить отца? Ведь он, опять будучи в полном согласии с Компанией, не хотел ничего слушать о прошлом, так как история Компании для него начиналась с часа устранения дяди Балтазара.

Вот в этот-то момент и пришло письмо от тети. Она писала, что дяде много лучше, он ходит по дому, к нему вернулась речь, и он спрашивает обо мне. И если я могу принести себя в жертву и свои школьные каникулы провести в их доме, то они с дядей будут счастливы.

Мать от радости разрыдалась. Тут же стала обдумывать мое путешествие, будто каникулы начинались завтра. А когда письмо было прочитано в третий и четвертый раз, она убрала его и принялась обследовать мою одежду. Кое-что нужно было купить, кое-что починить, кое-что... Она не переставала все дни меня наставлять относительно поведения, послушания и всего того, что так дорого матерям.

Видя материнское воодушевление, я только расстраивался: не особенно-то был убежден в том, что отец меня отпустит,— ведь он не отказался от идеи отдать меня в ученики Компании, и это должно было совершиться как раз в каникулы. Сам я, конечно, хотел ехать, страшно хотел. Пожалуй, так я еще ничего не хотел, но скрывал свое желание как только мог. Подумать только, провести каникулы с дядей Балтазаром и вдалеке от всего, что здесь у нас происходит! Это же подарок судьбы, о котором и мечтать-то невозможно, разве тайком, чтобы никто ничего не заподозрил (не знаю, все ли ясно, что я хочу сказать).

Вот мать — так она как раз наоборот. Она гнала завтрашнее разочарование, всем своим видом показывая, что верит в невозможное. Ей очень хотелось, чтобы я поехал, она даже считала вопрос уже решенным. Но в глубине-то души она все же сомневалась, зная, что отец будет против. А еще меня называла пессимистом!

Всякий раз, когда я собирался показать отцу письмо, чтобы все решить, она отговаривала, предлагая повременить. Ей очень хотелось жить надеждой.

Однажды отец вернулся домой в хорошем расположении духа. Посвистывал, расхаживал из угла в угол, шутил. Я предположил, что он получил повышение. Компания строила огромное здание на противоположном берегу реки. Поговаривали, что там будет находиться лаборатория. Об этом-то я и начал разговор.

— Лаборатория? Кто это сказал? — спросил он.

— Я слышал...

— Лаборатория! Ну и ну...— Он улыбнулся нашему невежеству.— Неужели именно так говорят?

— Так,— ответил я.

— Не слишком ли изысканно тюрьму называть лабораторией?

— Тюрьму? Для чего нам тюрьма?

— Ты что, совсем поглупел? Не знаешь, для чего тюрьма существует?

— Они будут сажать в тюрьму?

Отец молчал, явно размышляя о чем-то неприятном. Потом вздохнул и сказал, глядя в пол:

— К несчастью, Лу, к несчастью. Были дни, когда и я...

Мой отец недоволен Компанией? И тут, либо поняв, что я напуган, либо подумав, что опять рискует, ведя со мной такие разговоры, он сказал:

— Не знаю, лучше не знать. Я решил изменить свою жизнь.

Он не любил, когда спрашивали о его планах. А поэтому я предпочел смолчать, хотя они меня очень интересовали. И правильно сделал.

— Если моя идея,— тут же сказал отец,— не погорит, то очень скоро я открою магазинчик и буду нуждаться в твоей помощи. Торговать лучше, чем быть фискалом. Зачем портить жизнь другим и наживать врагов?

Это было нечто новенькое! И невероятное. Тут я пренебрег осторожностью и спросил: а как же я и его планы отдать меня в ученики.

— Знаешь, Лу, я передумал,— сказал он.— Ты только не расстраивайся. Ведь нет худа без добра.

Я, конечно, не расстроился, и он знал это. Я обрадовался, но не обнял его и не поцеловал. Ведь той близости, что с матерью, у меня с ним не было. Хотя как раз в тот день я почувствовал в нем отца. «Не расстраивайся. Нет худа без добра». Мне показалось, что и ему стало легче. Может, мы станем друзьями, когда он оставит службу фискала? И в стремлении приблизить радостный день я спросил:

— А когда ты собираешься открыть магазин? И где он будет находиться?

— Терпение, Лу, терпение! Если бы это зависело только от меня, я бы завтра же его открыл.

— Так, значит, не так скоро?

— Да, сын, не так скоро.

Первый раз за последнее время он назвал меня сыном, хотя это отвечало истине! Но обычно для него я был «плутом», «бесстыжим», а чаще всего «этим мальчишкой».

И пока я осваивался с новым своим положением — положением сына, он продолжал:

— Нам нужен капитал.

— Большие деньги, да?

— Для того, кто ничего не имеет, даже маленькая сумма — большие деньги.

— А ты не можешь взять в долг? — Мне уже хотелось видеть магазин открытым.

— Как раз о том и подумываю. Только вот кто даст. Тому, кто беден, давать не любят. Ну, да ладно, как-нибудь все образуется. В конце концов кое-что я еще получу, потом кое-кто мне должен, ну, и еще в одном месте дадут. Глядишь, и соберу для начала. Будем торговать, Лу.

Я хотел было посоветовать ему взять взаймы у дяди Балтазара, но побоялся — побоялся, что веселое настроение отца сменится раздражением. Себя же я живо представил за прилавком, вспомнив одного моего школьного товарища, помогавшего отцу продавать обувь: я предлагаю товар, заворачиваю, получаю деньги, даю сдачу. А касса полнится деньгами, и мы становимся богатыми.

Тут я вспомнил приглашение тети Дулсе и подумал, что теперь можно и не ехать. Оставаясь дома, я мог быть полезен с самого начала. Это лучше, чем, вернувшись, увидеть магазин уже работающим. Теперь нужно было идти наперекор желанию матери. Но если отец запретит, то я обойдусь без объяснений, что, дескать, мне расхотелось ехать к дяде. Трудно сказать, что пришедший мне в голову маневр был удачен, но, пожалуй, только так я мог не причинять огорчений матери.

Я очень легко переменил тему разговора:

— От тети Дулсе пришло письмо. Она хочет, чтобы я приехал к ним на каникулы.

Никакой реакции. Отец только поскреб затылок, потом посмотрел на свою руку и сказал:

— Что-то они о тебе вспомнили, а?

Сказанное отцом не было решением вопроса, ехать или не ехать. А мне нужен был четкий ответ: да или нет. Может, имя дяди Балтазара, если я его произнесу, сделает свое дело?

— Дядя Балтазар очень интересуется мной.

— Да? А как он себя чувствует?

Нет. Отец явно переменился. То назвал меня сыном, а теперь вдруг спрашивает о здоровье дяди Балтазара.

— Лучше. Он уже ходит и разговаривает.

— Ну что ж, дай бог.

А как же моя поездка? Может, отец приберег свое вето на десерт?

— Что мне ответить, а?

Он медлил, и это меня обнадеживало. Я уже хотел было сказать, что мать спит и видит, что я поеду, но отец спас меня от предательского шага.

— Если хочешь, поезжай.

Я постарался дать ему возможность передумать:

— Ты разрешаешь?

— А почему нет? Они любят тебя, ты любишь их. Твоя мать просто мечтает, чтобы ты поехал. А у меня только одно условие — вернешься к открытию магазина,— сказал он уже шутливым тоном.

Неожиданная благосклонность отца укрепила меня в желании ехать. Надо же, отец хочет обрадовать мать своим решением, а я, выходит, хочу огорчить? Кто же из нас двоих хуже к ней относится? Вот так-то! Хорошо, что мои жалкие происки не увенчались успехом и я могу обрадовать мать. К тому же я понял, что и отец у меня ничего, и, поборов робость, бросился его обнимать, стараясь вложить в объятия всю радость от открывшихся в нем человеческих чувств.

Он принял мои объятья, потом легонько оттолкнул меня и смущенно сказал:

— Хорошо, хорошо, но ты же мнешь мою форму.

Тут я вспомнил его вечную заботу о форме и освободил из тисков. Слава богу, что на нем не было мундира, а то уж он-то был бы смят — это точно. Оставив отца, я поспешил к матери, чтобы обрадовать ее.

Занятая чисткой кастрюль и, естественно, думающая совсем об ином, она не сразу поняла, о чем это я.

— Отец разрешил ехать к дяде Балтазару! — разъяснил я ей.

— Разрешил? — Осознав услышанное, она устремила взгляд к потолку и воскликнула: — Слава тебе, святое сердце! — Потом вытерла навернувшиеся слезы и сказала: — Теперь пиши письмо тете, что ты едешь. Сегодня же пиши. Чего ждать?

Отец менялся. Менялся на глазах, и к лучшему. И хотя это происходило медленно, но явно происходило. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть, и без отступлений. А иногда перемены были более значительны.

Он уже не следил так за формой. Чаще бывал дома. Уходил и возвращался в одно и то же время и почти ни на что не обращал внимания. А когда к нам в гости приходили другие фискалы и начи-

нали вести служебные разговоры, он обрывал их, не желая ни слушать, ни говорить. Похоже, он отстранялся от Компании, пытался стать хорошим отцом, хорошим мужем.

Как-то — в своей новой роли — он открыл сундук, где хранилась старая одежда, и вытащил давно не надевавшиеся им костюмы.

— Можно их еще носить? — спросил он мать.

Мать внимательно осмотрела костюмы и ответила:

— По-моему, можно. Они не тронуты молью и не потерты. Их бы только на солнце просушить, чтобы запах вышел. Когда будет время, прикинь, я посмотрю, что надо сделать. Может, убрать где, а может, наоборот, выпустить. А может, и так сойдет.

Она все вычистила, починила, отутюжила. Конечно, костюмы старомодны, но отцу это было безразлично. Надев один из них, он заметил, что похож на празднично одетого крестьянина, но очень скоро привык и не обращал внимания. Форму же забросил.

Между тем сюрпризы не кончались. Однажды вечером, когда я, сидя дома, сражался с математикой, а мать возилась в огороде, вернулся с работы отец. Он снял плащ, улегся в гамак, заложил руки за голову и, глядя в потолок, тихонько покачивался. Вдруг он сказал:

— Как-то странно скрипят петли!

— Обычно, по-моему,— ответил я.

Покачавшись немного, он спросил:

— А мать где?

— В огороде.

Еще покачавшись, он сказал:

— Когда у нас будет магазин, она сможет зарабатывать деньги, продавая овощи.

— А кто же будет покупать? Ведь огороды есть у всех.

— Может, конечно, не будет спроса. Но попробовать надо.

Снова воцарилось молчание. Он думал о своем, я — о своем. Теперь и я услышал, что петли скрипят не так, как всегда. Отец снова заговорил:

— У тебя еще много уроков?

— Нет, я кончаю.

— Как закончишь, приготовь кофе. Сумеешь?

— Я уже,— сказал я и опрометью бросился на кухню, опасаясь, что появится мать и не даст мне показать отцу, на что я способен.

К счастью, чайник был теплый, и потребовалось несколько минут, чтобы вода закипела.

Отец отхлебнул кофе и похвалил меня. Возвращая чашку, он сказал, что в магазине кофе буду варить я. Переполненный радостью, я и чашки и чайник оставил на столе. Пусть мать оценит мои таланты.

Когда же я убирал тетради и книги, отец опять спросил меня:

— Который там час?

— Почти четыре,— ответил я.

— Так. Можем что-нибудь предпринять. Что ты скажешь, если мы пойдем на реку?

Что я скажу? Здорово, вот что! Только ведь рыбу-то я ловил всего два раза и то с дядей Балтазаром. С ребятами — мать не пускала. Боялась, как бы не утонул.

— Вдвоем? Ты и я?

— Ну, да! Если, конечно, хочешь!

— Хочу! Но сумею ли я?

— Научишься. Я ведь тоже давно не рыбачил. Давай подумаем, что нам нужно. Вот что, сходи и купи лески и крючков, а я подготовлю удочки и наживу.

Боясь, что отец передумает, я за какие-то минуты сбегал и принес крючки и лески и обнаружил, что свою часть работы отец еще не сделал, хотя уже был одет для рыбалки. От неожиданности я застыл на пороге: на нем были старые, подвязанные веревкой сапоги, засученные до колен штаны и... расстегнутый мундир, под которым виднелась голая грудь.

— Хочу пустить мундир для рыбной ловли и работ по дому.

— Он же станет грязный, разорвется.

— Туда ему и дорога! Дай-ка я посмотрю крючки.

7

Запретная тетрадь

Едва поезд тронулся и перед моими глазами замелькали дома, люди и даже злополучные стены, я загрустил. Хорошо путешествовать, листая книги и альбомы. Мысли твои далеко, а сам ты дома, среди знакомых тебе вещей и близких, родных людей.

Да, совсем оно некстати, это путешествие: отец уходит с работы, называет меня сыном, приглашает на рыбалку, а я уезжаю. А что, если без меня он утратит свой энтузиазм, раздумает открывать магазин и решит продолжать служить в Компании? Почему тетя Дулсе именно сейчас пригласила меня в гости? Да, выходит, что отец прав,— родственники существуют, чтобы мешать жить.

Отец, конечно, мог не пустить меня, и все. Мог сказать, что я ему нужен. Мать расстроилась бы, это ясно, но потом смирилась. Ей ведь не привыкать. Да и я сам тоже хорош. Почему не сказал, что хочу остаться дома? Почему молчал и ждал, что за меня решат другие? Теперь не оставалось ничего, кроме как приехать к тетке, пробыть несколько дней и, придумав оправдание, уехать как можно скорее. Или даже сразу же по приезде извиниться, если, конечно, за время пути придет в голову подходящая причина.

На станции меня никто не встречал. Вытащив из вагона чемодан и парусиновую сумку с материнскими подарками, я долго в нерешительности стоял на платформе, где меня толкали и пихали спешившие на поезд пассажиры, а суетившиеся носильщики задевали тележками. Стоял и начинал злиться на тетю Дулсе, которая пригласила меня, а теперь, видно, забыла о том, что пригласила.

Потом вдруг платформа разом опустела. Поезд дал свисток и, бросив сноп света на банановые заросли за оградами близлежащего селения, со скрежетом двинулся в путь.

Не зная, что делать и куда идти, я в растерянности продолжал ждать неизвестно чего. Какой-то железнодорожник, посвистывая, прошел мимо, потом остановился и подошел ко мне.

— Поезд уже ушел, паренек. И другого не будет.

— Я знаю,— автоматически ответил я.

— А-а,— проронил он и продолжал свой путь.

Я, конечно, мог бы воспользоваться тем, что он заговорил со мной, и рассказать ему о положении, в которое попал, но обычное, еще детское упрямство и нежелание показать свою неопытность заставили меня промолчать. А уж когда увидел, что он снова смотрит на меня, то я просто отвернулся.

Платформа погрузилась в темноту, потом зажглись три тускло горящие лампы, послышался лязг закрывающихся железных дверей,

донеслись слова прощания людей, какие-то еще звуки. Я схватил чемодан и сумку и стал искать выход. Единственным открытым оказался узкий проход у окошечка, где я увидел уже знакомого мне железнодорожника. Он разговаривал с кем-то сидящим в окошечке.

— Слово сдержит. Раз сказал — и принесет.

— А петь — поет? — спросил тот, что был внутри.

— Вряд ли будет петь. Замучен больно, столько времени в машине, в жару.

— А воды-то дали?

— Конечно, дал. Бедненький выпил целый стакан. Как думаешь, где его сегодня устроить: в доме или на веранде?

— Откуда мне знать? Я их не держу. Я птиц люблю в лесу.

Что это была за птица, я не видел: клетка стояла в темноте. Ну и не мог посоветовать, что делать. Да и едва ли мой совет был им нужен. Посмотрев на меня, уже знакомый мне железнодорожник сказал тому, что в окошечке:

— Эй, Лула! Тут паренек, он, похоже, потерялся.

— Ну-ка, где он? — спросил второй, высунувшись из окна.

Я подошел поближе — что еще было делать?

— Здесь оставаться нельзя. Мы тоже сейчас уйдем. Куда ты едешь?

Тут уж я сказал, кто я и куда ехал.

— А, к инженеру,— сказал Лула.— Браз, это тебе по пути. Захвати его.

Браз оказался веселым и разговорчивым. Он помог взвалить мне на спину мой чемодан, по дороге рассказал, что учится на почтового бухгалтера. И про птичку тоже рассказал. Она редкая, в их краях не водится. А он любит птиц, у него дома коллекция, и если я захочу, могу посмотреть. Найти его легко — спросить только Браза Птичника. Вдруг он спросил меня:

— А почему это мальчишки, заблудившиеся по дороге, так уверены, что могут обмануть, а?

В более неудачное время я приехать, конечно, не мог! Дом был полон народу. Пахло эфиром, прочими другими лекарствами.

Вошел я незамеченным и так незамеченным остался. Поняв, что всем не до меня, я спрятал чемодан и сумку за софу и, забившись в угол, слушал долетавшие до меня обрывки разговоров, шушуканье, всякие шумы. Слушал, но не вслушивался и не старался понять, так как ужасно устал.

Часы пробили половину, но вот какого часа, я не знал. А ведь чтобы узнать, нужно было лишь выйти из своего укрытия, однако я решил лучше не делать этого. Должно быть, половину десятого или половину одиннадцатого. Сейчас мать ложится спать и, конечно же, думает обо мне. Если бы она только знала, что со мной приключилось и что дядя так болен, она бы не сомкнула глаз.

Время от времени я погружался в дрему, мне казалось, что я снова в поезде, и тут же шум голосов возвращал меня к действительности. Хоть бы корочку хлеба погрызть, а лучше всего очутиться дома, в своей постели и слышать за стеной звуки шаркающих материнских туфель.

Но, пожалуй, хуже всего было то, что я хотел в туалет. Голод-то пережить можно. Один день без еды — не умрешь. А вот боль внизу живота ни на минуту не отпускает, и я боялся, что засну и обмочу софу. Что тогда делать? Я, конечно, терпел сколько мог, но потом, набравшись храбрости, пошел по дому.

Больше всего людей толклось в коридоре, в который вела дверь из залы. Поразмыслив, я посчитал, что туалет должен быть в противоположном конце дома, и двинулся туда. Действительно, коридор закончился несколькими ступенями, ведущими вниз, к двери. Однако, открыв дверь, я оказался в зале с кирпичным полом, где было полным-полно народа, сидевшего за столом и за беседой пившего кофе. Правда, никто не обратил на меня внимания, и я, юркнув еще в одну дверь и миновав кухню, оказался в саду, окутанном тьмой. Да простит меня тетя Дулсе, что я не нашел нужного места...

Возвращаясь, я даже сумел схватить со стола два бисквита. Видел я и тетю. С распущенными волосами, похудевшая, она казалась совсем молодой. Меня она не заметила. Вернувшись к софе, я съел бисквиты и заснул.

Во сне все встало на свои места. И дядя Балтазар оказался вовсе не болен. И собравшиеся в его доме люди праздновали завершение строительства башни — произведения невиданной красоты и очень значительного, созданного по заказу неких бородатых королей. И теперь вот, в признание его заслуг, дядя был тоже объявлен королем, и все присутствующие помогали ему освоить корону, королевское платье и бороду — искусственную, пока не отрастет своя собственная.

И тетя Дулсе была в одеянии королевы. Она прошествовала мимо, распространяя тончайший аромат королевских духов. Я бросился было за ней, говоря о привезенных материнских подарках, но тут она растаяла между колонн длинного и широкого коридора. И сколько я ни вглядывался — ничего, кроме мраморного пола, бесконечной колоннады и бледного света луны, не увидел.

Потом оказалось, что дядя ждал меня на башне. Он хотел знать мое мнение о его шедевре раньше, чем начнется праздник, а я никак не мог расстаться с этой сумкой никому не нужных подарков и опоздал. Он пришел в ярость, сказал, что прекратит со мной всякие отношения, откажет мне в родственных связях теперь, когда он, как король, всесилен. И что за идея пришла матери в голову дать мне эту сумку с овощами и фруктами, под тяжестью которой я сгибался в три погибели? И почему в праздничный день, да еще в такой холодный, я оказался в рубашке с короткими рукавами?

И вот когда все, все было потеряно, кто-то взял меня на руки, положил на кровать и укрыл одеялом.

И тут я почувствовал, что просыпаюсь. Просыпаюсь от запаха чистого белья и еще какого-то очень знакомого мне аромата. Я открыл глаза. В комнате было темно, светились только плотно зашторенные окна. Около меня на кровати кто-то лежал. Я повернул голову и увидел на моей подушке лицо. Когда глаза чуть попривыкли к темноте, я узнал тетю Дулсе. Теперь-то я вспомнил этот аромат — он исходил от тетиных распущенных волос.

Мне стало не по себе. Так вот — рядом с тетей, к тому же в одной кровати, мне бывать не приходилось. Опасаясь, что кто-нибудь зайдет и нас увидит, я притворился, что сплю.

Тете Дулсе, должно быть, снились кошмары, потому что она все время, задевая меня руками, металась по кровати. Уступая ей место, я прижался к стене. Но очень скоро она настигла меня и здесь, и я оказался зажатым между нею и стеной.

Я подумал было перебраться на пол и провести остаток ночи на полу, но побоялся разбудить тетю и заснул, еще теснее прижавшись к стене.

Проснулся я от щекотания в носу и навалившейся на меня тяжести. На моем плече лежала тетина голова — волосы лезли мне в лицо; на мою грудь она положила правую руку. Теперь уж я, чтобы не разбудить ее, совсем не дышал. А вот тетя дышала и очень тяжело, почти задыхалась.

Пот прошиб меня, в висках стучало. Я ничего не понимал, но лежал без движения. Спустя какое-то время тетя поднялась, оправила сорочку, поцеловала меня в лоб и на цыпочках вышла.

Когда утром следующего дня я проснулся и лежа обдумывал, что же произошло, в дверь вошла тетя.

— Доброе утро, Лу. Ты проснулся? Мне так неловко...

Уж если тете было неловко, то мне-то после этой ночи...

— Почему ты не предупредил телеграммой, что едешь? Письмо твое я получила, но за делами, которых в последние дни так много, я совсем забыла, когда ты должен быть. Бедняжка! Приехал. Один в чужом городе, и никто не встречает. Но, главное, ты добрался и у нас. Спал крепко?.. Значит, ты не слышал, как я входила к тебе, пока ты спал... Ну и отлично...

Она отдернула занавеску на окне.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрю на тебя при свете дня. Ну-ка, повернись ко мне. Ой, как ты вырос! Ты же настоящий мужчина! Пойду готовить кофе! Туалет и ванная рядом.

Тетя, пока мы пили кофе, не закрывала рта. И это было хорошо, так как я мог молчать. Как она изменилась — была весела, общительна, хороша собой. Она снова принялась извиняться, что меня никто не встречал. Потом заговорила о дяде. Сказала, что два дня назад у него был кризис, а теперь ему лучше, много лучше. Я хотел повидать его, но тетя ответила, что он еще слаб и будет разумнее не волновать его.

— Но и когда ему лучше станет, смотри, о Компании ни слова. Он все еще переживает свершившуюся несправедливость. Так с ним обойтись! Ну, а отец как? Мы слышали, он получил повышение?

Мне так было стыдно, что об отце тетя вспомнила в связи с Компанией и теми неприятностями, которые Компания обрушила на голову дяди,— и вспомнила сейчас, когда отец сам был настроен против Компании.

— Отец так переменился,— сказал я, осторожно нащупывая почву для разговора об отце.

— Недоволен. Да чем же?

— Он хочет уйти со службы.

— Уйти? Почему? Его не устраивает продвижение?

Я знал, что у дяди и тети много претензий к отцу, и именно в связи с тем, что он служил фискалом Компании, и не удивился вопросу.

— Просто не хочет больше, и все. Решил открыть магазин. Он теперь даже берет меня с собой на рыбную ловлю.

— Да? Тогда он действительно переменился. И мать должна быть довольна. Бедняжка, как она переживала за Балтазара. Будешь писать ей, напиши, что я очень рада за нее.

Она пристально поглядела на меня и вдруг, словно делая открытие, сказала:

— Знаешь, а ты даже очень красивый молодой человек! Скоро и невесту надо будет искать, а?

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, и опустил глаза. Вот так тетя говорила со мной впервые, и я не знал, как реагировать.

— Даже покраснел! — засмеялась она.— Это мило, очень мило. Заслуживаешь поцелуя, но не сейчас, потом.

А потом она сменила тему разговора, дав мне прийти в себя:

— Как только дяде станет лучше, так пойдешь к нему. А пока посиди здесь, в его кабинете. Тут много для тебя интересного. А я схожу проведаю старика.

Проходя мимо, она чмокнула меня в лоб и растрепала мои волосы. Если бы мама видела тетю сейчас, она бы обязательно назвала ее взбалмошной.

Я не понимал, почему тетя все время откладывает мой визит к дяде. На этот счет мне в голову лезли самые разные мысли, но одна, пожалуй, верная: дядя Балтазар так обижен отцом, что эта обида распространилась и на меня, и на мать. И, конечно, именно поэтому они так долго не писали нам. А теперь за давностью тетя решила забыть обиду. И вот я здесь, у них. Идет день за днем, а она выжидает и подготавливает больного дядю для встречи со мной.

Между тем лучше дяде не становилось — впрочем, не было и хуже. Он оставался в том самом состоянии, когда все, все может случиться, но ничего не случается. И со временем самый худший исход начинает казаться лучшим для всех, в том числе и для больного. Похоже, врач думал именно так. Он приходил каждый день, но тут же, постояв у постели больного несколько секунд, уходил с сознанием выполненного долга, который уже был обременителен. А тетя Дулсе, выходя вместе со мной на улицу, вынуждена была останавливаться со знакомыми, выражавшими ей свое соболезнование; на лице ее появлялось грустное выражение, она односложно, устало отвечала и старалась как можно скорее распрощаться. Однажды после очередных уличных соболезнований ее прорвало:

— Не могу больше выносить этого фарса. Они ведь хотят знать только одно — умирает или не умирает Балтазар. Бежать хочется. Бежать от всего, как можно дальше и прихватить тебя с собой — вот что!

У меня тут же мелькнула мысль: а дядю Балтазара разве нужно оставить?

Наконец, однажды утром во время кофе тетя сказала мне:

— Иди к дяде.

— Сейчас?

— Да, сейчас.

Я хотел было спросить, готов ли дядя к встрече со мной, но, к счастью, сдержался.

Тот, кого я увидел лежащим на кровати и играющим карманными часами, даже отдаленно не напоминал дядю Балтазара. Блеклое, скорее, серое лицо, редкие рыжевато-грязные волосы, тонкие узловатые пальцы, весь сведен судорогой, все время течет слюна изо рта. А как он усох! Особенно голова. Она стала такая маленькая...

Когда мы — я и тетя Дулсе — вошли в комнату, он, безразлично взглянув в нашу сторону, продолжал играть часами.

— Он ведь не узнает тебя,— тихо сказала тетя,— и может и не узнать.

— Он говорит? — спросил я.

— Нет.

От такого прямого ответа тети, а может, от ее спокойствия я обалдел. Я считал, что, говоря это, она обязательно должна была либо плакать, либо рвать на себе волосы.

Так же спокойно она подошла к постели, взяла салфетку и вытерла бегущую слюну. Потом свернула салфетку мокрой стороной внутрь и сунула под подушку, приподняла одеяла и пощупала ноги.

Они были тоненькие, как спички, и почти бескровные. Тут я еще больше растерялся. Нет, такие ноги, такая голова и такое тело не могли принадлежать человеку, изображенному на стольких фотографиях верхом на лошади, за рулем автомобиля, играющим в теннис или в позе боксера — обнаженный торс с крепкой мускулатурой и спадающие на лоб, но не закрывающие глаза волосы. Я был уверен, что боксеры застрахованы от телесного краха.

— У него очень мерзнут ноги,— сказала тетя.— Побудь около, я пойду согрею носки.

Оставшись один в комнате и в разладе с действительностью, я приблизился к больному, стараясь обнаружить, а скорее, вернуть (вот только как?) образ моего дяди, образ тех далеких времен, когда мать моя так им восторгалась. Поборов внутреннее сопротивление и брезгливость, я взял его безжизненную, слабо сжимавшую часы руку в свою и тут же почувствовал дядино желание высвободиться, но это ему было не под силу. Губы задрожали, в глазах появился страх. Надеясь успокоить его, я склонился к нему, чтобы поцеловать в лоб, но это еще больше напугало дядю. В горле его заклокотало, вены напряглись, вздулись, и он хоть с трудом, но отвернулся от меня. Тут уж испугался я, испугался и обиделся — опрометью бросился вон из комнаты, чуть не сбив с ног входившую с теплыми носками тетю.

— Он меня боится,— сказал я, стараясь объяснить свое бегство.

— Так ведь он не знает, кто ты. Весь мир ему незнаком и страшен, и даже я. Пойди-ка погуляй, чтобы развеяться.

Больше я не входил в комнату дяди. Но в моем воображении образ веселого, пышущего здоровьем человека навсегда сменился образом лежащего в постели скелета. Позже я спросил тетю: а нет ли возможности его вылечить? Она мне ответила, что нет.

— Ему хуже с каждым днем. Он как-то быстро состарился, а старость — болезнь неизлечимая.

Почувствовав жалость к тете Дулсе, я тут же высказал то, что говорить явно не следовало и в чем потом долго раскаивался. А сказал я ей, что она, должно быть, устала ухаживать за больным, утратившим речь, все время нуждающимся в ней человеком.

— Нет, Лу, нет! Все, что я делаю для него, это еще так мало. Да и разве я жалуюсь? Он — все для меня. Как без него... Но не будем говорить об этом...

Я не знал, что сказать. Смотрел, как идиот, то на нее, то в пол. Руки и те мне мешали.

Тетя же, видя мое смущение, растрепала мне, по своему обыкновению, волосы. Это она делала всегда, когда хотела переменить тему разговора.

— Пойду пройдусь,— сказал я порывисто, совсем как отец, вставая после неприятного разговора с матерью.

— Куда же это ты, не поцеловав меня?

— Пройдусь.

Схватив меня за руку, она толкнула с такой силой, что я тут же плюхнулся на софу и следом получил поцелуй в нос, лоб, щеки.

— Теперь, иди! Иди!

Желание куда-то идти исчезло. Я спрятался в саду, между бананами, и просидел там до вечера. Стыд, угрызения совести и, наконец, глупость моя, собственная глупость мучили меня.

Вернувшись, я обнаружил на подушке письмо от матери. То был другой мир, но мой мир, и он протягивал мне руку, и вовремя протягивал. Я быстро разорвал конверт, но, разорвав конверт, разорвал и письмо и потом долго собирал его куски на столе. Из письма мне стало известно, что отец оставил работу и что счастлив, как ребенок,

ожидающий праздника. «Он,— писала мать,— считает каждый день до открытия магазина. Помещение уже есть. Нужно его вычистить и оборудовать, что он и собирается делать, рассчитывая на твою помощь. Поэтому спрашивает, когда же твое странствие (здесь мама объясняла, что это он так шутит. Он очень изменился и продолжает меняться на глазах, конечно, благодаря ее молитвам) окончится». Кое-что она писала о Компании, именуя ее не иначе как «эти люди». Так вот: «Эти люди делают такое, чему и поверить трудно. Вернешься — сам увидишь».

Прочитав письмо, я загрустил и не сумел скрыть свою грусть.

Тетя, встретив меня, поинтересовалась, что стряслось. Я хотел скрыть, сказать, что все хорошо, но она была настойчива, и я показал письмо.

— Я не читаю чужих писем. Скажи сам, что случилось.

— Да нет, ничего плохого не случилось. Пожалуй, наоборот. Отцу нужна моя помощь.

И только по тому, как это я выпалил, стало ясно, что я готов сейчас же ехать домой. Тетя поняла. По лицу было видно, что поняла.

— И когда он тебя ждет?

— Мать написала, что отец спрашивает, когда я вернусь.

— И когда же ты вернешься?

Ее вопрос прозвучал не очень тактично. А с моей стороны — что ответить? Испытывая неловкость, я молчал. Она испытующе поглядела на меня и, играя моими волосами, сказала:

— Ты хочешь, чтобы этот вопрос решила я?

В ответ я кивнул.

— Ну, что ж, тогда решено — никогда! — И она поцеловала меня.

Спустя несколько дней тетя отправила меня домой.

8

Лошади под дождем

Домой я вернулся совсем больным. Мать, конечно, встревожилась, стала щупать лоб.

— У тебя температура, Лу! Как ты похудел! Ты болен? Бог ты мой! Почему меня не известили? Принимай лекарство и в постель. В постель — сейчас же!

Поскольку вопросов было много, я счел возможным ни на один не отвечать. Я даже обрадовался болезни — она все объясняла: и мое настроение, и мою грусть. Сидя около меня и пичкая лекарствами и бульонами, мать не закрывала рта и говорила, говорила о том, что я, видно, заболел еще у тети и что за мной там не было ухода, а вот теперь такой упадок сил. Или что-то произошло, что? Она так была озабочена моим здоровьем, что даже не вспомнила о дяде Балтазаре.

— Не зря, не зря болело мое сердце. Так и чувствовала, что-то должно произойти. Никогда больше не отпущу тебя, никогда!

Это меня испугало — ведь я обещал тете, что приеду на следующий год, и, прощаясь со мной, она просила не забыть обещание. Теперь только и оставалось надеяться, что со временем все забудется — и моя болезнь, и материнское решение.

К счастью, болезнь очень скоро прошла. Оказалось воспаление легких, но врач из Компании прервал его лекарством, которое только они и имеют. Я же смог убедить мать, что каникулы прошли хорошо, что тетя Дулсе очень заботилась обо мне и просила приехать в будущем году, потому что дядя Балтазар очень радуется, когда меня ви-

дит. Эта ложь, конечно, стоила мне угрызений совести, но ведь только после сказанного мать вспомнила о дяде Балтазаре и стала о нем расспрашивать. Тут я вынужден был сказать ей правду. Она вздохнула, точно все знала и без меня.

— Н-да, скоро ты и тетю потеряешь.

— Почему? — испугался я.

— Потому что она молода и постарается, как только не станет Балтазара, выйти замуж.

— Откуда ты это знаешь, мама?

— Ох, Лу! Чего тут знать? Жизнь это, вот и все! И, конечно же, она будет привязана к семье нового мужа.

Для человека, который всю жизнь сидит дома, шьет, готовит, возится в огороде, знать такое — значит знать много. Может, она все знает?

Начав заниматься делами магазина, мы сразу почувствовали, что не такое это простое дело, как прежде казалось. Одно зависело от другого, другое от чего-то еще или от кого-то еще, кого мы не знали, или от солнца, или от ветра, или от дождя. Осмотрев стены, пол, потолок, мы поняли, что не можем поставить прилавок, укрепить полки и разместить продукты, прежде чем не заделаем крысиные норы. И не только в полу, но и в стенах. Потом нужно будет белить. А белить нельзя: дождь идет. Идет дождь — и побелка не сохнет.

Но дожди не предупреждали. Они лили когда хотели. Вот и в тот день — я в нашем будущем магазине сгребал в кучки мусор, собираясь его увезти на свалку в предоставленной в наше распоряжение одним знакомым тачке,— послышался удар грома, и быстро, быстро стемнело. Я бросился к двери и увидел крупные капли дождя, уже барабанившего и вскипавшего на мостовой долго не лопавшимися мутными пузырями. Застигнутые врасплох люди спешили укрыться кто где, птицы метались из стороны в сторону; одна даже залетела в магазин, но тут же вылетела на дождь. Потом все капли слились в одну сплошную дождевую завесу, отделившую меня от окружающего мира.

Я перестал работать и, глядя на дождь, думал о матери, которая сегодня утром во дворе развесила кучу белья и теперь, должно быть, снимает, а я не могу ей помочь.

В этот момент два насквозь вымокших всадника остановились около двери, заглянули внутрь и попросили разрешения укрыться от дождя вместе с лошадьми. Я счел их просьбу странной, но разрешил. То были мелкие землевладельцы, и они могли стать нашими клиентами. Для лошади подняться по ступеням и пройти в дверь — своего рода цирковой номер, но, подбадриваемые шпорами, они его прекрасно выполнили. А оказавшись в помещении, лошади, расставив ноги и потупив глаза, пустили горячую струю, забрызгав все вокруг и даже мое лицо.

— Зарядил, как видно, надолго,— сказал один другому, глядя на дождь.

— Да-а! Дождь на святого Висента — это плохо. Будет лить и лить, как два года назад.

— Как раз о том и я подумал, ведь я было начал сушить кирпич-сырец. Боюсь, все пойдет прахом.

— Что поделаешь?! У меня фасоль еще не убрана с поля. Хоть уж маниок сохранить!

Я оставил гостей за занимавшими их проблемами, а сам принялся опять убирать помещение — очень мне хотелось порадовать отца.

Он уже должен был бы вернуться, да, видно, дождь задержал его у тех, за рекой, кто не доставил нам штукатурку.

Закончив работу, я поставил щетку к стене, отер пот с лица и опять принялся смотреть на дождь. И тут, что бы вы думали, наделала одна лошадь? Подняла хвост, и целая гора дымящегося навоза оказалась на полу. Вторая последовала ее примеру. Это взорвало меня. А я столько сил вложил в уборку!

— Что же это такое? Вы только посмотрите! Посмотрите, как они напакостили! — воскликнул я возмущенно.

— А-а, не стоит расстраиваться, малыш. Сейчас уберем.

С этими словами он взял щетку, посмотрел вокруг, спросил, может ли взять одну из старых газет. Я разрешил. Он разложил газету, собрал на нее навоз и, едва свернув, выбросил на улицу. Тотчас же газета раскрылась, дождь размочил ее и вместе с навозом понес по улице, не оставив и следа около помещения.

Увиденное натолкнуло меня на мысль, что таким же образом можно избавиться от мусора — земли, сухих листьев, объедков, сигаретных окурков и всякой всячины. В столь несложном деле помогли мне оба человека, укрывшиеся от дождя в нашем магазине,— для них это стало своего рода развлечением. И все унес поток, все, кроме консервных банок, застрявших между камнями.

Покончив с мусором, мы трое молча смотрели на потоки дождя. Что нес дождь случайным компаньонам — я уже сказал. А мне... мне эти потоки несли грусть — разве, быть может, они снесут окружающие нас стены? Но нет. Компанией было предусмотрено все, даже дождь. От дождя особый состав стен — изобретение Компании — становился крепче цемента. Так что стены вечны, они как кремень, и если кто задумает свалить их, пусть прежде сразится с дождем, говорили фискалы, видя усомнившихся.

Лошади, дымя крупами, дремали, безразличные к дождю и всеобщему унынию. Ведь у них, у лошадей, своя печаль: взнузданная лошадь, ожидающая хозяина,— животное тоскливое. У нее нет своей воли, она подвластна хозяину и идет туда, куда ей велят,— ну прямо как мы среди выросших в нашем городе стен.

И вот пока это я смотрел на лошадей, размышляя над их грустной долей, одна из них опять раздвинула ноги, опять пригнула голову и, прикрыв от удовольствия глаза, дала мощную струю мочи. Я попытался остановить ее, потрясая перед ее мордой кулаком и крича, но она никак не реагировала. Только ее хозяин схватил мою руку и сказал:

— Оставь, малыш. Не мешай лошади мочиться.

То, что он называл меня малышом, начинало раздражать.

— Но она же налила в помещении. Вы же видите...

— А-а, уберется.

— Как?

— Земли насыпать.

— Какой земли? Это же грязь.

— Да ерунда,— сказал он, подумав,— просохнет.

— Какая мерзость! Все было чисто, выметено, теперь на́ тебе! — сказал я раздраженно.

Хозяин лошади взял метлу и размел по всему полу. Стало еще хуже.

— Жара все высушит,— сказал он, утешая меня.— Животное всегда так, когда меньше всего ждешь...

Не успел он закончить, как в магазин, прикрываясь мешковиной, влетел отец, но я его узнал, только когда он скинул с головы мешок.

— Думал, что не дойду. Кругом болото — ни проехать, ни пройти,— сказал он, глядя, куда бы повесить мешковину. Тут взгляд его остановился на лошадях.— А это что такое? Почему здесь лошади?

Я было начал объяснять, но он ничего не хотел слушать.

— Нет, нет и нет. Где это ты видел лошадей в здании? Они, того и гляди, зальют все мочой. А-а, так дело уже сделано. И как это ты позволил? Вон, сейчас же вон!

Говоря это, он стал подталкивать одну из лошадей к двери. Но лошадь, вскинув голову, попятилась, то ли убоявшись дождя, то ли ступенек.

— Оставьте ее,— сказал хозяин.— Ведь все, что лошади могли, они уже сделали,— верно, малыш?

— Здание не место для лошадей. Почему я, человек, мог мокнуть под дождем, а лошади ваши не могут? — говорил отец, упираясь в круп лошади и толкая ее к выходу.

Тут я увидел грозящую отцу опасность, но было уже поздно. Лошадь прижала уши, вскинула задние ноги и, лягнув отца в бедро, отшвырнула его под ноги другой лошади, стоявшей рядом. Та, в свою очередь, рванулась в сторону, задев копытом голову отца. И все это в одно-единственное мгновение.

Я протянул руку, помогая отцу подняться. С большими усилиями это удалось сделать, хотя он не мог держаться на ногах и все время стонал. Ни стула, ни скамьи в помещении еще не было, и мне пришлось посадить его на пол, прислонив к стене. А так как и чашки здесь не было, то я, чтобы дать ему воды, бросился на улицу к водосточной трубе и сколько мог, столько принес в сложенных лодочкой ладонях. Во второй раз я прихватил отцовскую шляпу, и отец, хоть и пролил бóльшую часть — его колотил озноб,— все же напился. А пока это я бегал туда-сюда, те двое с лошадьми исчезли, оставив после себя стойкий запах мочи.

Я ждал, что мне за все это влетит, и как следует, но когда прошел мой испуг, а у отца утихла боль в бедре, он сказал, что всему виной то, что он больше не фискал. Узнали бы они почем фунт лиха, если бы он был фискалом! Слушая его, я понимал, что это простая бравада,— ведь если бы он был фискалом, то не открывал бы магазин, а если бы он не открывал магазин, то не встретился бы с этими людьми.

Потом он зло заговорил о штукатуре, называя его бессовестным, мошенником, вруном. Действительно, когда мой отец был фискалом, тот разве на коленях перед ним не ползал, а теперь это ничтожество: «Придите завтра, придите послезавтра, извините, не получилось, у меня столько заказов!» Похоже, месть; хоть и поздняя, но месть за прежние унижения.

Да и так себя ведет не один штукатур, так себя ведут все. Все, кто улыбались, сгибались в поклоне, униженно разговаривали, теперь афишировали свою независимость, даже враждебность. Но если все эти подонки думают, что отец теперь, став на колени, будет просить прощения за то, что был фискалом, то они заблуждаются. Он был человеком гордым, будучи фискалом, таким же гордым он будет, став торговцем. Кому не по нраву, пусть катится.

Слыша его сетования (а по сути это были жалобы), я забеспокоился. Да, мать говорила мне, что с самого начала отец столкнется с тысячами разных проблем, но я счел ее слова за маловерие. Теперь я вижу, что от проблем никуда не деться. Но больше всего меня волновало, что эти проблемы вынудят отца отказаться от его затеи с магазином и вернуться на службу в Компанию. А если нет, то ведь те, кто сейчас, в самом начале, мешают отцу, явно мстя ему, будут

и дальше мешать и мстить хотя бы тем, что не будут ничего покупать в нашем магазине. А в результате — магазин открыт, товары гниют, а хозяин и сын хозяина гоняют мух и, кроме убытка, ничего не видят.

Но отца не так-то просто было выбить из колеи. Спустя несколько дней он встал с гамака и сказал:

— Хочешь знать, что я придумал? Давай-ка перестанем ломать голову над побелкой, а закажем полки для товаров. Товар все закроет, никому и в голову не придет, что стены не побелены. Кстати, и от лишних трат избавимся. Как видишь, я могу мыслить, как коммерсант.

Но когда отец обратился к столяру, с которым у него уже была договоренность, то в общем-то получил отказ. Столяр сказал, что очень сожалеет, но за то время, пока отец медлил с началом работ, у него, дескать, появился заказ от Компании и он вынужден выполнять его. Заказ срочный, и ни о чем другом он даже помыслить не может.

— Сеу[1] Орасио сам понимает. С Компанией я вынужден быть в ладах.

Отец был вне себя. Шагая по столярной мастерской, жестикулируя, отец кричал, что нуждается в полках, и сейчас же, немедленно, что ждать он не может, что договоренность есть договоренность, и кто не выполняет договоренности, тот наносит ущерб другому и должен отвечать по всей строгости закона.

— И кто же привлечет меня к ответственности? — спросил столяр.

— Я, если вы не выполните наш договор.

— Знаете что? Прошло то время, когда вы тут командовали, наводя на всех страх своей формой. Прошло. Теперь я работаю на Компанию, и вас я не боюсь. Лучше вам меня не запугивать ни законом, ни чем другим. Вот так-то!

Отец угрожающе засопел и ринулся на столяра. К счастью, крики привлекли зрителей, которые сбежались как раз в тот момент, когда отец готов был схватиться с противником. Я говорю «к счастью», потому что опасно ссориться в мастерской, где столько острых металлических предметов. Взбешенный отец, оставив столяра, летел по улице так, что я едва поспевал за ним. Позже, по-прежнему разгоряченный, он говорил, что если этот мошенник считает себя единственным здесь столяром, то жестоко ошибается. В городе столяров хоть отбавляй, и все они лучше его, а обратился отец к нему только потому, что ранее они были дружны и жена столяра всегда жаловалась на бедность, выпрашивала в долг. Это было правдой: я сам был свидетелем, что мать давала ей то сахар, то кофе, то еще что-нибудь.

Тогда-то мы и обратились к Эмеренсиано, очень симпатичному, всегда улыбающемуся негру, что жил по ту сторону реки. Ранее Эмеренсиано делал новые ворота. А было так: проходя мимо нашего дома, он увидел, что наши никуда не годятся, и, вызвав отца, предложил свои услуги. Отец обрадовался такому предложению, он и сам давно подумывал об этом, а тут все легко устраивалось: Эмеренсиано сказал, что всего-то и потребуется две доски заменить. Он их измерил и ушел. Несколько дней спустя вернулся, но с новыми, совершенно новыми воротами и уже покрашенными, объяснив, что счел этак проще, чем чинить старые. Отец схватился за голову — он не хотел входить в большие расходы. Ну починка куда ни шло, однако... новые ворота... Эмеренсиано тут же успокоил отца, сказав, что на

---

[1] Сеу — сокращение от слова сеньор.

них ушли излишки от другой работы, которая была уже оплачена, и это всего лишь его услуга по дружбе.

И вот этот-то самый Эмеренсиано после приветствий, разговоров о семье и прочее, прочее, этот-то Эмеренсиано, как только отец заговорил о необходимых ему полках, поскреб в затылке и сказал, глядя в сторону, что не может. Занят, занят поверх головы, к тому же у него плохо со здоровьем. Тут он стал охать и ахать, неумело разыгрывая роль больного. Я был огорчен невзгодами отца — ведь он всю дорогу только и расхваливал Эмеренсиано, только и говорил о своих надеждах.

Мы переговорили и с другими, можно сказать, со всеми столярами города, но безуспешно. Все, буквально все были заняты. Создавалось впечатление, что весь город решил прибегнуть к их услугам. Отец был в тяжелом нервном состоянии, понимая, что время идет, а наши дела стоят на месте. Как-то в десятый или в двадцатый раз обойдя всех столяров и везде получив отказ, отец стукнул кулаком по столу и сказал:

— Ну и пошли они ко всем чертям. Не нуждаюсь я ни в одном из них. Чтоб их...

— Что такое, Орасио. Тише, тише, здесь же ребенок,— сказала мать, осенив себя крестом.

— Да, да, ко всем чертям! Чтоб их дьявол!.. Я сам сделаю полки. Сам и Лу, верно, сын, сделаем вдвоем?

Я пришел в восторг от его идеи. Мне и ранее хотелось взять в руки рубанок, постругать, увидеть белые завитки стружки, услышать музыку пилы, почувствовать запах свежего дерева, потрогать его гладкую поверхность. Что может быть приятнее!

Но чтобы сделать полки, нужен материал, нужны инструменты, и мы с матерью подумали, что и тут скорее всего возникнут препятствия. Так и вышло. Отец обошел все возможные склады, всех возможных поставщиков и везде получил отказ. В городе не было дерева, не было совсем, а все, что хранилось на складах, было зарегистрировано в Компании. Зачем? Неизвестно.

Тогда отец решил попытать счастья на стороне. Он поехал в Уруара. Мы с матерью ждали его с нетерпением и тревогой. Мать волновалась, как бы он с кем не повздорил. Я таил надежду, что наконец-то мы хоть и с несколько поутихшим энтузиазмом, но примемся за дело. Вернулся он через два дня. Веселый, насвистывавший себе под нос и время от времени улыбавшийся: он закупил нужный нам материал. Закупил больше, чем было необходимо нам, надеясь продать излишки, конечно подороже, и тем увеличить капитал.

— Вот так-то, Лу! — сказал он.— В нашем деле сдаваться нельзя. Ясно?

Но он радовался преждевременно, не предполагая, чем кончится его затея. А между тем на дороге, у въезда в город, весь купленный отцом товар был конфискован и отправлен на склады Компании, отец же — объявлен контрабандистом.

Вот теперь-то случилось самое плохое: все деньги были вложены в товар, и нечем было заплатить за защиту в суде, если отца арестуют. И если бы не материнский огород и не доброе соседское сердце, не помнящее зла, пришлось бы нам голодать. Весь день с утра до ночи отца держали на допросах, так что домой он возвращался совершенно разбитым.

Как же было больно видеть его! Он перестал походить на себя: голова его поникла, он ссутулился, вздрагивал от каждого звука и смотрел куда-то вдаль, отрешившись от мира и забыв свои мечты

стать торговцем. А я, по всему было видно, терял отца, едва его обретя.

Однажды он вернулся совсем не в себе. Вошел в дом, как лунатик, сел на софу и уставился в пол. Потом вдруг закрыл лицо руками и зарыдал.

— Больше я не могу,— сказал он подсевшей к нему матери.— Нет у меня сил. Прости за все. Я старался для тебя и Лу, но... Они сильнее меня.

Сев на пол около отцовских ног, я тоже заплакал, потому что понял — это конец. Отец положил руку на мою голову и сказал:

— Позаботься о матери. Теперь ты — один мужчина в доме.

На следующий день за ним пришли.

Все это ужасно, конечно, но мы с матерью в общем-то ничего хорошего не ждали. И если говорить правду, то очень сомневались, что отцу удастся открыть магазин. Да и отец допускал, что когда он оставит работу, то нам придется туго. Но...

Я тут же устроился разносчиком в лавку к Шамуну-Ливанцу, куда и отправлялся сразу после уроков и допоздна разносил в самые отдаленные районы самые разные покупки. Мать теперь шила на заказ. Поначалу клиентов было мало — мешала дурная слава отца, но потом те маленькие деньги, что просила она за работу, сделали свое дело — люди ведь забывают свои антипатии, если это экономит средства. И когда, бывало, поздно вечером, усталый, после стольких часов, проведенных на ногах в поисках домов клиентов между бесконечных стен, я возвращался домой, она все еще сидела за машинкой и строчила, строчила, строчила. Но даже так вот, без отдыха работая, мы все равно еле-еле сводили концы с концами, и матери нет-нет да приходилось продавать то одну, то другую подаренную дядей Балтазаром дорогостоящую вещь. Видя, с какой болью расстается она с этими милыми ее сердцу предметами, я клялся, что наступит день и мы выкупим их все до единого, и даже те, которых не было.

За всеми теперешними заботами: с утра — школа, вечером — работа разносчика, ночью — радумья, чем бы еще заработать и облегчить материнскую участь, я совсем забыл о тете Дулсе, а уж о дяде Балтазаре и подавно, несмотря на дядин портрет — мать теперь его вытащила и повесила в зале,— не спускавший с нас глаз. Разве только иногда, и то на какую-то долю секунды, всплывали в моем мозгу воспоминания о тете Дулсе, но они были блеклые и стирались с каждым днем.

Вечерами, когда мать шила, а я делал уроки или думал (чаще думал), между нами возникал разговор о дяде Балтазаре. Мать поднимала голову от шитья и принималась сетовать, что от него нет ни строчки, и просила, просила меня написать ему. Я соглашался, обещал в ближайшее же время исполнить ее просьбу, но мои обещания так обещаниями и оставались.

Незаметно за изнуряющей нас работой, которая не оставляла времени, чтобы подумать о будущем, подкрался Новый год. К Новому году сеу Шамун всем служащим готовил подарки и каждого опрашивал, у кого сколько человек в семье. Я ничего не сказал об этом матери. Решил — пусть будет для нее сюрприз.

Но тетя Дулсе сбила мои планы. Как-то уже на рождественской неделе, вернувшись домой после работы, я увидел огромную корзину продуктов. Надо сказать, что я растерялся, решив, что мама опередила меня, сделав мне сюрприз.

— Это пришло тебе, и письмо тоже,— сказала мать, когда я стал раскрывать корзину.

По почерку я тут же догадался, что это тетя Дулсе. Она писала, что находит мое решение разумным. Сейчас действительно не стоит к ним приезжать. Дядя Балтазар все так же плох, и она не отходит от его постели, а следовательно, не сможет уделить мне внимание. В случае же, если дяде станет лучше (бог милостив), она известит, чтобы хоть остаток каникул я провел у них. С письмом она посылала мне новогодние подарки и пожелание счастливого Нового года всей нашей семье и еще нежный поцелуй.

У меня словно гора с плеч упала. Я прочел тетино письмо матери, чтобы и она знала о состоянии дяди Балтазара. В ответ мать только вздохнула, но, похоже, после этого письма уже не ждала ничего.

И вдруг дождь. Бесконечный дождь целые сутки. Дождь утром, дождь днем, дождь вечером, и никакой надежды на луч света. Кажется, смоет, унесет все, все, все, только не стены. Нет. Они прочны, как никогда, и эта прочность где-то внутри них. На улице ни души: никто не выходит, разве что за продуктами и лекарствами. Школа закрыта — течет крыша, и, того гляди, обрушится потолок. И когда я, не имея плаща, под дырявым зонтиком — другого в доме не было,— с перекинутыми через плечо ботинками шел в лавку сеу Шамуна, мне казалось, что я один-единственный житель в этом обреченном исчезнуть под потоками дождя городе, и я жался к стенам, чтобы меня не смыла лавина дождя. Конечно, в такие дни, хотя я был полон решимости мокнуть под дождем, идя в любой конец города, никто никаких покупок в лавке не делал. И я, понимая, что так вот, без дела, разносчик сидеть не может, ждал разговора с сеу Шамуном. И он меня пригласил. Начал сеу Шамун издалека. Сказал, что я очень хороший, что он мною очень доволен, что такого воспитанного и исполнительного служащего поискать надо, и так далее и тому подобное, и если бы все были такими и так далее и тому подобное, но поскольку торговля замерла, ничего не остается, как проститься со мной, во всяком случае на время, ведь он же не может платить мне за то, что я сижу в лавке, глядя, как за окнами льет дождь. Ему и так приходится оплачивать простой старым работникам. Но как только этот дождь кончится и торговля возобновится, он тут же с большим удовольствием возьмет меня, если я, конечно, буду согласен.

Все это сеу Шамун говорил с сожалением, и я видел, что он сожалеет искренне. Я поспешил сказать, что все понимаю, что мне и самому стыдно получать деньги ни за что, и потому он не должен так беспокоиться.

Эти слова явно сняли тяжесть с сердца сеу Шамуна. Он вынул из кармана платок, высморкался и сказал, что не любит рассчитывать служащих, особенно таких старательных, пользующихся доверием и нуждающихся в работе,— ведь я фактически сирота да и мать моя фактически вдова и так далее и тому подобное. Он снова высморкался, спрятал платок и спросил:

— Раз уж мы заговорили об этом, то что слышно об отце?

— Ничего. Ведь они ничего не сообщают.

— Да, плохо. Они не должны были так поступать. А как мать? Как она все это выносит?

— С божьей помощью, сеу Шамун.

— А-а, мужественная женщина. Скажи ей, пусть заходит, если нужда припрет. Я помогу. Открою кредит.

Поблагодарив его за любезное предложение, я собрался уходить и, когда уже на пороге раскрыл зонт, услышал, что сеу Шамун меня зовет:

— Тебе нужен новый. Этот уже отслужил. Выбирай себе по вкусу.

Не зная, какой выбрать, я сказал, что мне сгодится любой. Тогда он сам выбрал самый дорогой, с металлическим наконечником и плотной тканью, раскрыл и закрыл его, чтобы убедиться, что он хорошо работает, и повесил мне на руку, предложив старый выбросить.

Потом, когда мы с матерью обсуждали случившееся и вообще наши дела, мы пришли к заключению, что не остались внакладе. Ведь должность разносчика невелика, да и ботинок стопчешь больше, чем заработаешь. К тому же заказы бывали такие тяжелые, что их приходилось носить на голове. А как же у меня болела голова вечером! Потом, потеряв службу, я приобрел новый зонт, необходимый нам в такие дождливые дни, ну и дружбу сеу Шамуна. Мать, если что, могла к нему обратиться.

Теперь, когда причины выходить из дому не было, я все время был подле матери. Иногда занимался в надежде, что школа все-таки откроется, а чаще помогал матери шить. Наглядевшись, как она порет неудачно сделанный шов и обметывает, я мог и пороть, и обметывать запросто. Но матери явно не нравилось, что я занялся женской работой, а видя, с какой осторожностью я отрезал нитки и как тщательно обметывал, она говорила мне, что я избалую ее клиентов.

Но чаще всего, сидя за работой, когда по крыше барабанил дождь, а ветер завывал в трубе, мы вспоминали, как приехал к нам в первый раз дядя Балтазар, потом, как и все, он радовался открытию фабрики, какими были праздники, как все надеялись на счастливую жизнь и благодарили дядю Балтазара, останавливая его на улице. В то время только и слышно было со всех сторон: таких бы людей, как он, ну еще бы двоих-троих — и здесь будет рай!

Как-то раз, вспоминая прошлое, мать сказала: «Когда-нибудь все хорошее, а к счастью и плохое, кончается». Вот так и этим затянувшим небо тучам, дождливым дням пришел конец. Вначале солнышко лишь проклюнулось, но потом решительно, как всегда, засияло. На улицах стали появляться люди, стараясь просушить заплесневевшие от сырости тела и души и отпраздновать конец дождей. Даже мать, купив новую пару туфель, вышла на улицу размять затекшие ноги.

Омытые дождями улицы выглядели как новенькие, и если бы не вечно стоящие на страже злые стены, можно было бы подумать, что хорошие времена не за горами. На площадях, скверах и в садах с неожиданной силой зацвели цветы, и тучи бабочек, словно родившиеся от дождя и сырой земли, расцветили все вокруг радугой своих крыльев. В воздухе трепетала новая жизнь.

Радость возрождения захлестнула всех и заставила забыть о Компании. Да и она, похоже, решила воспользоваться солнцем, утраченным в долгие дождливые дни. Однако новые запреты уже были готовы. А так как фискалов, которые должны были их проводить в жизнь, не хватало, то любой идущий по улице мог оказаться завербованным. Делалось это так: два старых фискала подходили к избранному ими на улице прохожему и объявляли его находящимся на службе у Компании — ведь никакой специальной подготовки для подобного рода службы не требовалось. Что запрещено, то, следовательно, запрещено. И опять стало опасно появляться на улице — ведь даже десятилетних детей не миновала подобная участь, не говоря о взрослых, которым просто немыслимо было отвертеться.

Мы думали, что эти обращенные против своей воли в фискалов не будут столь строги,— ведь их не увлекала подобная карьера в Компании, и им, возможно, захочется ей отомстить. Так ничего подобного. Наоборот. Они с яростью хватали тех, кому удалось избежать их участи,— может, конечно, из зависти, а может, кто знает, именно этим они хотели вызвать всеобщую злобу против хозяев, чтобы изгнать их.

Как человек разумный, мать прекратила свои прогулки и меня выпускала только в редких случаях: купить продукты, отнести работу, получить за работу деньги — и обязательно каждый мой выход сопровождая наставлениями.

Это было время, трудное для всех, но для нас особенно: заказы у матери сократились — кому хотелось рисковать, выходя на улицу? И если бы не маниок и картофель, которые посадила мать, то мы бы голодали. Ведь кофе мы пили без сахара, суп ели без соли, а яйца только вареные: экономили жир.

Тот, кто мог уехать, уехал. Поначалу Компания, видно, решила, что это к лучшему: меньше людей в городе, легче за ними следить. Конечно, и мать стала подумывать, куда бы податься, ведь жизнь не в жизнь,— только вот как с отцом. Но скоро этим думам и раздумьям был положен конец. Компания выезд запретила. Все дороги были перекрыты их людьми.

Так мы оказались отрезанными от всего мира. Ведь не только мы не могли выехать, но и к нам в город никто приехать не мог: приедешь, а потом и не уедешь, кому это нужно... Мы и писем не получали, потому что все почтальоны были теперь фискалами. Ну какой дурак сам пойдет в лапы к Компании, хоть и за письмом. Вот они и скапливались на почте, подчас очень важные. Лежали, прели, плесневели.

9

Из поднебесья

Как теперь я понимаю, Филипе Маркондес сказал одну важную вещь. Одного рыбака как-то укусил скат. Он проплакал, как говорили, весь вечер и всю ночь, прося, чтоб его убили — боль была невыносимой. Мы с Филипе обсудили этот случай. Вопреки моим ожиданиям, Филипе сказал, что скорее всего этот рыбак преувеличивал или притворялся, потому что невыносимой боли не существует. Невыносимую боль никто вынести не может. Я, конечно, решил, что это Филипе вычитал в книгах — он очень любил цитировать прочитанное.

Раздумывая надо всем тем, что происходит в нашем городе, я прихожу к заключению, что Филипе прав. Все уже столько времени говорят, что наша жизнь невыносима, но сами ее выносят... Выносят, хотя она с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее. И когда уж совсем невмоготу, кто-нибудь придумывает какое-нибудь развлечение.

Так случилось и на этот раз. Теперь мы поднимались на самое высокое место в городе и смотрели оттуда на поля, луга, дороги, не подведомственные нашей Компании. В ясные дни нам хорошо было видно, что на лугах пасся скот, а тем, у кого со времен грифов сохранились бинокли и подзорные трубы,— даже колышущаяся на деревьях листва. Видно, ветер там был иной, свободный, и никаких препятствий, вроде наших стен, он не встречал. Надо сказать, что этим увлекались многие, и каждый день число участников этого развлечения

все увеличивалось и увеличивалось. Конечно, изо дня в день мы видели одно и то же, но не утомлялись, нет. И, думаю, это понятно — ведь когда праздник видишь в замочную скважину, всегда есть о чем пофантазировать.

Мы с друзьями обнаружили исключительно подходящее место — колокольню старого разрушенного монастыря, окруженного лесом и непроходимым кустарником, где в изобилии водились кобры, ящерицы и прочие твари. Тут фискалам и в голову не могло прийти искать нас, а там-то мы как раз и собирались.

Шли мы туда каждый в одиночку, чтобы не привлекать внимания. Однажды я пришел раньше всех, поднялся на башню и, сев на перекладину, стал поджидать своих товарищей. (Один из них должен был принести бинокль.) И, поджидая, поглядывал то на город, в котором, кроме лабиринта стен, да почерневших крыш, да струек дыма из двух-трех труб, ничего и не было, что тут же меня и разочаровало, то за реку.

За рекой без бинокля тоже немногое можно было увидеть. Разве что чем-то груженный грузовик, который медленно брал подъем в сторону Андиара, чтобы, миновав наши края, выйти на север. Я проследил проделанный им путь и задумался о тех двоих, что сидели, сопровождая груз. Мне видны были только их спины, но было ясно, что им чужды наши проблемы, что они свободны от всех наложенных на нас запретов и от фискалов.

Не найдя ничего заслуживающего внимания там, вдалеке, я стал рассматривать рисунки и надписи на обшарпанных стенах колокольни. Сколько непристойностей, сколько глупых стихов, сколько ругательств, наконец, рисунков обнаженных мужчин и женщин. И все написано до того, как у нас обосновалась Компания, так как о ней — ни слова. Я тут же решил исправить ошибку, но не смог: не нашел пишущего предмета.

Когда все сделанные рисунки я рассмотрел, все, что было написано, прочел, я опять бросил взгляд в сторону реки, скорее желая дать отдых глазам, чем надеясь что-нибудь увидеть, и замер от неожиданности. Замер в страхе. Прямо по курсу моего взгляда мимо колокольни летел человек! Летел быстро, но я успел его рассмотреть. Можно было бы сказать, что он плыл, но не выбрасывая руки, а слегка ими помахивая. Во рту у него была сигарета или дымящаяся трубка.

Самая высокая часть колокольни, где мы обычно располагались, имела только три стены. Одна с окошечком — его мы никогда не открывали — и две боковые. Вместо пола шли две вделанные в стены балки. Та, которая шла снизу, была подгнившая, и когда мы стали наведываться на колокольню, то решили ее сбросить. Уж очень интересно было, с каким грохотом она полетит вниз. Человек пролетел справа налево, я увидел его на середине пути, и когда он исчез за левой стеной колокольни и я обрел способность двигаться, я сел на оставшуюся балку, левой рукой уперся в стену и поглядел вниз, но ничего не увидел — он, должно быть, огибал колокольню.

Я бросился к стене с окошечком — тут всего-то метра три с небольшим — и попытался его открыть, но безуспешно: шпингалет, который я с трудом достал большим пальцем, заржавел и не поддавался. Я подумал, что человек сделает еще один круг, и снова стал перед открытой частью башни. Но тут же понял, что попусту теряю время, и бросился через дверь на лестницу. Осторожно нащупывая ногой еще сохранившиеся ступеньки, я спустился вниз. Оказавшись внизу, я поднял глаза к небу, но ничего не увидел. Оно было чисто: ни единой тучи, ни единой птицы.

Мирно заходило вечернее солнце, золотя все вокруг своими косыми лучами, и меня тут стали одолевать сомнения. Видел я или не видел летящего человека? И если это не человек, то что же? У него ведь руки, ноги, голова, нос! Ангел, одетый во все человеческое? И с сигаретой? А разве курение не порок?

Я снова поднялся на колокольню, чтобы либо увериться в своей правоте, либо окончательно разувериться.

Там, внизу, на земле, все еще было залито ярким и слепящим солнцем, не допускающим никаких призрачных видений, а здесь, на колокольне, царила полнейшая темнота, и я с трудом находил ногой опору. Когда лестница кончилась, я оказался на самом верху, на балке. Тут я застыл, глядя в небо, не доверяя ни самому себе, ни окружавшему меня миру. Странное, до сих пор неизвестное мне чувство — ложь самому себе — испытывал я и хотел как можно скорее оправдаться.

Ждал я долго, но безуспешно. Если кто-то и пролетел тогда, то вряд ли так быстро полетит обратно. А между тем солнце почти село, и большая часть полей по ту сторону реки уже была в тени. Еще немного — и всякие коварные твари и ядовитые звери выползут из своих укрытий. Тут мне пришло в голову, что нужно как можно скорее идти в город: не может быть, чтобы кто-либо еще не видел летящего человека. Должно быть, в городе переполох.

Я съехал по непрочным, качающимся поручням и, забыв о змеях, опрометью бросился через лес и пулей вылетел на дорогу. Оказавшись на первой улице, я остановился от сильной боли под ложечкой. Постоял, отдышался и медленно пошел дальше.

Ни на этой, ни на других улицах не было ни души. Под косыми лучами вечернего солнца бесконечные стены нашего города отбрасывали друг на друга густые тени, и, оказавшись среди них, я испытал странное чувство, будто меня засасывают какие-то темные воды. И это чувство усиливалось каждый раз, после того как я глядел в небо, проверяя, не произошло ли там чего.

Мать развешивала во дворе белье. Я предложил ей помощь, но она отказалась, сказав, что это не мужское занятие. А вот вырвать маниок к обеду — пожалуйства. Только вначале надо переодеться. Однако прежде чем все это исполнить, я решил, взглянув еще раз в небо, заговорить с матерью:

— Хороший день сегодня. Небо такое голубое-голубое.

— Жаль, что здесь, на земле, не так красиво,— ответила мать и, глядя на развешиваемую простыню, добавила: — А знаешь, что они еще придумали? Теперь все, кто имеет огороды, должны их зарегистрировать в Компании.

— Кто это сказал?

— Вон бумага пришла. На столе. И это придется сделать тебе. Моя голова на это не годится.

И ни слова о летающем человеке.

— И все? — спросил я.

— А тебе что, мало? Докладывать о каждом хвосте петрушки!

Я все сделал, что просила мать, но не переоделся, так как хотел еще раз, как только стемнеет, выйти на улицу. Ну не может же быть, чтобы я один видел летящего человека?!

Но те, кого я встретил на улице,— все они очень спешили, их гнал страх столкнуться с фискалами,— похоже, не видели, если, конечно, просто не скрывали опять же из страха, ведь теперь все всего боялись!

На следующий день, придя в школу, я все еще надеялся, что хоть кто-нибудь из ребят да заговорит о летающих людях. Я даже как мог вызывал их на этот разговор. Но все молчали. Тогда, выходя из школы, я прибег к последнему средству: ткнув пальцем в небо, я неожиданно спросил:

— Что это?

Все посмотрели вверх, ничего не увидели — видеть было нечего. Но один тут же сказал:

— Старо. Придумай что-нибудь поновее.

Поняв, что и этим я не достиг желаемого, я счел разумным промолчать, как бы соглашаясь, что шутка не удалась.

Шли дни, а я все не спускал глаз с неба. Все ждал и надеялся. И однажды, заглядевшись, чуть не угодил в лапы к фискалу. Хорошо, вовремя почувствовал кисловатый запах. Этот запах исходил от всех фискалов, даже от отца во времена его службы. Фискал потряс меня за плечи, спросил, что я там, за облаками, потерял, и пошел своей дорогой. И как это он меня не забрал в фискалы? Да, это желание увидеть летающих людей могло мне дорого обойтись!

И вот как-то вечером, неожиданно для себя самого, когда и не думал о летающем человеке, я его увидел. Увидел в самом центре неба, чистого, безоблачного неба. Он летел чуть выше колокольни. Но все: руки, ноги, голова, даже растопыренные пальцы — было четко видно. Я поливал огород. Тут, кинув лейку, я бросился через дом на улицу.

На кухне мать что-то жарила. Зная, что она верит только тому, что видит собственными глазами, я пронесся мимо нее, ни слова не говоря. Она меня окликнула, но я не ответил. Вылетев на улицу, я задрал голову вверх, надеясь еще раз увидеть летящего человека, прежде чем он исчезнет из поля зрения.

Но небо — бездонная голубая чаша — было чисто. Я прислонился к стене и стал смотреть поверх нашей крыши — ведь человек за то время, пока я бежал через дом, мог и обратно повернуть. Я даже привстал на цыпочки, вытянул шею, несколько раз подпрыгнул, но все без пользы — он исчез, и все. Тем временем высунувшаяся из окна мать махала мне рукой, явно недоумевая, что за муха меня укусила.

Входя в дом, я не раз оборачивался. Какой же вид я имел, если мать, не зная, что сделать, набрала в рот воды и опрыскала мое лицо. Потом точно тяжелобольного потащила к софе. Что тут оставалось делать? Только нагрубить ей. И я это сделал. Вырвался, сказал, чтобы она оставила меня в покое. Я здоров, здоров, и нет нужды меня укладывать в постель.

— Но ты же белее полотна! Ни кровинки! — сказала она.— Что тебя так перепугало?

Я решил сказать правду. Будь что будет.

— Я видел летящего человека.

Мать подозрительно посмотрела на меня, пощупала мой лоб и спросила:

— Что, что ты сказал?

— Летящего человека. Он появился со стороны реки, пролетел над нашим домом и скрылся. Когда я выбежал на улицу, его и след простыл.

— Пойду-ка приготовлю чай с апельсином — он хорошо успокаивает.

Теперь я злился на себя самого. Какого черта я сказал это? Разве трудно было что-нибудь выдумать? Ну какую-нибудь историю, в ко-

торую и поверить можно. Например: привидевшийся мне призрак — душа черного раба, плачущая у фигового дерева. Почти всем это видится. Да, теперь уж, пожалуй, самое лучшее прикинуться больным и не настаивать на том, что уже сказано некстати. Успокоительный чай — так успокоительный чай.

Чай мать принесла дымящийся. Она остужала, переливая его из чашки в чашку, время от времени поглядывая на меня.

— Сегодня тебе лучше побыть дома,— сказала она, когда я отдал ей пустую чашку.— Ты, видно, перегрелся на солнце. Покой нужен.

— Должно быть, да,— ответил я со всем согласный, уже входя в роль больного.

Но как мог я лежать в постели дома, когда там, снаружи, на улице, происходили подобные вещи? И если кому и нужен был покой, то матери! А вот мне — мне нужно было быть на улице! Конечно, какое-то время мне пришлось тихо и спокойно лежать, пока мать вернулась к своим делам на кухне. Тут же она стала думать о моей неуемной фантазии, способной выдумать летящего человека! Какая это болезнь! Не болезнь это! И как только она вышла из комнаты и я остался без присмотра, я выскользнул на улицу.

Сколько же в тот день я исходил улиц, сколько кружил по одним и тем же местам и возвращался к дому! Я даже заглянул в лавку сеу Шамуна, но нигде и никто и словом не обмолвился о летающих людях. Сеу Шамун, поздоровавшись со мной, спросил, куда это я исчез, уж не работаю ли где в другом месте? Он даже предложил мне табурет как важному клиенту и даже пожаловался, что плохо идет торговля, а на прощание завернул несколько бисквитов для матери.

Домой я вернулся разочарованный и задумчивый. Уж не заболел ли я и впрямь летающими людьми? А может, это новый и опасный маневр Компании? Может, все видят, но вынуждены молчать?

Мать встретила меня разъяренная. Она схватила меня за руку, сказав, что бить не будет только потому, что уж очень мне доставалось от отца, но что я заслуживаю хорошей трепки.

— Что же это такое, а? Я уложила тебя в постель, но стоило мне отвернуться, как ты сбежал на улицу? Где у тебя голова? Ты что, не знаешь, что можешь получить менингит и умереть, а то и вовсе дурачком на всю жизнь остаться?

Тут я протянул ей бисквиты. Она даже не взглянула на них. Пощупала мой лоб и объявила:

— Теперь на шаг от себя не отпущу.

На следующий день она даже в школу меня не пускала и уступила только потому, что я сказал, что у меня контрольная.

— Хорошо. Но чтоб туда и обратно, и никаких задержек на улице! А если вдруг станет плохо на уроке, извинись — и домой. Язык для того и дан, и преподавательница, если болен, должна отпустить.

Да, положение мое с каждым днем становилось все хуже и хуже. Нет, болен я не был, наоборот. Уверен, абсолютно уверен, что голова и нервы в полном порядке. Да и глаза тоже. Ведь я, когда мать шила, чтобы сэкономить ее время, вдевал ей в иголку нитку с такой легкостью, что... Да что там нитку! Я видел все-все, и вблизи и вдали, видел великолепно. А может, это как раз и есть та самая болезнь — болезнь видеть больше, чем положено?

Я просто, как маньяк, стал рассматривать все с особым вниманием, все, даже ладони рук. А что делать, если делать нечего? И знаете, к чему пришел? Неплохое это занятие, совсем неплохое. Всматриваясь в ладонь, следуя начерченным на ней линиям, их пересечениям, их взлетам и их падениям, человек как бы находится под гипнозом, и

чем больше смотрит, тем больше хочет смотреть. Он даже не моргает, чтобы не упустить ни одну из сцен спектакля. Ему открывается движение и цвет, что никому никогда не снилось, и все это на твоей же собственной ладони. В какой-то момент, не без страха конечно, ты отмечаешь, что уже смотришь не со стороны, а как бы внутренним взором и это уже не рука, а какой-то иной мир, он населен, ты видишь его, слышишь, чувствуешь и начинаешь понимать, что находишься на пороге невероятного, сенсационного открытия. И вдруг все летит в тартарары. Неожиданно возникший страх превращает руку в руку, а тебя ставит лицом к действительности.

Конечно, хуже всего было то, что мать требовала, чтобы я вел себя как больной, осознавший, что болен. Я впал в задумчивость, был рассеян, глупо смотрел вокруг себя и иногда даже не отвечал — а если отвечал, то невпопад — на материнские вопросы.

Однажды она мне сказала:

— Если бы ты был постарше, я бы решила, что ты влюблен. Не иначе. Потому что — что же это такое в конце-то концов? Почему ты скрытничаешь!

Я хотел бы не скрытничать, но, как видно, невозможно. Вот и приходилось выдумывать самые разные разности. Так, получая вместо доставлявшей мне удовольствие еды горький чай, который должно было испить до последней капли, я высказывал свою озабоченность судьбой отца, или говорил о своей тоске по дяде Балтазару, или... Я апеллировал ко всему. И однажды даже объявил, что меня пугает конец света.

Вот так и шла моя жизнь в последние дни вплоть до прихода фискалов к нам в дом с целью сделать опись растущих в нашем огороде овощей.

Они вошли без стука не прося разрешения, вошли в тот самый момент, когда я помогал матери мыть посуду и прибирать на кухне. Мать очень вежливо предложила им кофе, но получила отказ. Приняв отказ за обычную для людей стеснительность, мать стала доставать чашки. Тогда один из фискалов сказал, что с некоторых пор им категорически запрещено принимать какие-либо услуги от инспектируемых, дабы предупредить поблажки при инспекциях.

— И я думаю,— добавил другой,— сеньора согласится с этим. Сначала — чашечка кофе, потом — кусочек пирога, потом — куриное крылышко, сыр, наконец, свиной окорок. И дело сделано! Мы скомпрометированы.

Мать замерла на месте, не зная, что делать с той чашкой, что она держала в руке, и принялась оправдываться. Говорила, что она вовсе не хотела никого компрометировать, что она только подумала, что кофе еще горячий и можно угостить людей. Но если это нельзя, то нельзя, пусть ее простят.

Слыша, как мать оправдывается, словно служанка перед хозяевами, я пришел в ярость, которая захлестнула меня, когда другой фискал с явной издевкой сказал:

— Знаем, знаем. Слыхали подобные речи, и не раз. Так что опыт есть уже, нас не проведешь.

Я взял из рук матери чашку, поставил ее на место в буфет и заговорил, как взрослый:

— Так когда сеньоры хотят приступить к осмотру огорода? Прошу, пожалуйста, вперед.

— Чем скорее, тем лучше,— сказал один из них, вынимая бумагу и карандаш из кармана. Бумага оказалась тем самым формуляром, который я заполнил несколько дней назад.

Я проводил их сначала в огород. Здесь они пересчитали все: каждый куст томата, киабейро[1], перца, каждый кочан капусты, салата-латука, внося в формуляр едва намечавшиеся в трещинках грядок новые побеги даже еще непонятно каких овощей. Лук, петрушка, чеснок, тыква были исследованы сверху, снизу, обнюханы со всех сторон, при этом один считал, другой заносил в бумагу. Я стоял в стороне, смотрел на все это, но думал о своем. Одному из них показалось, что я критикую их работу, и он, в очередной раз опускаясь на колени около очередной тыквы, сказал, повернувшись ко мне:

— Да, да, именно так это и делается. И не думайте, что мы выполняем свою работу без особой охоты.

Когда же по всей форме все было учтено и обсчитано, мы направились к посадкам батата, маниока, а затем к фруктовым деревьям. И тут тот, кто заносил в формуляр, вдруг обратил внимание на росший у забора табак.

— А вот эта штука в бумагу не попала,— сказал он.

— А-а? Ускользнула случайно,— сказал другой.

Первый опять прошелся глазами по формуляру. Перевернул лист. Покачал головой.

— Нет как нет! Как же это, юноша? А? Надеюсь, эти кустики не появились на свет после того, как вами была сделана опись?

Другой подошел ко мне вплотную:

— Ну-ка, послушаем, что он скажет.

Я объяснил, что это не саженец, что это дикорастущее растение, такое же, как терновник, крапива, кактус и другие, и если они пожелают, пусть вырвут и унесут с собой, сделают такое одолжение.

Тот, кто состоял при бумаге, зло заметил, что вырывать что-либо их никто не уполномочивал. Для этого в ведении Компании имеются специальные бригады, но они пойдут после того, как будет проделана основная работа и начат судебный процесс, который как раз в их ведении. Тут он обратился к своему напарнику:

— Ну, так как поступим? Занесем в список или?..

— Ах, обязательно что-нибудь да не так. Что-нибудь да мешает тебе работать! — сказал другой, скребя в затылке.

— Вы используете его? — спросили они меня.

— Как? Это же ни на что не годится! Разве что, когда клещ вопьется, стряхнуть, как веником.

— А-а, так, значит, используют. Пиши в бумагу!

— Тогда пишите и крапиву, и побеги бузины,— сказал я, глядя вокруг и перечисляя все, что лезло в глаза.— Вон там еще лебеда, а там подорожник, а там...

— Это все посажено?

— Нет, само, само выросло.

Тот, кто был занят бумагой, задумался. Куда? В какую графу писать? Потом предложил второму фискалу:

— Вот что сделаем. Напишем только то, что в огороде, а что вне огорода — писать не будем. Не видели мы этот табак, и все тут!

Второй склонил голову на правое плечо, потом на левое и сказал, глядя на меня:

— Хорошо. Только юноша обещает, что вырвет эти кусты сегодня же. Вырвет и заровняет землю!

— Сегодня не могу. Сегодня очень занят,— объявил я.

— Тогда завтра.

— Завтра тоже не могу. В ближайшие дни не могу.

---

[1] Стручковое растение.

— Видишь. Не желают идти навстречу, да и только! — сказал фискал.— А если бы желали, все бы было хорошо.

Какое-то время они молчали, не зная, что предпринять. Я наслаждался их замешательством. Какое мне до них дело? Пусть себе решают, как быть с этими кустами.

Наконец тот, что при бумаге, изрек:

— Вот что, ограничимся-ка мы огородом, а сад... пусть каким описан, таким и остается.

— Дело твое,— сказал другой, явно устраняясь от решения вопроса.

— Ну, так все-таки как? Согласен?

Тот был согласен, и мы оставили огород. Заложив дверь калитки на щеколду, я пошел вперед, ведя их за собой, чтобы как можно скорее избавиться от их присутствия. Вдруг один из них тронул меня за плечо:

— Глянь-ка сюда, что бы это могло быть?

Я посмотрел в указанном направлении и увидел... Нет, не одного, а троих летящих людей. Махая руками, точно крыльями, они то взмывали вверх, то устремлялись вниз, то вдруг пускались, как дети, вдогонку друг за другом, плотно прижав к телу руки.

— Ну, что ты скажешь теперь? Опять ложь, да? — спросил тот, кто их заметил, своего, как видно, неверящего напарника.

— Но это невероятно! Это невозможно! — воскликнул тот, широко раскрыв рот то ли от изумления, то ли по привычке.

Все трое мы долго следили за парящими в небе людьми. Фискалы — позабыв обо мне, а я, как раз наоборот, внимательно следя за реакцией обоих. Ведь они же свидетели! Теперь не один я видел этот феномен.

— Но это невероятно! Это невозможно! Они же люди! Посмотрика, посмотри, вон тот, что поменьше, какие трюки выкидывает, а? Того и гляди, упадет,— изумлялся тот, что видел впервые.

— Вот так-то! И впредь верь, если я говорю, а не смейся. Иль опять сомнения грызут? — подтрунивал первый, явно мстя Фоме неверующему.

А там, в вышине, люди-птицы продолжали свой полет. Медленно, но верно двигались они в сторону, противоположную реке. Я внимательно следил за ними, следил за каждым их движением и старался разгадать, как это им удается держаться в воздухе. Ведь если они могут летать, то, может, и я могу? Когда же они скрылись из виду, я опять услышал разговор фискалов:

— Ну как? Что будем делать? Сообщим куда следует или будем молчать в тряпочку?

— Да кто ж его знает? Надо бы подумать.

— Молчать, может, и опасно. А вдруг кто выдаст, что мы видели?! Вот уж влипли, так влипли! Ведь в наши обязанности входит сообщать все, все увиденное и услышанное.

— Неужели и это? А ведь могут решить, что мы не в себе, что тогда?

— Ну и положеньице!

— А если сообщить, что мы видели какие-то неясные летающие предметы, ничего не говоря о людях? Ты не думаешь, что это лучше?

— Может быть. Давай так и сделаем. И ответственности избежим, и себя никак не скомпрометируем.

Тут один из них вспомнил обо мне и, положив мне руку на плечо, спросил меня:

— Ну, а ты видел что-нибудь подобное раньше?

Пока я думал, что ответить, второй определил мой ответ:

— Послушай, не стоит нарушать устав. Нет на то причины. Ведь вступать в отношения с инспектируемыми запрещено.

Опрометчиво поступивший фискал тут же снял руку с моего плеча и кисло улыбнулся.

— Да, это, конечно, лишнее, согласен.

К дому мы подошли молча. У дверей я, предлагая последовать моему примеру, вытер ноги о железный коврик. Один вытер, другой нет.

Мать встретила нас вопросом, все ли в порядке. Они ответили, что все в порядке.

— И образцовом порядке! — сказал один, опять пренебрегая уставом. На что, конечно, позже указал ему другой.

Особенно его пленили томаты. Глаз радуется. Он даже посетовал, что его жена не способна огородничать: поначалу даже все ничего получается, всходы хорошие, а потом все вянет на корню.

— Земля виновата,— сказала мать утешительно. Она всегда и всех старалась утешить.

— Есть, конечно. Конечно, земля неважная.

Боясь, что они уйдут, так и не обмолвясь о виденных нами людях-птицах, я брякнул:

— Мам, они вот тоже видели. Как жаль, что ты была в доме.

Но только я закрыл рот, как понял, что мне бы его лучше не раскрывать вообще. Фискалы переглянулись, потом угрожающе уставились на меня.

— Что это ты сказал? — спросил один из них.

— Овощи. Все, как надо. Вы же видели,— попытался было я как мог поправить дело.

— Не увиливай! Ты только что пытался сказать, что и раньше видел летающих людей.

— Нет! Только сейчас, вместе с вами.

Отвернувшись от нас с матерью, они посовещались о чем-то шепотом, потом спросили:

— Как твое имя? Очень может быть, что несколько позже потребуются твои показания. Мы знаем, что ты видел. Не старайся лгать, не надо. Запиши-ка,— сказал один из них,— его имя.

Мать встревожилась, занервничала и умоляюще залепетала:

— Нет, вы не возьмете его! Нет?! — Она обнимала меня, прижимала к себе, испуганно глядя то на одного, то на другого.

Ей подали знак молчать, но она не поняла и запричитала:

— У меня уже мужа взяли, теперь грозят взять сына. Мы ничего никому не делали плохого. Живем в своем углу и все.

Фискалов явно заинтересовал такой поворот. Они опять переглянулись, поняв, что положение осложняется:

— Взяли мужа? Да? Это за что же?

— Ни за что! Ни за что! Он работал не покладая рук на Компанию. А теперь даже не знаем, жив ли он? Оставьте моего сына, богом молю. Он все, что у меня есть, все!

— Слышь, старик? — сказал один другому.— Все они виноваты. Все! Только копни, все наружу выходит!

Я обнял мать как только мог крепко, стараясь ее утешить:

— Они не возьмут меня, нет. Они лишь хотят знать, видел ли я летающего человека, то есть летающих людей. Да, я видел, видел, как и они, и это не преступление. И видел я только потому, что вот этот сеньор показал мне, а так бы я и не видел.

— Вот те на! Ловко. Я же и виноват оказался. Хорош голубчик! Хорош. Так вот, чтобы ты знал: я тебе ничего не показывал! Понял?

— Ну, если не показывали, то я и не видел. Мы же были втроем.— И пока они обменивались многозначительными взглядами, продолжал, уже обращаясь к матери: — И нечего пугаться, ничего ровным счетом не произошло.

— Ладно, потом решим этот вопрос,— сказал один из них.— А сейчас нам пора! Нам еще столько огородов инспектировать.

Теперь-то уж никто не удивляется — весь мир летает. Плюет на запрет и летает. Не летает разве тот, кто не хочет или боится. Но в те дни шумиха по этому поводу была страшная! Многим казалось, что пришел конец света. Народ метался в беспамятстве, церкви переполнились — ведь тогда даже те, кто никогда не молились, бросились к алтарям, ссорясь друг с другом из-за места перед образами. Поговаривали, что были случаи со смертельным исходом. От страха, конечно! Сам я этого ничего не видел — мать не пускала. Да и не только потому, что мать не пускала, а сам не выходил — боялся оставить мать одну.

Компания попыталась было кое-что предпринять, но потом отказалась от своих попыток. Дезертировали фискалы — сбежали в лес, боясь возмездия народа. И не только фискалы, но и некоторые директора тоже покинули свои дома. Укрылись с семьями кто где. Кто под крылом Компании, а кто и в никому не известных местах.

Спустя какое-то время паника и беспорядки поуменьшились — ведь так уж прямо никаких бед с неба не сыпалось. А когда все узнали, что и сама Компания перепугана, и больше чем мы, то страх совсем исчез. Потому что всякий умный поймет: что плохо для Компании, то хорошо для нас. Вот тут-то мы и оценили представившийся нам спектакль.

Но... Компания не долго тряслась от страха, как мы желали того и надеялись. Нет. И пока все мы днем развлекались, глядя в забитое летающими людьми небо, а ночью подсчитывали часы и минуты, приближающие рассвет, а следовательно, продолжение удивительного зрелища, Компания готовилась к бою. И вот однажды утром мы были разбужены громкоговорителями, установленными на курсирующих по городу автомашинах. Они оповещали жителей о новом запрете — запрете смотреть вверх под любым предлогом.

И было совершенно очевидно, что Компания располагает всеми необходимыми средствами, чтобы провести этот запрет в жизнь, а если потребуется, то и наказать, наказать непокорных. Нет, Компания с нами не шутила. И нам ничего не оставалось, как ходить повесив голову.

Но ходить все время повесив голову, зная, что ее поднять нельзя, очень утомительно. Да и не только утомительно, а просто больно. Ведь начинают ныть шейные позвонки, и ты волей-неволей вскидываешь голову вверх, чтобы просто отдохнуть. Тут-то и обрушиваются на тебя наказания! И вот, чтобы избежать этих неминуемых наказаний, один человек изобрел удивительный аппарат, который, я думаю, заинтересует наших потомков, когда они, ведя археологические раскопки, обнаружат его. Но поймут ли они предназначение этих деревянных двойных блоков, держащихся на петлях с одной стороны и на замке с другой? Что решат они относительно имеющегося в этих блоках отверстия, равного массивной шее, и вертела в одной из половин, конец которого тяготеет к центру? И догадаются ли, что именно на шею надевали мы этот самый предмет, когда выходили на улицу, и что вертел фиксировал затылок, если вдруг человек забывался и поднимал голову?

А чтобы убедить народ, что с неба ничего хорошего упасть не может, Компания пошла на следующие меры. Каждый день на город в изобилии сыпались какие-то странные предметы. То это были клейкие, похожие на уши, кусочки из неведомой нам материи. Они падали в самых многолюдных местах, слипались, распространяя ужасающую вонь, потом воспламенялись и, сгорев, оставляли после себя красные пятна. То даже трудно сказать, что именно падало, но падало с такой быстротой и тут же, соприкоснувшись с землей, подскакивало, визжало, шипело, клокотало, рвало и резало все подряд чем-то вроде железного зубила. А то и вовсе на город налетал рой механических слепней, которые жалили направо и налево, впрыскивая какую-то сыворотку, после чего повышалась температура и начинались кожные воспаления.

И все же эти маневры Компании не запугали народ. День ото дня количество летающих все увеличивается и увеличивается. И для того чтобы в том убедиться, уже нет нужды смотреть в небо. Вполне достаточно в полдень на земле видеть их бесчисленные тени. Или просто обойти опустевший город. А еще, похоже, Компания уже не может справиться и со своими служащими. Теперь бывают дни, что и с неба ничего не сыплется. А фискалы так же без толку кружат по городу, угрожают, взывают к сознательности, обещают выгоду. Но кому? Кому? Говорят, что и из них многие летают.

Очень грустно видеть опустевшие улицы, покинутые дома, дверями и окнами которых играет ветер. Очень грустно слышать вой собак, которые (увы!) не могут следовать за своими хозяевами (по невыясненным причинам собаки не могут оторваться от земли). К счастью, эти бедные животные вымирают от голода и тоски, и скоро вой их прекратится.

А Компания? Компания нет-нет да устраивает парады своих служащих. С оркестром, фейерверком, громкоговорителями. Шум, треск, как во время предвыборной кампании. Но никакого веселья! Наоборот, участники парада лениво дуют в трубы, словно из-под палки бьют в барабаны. А когда все это так называемое веселье кончается, то наступившая тишина кажется еще более зловещей, чем раньше.

Иногда я все-таки бросаю ручку и тетрадь и иду пройтись по улицам. Нет-нет да кого-нибудь встречу, кого я и кто меня никогда в жизни не видел. Похоже, те, кто не летает там, в воздухе, здесь на земле тоже как-то летают. Теперь на улице чаще, чем людей, встречаешь разорванную туфлю, какие-нибудь предметы туалета, связки ключей, деньги (главным образом монеты). Деньги я поднимаю. Может статься, что они опять будут иметь цену.

Сегодня я был в лавке сеу Шамуна. Одна тоска! Пыль, запустение. Ну просто свалка, и все! Служащих, что работали там при мне, уже нет. Уволились. Вот только сами уволились или хозяин рассчитал — не знаю. Но по всему похоже, что сеу Шамун с торговлей покончил, хотя лавку открывает каждый день,— в лавке можно узнать новости: должно, потому и открывает.

Здесь, в лавке Шамуна, сегодня я видел одетого в белое худощавого сеньора. Голос его звучал, как басовая струна виолончели. Когда я вошел, он очень спокойно говорил, что никто, конечно же, не летает. Я удивился, но промолчал. Может, это шутка какая? Но тут сеу Шамун спросил:

— Тогда что же, по-вашему, мы все сумасшедшие?

— Почему же сумасшедшие? Нет. Просто все мы страдаем коллективными галлюцинациями.

— Объясните, профессор, что это такое? — попросил сеу Шамун, не прекращая затачивать перочинным ножом карандаш. Возможно, карандаш ему был нужен, а возможно, оперируя ножом и карандашом, он хотел подчеркнуть свое отношение — свое безразличие — к столь абсурдной теме.

— Коллективные галлюцинации? Ну, это когда все думают, что они летают или видят других летающими. Ведь все люди мечтают летать, и чем дальше и выше — тем лучше.

— Так коллективные галлюцинации — это болезнь?

— Нет. Совсем нет. Наоборот. Лекарство.

— Лекарство? Против чего же?

— Против безумия, разумеется.

Сеу Шамун умолк, задумчиво глядя на карандаш. Потом спросил:

— И когда же мы перестанем принимать такое лекарство? Когда мы или те, кто вверху, перестанут летать? Или это никогда не случится?

— Почему же не случится? Случится.

— Но когда же, когда?

— К празднику бородатых королей.

Я ждал, что сеу Шамун спросит, кто такие бородатые короли и что это за праздник. Но он ничего не спросил. Тут я увидел, что профессор застегивает пальто и поспешно идет к двери. Я стоял к двери спиной и смотрел на сеу Шамуна: меня живо заинтересовала его реакция. И вдруг мне показалось, что тень профессора возносится...

Очень не хочется все это переписывать начисто — устал я видеть летающих людей.

■

ИВАН РУМАНСКИЙ. Чехословакия.
Отдых в горах.

Критика

М. ЛАНДОР

ОТКРЫТЫЙ ЭПИЛОГ 30-х ГОДОВ

О романе Томаса Вулфа «Домой возврата нет»

С выдающимся американским писателем Томасом Вулфом (1900—1938), после лет забвения заново прочитанным и так сильно прозвучавшим в сегодняшней Америке, «Иностранная литература» уже знакомила читателей: журнал напечатал две повести из книги Вулфа «От смерти к заре» (1935) и статью М. Ландора о его творчестве [1]. Тогда же, в 1971-м, издательство «Художественная литература» выпустило роман Вулфа, начинающий его эпический цикл — «Взгляни на дом свой, Ангел» (1929), а в 1977-м — роман «Домой возврата нет», завершающий этот цикл. Посмертно вышедшая книга Вулфа стала вехой в новейшей прозе США; она издана ныне в Штатах массовым тиражом и вызывает там острый и живой отклик.

Мы публикуем статью М. Ландора, посвященную анализу романа «Домой возврата нет» в контексте одного из самых плодотворных десятилетий американской литературы.

Студенты Виргинского университета спросили у Фолкнера, какое произведение он считает величайшим в Америке. Он назвал «Моби Дика», потом «Гекльберри Финна». И дальше провел неожиданную антитезу между этими книгами своих классиков, начав, однако, с антитезы между писателями-современниками.

Отдать предпочтение роману Мелвилла, сказал Фолкнер, можно было бы «по той же причине, по какой я ставлю Вулфа выше, чем Хемингуэя: «Гекльберри Финн» — это завершенная работа, в ней художник сохраняет свой контроль, а «Моби Дик» все же не вполне удавшаяся попытка, тут взята задача выше сил одного человека»[2].

У Фолкнера, заметим, ассоциируется с романом о БеломКите не один какой-то современный том, а проза Вулфа в целом. Творческая задача этого рано умершего эпика тоже была выше человеческих сил: вместить в книгу об одной жизни всю Америку, с великим множеством судеб, причастных к судьбе автобиографического героя, улавливая и в его далекой предыстории все «проблески света». Эту Книгу, о которой мечтал Вулф, составили его четыре романа и два тома малой прозы. Жанровых перегородок здесь словно не существует: и небольшие вещи дают ощутить единство этого необычного целого.

Вскоре после «Ангела», своего романа-дебюта, Вулф напечатал памятную многим читателям «Иностранной литературы» повесть «Паутина земли». Рассказ в ней ведет одна из основных героинь романа, мать Юджина Ганта; цепкая и суеверная

[1] См. «ИЛ» № 7, 10, 1971.

[2] Faulkner in the University, New York, Vintage Books, 1965, p. 15.

южанка предстает острым летописцем своего городка, который ее мятежный сын и вдали от родных мест «несет в себе». Что это — вариации на знакомую тему? Нет, важная глава, добавленная Вулфом к его Книге. А в романе-итоге «Домой возврата нет» мы находим страницы о скитаниях героя по ночному Нью-Йорку и его погружении в бруклинский быт: они явно подготовлены малой прозой Вулфа. Но нам видно и то, что эта малая проза о страшных буднях мегаполиса, нередко поэтически сгущенная, вовсе не «снята» позднейшими страницами эпика. В первую очередь это относится к его сильной новелле «Только мертвые знают Бруклин»[1], но сам он воспринимал в том же духе и повесть «Смерть — гордая сестра», опубликованную у нас в одном номере журнала с «Паутиной земли». В последний свой год Вулф думал непосредственно перенести ее в роман. Иначе говоря, и это была важная глава, пропуск ее обеднил бы всю Книгу.

60-е годы в Америке увидели настоящее «возрождение Вулфа». Приверженцы «Ангела» и раньше находились в каждом поколении, вступающем в жизнь, но впервые у Вулфа появилась широкая аудитория, принявшая его позднюю эпику как свою и словно разделившая его внутреннее развитие. Известно, что после шумного успеха — и колкой критики — его второго романа «О Времени и о Реке» (1935) писатель не продолжил свой рассказ о становлении героя, а начал его заново. Та же жизнь предстала у него в иной редакции, ином понимании, да и временные рамки стали иными: рассказ захватывал теперь, кроме юности, чуть не все прожитые Вулфом годы. Не только сами последние тома эпоса, но и их творческая история вызвала в 60-е немалый общественный интерес.

Свежие данные о работе Вулфа над оставленной им рукописью в миллион слов, из которой и возникли эти тома, привели биографы писателя — Элизабет Ноувелл и Эндрю Тернбулл. Изучив все варианты и наброски Ричард Кеннеди впервые оценил и проходившую уже без Вулфа редакторскую работу; в его богатом по материалу исследовании «Окно памяти» (1962) был напечатан последний, оставленный Вулфом, поистине циклопический план его Книги, осуществленный лишь отчасти. Вместе эти публикации 60-х дали довольно полное представление о драматичной творческой истории поздних романов Вулфа. Мы выделим из нее лишь несколько моментов.

Первый — это пересмотр прежнего героя, Юджина Ганта.

Вулф чувствовал, что стал другим в демократической атмосфере 30-х,— и он отталкивался, порою неистово, не зная меры, от своего ставшего привычным читателю «другого я». Конечно, в молодом романтике Юджине было и его вечное «я». Но Вулфу ныне претит гантовская претензия, упоение своей избранностью, поза Поэта среди мещанской мелочи. И уже в марте 1936-го он задумывает совсем иного героя — этот будущий писатель должен входить в мир как Простодушный и учиться на ошибках, набивая себе шишки. Вулф даже говорит о «неавтобиографическом романе», хотя скоро и сочтет это не свойственной ему крайностью. Но он не оставит мысли написать более объективный и сатирический роман с новым героем, ибо иначе воспринимает весь свой опыт.

За эпиграфом, выбранным из «Войны и мира», тут угадывается рубеж духовной зрелости. Это строки о князе Андрее, которому пришлось после Шенграбена защищать от несправедливого гнева героя сражения Тушина. «Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся». Необычный русский эпиграф был предпослан книге об американце, с необычной остротой увидевшем после скитаний свою страну.

«Видение Поля Спенглера» — таково было рабочее название книги в 1936 году. Фамилия нового героя ассоциировалась для Вулфа с историей его семьи и Америки: отец писателя родился недалеко от Геттисберга, места сражения в Гражданскую войну, там и был Спенглеровский Родник. Потом за этим юным Простодушным закрепляется, и надолго, пародийная фамилия Доукс: Вулф трактует его как простофилю и, давая выход своему юмору, снабжает его забавной родословной. Писатель скоро вернулся на путь художественной автобиографии, в книгу вошла и пора уныния после издательских отказов, когда уже на ущербе была его любовь к театральной художнице Э. Бернстайн. Пародийная фамилия героя говорила о стремлении подойти к личному с комической дистанции. Оно, пусть и не всегда, будет проявляться в поздней прозе Вулфа: недаром красавца Юджина сменил неуклюжий верзила с устойчивым прозвищем Обезьян. А фамилия героя, на которой остановился Вулф — сохранилась запись: «пусть его зовут Уэббер»,— ведет к тем же американским истокам: за Уэббером паутина (the web) человеческих связей, сотканных историей.

Время, повернувшее Вулфа к политике, непосредственно вмешалось в его работу. Впечатления от гитлеровского третьего рейха, куда он поехал на Олимпийские игры летом 1936-го, отозвались во всей уже начатой рукописи об открытии жизни его героем.

Автор «Ангела», которого принимали в Германии как знаменитость, не сразу определил свое отношение к нацизму, но после этой поездки выразил его недвусмысленно и перед всем миром. Самые резкие впечатления Вулфа словно дополнили друг друга. Парадный Берлин — и негнущийся фюрер с поднятой рукой, проезжающий мимо коричневых рубашек и толпящихся за ними бедняков. А потом будничный случай у бельгийской границы. Ниж-

[1] Напечатана в антологии «Американская новелла XX века». М., «Художественная литература», 1958.

ние чины рейха на глазах у Вулфа сняли с поезда его спутника-еврея: проделав все, как налаженные автоматы, они уходят с ухмылкой — каннибальской ухмылкой режима. Позднее Вулф рассказал, что Бруклин времен кризиса снова возник перед ним в Германии страха. Эти близкие в его сознании картины и образы-символы 30-х помогли ему сбрести новое чувство целого.

О подспудной работе над книгой, не прерывавшейся в Германии, он написал уже из Америки своей немецкой подруге, полюбившей и понявшей его как поэта с непосильной задачей: «Теперь, по возвращении, весь план с начала до конца стал для меня ясен, и, кажется, я точно знаю, что хочу сделать». Вулф пережил необычный и для себя творческий подъем: несколько месяцев он ежедневно диктовал, большими порциями, историю своего писателя, входящего в XX век. Стремление рассказать заново о годах, как будто исчерпанных в «Ангеле», было именно в эти месяцы очень сильно. И в достаточно безмятежное детство героя из тихого городка в горах тут оказались вписаны предвестья и приметы трагического века: чуть не потомственное убожество белой голи на безымянных немощеных улочках — и таящаяся в глубине вроде бы благопристойных душ, всегда готовая вырваться наружу расовая ненависть.

Выделим, наконец, неповторимый момент, когда Вулф услышал и принял как свое название романа: «Домой возврата нет».

Домой, в Эшвилл, он поехал весной 1937-го после большого перерыва: благочинный городок был болезненно задет его правдивой первой книгой, посыпавшиеся в Нью-Йорк письма с обвинениями и угрозами Вулф счел формой остракизма. Но теперь его встретили благодушно, и летом он напряженно работал в родных местах над «Приемом в семействе Джек» — развернутым эпизодом о конце любви в Нью-Йорке. А в декабре он заговорил с левой писательницей Эллой Винтер о том, как страшила его поездка домой, в Эшвилл, и что он там нашел. Ответ Э. Винтер мы знаем из ее письма биографу Вулфа Э. Ноувелл: «...и я просто сказала: «Но разве вы не знаете, что домой возврата нет?» Вулф остановился как вкопанный, а потом все спрашивал, можно ли взять эти слова для названия: «Они выражают точно то, что я имею в виду».

Эти слова, ставшие лейтмотивом, определили и строй и внутреннее движение в романе о пути Джорджа Уэббера через 30-е. «Домой возврата нет»: Вулф относил это ко всем мечтам и иллюзиям, из которых вырастал его набивающий шишки герой. Понятно, в первую очередь — к манящему «дому» детства, где на глазах у Джорджа «бум» стер милые краски провинции и крах явно подбирался к захваченному спекуляциями городку. А потом к «дому», найденному им в Европе: к той Германии готических фолиантов и разгульных празднеств, что стала страной страха, сковавшего и мир культуры. И ко всем обжитым им прежде «крепостям» в сфере духа. Тут и юношеские мечты о любви, способной заполнить все. Годы Джордж провел в ее особом мирке, встретив театральную художницу Эстер Джек; эта героиня, со всеми своими мучительными несовершенствами, оказалась куда богаче его давних грез об идеальной женщине; но и в тот уютный и неповторимый мирок ему не вернуться. Тут и юношеские мечты о писательской славе. Джорджу нет к ним возврата после встречи со знаменитым Мак-Харгом (прототипом его был Синклер Льюис): за мировой славой этого американца, так бескорыстно поддержавшего его первую книгу, та же пустота. Наконец, нет возврата и к представлению, что можно обрести духовного отца. И в романе происходит драматический расчет Джорджа с «великим редактором» Лисхоллом Эдвардсом, выступавшим для него уже в 30-е в этой роли.

Для всех очевидным прототипом Эдвардса был ближайший друг Вулфа, которому он посвятил роман «О Времени и о Реке»: редактор издательства «Скрибнерс» Максуэлл Перкинс. Это был друг и Фицджеральда, и Хемингуэя, помогавший им во всем явиться самими собой,— американский редактор, подходивший к прозе своего времени с высокой мерой «Войны и мира» (естественно, что найденный Вулфом эпиграф о князе Андрее привел его в восторг).

Но если из эпохи кризиса, пережитого всей страной, писатель вышел радикалом, то его друг остался демократом-скептиком. Между ними годы шел спор, порою ожесточенный, об уроках современности. Вулф продолжал вести его мысленно и в последние месяцы, расставшись с тем, в ком нашел «отца» (по собственному его слову) и кому, уже на пороге смерти, послал нежные строки дружбы. Вулфу было внутренне необходимо утвердить в этом мысленном диалоге, перенесенном потом на бумагу, свою новую живую веру писателя 30-х. В самом эпосе происходит идейный расчет с другом многих лет: завершает книгу прощальное письмо Джорджа его редактору, «отцу его молодости».

После смерти Вулфа в сентябре 1938-го Перкинс стал его душеприказчиком и вместе с Эдвардом Эсвеллом участвовал в подготовке его последних вещей. В новом редакторе-сверстнике Вулф тоже обрел родственную душу: редактура Эсвелла, долго державшегося в тени, оценена в наше время как подлинно творческая. В 1939-м из только вчерне завершенной рукописи Вулфа был выделен роман «Паутина и скала» — об истоках и корнях Джорджа, о его детстве и юности, о всех перипетиях его любви к Эстер Джек. А в 1940-м появился роман о Джордже, в 30-е — «Домой возврата нет».

М. ЛАНДОР
ОТКРЫТЫЙ ЭПИЛОГ 30-х ГОДОВ

Перед самой смертью к этой книге настойчиво возвращается Фицджеральд, думая о том, чего добилось в романе его поколение. Энтузиаст «Ангела», он мог отзываться о позднейших вещах Вулфа и чересчур критично. И тут он не принял, например, полемического отталкивания от их общего друга Макса Перкинса, о чем прямо и написал этому редактору, попавшему в столь необычные персонажи. Но в том же письме Перкинсу Фицджеральд не боится высоких эпитетов, говоря о «Приеме в семействе Джек» — эпизоде, которому придавал особое значение сам Вулф. На взгляд Фицджеральда, есть в книге «грандиозные вещи. Портреты супругов Джек (кто это?) и Эмили Вандербильт изумительны».

И в последнем письме дочери, отправленном в декабре 1940-го, Фицджеральд выделил тот же эпизод, начав с его развязки: «Я еще не закончил роман Тома Вулфа и не могу дать о нем полный отчет, но история пожара изумительна». Это беглое замечание многого стоит: его фон — мысли Фицджеральда о том, что художественно отстоялось в американской прозе между войнами. Достаточно веско и сказанное дальше о сквозной героине эпизода. Если Фицджеральд мог найти, зная прототип, что изображение колоритной Эми Карлтон «сделано просто безукоризненно», то тут он чувствует мастерство, не зная натуры. «Портрет миссис Джек тоже грандиозен. Верю каждому ее движению»[1].

А ведь тут все создано смелыми переходами: возлюбленная Джорджа то привычно играет свою социальную роль, то выходит из этой роли. Она совершенно естественна в этих «метаморфозах». И мы оказываемся тем вернее вовлечены в историю приема, завершавшегося пожаром.

Дочь актера и человек театра, спорая в нескольких ремеслах, она предстает перед нами как миссис Джек. Тень тревоги проникает в ее утро вскоре после жизнерадостного пробуждения: еще в спальне ей приходится встретить злобный и нетрезвый взгляд своей горничной-ирландки, обласканной за долгие годы службы. А у той это — вспышка неприязни к доброй госпоже, неутомимой в делах и холеной, куда больше взявшей от жизни и словно не чувствующей их общих лет — уже солидных и пугающих. Инцидент выводит миссис Джек из равновесия.

Иное дело мистер Джек: он не теряет равновесия и несет успокоение. Утренняя встреча этих супругов в давно распавшемся супружестве дает понять, что они не стали чужими друг другу. Биржевой делец с тягой к театру, Джек упивается рецензией, где игриво расхвалены декорации Эстер. Тут одно из предвестий живой символики их приема. В освещении Вулфа званый вечер в канун биржевого краха, в 1929-м,— это своеобразная постановка, и рецензентом ее окажется история.

Лишь по временам Эстер для Джорджа своя в этот вечер. Вулф не забудет отметить того, что сделало ее единственной для героя: дара верной дружбы, который и объясняет присутствие здесь людей безвестных и неудачливых, оставшихся ей близкими. Но толстовский «язык глаз» может открыть, что художница — это и закаленный человек дела. Вот встретились глаза Эстер и ее подруги, главы театра на Бродвее; ребячье простодушие, которое написано на розовом личике первой, не обманет вторую — она знает, что решимостью добиваться своего и хитроумием Эстер ей не уступит. В ее салоне с атмосферой свободомыслия, даже радикализма, можно встретить не одну белую ворону из верхов Нью-Йорка; однако само сопоставление этих социальных эксцентриков, друзей хозяйки, несопоставимых между собой, и позволяет Вулфу в остром ракурсе показать мир привилегий. Вслед за галантным радикальным витией, которому привычный порядок вещей привычно отщелкивает миллионы, входит наследница миллионов — уже упомянутая Эми, с ее обаянием искренне-резкой натуры. Эта сверхгрешница оказывается истинной подругой Эстер; здесь, в апартаментах на углу Парк-авеню, Эми так же «дома», как и на парижском дне. Но если прием и выводит возлюбленную Джорджа в чужой ему социальной роли, дело меняется, едва начался пожар. И тут перед расставанием Джордж чувствует к ней «нестерпимую любовь и нежность»; ведь и она, взволнованная сейчас, «в сердце своем ощущает таинственность и непостижимость жизни».

История пожара начинается у Вулфа с пробуждения мистера Джека: это горит его мир, в своей законченности словно прошедший перед нами парадом в день приема. Биржевик, не чувствующий, как зыбка его почва в 1929-м, видит в пожаре лишь «небольшое происшествие». Иначе воспринимает дело Джордж, едва начался исход богатых жильцов и гостей,— «сборище привидений» покидает квартиру Джеков. А на черной лестнице доходного дома еще более поразительное представление: фраки и кимоно, драгоценности и пижамы — застигнутые врасплох хозяева со своей разноязыкой прислугой. И кульминация: остраненная этим пожаром Америка Парк-авеню, внутренний двор, где перемешаны аристократические фамилии, нувориши и содержанки. Для Джорджа это как «видение», достойное Шекспира и Брейгеля. Пожар «бесцеремонно вывалил» под открытое небо и уравнял соседей, знать не знавших друг друга. Одно видение — доходный дом как истинный Вавилон в четырехугольном дворе — сменяется другим: товарищества на пожаре, человечности, опрокидывающей ненадолго перегородки привилегий. Блудное дитя огражденной золотом среды, Эми, с ее лихорадочной и бессвязной речью, удивительно на месте рядом с разошедшимся огнем. Но и

[1] The Letters of F. Scott Fitzgerald. Harmondsworth, Middlesex, Penguin Book, 1968, pp. 311, 117.

это видение — братство равно «нечистых» из доходного дома, будь они дамы-филантропы или дорогие шлюхи,— недолго: пожарные справились с огнем, и восстановлена иерархия.

Джордж вслушивается в то, что диктует в редакцию с места происшествия третий газетчик: «Ну да! Двое!.. Нет, только двое...» Это о лифтерах, задохнувшихся в дыму: оба застряли в лифте между этажами, когда кто-то из перепуганных жильцов выключил ток. Еще недавно они поддразнивали друг друга, степенный старик и любивший пошутить юноша. Об этом юноше будет спрашивать после пожара, возвращаясь к себе в лифте, добрая миссис Джек. Но то, что он погиб, ей и в голову не могло прийти, для нее в доме все осталось по-старому. Для Джорджа это конец любви. Писатель и его муза не могут больше идти одним путем, хотя он и чувствует — другой Эстер он не встретит, а эта любовь не прошла и не пройдет. Но расставание после приема у Джеков стало необходимо. Это прощание не только с годами счастья и боли, но и с юношеской мечтой о музе, найденной среди богатства и блеска.

Эпизод, выделенный Фицджеральдом, до сих пор вызывает и полемический отклик. В наши дни его затронул Малькольм Каули в своей книге «Второе цветение» [1] (подразумевается: американской литературы после времен Мелвилла и Уитмена). Там есть большой очерк о Вулфе, и этот homo scribens, антипод Хемингуэя по писательскому складу и методам работы, освещен довольно критически. Для Каули его шедевры — это повести (например, «Паутина земли»), а не романы, вошедшие в летопись поколения; впрочем, в романах всегда есть сильные эпизоды, но «Прием» не из их числа. «Странным образом,— читаем мы,— наиболее объективно задуманный эпизод оказался у Вулфа одним из самых слабых»: это уже обязательная к тому времени вечеринка накануне краха, классические версии которой есть в прозе Дос Пассоса и Фицджеральда о 20-х годах. Вулфу, на взгляд Каули, трудно тягаться с ними в разработке того же материала, «который ему не удается сделать своим». Ибо о биржевиках и модных художниках он пишет, словно слышал только вполуха их речи, а изображая противостоящий им мир слуг и лифтеров, он не избежал «пролетарских клише».

С чутким и влиятельным критиком тем более хочется поспорить, что он выразил в книге свой нынешний взгляд на то, что оставило его поколение. Вулф шел в последнем романе вместе с теми, кого он называет,— Фицджеральдом (раньше и выше других оценив «Ночь нежна») и Дос Пассосом (восхищаясь его знанием американской жизни). Но, конечно, в удавшемся не безоговорочно эпизоде приема Вулф сделал материал своим: он стремился провести все через миссис Джек, навсегда любимую и неизбежно становящуюся далекой. Тут ее мир: без нее куда менее интересны и гости и слуги. Далее. У Вулфа рядом прием и пожар — с силой видения. И этот пожар — одно из поэтических прозрений во всей прозе 30-х. Доходный дом, которого коснулось пламя, освещен в романе как исторический «дом» буржуазной Америки. Абсурдность его будней остро передается и через уникальный момент естественной жизни: гротескную сплоченность в миг неудачи балованей удачи, породистых и беспородных. Но пожар повернут у Вулфа именно к повседневному злу: ведь лифтеров погубили в испуге, ненароком, и эту беду хотят замолчать. Доходный дом определяет здесь и саму структуру душ. А «огромный человеческий улей», из которого хлынула фешенебельно-«нечистая» толпа, не подходит для жизни. Вот **острый взгляд Вулфа на буржуазную Америку в конце исторической эпохи, важный для грядущих поколений**. В этом смысле вполне достоверный пожар у Вулфа можно сопоставить с той картиной-видением «Сожжение Лос-Анджелеса», что вынашивает художник из книги Н. Уэста «День саранчи» (1939). Ему представляется пламя на фоне рекламных красот, рядом с кино-Вавилоном и утрированной мешаниной всех стилей. А голливудских зевак, этих порожденных и обобранных цивилизацией клерков, он воспринимает как ее факельщиков: для него это сама стихия и ярость разрушения. Отсюда и фантастический пожар, сожжение города: в конце романа эта метафора оказывается угрожающе реальной. У входа в кинотеатр неистовствуют зеваки, и художник, зажатый толпой, рисует в воображении жадные языки пламени. Реальность словно предложила этюд к его мрачной картине. Тот же Фицджеральд был поражен в этом романе Уэста «патологической толпой на премьере», со штампом цивилизации и накопившейся за жизнь неудовлетворенностью, находящей варварский выход.

Газетчик появляется у Вулфа в момент катастрофы, чтобы передать в газету, тайком от «чистой публики» из дома, о жертвах пожара. Дальше в романе пойдет речь о жертве кризиса, ставшей известной благодаря газетной заметке. С этим самоубийцей будут связаны для героя годы его жизни в Бруклине — и годы до Бруклина: подобно приему у Джеков, это станет едва ли не символом этапа в его духовной биографии — и рывка, пересмотра доселе привычного. Само введение на столь полных художественных правах газетной «сенсации» в роман, конечно, не ново уже после «Манхеттена» Дос Пассоса, но и тут очевидно, что, идя вместе с другими, Вулф сумел сказать свое.

У нас воспринял «Манхеттен» как книгу-веху, в ее структурной новизне, М. Горький, для него это был «интереснейший ро-

[1] Malcolm Cowley. A Second Flowering. New York, Viking Press, 1973.

М. ЛАНДОР

ОТКРЫТЫЙ ЭПИЛОГ 30-х ГОДОВ

ман» о Нью-Йорке; и его поразило прежде всего сопоставление сенсационной газетной «хроники» с рекламой большого города, «с описанием встреч, приемов, общественных празднеств...» . Действительно, Дос Пассос шел от быта, буквально пространного газетной хроникой. Он представлял нам персонажей, которым суждено было стать сенсацией,— от молочника, попавшего в катастрофу, до актрисы, попавшей в скандал; и потом мы видели продолжение их буржуазно-степенного или отчаянного существования. Между живыми людьми и газетным образом может быть огромная дистанция, мы чувствуем это в особенности в конце книги, когда ее главный герой Джимми Херф, идущий на дно интеллигент, прочтет: «Арест «великосветских бандитов»... Нам давно известно, что это за «бандиты», ныне безнадежно выпавшие из своего газетного образа: изголодавшийся солдат, ставший налетчиком, и его намаявшаяся подруга с новорожденной.

У Вулфа газетная новость одного дня — назвавшийся простецким именем самоубийца в Бруклине, выбросившийся с двенадцатого этажа отеля «Адмирал Дрейк» — ведет к реконструкции этой судьбы, типично и значительно американской. Эта глава романа включает не одно измерение и не один смелый художественный поворот.

Вулф прикидывает: бедняга, иронически взявший себе банальное имя, мог быть его земляком — выходцем из той же Старой Катобы (Северной Каролины). И ему тогда знакома теснота маленького городка: тут набрасывается сценка свидания с дочерью полицейского, освещающая серым светом весь этот серый быт. И его тогда должны были манить гудки уходящих на север поездов. В мире асфальта и бетона, пустых будней и обманутых ожиданий субботы его привлекает и особенно дорогое самому Вулфу, хотя бы красные и полные амбары Пенсильвании, с детства связанные и для Джорджа с грезами о родине отца. Такой подход писателя, бруклинца из провинции, к газетной сенсации делает весь его Нью-Йорк кризиса не чуждым теплоты и интимности маленького городка у Шервуда Андерсона.

Огромное «я» американца, по Уитмену, здесь разом сменяется ничтожным «я» обывателя XX века, по Джойсу. Размах Нового Света во всем — и в том, что касается катастроф,— принят в расчет и не меняет дела. Пусть безымянный бедняга узнал свою страну из конца в конец, во все сезоны,— в Нью-Йорке он под стать обитателям джойсовского Дублина. И вот этот любитель «новостей», проглатываемых в ежедневной газете, сам стал «новостью», разбившись о нью-йоркский асфальт.

Вулф вводит измерение, характерное только для него: его герой не чета героям елизаветинских времен. Дрейк, адмирал Елизаветы, человек шекспировской эпохи: ему не понять беднягу американца, бросившегося из отеля его имени. Это безжалостное остранение в повествовании о кризисе. Необузданный и так легко вписывающийся в свой Плимут и свои эскадры адмирал, ему не понять приниженной песчинки в Нью-Йорке, равно чужой на всех тротуарах. Кризис Вулф освещает во вкусе елизаветинской драмы (еще Блок находил, что наш век может вынести самую кровавую сцену «Лира»). Идет ли речь о мэре провинциального Либия-Хилл, застрелившегося в уборной, или о безработных, сидящих на стульчаках в двух шагах от нью-йоркской ратуши: они здесь только потому, что другого дома у них нет. И превосходящая это по жестокому колориту реальности картина за газетной заметкой: несчастный «спикировал» на асфальт, головы не осталось, а кровь хлынула на мальчишку-итальянца. Тот и не опомнился, как его «умыло». Такой смерти не видел и Дрейк, привыкший к смертям, но особенно непостижимо для него все же другое, и тут писатель XX века очень тонок. Человек-песчинка в Нью-Йорке, не из числа первопроходцев и пионеров, разбился — и обрел жизнь, стал **тем самым**, стал индивидуальностью. Мало того — еще испугал оставшихся: ведь и они могут выпасть из той же колеи.

Газетная сенсация становится у Вулфа персонажем-символом и непосредственно вмешивается в духовный спор, развертывающийся в романе.

Письмо Джорджа его редактору — это важнейшая часть книги: и о ней были высказаны разные мнения.

Обращаясь к Перкинсу, выведенному полемически, Фицджеральд заметил, тоже полемически: «Том Вулф не смог на самом деле объяснить, почему вы расстались, и это вредит книге...» Но прислушаемся в этом случае к Каули: «Возможно, лучшее в его поздней прозе — это открытое письмо Лису Эдвардсу (или Максу Перкинсу), напечатанное как последняя глава «Домой возврата нет». Здесь нет стремления к объективности; Вулф говорит о себе...»

Уход от Перкинса для Фицджеральда необъясним в любом случае: тот поддерживал его самого среди бед, а своему любимцу Вулфу отдал еще больше душевных сил. Давно замечено и то, что в романе писатель и редактор рядом вообще не появляются: годы их близости скупо успели отразиться в этом повествовании о Джордже. Иронически любовный портрет Лиса — это почти **панегирик**, а Лис за свежей газетой, с сообщением о бруклинском самоубийце — это начало **полемики**, и она продолжена в заключении, в письме прощания и духовного разрыва.

Но само это письмо поражает обретенным Вулфом в 30-е свободным дыханием, эта предсмертная проза открыта будущему. Упор сделан на расхождения, обнаружившиеся еще в пору их горячей дружбы, полемика идет в рамках их общего трагического мироощущения. Находя много своего у Экклесиаста, они по-разному пережили 30-е. Для Джорджа — особенно после Германии фюрера — мир бруклинского горя и «Адмирала Дрейка» не может воспри-

ниматься как вечный. И сам он, безотцовщина из провинции, перестал нуждаться в духовном отце.

Критический пересмотр всей жизни в письме Лису опирался на целые массивы опыта, вдвинутые в один роман уникального диапазона. Мысль героя обращена к Америке и к тем формам жизни, которые сменят нынешние, для него саморазрушительные по своей природе. Эти строки цитировал поэт и рассказчик Стивен Винсент Бене, находя, что **паломничество** Джорджа Уэббера исполнено смысла.

Продуманность опыта — вот что тут под ударением в рецензии одного писателя 30-х о последнем романе другого. Клифтону Федимену в его отклике на «Паутину и скалу» как раз этого не хватало в прозе о Джордже до лет кризиса. Вспоминая Мелвилла, как вспоминали его обычно рецензенты Вулфа, Федимен нашел, что от разрушений времени и такую «дионисийскую» книгу, как «Моби Дик», охраняла «интеллектуальная подпочва» — ее-то в первом романе о Джордже и нет. На самом деле у этого гигантского повествования 30-х об одной жизни — и всей жизни — такая подпочва была: роман «Домой возврата нет» вполне ее обнаружил. Бене мог сказать, отметив и слабости Вулфа: «...Его место будет рядом с Мелвиллом».

В письме к Лису Джордж не зря помянул голоса, давно отзвучавшие в горах. Он услышал их в детстве; фигуры из сумрачных семейных легенд сопровождали его всю жизнь. Американское прошлое у Вулфа вечно присутствует в настоящем. И нас не удивляет, когда мы слышим накануне катастрофы эти режущие слова о первых людях и спекулянтах Либия-Хилл: «А вот благочестивые пуритане добродетельно предавали свой город...» Начало кризиса осознано в романе как крушение давних буржуазных основ. И в то же время наносить удары по укоренившимся в национальной жизни рекламному оптимизму и склонности к самообманам Вулфу помогает национальная традиция, живая в XX веке.

«Мне кажется,— записал он,— во всей американской литературе первого ряда есть ощущение тьмы и ночи — назову По, Готорна, Мелвилла, Уитмена (самым решительным образом), Марка Твена и Шервуда Андерсона».

Работая над эпосом об одной американской судьбе, Вулф, естественно, обратился к именам, важным для 30-х. Остановимся на этом подробнее, ибо его ориентация дает ощутить **интеллектуальную подпочву всего романа десятилетия.**

Летом 30-го он прочитал впервые «Войну и мир» и потом, по его словам, еще несколько раз. Ощущение современности Толстого его не покидало. Перед тем как начать свою книгу с новым героем и эпиграфом о князе Андрее, Вулф составил список недавно им прочитанного, там было и «Воскресение». Оба эти романа отзовутся не раз во всем повествовании о Джордже и порою в одном эпизоде — например, того же приема у Джеков. Известный до мелочей, примелькавшийся быт в апартаментах на Парк-авеню увиден по-толстовски со стороны и словно впервые. А в ходе самого приема интеллигентная публика должна увидеть себя в зеркале моды: перед нею выступает цирк проволочных кукол. Представляя это авангардистское диво, Вулф и упомянул здесь эпопею Толстого: для нее у людей в том благословенном году не было времени, но оно нашлось для несчастной имитации настоящего цирка. И под его пером предстала въяве, разделая, как опера в «Войне и мире», эстетическая претензия ненатурального периода, мода процветания на излете.

Опубликованные в 1970-м «Записные книжки Томаса Вулфа» показали, насколько кровными были его связи с Толстым.

В разгар кризиса, в 1932-м, он набрасывает план «Книги Мертвых». Туда должны были войти эпизоды, разработанные им потом в своей прозе: «Смерть в подземке», «Мужчина, бросившийся с верхнего этажа». Для той же книги предназначалась и еще такая близкая история его любви к Э. Бернстайн, с мраком и болью разрыва. В эти тяжелые для него бруклинские дни он вспомнил «Анну Каренину» — «глубокие и волнующие страницы, ведущие к сцене, когда Анна кончает с собой...». Современного писателя поражает правда этих страниц, на которых мир представлен уже неживым. Взгляду «этой обреченной женщины», говорит Вулф, находя тут точные слова, открывается «смертельный цвет жизни».

Не менее индивидуально и неожиданно он обнаружил творческую связь с Толстым в 1935-м, готовясь к выступлению о своем писательском опыте. В наброске «Сбор материала» приведено замечание Фицджеральда, что в каждом человеке заключены две книги, которые он может написать, исходя из пережитого. За этим идут слова Вулфа о «самом зрелом и лучшем методе», для него это метод «Войны и мира». У Толстого слиты обе возможности: «Мысленно спроецированный опыт, и Автобиографический роман».

Наконец, писатель 30-х не может обойти своего классика, размышляя об отношении великих к политике (запись сделана в 1938-м, незадолго до сдачи гигантской рукописи Вулфа). «Политический ли писатель Шекспир? Да». С этого имени он начинает; несколько имен заставляют его ответить «нет» (например, Китса и Генри Джеймса); в конце появляется и высший для него авторитет в романе. «Готье? Нет». «А Толстой? Да» [1]. Так полно по «Записным книжкам» можно представить себе духовную и творческую связь Вулфа с

[1] The Notebooks of Thomas Wolfe. Chapel Hill, 1970, pp. 583, 759, 928.

М. ЛАНДОР
ОТКРЫТЫЙ ЭПИЛОГ 30-х ГОДОВ

Толстым. Русский классик, с его этическим временем, стал опорой для американского романа в 30-е годы, когда расширились рамки настоящего, вместив и минувшие эпохи и брезжущее в годы кризиса будущее нации[1].

Авторы всех трех названных выше книг о Вулфе обсуждают его отношение к Марксу (в указатель даже выносятся обычно его «марксистские взгляды»). И это имеет прямое отношение к интеллектуальной подпочве всех 30-х.

Годы кризиса в Бруклине показали Вулфу, что такое капитализм, не с фасада, а с изнанки; это новое знание он хотел выразить уже во втором романе о Ганте. Перкинс возражал: там речь шла о герое, отнюдь не имевшем в середине 20-х бруклинского опыта. И он повторил свою аргументацию в письме Хемингуэю 28 ноября 1934-го: «Старина Том попытался переделать свою книгу в некое подобие защиты марксистских идей (написав большую ее часть за несколько лет до того, как он вообще услышал о Марксе)...» И продолжал, чувствуя, что Хемингуэй на его стороне: убеждения, если они глубоки, скажутся в самом романе, ни к чему их притягивать некстати. Э. Ноувелл, приводя эти слова, видит завязавшийся тогда спор автора и редактора в верной перспективе. С точки зрения искусства Перкинс был прав, но его победа оказалась временной. Вулф-радикал продолжал настаивать на своем и затем перенес этот спор в свое искусство. Э. Ноувелл говорит о «непримиримом различии» во взглядах как одной из главных причин разрыва Вулфа с Перкинсом: «В действительности это единственная причина, которую он считает достаточно важной для обсуждения в прощальном письме к нему, заключающем «Домой возврата нет».

В другом случае сам Вулф упомянул Маркса, думая напечатать отдельно «Прием в семействе Джек». Он не предназначал эту критическую вещь для консервативных редакторов, для них она должна быть «проклятием». «Определенно, она вовсе не марксистская,— пояснял Вулф в письме Э. Ноувелл,— но представляет произошедший поворот в моей жизни», явившись после всего, что было глубоко пережито и продумано. Это письмо ничуть не убедило другого знатока Вулфа, Р. Кеннеди: сами слова писателя «словно утверждают то, что он отрицает»; по Кеннеди, только «Прием» и обнаруживает в прозе Вулфа «сильное влияние марксистской мысли». Но то, о чем говорит в связи с «Приемом» исследователь, не менее близко и толстовской мысли: контраст между миром Джеков и прислуги (там, где он действительно оригинально разработан) и как бы отмененная пожаром прочность всей цивилизации из стали и камня, на скале огромного города. Как близок Толстому и радикализм художественной мысли Фолкнера, скажем, в «Свете в августе»: хотя бы место об ищейках, бесполезных и запутавшихся в погоне,— и вместе с тем о бессилии полиции и — об условности всей этой кичащейся своей сталью и изощренностью репрессивной цивилизации. Толстой и Маркс могли оказаться рядом именно в 30-е, в восприятии глубоко и по-своему переживших это время американских радикалов.

Поэтому мы находим в совете Фицджеральда литературной молодежи, по-писательски субъективном, и опыт всего поколения. «Совет молодым авторам: читайте Толстого и Маркса и Д. Г. Лоуренса; и затем снова Толстого и Маркса и Д. Г. Лоуренса». Вдумчивый исследователь искусства Фицджеральда, Серджо Пероза опубликовал эту запись как достаточно странную, но интересную: он ввел ее в контекст этических поисков в американской прозе. Для нас, конечно, отпечаток странного придает ей настойчивое повторение **в этом ряду** имени английского романиста; тут сказались не только пристрастие, но и причуда Фицджеральда: и по другим поводам его тянуло вполне субъективно соотносить Лоуренса с Марксом. Однако в поколении, не расставшемся с Толстым, Фицджеральд как никто вчитывался в «Капитал», главу о рабочем дне он рекомендовал и дочери: соседство двух первых имен в его совете неудивительно. Маркс, воспринятый по большей части через левые круги, доходил тогда и до других видных писателей. Эти круги были знакомы и Фолкнеру задолго до «Особняка». О живом общении Вулфа с ними говорят его биографы. Выписывая в книжной лавке заголовки книг Маркса, Вулф едва ли не думал их открыть. В эти последние годы он напряженно искал верный собственному опыту подход к мучительным проблемам общества.

Вечен ли капитализм? — вот что в особенности волновало тогда американских демократов, идущих влево. И Вулф в конце пути твердо заявлял: «...если демократии вообще суждено выжить, она не сможет этого добиться без радикального изменения капиталистического общества, как оно существует ныне...»

Развитие Вулфа как демократа проходило в самом его искусстве: от первой до последней книги он стремился построить образ Америки. Проблема монтажа, ведущая и к кино и к Уитмену, оставалась все эти годы его проблемой: и тут он представляет критический американский роман целой эпохи.

В записной книжке, которую Вулф вел

---

[1] Эту поражавшую журналистов «русскую ориентацию» — не только у Вулфа — заостренно передавали клише типа «американский Толстой». Над этим именно клише иронизировал уже молодой Фолкнер в статье об Андерсоне (поставив рядом совсем пародийное «Китс из Омахи»): Андерсона не выведешь из русских, он вырос на американской земле Тем не менее клише этого типа не перевелись на Западе и сам Фолкнер не избежал знакомого удела. Рецензия в «Таймс» на его биографию, написанную Дж. Блотнером, называлась: «Граф из штата Миссисипи».

с октября 1926-го по сентябрь 1927-го, останавливает примечательная строка о кино. Уже складывается его первый роман: на предыдущей странице мы находим набросок ночной сцены в «Сальной Ложке» с городскими врачами и гробовщиком, тут же конспект джойсовского внутреннего монолога Ганта по возвращении из Калифорнии. И строка о «Броненосце «Потемкине», способная озадачить: «Волнующая картина — неинтересный конец». Ведь тогда и «Крисчен сайенс монитор» относила фильм Эйзенштейна к мировым шедеврам искусства. А Вулф и той поры был, конечно же, ближе к русской революции, чем эта газета: он заносит в записную книжку, почти сразу после этой строки, имена «бесстрашных мыслителей», книги которых видел в книжной лавке, среди них — Ленин. Но в «Броненосце» будущий автор «Ангела» реагировал, видимо, прежде всего на «свое»: его, конечно, взволновала и творчески захватила одесская лестница, а то, что шло после нее, он воспринял как спад. Этот возбуждающий мысль пример монтажа на экране вошел в жизнь Вулфа до его открытия Уитмена как своего поэта (по словам А. Тернбулла, только в 30-е годы тот стал для Вулфа любимым поэтом и духовным спутником).

Приведенная строка из записной книжки интересна в перспективе поисков всего американского романа: так помогает ее воспринять написанное уже в 1955-м Дос Пассосом о художественных пристрастиях его поколения. Он вспоминает, что больше всего поражало в современном искусстве после войны: от картин Пикассо до дягилевского «Русского балета», от «Улисса», напечатанного частным образом, до постановок Мейерхольда и Пискатора. В этом контексте и появляется «Броненосец», фильм «произвел на нас огромное впечатление, побуждая к творчеству...». И дальше: «Почти первое, в чем проявилось влияние Эйзенштейна,— оно заставило нас по-новому оценить старую ленту Гриффита «Рождение нации» [1]. И здесь тот же переход, что у Вулфа: от эйзенштейновского монтажа к построению своего образа Америки (поэтому Дос Пассоса, тогда радикала, и может заинтересовать далеко не радикальная лента Гриффита.) Заметим, с другой стороны, что Эйзенштейн воспринимал Уитмена как одно из наиболее родственных ему явлений в американской культуре: в поэмах «Листьев травы», начиная с «Песни о топоре», он находил «великие монтажные концепции».

Р. Кеннеди выделил один из замыслов Вулфа 30-х годов — он хотел смонтировать сцены, происшедшие одновременно по всей Америке за одну ночь. «Это была бы, в сущности, «скрытая жизнь» нации». Свой разбор этого замысла исследователь предварил таким замечанием: «По мере развертывания его плана влияние техники кино на Вулфа впервые стало очевидно».

Почему же впервые? Интерес к ней заметен уже в «Ангеле», само рождение романиста передается там с помощью средств экрана. Впечатления или миги прошлого, замершие в сознании Юджина, естественно сравнить с замедленной съемкой. «Или же — как бывает в кинофильмах, демонстрирующих движения ныряльщика или лошади, берущей барьер,— движение вдруг окаменевает в воздухе и неумолимое завершение действия приостанавливается». Сам Юджин, истовый зритель «вестернов», мнит себя киногероем, чьей любви добиваются избранные красавицы экрана: «Их чистые глаза обращались к нему постоянным крупным планом...» — в его юность входят и штампы, и поражающие средства кино. А монтаж в самом романе исполнен критического духа; не зря одесская лестница словно вписана в его творческую историю. Картина спящего Алтамонта тут в особенности зрелая и вулфовская: ужас — негр-налетчик с перерезанным горлом, соперник обобрал его дочиста, оставив только полупустую бутылку виски в руке,— и, рядом с этим вечным сном, сон одного из местных столпов, издателя городской газеты, после ночного покера в клубе, после парильни и массажа в Гигиенических турецких банях. И нежный предутренний сон девушек в монастырской школе — оберегаемая шторами и стенами идиллия после ужаса, в ту же ночь смертельной битвы и покера напропалую.

Немало монтажных построений, скорее в духе Уитмена, и у Вулфа последних лет. В «Домой возврата нет» Америка окружает Джорджа всюду — и на вокзале в Нью-Йорке. На скольких лицах в этой пестрой толпе читается тоска провинции, вот хотя бы: «...поэтесса откуда-то из Индианы, по своему обыкновению раз в году развлекалась в Нью-Йорке «жизнью богемы». Неожиданно под стать ей оказываются и одетые с иголочки новобрачные с берегов Миссисипи: у этой милой четы «лица испуганные, враждебные и ошеломленные». Тут же выделена и другая линия: из Нью-Йорка идет поток готового, отштампованного, ready made. Вулф лукаво начинает с экзотических пассажиров: «...и два щуплых филиппинца, с кофейно-коричневой кожей и тоненькими, птичьими косточками, разряженные, щеголеватые, как манекены в витрине». Но это впечатление и предваряет тот распространенный тип, что появится вскоре: «...директора и агенты магазинов готового платья со всех концов страны,— этим надо было обзавестись новинками стиля и моды...»

И в этой толпе — уитменовское обилие лиц, но люди, со всех американских просторов, несут в себе джойсовский современный город.

А в другом известном пассаже гигант, словно из Уитмена, смотрит на всю страну со Скалистых гор. Это взгляд на Америку

[1] John Dos Passos. The Theme is Freedom, New York, 1956, p. 41—42.

М. ЛАНДОР

ОТКРЫТЫЙ ЭПИЛОГ 30-х ГОДОВ

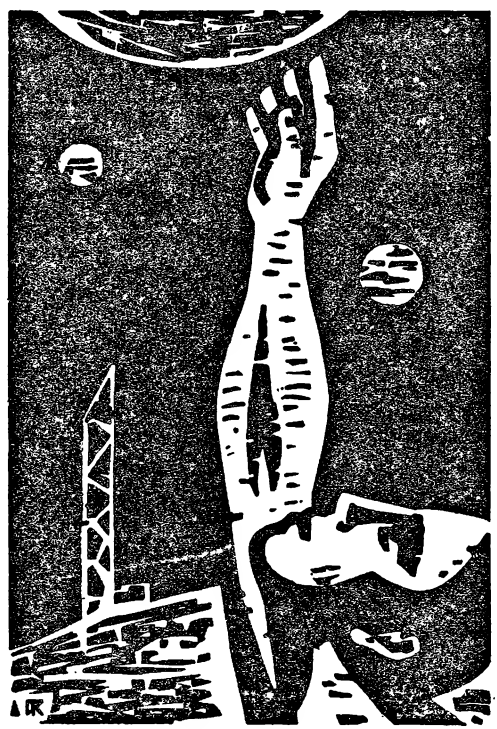
ночью, когда видятся города в огнях у обоих океанов. Эти страницы особенно интересны портретами американцев: тут-то и сказывается то, что стало новым «под луною» и своим для Вулфа именно в 30-е. «Мы горим в ночи» — и это о негритянском парнишке из трущоб южного Чикаго и ревностном юном книжнике из еврейского Ист-Сайда. Панорама страны, съемка ее мегалополисов с высоты Скалистых гор приводит к тем, кого окружение Вулфа никогда не признало бы настоящими американцами. А для него это теперь живые воплощения «американской мечты».

Но самой сложной монтажной концепцией книги остается глава о самоубийце, в которой встретились провинция и Нью-Йорк, елизаветинцы и XX век, Уитмен и Джойс. Эта глава, полная гибких и неожиданных переходов, передана по-русски Н. Галь и Р. Облонской на одном дыхании. Небольшие вещи Вулфа мастерски переводились у нас и раньше — достаточно вспомнить новеллу «Только мертвые...» в переводе М. Лорие. Но роман, со своим многоголосьем при лирическом строе, со своим стилем принципиальной разностильности, сочетающим эпос и эксперимент, высокую и пародийную речь, репортаж и монолог, представляет особые трудности. Н. Галь и Р. Облонская отважно шли им навстречу, ища эквиваленты и полемически повернутому, и иронически обыгранному слову у Вулфа. (В некоторых местах, однако, русский текст кажется сглаженным — и без крайней необходимости.) Работа над переводом романов Вулфа безусловно будет у нас продолжена, достигнуто уже многое: эта версия удачно передает само качество вулфовского романа-потока.

«Домой возврата нет»: в этом рефрене было то, к чему пришла вместе с одним писателем 30-х годов вся американская проза. «Дом», пояснял Вулф с мужеством правды, только впереди. В письме его героя Лису отказ от самообманов, привычных для людей искусства и всей нации, становился программным. В этом давнем уже писательском кредо была творческая установка, живая и действенная и в послевоенном мире.

Это подтвердили выступления Фолкнера в 1955 году в Японии, где он не раз вспомнил Вулфа. С той же прямотой писатель из Миссисипи отвергал эскепизм, утешающие иллюзии, «возврат» к беспечной идиллии, существующей в мечтах. И на все толки о трудных временах отвечал, что трудность работы должна только повышать ее качество: в романе, не отворачивающемся от проблем современного мира, с его войнами и атомной бомбой, он не сомневался. По Фолкнеру, книга, закрепляющая подлинно человечные устремления, долговечнее небоскребов. И труднейшие времена искусство должно вынести, «выдержать», как и сам человек.

◆



РОБЕРТ ДУБРАВЕЦ. Чехословакия.
Сотворение планеты.

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ВАПЦАРОВ: ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ В ГРЯДУЩЕЕ

К семидесятилетию со дня рождения

Болгарское искусство слова нашего столетия ознаменовалось ярким художественным творчеством Николы Вапцарова (1909—1942). И нет сомнения, что век нынешний достойно обозначить именами таких поэтов, как он.

Трагическая доля Вапцарова невольно воскрешает в памяти судьбу гениев: Пушкина, Лермонтова, Лорки, других безвременно павших поэтов, нестибаемый дух которых в жестокий их век не в силах была сломить сама смертельная опасность.

Многое в зрелости человека, однако, не обязательно определяется прожитыми годами, но возрастом души. Озаренностью таланта. Сердцевина поэтического дарования — в самой личности художника. И от того, что удалось ему увидеть в быстротечной нашей жизни, насколько он ее постиг, что сумел узнать о людях, что запечатлел в памяти своей, какими тревогами и болями был объят, какова нравственная его позиция, таково и его творчество.

Корни

Никола Вапцаров родился в городе Банско, на древней прекрасной земле. Приютившийся у подножия Пирин-планины, напоминающий родной мой Пятигорск среди Кавказских гор, Банско покоряет живописными своими пейзажами. В непосредственной близи, над самым поселением, громоздятся скалистые кряжи, цветут разнотравьем альпийские луга, переливаются в щедрых солнечных лучах бесконечные оттенки изумруда лесных массивов.

Жили тут испокон веков гордые, вольнолюбивые фракийские и славянские племена — великие земледельцы и искусные мастера, знающие настоящую цену дружбе и готовые мужественно встать наперекор своим недругам. Все вокруг отмечено печатью самобытности, все проникнуто национальным духом.

В песне Вапцарова «Земля» есть строки, образно передающие неповторимость пиринского горного пейзажа:

Над моею землей
весь в лучах небосвод
голубой,
громыхают над ней
водопады
лучей
с высоты,
и ты слышишь
биение жизни
в утробе земной,
видишь,
как на глазах
вырастают повсюду цветы.

Над моею землей упирается в небо Пирин,
в бурю пихты поют песнь восстания
бури сильнее![1]

(Перевод М. Павловой)

Славится пиринская земля песнями, в которых — огонь души народной, в которых отозвалось извечное стремление трудового люда к свободе и счастью. Судьба недавно привела меня в этот гостеприимный край, столь любезный сердцу россиянина. Неподалеку от дома-музея Вапцарова, среди деревьев и цветов, воздвигнут монументальный памятник поэту-коммунисту, не знавшему страха в борьбе против фашизма и реакции.

Здесь живет вера, берегутся святыни. Здесь поистине встретились красота природы и народный гений.

Много преданных сынов болгарского народа дал этот благословенный край. Не забыты их подвиги. Живая это история. О них слагают легенды. Неизъяснимой внутренней силы исполнены торжественные и лирические песни о героях земли пиринской — пламенных патриотах и революционерах. В песнях продолжает жить благородная память о мужестве и бесстрашии славных предков, отдавших себя служению отчизне.

Об этом — песня «Родина» Вапцарова: о тяжелом, гнетущем чувстве, которое охватывает при мысли о пролитой крови, о том, что «тьма, голод, боль рабства, куда ни гляди»:

И все же я люблю тебя,
Родина Гоце и Даме,
люблю потому,
что я вырос с тобой
и окреп.
И в сердце своем молодом
удержу я тревожное знамя,
стремление вечное тех,
кто хочет добыть себе кровлю и хлеб!

(Перевод М. Павловой)

День и ночь ветер «поет нам в Пирине, облетая ущелья и скалы, о том, сколько храбрых в бою за свободу, за жизнь и за родину пало»,— пишет поэт в стихотворении «Доклад».

На пиринской земле, в долине Струмы, по свидетельству летописных источников, славянские племена закладывали основу болгарского государства, насмерть бились с врагами. Царь Самуил еще в 1014 году вел у подножия горы Беласицы суровые сражения за независимость и неприкосновенность своих рубежей. Край этот был одним из очагов древней культуры, просветительской деятельности учеников и последователей Кирилла и Мефодия во главе с Климентом Охридским, усовершенствовавшим славянскую азбуку и создавшим кириллицу. В недрах Пирин-планины обрели свои крылья первый болгарский историк Возрождения Паисий Хилендарский, просветитель Неофит Рильский, прославленный патриот и революционер Яне Сандански, известный партизан Иван Козарев. У подножия Пирин-планины родились отец и мать великого болгарина Георгия Димитрова. Из прекрасного народного творчества, напоенного дыханием пиринских горных цветов и легенд, черпал вдохновение певец революции Никола Вапцаров.

И теперь, стоя у памятника Вапцарову, невольно задумываешься над тем, что на этой земле рождались и жили достойнейшие наши предшественники... Но отчего вот и сейчас испытывают люди щемящую печаль, грустят о тех, кого давно уж нет? Что трогает, сближает, роднит? Не чувство ли того, что и они, как ныне мы, бросались в бой, ликовали, любили, мучались, побеждали? Да умерли ли они? Или попрежнему они среди нас, увлеченные погоней за временем и событиями? Не живы ли те, кого считаем канувшими в небытие, оставшимися за той невидимой чертой, что разлучает людей? Откуда эта светлая печаль у нас, откуда неизбывная скорбь? Не истинная ли в этом человеческая приязнь, чувство восхищения перед теми, кто жизнью своей заплатил за жизни других, за нынешнюю нашу жизнь?

Связь времен

Неумирающе поэтическое слово Вапцарова. И сегодня творчество его наперекор роковой черте являет источник вечной силы, неотъемлемую часть исторического движения, утверждения коммунистического мировосприятия и образа нашего бытия. Он принадлежит нам всем своим талантом, всеми помыслами и устремлениями.

Движение болгарской поэзии последнего столетия было далеко не безмятежным. Становление ее шло в сражении за высокое предназначение, за гражданственность, революционность, в противоборстве с формалистическими позициями отстраненности литературы от общественного служения, с декадентским и антигуманным пониманием ее критериев и возможностей. Оно шло в борьбе против всех тех, кто так или иначе пытался воскрешать, на разный лад латать и подновлять истлевшие лохмотья упадничества и распада. В борьбе за то, чтобы всегда быть со своим народом, считать себя в ответе за все.

Творчество Вапцарова органически вписывается в магистральный поток болгарской революционной поэзии, явившись одной из ее вершин. В поэтический Пантеон болгарского искусства слова Вапцаров вошел как певец редкостного дарования, гармонически соединившего в себе высокую идейную убежденность и красоту поэтической формы. Замечателен именно тот поэт, который по внутренней своей отзывчивости откликается на жизнь века, его бури, потрясения, на народные чаяния. Реалистическая литература сознает себя тем увереннее, чем тверже опирается на реальные ценности и наблюдения социальных явлений. Поэтическое творчество Вапцарова — это не только художественное осозна-

[1] Здесь и далее стихотворения цитируются по книге: Никола Вапцаров. Песни мотора, «София-пресс», 1979.

ние, но художественное освоение реальности. Рост, мужание поэта — в вовлеченности в общественную жизнь, в социальные процессы, классовую битву.

Никола Вапцаров нерасторжимо связан с эпохой. Это было время, отмеченное в истории болгарского народа мрачными страницами монархо-фашистского режима. Время, властно звавшее всех честных людей на баррикады. Именно в этом контексте только и возможно осмысление творчества поэта, когда все существо напрягалось для работы ума и души. Вапцаров — характер этого времени, в котором созревала и находила свое выражение творческая его одаренность.

В искусстве слова преемственность — не просто необходимая связь поколений, но и неотъемлемый фактор непрерывности творческого движения. И нередко много завещается и передается как живая эстафета от поэта к поэту, из поколения в поколение. Благодаря такой неразрывной цепи искусство слова находится в неостановимом развитии. Познавая границы достигнутого, человек способен преодолевать их.

Творчество Вапцарова опиралось на поэтические достижения болгарской классики, таких ее представителей, как Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов, Христо Смирненский.

У Вапцарова, поэта-интернационалиста, был редкостный дар: он умел историю и жизнь своего народа, всего человечества воспринимать как личную свою судьбу, как свою жизнь. Качества эти, несомненно, воспитывались на лучших традициях, на художественно-эстетическом опыте выдающихся его предшественников, на идейной убежденности, коммунистическом мировоззрении. Полны глубокого смысла строки поэта:

Я знаю, услышав слова мои,
Ленин сказал бы:
«Вы правы,
товарищ Вапцаров!»

(«Доклад». Перевод М. Павловой)

Вапцаров принадлежал к младшему поколению революционных писателей и раньше, чем многие его современники, подошел к тому рубежу, с которого видно многое — и то, что еще не начиналось, но неизбежно должно прийти.

Подлинная литература не может не быть литературой своего времени и своего народа. Это, однако, не означает, что художественное произведение имеет значение только для своего времени. Всеизвестно, что настоящие творения искусства слова сохраняют эстетическую ценность, далеко выходя за рамки эпохи и границы своей национальной принадлежности.

Неуважительное отношение к наследию прошлого, к национальному достоянию обеднило бы нас, ибо оно неизменно возвышает наши патриотические чувства, дарит радость встречи с прекрасным. Овладение наследием — это отнюдь не уход от наших дней, от проблем злободневности. Это осмысление жизни, самих себя, истории и современности. Разве, к примеру, Сенека, отдаленный от нас двумя с лишним тысячелетиями, не читается с интересом и в наше время, а его мысли не удивляют нас своим современным звучанием? Духовные сокровища прошлого незыблемы. Мы высоко ценим настоящее, уважаем минувшее, оптимистически смотрим на будущее нашего искусства.

Вапцарову принадлежит высказывание: «Бесспорно, больше всего можно учиться у собственной, родной литературы. Она дает тебе первые уроки, у нее ты учишься всю жизнь. Без нее нельзя стать писателем. Однако непременно нужно читать произведения советской литературы. Любая литература обогащает культуру. Но советская всецело расширяет кругозор. Она указывает пути развития всем литературам»[1].

Вера и боль

Вапцаров стремился проникнуть в разные сферы жизни, разобраться в ее внешних и внутренних проявлениях, понять свое время и человека, углубиться в историю, провидеть будущее. И потому поэзия для него была свойством жизни, душой живого. «Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже перестанет быть обывателем»,— писал Блок.

Верно, что современнику бывает обычно нелегко оценить все значение происходящих на его глазах событий, сразу определить смысл явлений. И тут многое, разумеется, определяется мерой субъективного понимания художником развития жизни. Творческий путь Вапцарова свидетельствует о глубокой субъективной связи с реальностью, революционной действительностью. «Я здесь, я там. Везде мой след»,— утверждает он в стихотворении «Поединок». В поэте было особенно сильно развито глубокое понимание причинной связи явлений, процессов и перспектив развития с позиций непоколебимой убежденности, веры в неотвратимость судьбоносных перемен в Болгарии. В стихотворении «Вера» читаем:

Может, хотите
сразить мою веру
в счастье грядущее
и мою веру
в то, что завтра
жизнь станет лучше,
станет умнее?

(Перевод Б. Слуцкого)

Истинный художник — всегда пророк, которым движет вера и который открыто провозглашает глубокую свою убежденность. Без надежды на лучшее, без ожидания счастья едва ли возможно существование человека. Людям от природы свойственно верить. В будущее, в новое, нередко

[1] Пенчо Данчев. Никола Вапцаров — поэт болгарского народа и всего человечества. «София-пресс», 1978, стр. 12.

до ошеломления новое. Ващаров был убежден: жизнь должно изменить, ибо он жил в обществе, где попиралось человеческое достоинство, где свирепствовал террор и бесправие, где на эшафоте — свобода и вера:

А как вы сразите ее, скажите?
Пулями?
Нет! Бесполезно!
Осадой? Не выйдет!
Вера в груди моей
сталью покрыта,
и для нее
бронебойные средства
еще не открыты!
Еще не открыты!

(«Вера». Перевод Б. Слуцкого)

В словах этих обнаруживается нечто выстраданное, нечто неистребимое, поэт понимал, что наступило время неустрашимых порывов и дерзаний. И оно могло пройти сквозь человека или мимо него. И прошло мимо многих, в том числе и многих писателей, современников Ващарова.

Современность — живая душа литературы. Но это — самый многосложный материал для художественного освоения. Поэту удалось сказать свое незаемное слово о людской жизни, мужестве, несгибаемой воле революционера. В стихотворении «Завод» находим строки о тяжести и нелепости жизни, которая «точно морда злого пса — грозится в яростном оскале»:

Кружись до смертной тошноты,
одолевая все напасти,
кружись, пока не вырвешь ты
кус хлеба
из собачьей пасти!

(Перевод В. Луговского)

Внутренняя, мускульная сила стиха ощущается здесь в каждом слове. И боль за людей, не познавших за безжалостными, каждодневными заботами о куске хлеба простого человеческого счастья, за изведенные в буднях годы. Они остро ощущали социальную несправедливость, справедливость же оставалась для них недосягаемой.

В заводском шуме, где проходят недели, месяцы и годы, кричи, чтобы «прорвался крик сквозь темный вихрь огня и боли, чтобы слова из уст твоих свинцовый воздух раскололи...»

И я кричал.
И весь свой век
взывал сквозь горе и печали...
Завод,
машины,
человек
захлебывались
и кричали.

(«Завод»)

И этот крик, наполненный тоской и злобой, подчеркивает поэт, «мелькает словно маховик, и удержать его не пробуй». Завод, конечно, «не только силы пьет», но и учит борьбе.

Жизнь самого поэта проходила в лишениях, материальной нужде. Никакой работой, однако, не пренебрегал. Не брезговал самым тяжелым трудом. Был кочегаром, механиком.

Ващаров глубоко осознавал, что горе и страдания невинного человека не имеют ни оправдания, ни объяснения. И открыто об этом говорил, что отличало его от людей, которые постоянно скрываются под маской и озабочены лишь тем, чтобы не обнажить истинного своего лица. У Ващарова — обнажающие мысли... Все ли их выносят? Не предпочитают ли иные облеченные в благопристойную, защитную форму слова?

Ващаров не мог петь о соловьях и рощах, о мотыльках, благоухании, поцелуях, слезах, хотя все это едва ли ему было чуждо. В стихотворении «Воспоминание» поэт говорит, что весна наступила, она прекрасна: принесла в каждый сад цветы и зори, далеких растений аромат носится в просторах, но «все тот же мрак, все то же гнетущее горе».

Другой? Он мертв.
А здесь, в долине,
весна идет!
Вон в небе синем
курлычут журавли, но ныне
ему не любоваться ими.

(Перевод М. Павловой)

Или в стихотворении «Романтика»:

Что хныкать?
О какой романтике постылой
еще и нынче воздыхать в унынье?
Романтика — в моторах,
песнь которых
звучит сегодня в небе синем!

(Перевод Л. Мартынова)

Верно, конечно, и другое: в жестокое его время Ващаров пел о главном — о смысле человеческого существования, тончайших нюансах душевных движений, вселенском назначении человека. И пел он об этом неизменно страстно, убежденно.

В исканиях и трудах

Жизнь награждает человека за неутомимость в исканиях и трудах, за стойкость и бескорыстие. И тем щедрее бывает награда, чем меньше человек помнит о славе, чем больше обретает удовлетворение в самом труде.

Великий дар художника — уметь соединять судьбу народа и судьбу человека, ибо это равнозначные величины перед лицом истории. Может ли быть личность без народа и разве народ не теряет, если не порождает личность сильную, мудрую, гениальную? В стихотворении «Построим завод» поэт обращается с призывом:

Построим завод, огромный завод,
где будут бетонные своды!
Мужчины, женщины,
народ!
Построим завод
свободы!

(Перевод П. Железнова)

Высоким пафосом созидания отмечено это стихотворение:

На скалах гранитных
ногтей наших след —
мы в скалах ногтями туннели долбили,
мы рельсами весь опоясали свет,
и в недрах
мы все открыли!

Народ должен быть хозяином своего труда и своей страны — таков идеал счастливого будущего у Вапцарова. Не просто надежды и мечты лелеет поэт. Он бьет в набат, призывает к действиям, чтобы построить завод жизни для всех. Для тех, которым «весь мир тюрьма...». И призыв этот был обращен не только к болгарам, находившимся под игом реакции. Голос поэта доносился до всех порабощенных, заклейменных проклятьем бесправия, во всех землях и частях света. Бесстрашный этот был вызов миру тирании и деспотизма. Поэт возвысил свой голос гнева. Он смел. Другие не смели.

В центре творческого мира, поэтической вселенной Вапцарова неизменно стоит человек, обыкновенный человек труда, движимый не мелкими потребительскими интересами и своекорыстием, но сознанием того угнетенного и бесправного положения, с которым он не может более мириться. Против которого он восстает во имя социальной справедливости и духовного своего раскрепощения. Во имя служения отечеству. Поэт в стихотворении «Доклад» говорит, что он мукой пропитан и к совести единомышленников взывает «подумать о высшем, о том, что вплетается в воспоминания, что рвется из сердца, ведет нас по жизни, что гибнет и вновь зарождается в сердце и носит прекрасное имя — Отчизна»:

...я так разумею,
что каждый обязан
не только свой разум,
но кровь,
жизнь свою
влить в святую идею!

(Перевод М. Павловой)

Поэзия Вапцарова — именно то художественное творчество, движение слова и мысли, та возбудительная атмосфера, которые достойны стать для человека жизнетворным воздухом. В широко известном стихотворении «История» поэт подчеркивает, что «трудились мы без перерыва, трудились мы, как скот рабочий», но отцы внушали нам, что «так было от начала света!»:

...свистел горячий воздух резко...
Так больше жить нельзя!.. Нет силы!..

(Перевод П. Железнова)

Поэт ясно видел, что обреченный мир не уступает своих позиций без сопротивления, яростного и отчаянного. И потому:

...расскажи простою речью
бойцам, идущим нам на смену,
что мы за счастье человечье
боролись стойко, неизменно!

На века запечатлел поэт высокие состояния человеческого духа. Потребность убежденного, идейного служения народу.

Поэзия Вапцарова проникнута раздумьями о трагической и возвышенной судьбе родной земли и об обществе, соотнесенностью их с человеческим бытием. В стихотворении «Земля» находим такие строки:

Сколько нежности в нем!
Можно ли выразить это словами?
Край родной, дорогая отчизна моя,
кровью вспоенная и взлелеянная
мятежами!

(Перевод М. Павловой)

К чувствам других...

Поэзия Вапцарова — это деятельное, раскрепощенное творчество. Книгу своих стихотворений поэт не случайно назвал «Песни мотора» (1940). Единственную книгу, которая увидела свет при жизни автора. В «Песнях мотора» — душа поэта, весь тревожный мир его большого сердца. Ибо, не отдав сердца, ничего не обретешь. В искусстве поэта стержневая основа — то, что он хотел сказать, что утвердить в жизни. Литература — если это истинное искусство — обращена к человеку, к его эмоциональному миру, его темпераменту. Разве так же как в живописи, музыке, во всех видах искусств не взывают в поэзии чувства одного к чувствам других, когда быстротекущие события обретают свое истинное значение, когда создается особая духовная эмоциональная атмосфера места и времени?

В характере Вапцарова был крепкий, именно нравственный стержень, являющийся фактором огромного воздействия на читательскую аудиторию. Сила влияния нравственного, по мысли Н. В. Гоголя, превыше всего. Вне нравственности, вне человечности правды искусства быть не может. Подлинное искусство слова несет в себе и вечные проблемы, и нравственные искания, и философское осмысление человеческого бытия. В противном случае великие художники прошлого были бы нам непонятны, произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Данте, Шекспира, Гейне, Ли Бо, Тао Юаньмина не воспринимались бы как поразительно современные.

Необходимо не просто знание исследуемого предмета, художник должен сам переживать, болеть. Нет, вероятно, хороших и плохих тем, сюжетов. Скорее можно говорить о плохом и хорошем наполнении. Произведения искусства слова не есть зеркальное отражение окружающей жизни. Это — мир, осмысленный и преображенный душой писателя.

Вапцаров был художником прежде всего мыслящим, мыслящим остросоциально и проницательно. И потому произведения его — это позиция автора, художника, его раздумья, отрицание или утверждение бытия, свидетельство мироощущения и убеждений, горизонта его понимания искусства, наконец.

В стихотворении «Письмо» поэт говорит, что новое ему «помогает покончить с тьмою прошлых заблуждений и злобу мне в груди переплавляет в священный гнев сегодняшних сражений».

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
ВАПЦАРОВ: ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ В ГРЯДУЩЕЕ

А в цикле «Песни» утверждает:

Место мое в жизни
мне известно.
Не отдам напрасно
жизнь свою
и умру я, как рабочий,
честно
за свободу и за хлеб
в бою!

(Перевод Л. Мартынова)

Поэт беспощаден. Твердо знал, чего хотел. С годами удары его сердца стали реже, весомей, взгляд — пристальнее и зорче. Вапцаров всматривался в будущее. И за ближайшим достижимым для него была не стена, а бескрайность. За внезапностью находок, за творческими удачами — всегда долгий и упорный труд. И каждая новая песня его — новый шаг, новая ступень в грядущее:

И пусть, как мотыльку, лучи, сияя,
сожгут мне крылья.
Их не прокляну я,
не буду сетовать —
ведь я же знаю,
что срок придет —
и мертвый упаду я.
Но умереть в тот час,
когда смывает
с себя земля
столетний яд и плесень,
когда мильоны
к жизни воскресают,
да, это будет
лучшая из песен.

(«Письмо». Перевод М. Павловой)

Призвание истинного поэта — быть устами своего народа. И в этой связи в поэзии Пушкина, которому болгарский певец посвятил вдохновенные строки, не могло не привлекать Вапцарова именно то, что в ней, говоря словами Достоевского, с такой глубиной запечатлена «народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего, будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески». Примечательны слова Вапцарова о Пушкине: «И полюбил простой народ твои чудеснейшие песни».

За весь мир в ответе

Уместно здесь привести слова кубинского поэта Николаса Гильена: «Никола Вапцаров — личность мирового значения, гигантский дуб, чьи корни находятся в Болгарии, а ствол и ветви дают покой и силу тем, кто борется за свободу во всех концах земли».

Разве не тревогой за весь мир проникнуто стихотворение «Антенны», в котором поэт говорит о низко нависших над людьми небесами:

Не спится мне — они всю ночь не спят,
да и тебе не спится, человечество.

(Перевод М. Павловой)

Горевший в поэте огонь, священный огонь ненависти к зловещим силам фашизма, не знал ни границ, ни угроз, бесстрашно сражался он с ненавистным реакционным режимом в своей стране. Готов был биться вместе с другими народами, поднявшимися против душителей свободы, тирании и гнета в любой болевой точке земли. Он воспел подвиг испанских республиканцев, которым посвятил цикл талантливых песен. В стихотворении «Испания», выражая солидарность с борющейся Испанией, он отвечает на собственный вопрос, чем для него стала эта страна:

Теперь же для меня ты — участь,
теперь ты для меня — судьба.
С моими стали неразлучны
твои свобода и борьба.

(Перевод В. Журавлева)

Невольная волна ответной признательности, доброго чувства, жажды высшей справедливости возникает в сердце читателя — болгарского и зарубежного.

Вапцаров поддерживал благородные идеи интернационализма, равноправия, братства между людьми и народами. Принимая активное участие в 1940 году в движении за заключение пакта о дружбе и взаимной помощи с Советским Союзом, Вапцаров в стихотворении «Сельская хроника» заявил:

...наш лозунг один:
Долой террор!
Союз с СССР.

(Перевод Б. Слуцкого)

И мы видим, какое с годами самоуглубление происходит в поэте, видим его политическую и творческую зрелость, слышим, как крепнет его голос. Читая волнующие его строки, испытываешь повелительную силу их воздействия — и захватывает дыхание от волнения, вовлеченности в стихию чувств и мыслей поэта, в движение большой его души. Вапцаров был тем человеком, который оказался способным перебрасывать мост через пропасть между мирами.

Признание

В чем же секрет вапцаровского успеха? В подлинности, в значительности дарования, в котором сроднились неповторимость образов, глубина содержания, взлеты фантазии, чувство формы, ясность, проникновенный лиризм, искренность и пронзительность мысли — все то, что делает стихи поэзией.

На мой взгляд, замечательнейшее свойство стихов Вапцарова — их немногословие, предельная экономия слов. Умение поэта выразить существенную для него мысль кратко, сжато. У Вапцарова каждая фраза пластична, жизнестойка и долговечна.

Вапцаров — поэт, коммунист без страха и упрека. Высокий пример человеческого достоинства, которым люди вправе гордиться.

Ретроспективно глядя на пройденный путь Вапцарова, можно сказать, что, вырывая из беспощадного бега времени отрезок жизни, поэт делал первый шаг на своем пути. Задача же, к которой он устремлялся с правдой и верой, заключалась в том, чтобы без колебаний остановить завоеванный миг, подарить его людям. Иными словами, поэтически выразить трепет этого

мига, обнажить истинную его суть. Открыть тайну: напряжение и страсть, лежащие в основе каждого мгновенья. В творческой устремленности такого рода поэту удалось достичь волнующей нас искренности: представшее зрелище мучения или счастья, ужаса или радости разбудило то чувство неизбывного сострадания, которое рождают приязнь людей друг к другу и всего человечества к окружающему миру при появлении на свет, в труде, в радости, в надежде...

Время Ващарова — это время духовного обновления, когда со всей беспощадностью встал вопрос о революционном долге, о преданности отечеству, о поступках, стойкости человека на краю жизни, в самой критической ситуации. Жизнь Ващарова, погибшего от рук фашистских палачей, стала живой легендой, светом факела для последовавших за ним поколений.

Знает ли человек, когда он идет навстречу своей судьбе? Всегда ли он готов встретить свой последний час? На июльском процессе 1942 года Ващаров отдавал себе ясный отчет в зловещей опасности, ожидавшей его. Но со всем бесстрашием заявил он фашистам: «Я убежденный антифашист и как подлинный сын своего народа ненавижу фашистских оккупантов и потому боролся против них». И перечитывая строки его стихотворения «Весна»:

Белая весна, моя весна ты,
встретиться бы мне с тобой, крылатой
(жизнь на мертвых площадях проснется),
только бы твое увидеть солнце,
на твоих погибнуть баррикадах! —

(Перевод Н. Глазкова)

проникаешься чувством, что и тебя коснулось это весеннее крылатое дыханье, которого так ждал поэт, который жил в другом краю земли, в уже ушедшее время.

Разве не потрясает мужество поэта перед самой смертью? Мыслимо ли проявление большей убежденности и веры, выраженных человеком в смертный свой час? И после вынесения приговора из уст Ващарова и его сподвижников, гордо стоявших под дулами фашистских винтовок, вырвалась песнь на слова любимого поэта Ботева, песнь о бессмертии тех, кого сражает пуля в бою за свободу. Вместе со своими сподвижниками он взял на свои плечи бремя служения революции, когда в стране свирепствовала черная власть фашизма. Он был исполнен готовности пройти через любые испытания. Он принадлежал к людям, взрывавшим старый мир,— людям высокой стойкости и сострадания к другим. У них была вера, вера в человека. вера в то, что людям дано справиться со всеми бедами на земле, решить их проблемы.

Да, Ващаров знал и прошел свой путь навстречу судьбе. Знал, что подвергнется казни. Фашистские власти были убеждены, что только варварская расправа с бескомпромиссными и неустрашимыми революционерами сможет продлить преступное их существование.

Бессмертные, клятвенные строки, написанные поэтом всего за несколько часов до казни (14 ч. 23.VII 1942), наполняют наши сердца великой гордостью и навсегда становятся живым символом величия человеческого духа и подвига:

Борьба так беспощадна и жестока.
Борьба, как говорят еще, эпична.
Я пал. Другой меня сменил,
и... только —
исчезла лишь какая-то там личность.
Расстрел, а вслед расстрелу — черви,
и все это так просто и логично...
Но знай, народ, с тобой
в отрядах первых
пойдем вперед мы в буре необычной.

(Перевод Н. Тихонова)

Поэзия Ващарова — симфония бессмертия, мужества, бесстрашия. Родник поэзии есть прекрасное. Ващаров утверждал в своем творчестве осознанную истину: поле битвы — это прежде всего сердце человека. Ващаров умел точно размежевать в своем сознании правду и неправду.

Все, кому доведется узнать о величии подвига Ващарова, не смогут не задуматься над многим, над собственной своей судьбой и поведением. Не смогут, не вправе будут прощать малодушие, безверие и слабоволие перед опасностью, перед лицом испытаний, какими бы суровыми они ни были.

Встреча с жизнью и поэзией Ващарова, в котором жила непримиримость к мещанской психологии, потребительству мелких, духовно опустошенных людей, делает нас чище, нравственнее, будит в нас высокие и благородные мысли и чувства.

Не слишком ли часто мы многое прощаем себе и другим? Прощаем, идем своим путем и забываем. Забываем и то, что должны помнить.

Поэзии певца революции Ващарова, который неповторимо запечатлел ступени времени, суждено передаваться из поколения в поколение, ей предназначена вечность. В ней заключена необыкновенная выразительная сила, способность воссоздать зримые черты суровых событий. Как писал Карамзин, «слова принадлежат веку, а мысли — векам». События реальные, из действительной жизни взятые, а затем глобально переосмысленные Ващаровым, образно претворены в подлинные волнующие душу поэтические строки. И в этом мы обнаруживаем глубинные закономерности, в которых по-своему преломляется и личное и общественное сознание.

◆

Отклики, встречи, впечатления

В. ЯСНЫЙ

МАДРИДСКИЕ БЕСЕДЫ

Я ехал в Испанию неимоверно долго — первая моя небольшая статья о Сервантесе написана более сорока лет тому назад. Казалось, о стране, лежащей за Пиренеями,— ее истории, литературе, людях я знал многое. Там бывали мои друзья. Некоторые не вернулись с полей национально-революционной войны. Потом были многочисленные встречи, дружба с испанскими товарищами.

Непосредственное впечатление от Испании ошеломило. Испания явилась знакомой, но совсем не такой, какой мне представлялась. Несмотря на весь заочный опыт, ожидалось нечто, хотя и не экзотическое, но все-таки очень «свое». Думал — старина и это особое испанское начало в жизни, в архитектуре, во всем окружающем будут проступать отчетливо, преобладать. Передо мной же явилась очень современная страна, с напряженным темпом жизни, великолепнейшей столицей, рядом с которой даже Рим, например, воспринимался как старый, более провинциальный город. Сплошные ряды 10 — 12-этажных домов на главном проспекте Гран Виа. Потоки машин, пробки на перекрестках.

Многочисленные стройки, новые дома в архитектурном стиле «как у всех», молодежь, одетая в традиционные куртки из «болоньи». И нет увлечения боем быков. Правда, была поздняя осень, сезон окончился, но испанцы сами уверяли, что на смену бою быков идет спорт, и прежде всего футбол. А бесконечное повторение девальвированного и распродаваемого туристам Дон Кихота (его фигурки — деревянные, металлические, зачастую слатанные из кусков необработанного металла в ультрамодерновом духе,— встречались на каждом шагу) не приближало к неповторимому испанскому, скорее подчеркивало унифицированно-современное.

Мы приехали, чтобы принять участие в проведении первых Дней Советского Союза в Испании. Программой предусматривались беседы, выступления, несколько встреч с испанскими писателями: Анхелом Мариа де Лерой, Альфонсо Гроссо, Антонио Ферресом, Рамоном Эрнандесом, Антонио Менченом, Херманом Санчесом Эспесо — очень разным по своим творческим установкам и манере письма.

К Анхелу Мариа де Лере отправляемся вместе с Рамоном Эрнандесом. Он заходит за мной в гостиницу. Жду его с нетерпением. Позади несколько лет заочного знакомства. Я писал уже о его романах «Приглашенный на смерть» (1970), «Вечная память» (1975), «Что-то здесь происходит» (1976) [1]. Хорошо знаю по портретам его волевое, энергичное, окаймленное курчавой жгуче-черной бородой лицо. После Хуана Бенета это, пожалуй, наиболее видный представитель «новой волны», к которой принадлежат и Антонио Менчен и Херман Санчес Эспесо. Испанская пресса склонна к броским определениям, зачастую весьма однобоким. В данном случае речь идет о контрволне, пришедшей на смену социальному роману 50—60-х годов, его авторы

[1] См. «Современная художественная литература за рубежом» № 5, 1977.

стремились к объективному, внешне беспристрастному, фактографически точному отражению действительности. Объединяет их всех то, что они представляют, в общем, несмотря на небольшую разницу в возрасте (Менчен род. в 1930-м, Эрнандес — в 1935-м., Эспесо — в 1940-м), одно литературное поколение, которое действительно пришло в литературу в период кризиса социального романа в шестидесятые годы, как бы ему на смену.

Пришло с таким же непримиримым отношением к испанской действительности, как и их непосредственные предшественники. Но главное для них было не простое фиксирование пороков окружающего, а познание человека как такового, углубленное изучение личности и более яркое воплощение конфликта личности и общества. И одновременно — поиск более совершенных художественных средств, структурные эксперименты в области языка, образной выразительности; эксперименты, имеющие целью раскрытие глубинных процессов, происходящих в обществе и сознании людей. Отношение нового поколения к социальному роману было сформулировано Рамоном Эрнандесом в одном из его выступлений несколько лет тому назад: «Нужно преклоняться перед писателями, которые осуществляли социальное свидетельствование в антисоциальных условиях...»

Эрнандес — писатель идеи. Романы его целенаправленны, тезисны, политически и социально ориентированы против войны («Вечная память»), против конформизма, интеграции молодежи в буржуазном обществе эпохи НТР («Что-то здесь происходит»).

Встреча приносит и узнавание, и нечто неожиданное. Эрнандес, тот же, что на фотографии, но подвижный, доброжелательный, оказывается похожим на лихого испанского разбойника былых времен.

Идти к Анхелу Мариа де Лере рано, и мы совершаем прогулку по старому Мадриду, который приезжему не так-то легко открыть. Лучшего попутчика, чем Рамон, очевидно, не сыщешь. Писательский труд в Испании не кормит, и, инженер по образованию, он вынужден работать. Служит Эрнандес в институте, занимающемся охраной природы. Должность у него уникальная: он — смотритель древних римских дорог, то есть отвечает за состояние этих удивительных в ряде мест Испании сохранившихся памятников старины.

В Мадриде ничего такого нет. По испанским понятиям это город-выскочка, ставший столицей во второй половине XVI века и строившийся в обнищавшей и пришедшей в упадок стране в XVIII—XX веках. В районе Плаца Майор сохранились еще узкие улочки, старинные домики, знаменитый «Ботин» — ресторанчик, который остался таким же, каким был более двух с половиною веков назад.

Лера живет на безлюдной малоосвещенной улице. Трех-четырехэтажные однообразные дома безликого серо-белого цвета. По обеим сторонам у тротуаров от перекрестка до перекрестка сплошные ряды машин. Тут открывается еще один Мадрид. И начинаешь ощущать многоликость испанской столицы: Мадрид Гран Виа, Мадрид Плаца Майор и «Ботина», город новых коробок (чуть подальше от центра) и город вот этих тихих улочек и переулков.

Лера принимает нас в небольшом кабинете с эркером. Там стоит стол, за которым наверно, хорошо работается. Стены до потолка в книгах, перед стеллажами — диван и столик. Дымится кофе. Атмосфера спокойствия, теплоты, неспешности.

Я смотрю на Леру — тонкое благородное лицо старого идальго — и думаю о его удивительной судьбе, впрочем, привычной для испанцев его поколения. Студент юридического факультета, комиссар республиканской армии, приговоренный после поражения республики к смертной казни, замененной тридцатилетним заключением. Долгие годы — во франкистской тюрьме, где подвигом было, судя по книгам самого Леры, прожить каждый день. Свобода в конце сороковых годов. Необходимость трудиться по 12—15 часов в день в трех местах. Писал урывками — в обеденный перерыв, ночами, карандашом на макулатуре. Лишь через несколько лет появились деньги на бумагу и авторучку.

А с середины пятидесятых годов одна за другой выходят его книги. Сегодня он представляет в испанской литературе направление, называемое «обычный роман», то есть роман, наиболее последовательно продолжающий линию традиционного критического реализма.

За несколько месяцев до нашей беседы вышла его книга «Мрачный рассвет», завершающая тетралогию «Годы гнева», над которой Лера работал более пятнадцати лет. Публикация ее в полном объеме была бы практически невозможной еще несколько лет назад, поскольку трагические события национально-революционной войны изображены в ней с позиций побежденного народа.

Сегодня Анхел Мариа де Лера не только много работает, выпуская почти каждый год по новой книге, но и возглавляет Профессиональную ассоциацию испанских писателей. В дни нашего приезда велась энергичная подготовка к ее первому съезду.

Положение испанских писателей и после снятия цензурных рогаток весьма нелегкое. Именно вокруг этого шли в основном наши беседы.

«В широких массах Испании отсутствует тяга и к культуре в целом, и к серьезной литературе,— с горечью говорит Лера,— а интерес и уважение к книгам надо прививать».

«Правительство, церковь,— включается в разговор Эрнандес,— всегда в Испании боялись движения, прогресса. Старая история. Уже в самих словах культура, художественное слово им чудилось нечто крамольное. Тяга к культуре не поощрялась, даже

В. ЯСНЫЙ
МАДРИДСКИЕ БЕСЕДЫ

в школе не прививалась любовь к чтению. А во франкистские времена процесс отлучения от культуры резко усилился. Теперь же, когда Испания вышла на орбиту «общества потребления», у нас все, как в других странах Запада. На смену культурным ценностям приходит культ ценностей, то бишь денег. Вещи, только вещи. Всем нужны новые «вольво» [1] и прочие современные символы социальной престижности».

«С особенной силой проявляется пренебрежение и к собственно испанской культуре,— продолжает Лера,— а все иностранное воспринимается некритически. Почти пять веков тому назад испанцы первыми пересекли океан. А теперь происходит обратный процесс — колонизация страны Соединенными Штатами. В Испании буквально прививается культ всего американского. Триста лет Испания ест картошку, которую первой вывезла из Америки. Сегодня потребитель предпочитает покупать картошку в американской упаковке. И не только картошку. Сама испанская культура нередко предстает также в американской упаковке. Не подумайте, мы не против культурного взаимообогащения. Послевоенное поколение испанских писателей испытало на себе благотворное воздействие Фолкнера, Хемингуэя и других. Но сегодня основной процент книжной продукции — низкопробное чтиво, в первую очередь американского происхождения».

«Современную испанскую литературу игнорируют и в наших университетах,— перебивает его Эрнандес.— О литературе последних двух десятилетий в учебных курсах почти ничего не говорится. Это во многом объясняется инертностью профессуры, скованной ранее цензурой, но и сегодня предпочитающей идти проторенным путем, объяснять то, что уже устоялось, на что имеются готовые ответы. Спокойнее говорить об умерших, вместо того чтобы высказывать собственные взгляды о живых, стремиться постичь новое».

На память приходит состоявшаяся за несколько дней до этого встреча с преподавателями и студентами факультета философии и филологии Автономного Мадридского университета. Принимали меня очень тепло, искренне, задавали множество вопросов. Особенно интересовались тем, что из испанской литературы переводят и читают в Советском Союзе. Все было хорошо вплоть до того, как я заговорил о книгах испанских писателей, вышедших в свет в 1977—1978 годах и, естественно, у нас еще не переведенных. Наступила некая отчужденность, замешательство. И вдруг я почувствовал, что ни преподаватели, ни студенты просто не читали этих книг. Время остановилось. Современность кончилась для них в литературе между Валье Инкланом, Барохой и Селой.

Лера и Эрнандес жаловались также на «заговор» журналов и газет. Публикации по вопросам литературы носят случайный характер, во многом определяются личными вкусами и пристрастиями. Может быть, в пылу полемики оба несколько увлеклись. Достаточно взять такую влиятельную барселонскую газету, как «Вангуардиа»; к примеру, в ноябре на ее страницах были опубликованы статьи о последних книгах Альфонсо Гроссо и Хуана Марсе, а также много информативных заметок, в том числе две, посвященные переизданию романа Эрнандеса «Приглашенный на смерть».

Но факт остается фактом. Пресса, особенно мадридская, мало внимания уделяет современной художественной литературе. Еще хуже обстоит дело с радио и телевидением.

«Испанским писателям ни разу не представлялась возможность выступить по радио или телевидению в качестве именно писателей и говорить о своем творчестве или проблемах литературы,— рассказывает Рамон,— тиражи их книг ничтожные, поэтому в магазинах тоже редко можно встретить книги современных писателей, преобладают классики и переводные произведения. Кроме того, наводнившие Испанию за последние два года книжонки, перегруженные сексом и насилием, также встают на пути между книгами прогрессивных литераторов и читателей».

И тут небольшое отступление. Действительно, в Испании сложилось своеобразное положение именно с современной испанской литературой, с ее изданием и популяризацией. Страна занимает одно из первых мест среди капиталистических стран по объему изданий и переводов. И отнюдь не только низкокачественного чтива. В большом количестве издаются американские и западноевропейские классики и выдающиеся писатели XX века. В последние годы — все больший интерес к культуре нашей страны.

Я вспоминаю небольшую комнату в доме, что возле площади Каталонии в Барселоне. Металлические стеллажи, сплошь заставленные советскими изданиями, горы книг и журналов на полу. Пара рабочих столов, машинки с русским и латинским шрифтами. Это владение двух удивительно милых женщин — Акилины и Елены Видаль. Мать и дочь уже не один год ведут работу по пропаганде и рекомендации советской литературы для издания ее в Испании.

Аннотационный бюллетень, который они от доски до доски делают сами, содержащий сведения о значительном числе книг и журнальных публикаций, выходящих в советских республиках, помогает испанским издателям отобрать наиболее интересные книги для перевода. При этом в бюллетене весьма квалифицированно описывается не только художественная, но и научно-техническая литература.

За 1977—1978 годы в Мадриде и Барселоне издано более 80 книг писателей нашей страны. Среди них произведения классиков: в первую очередь Достоевского (30 книг), Горького (13), Льва Толстого (12), а также Тургенева, Чехова, Гоголя, Андре-

[1] Шведская марка автомашин, популярная сейчас в Испании.

ева, Куприна. Испанские читатели имеют возможность познакомиться на родном языке с творчеством Шолохова, произведениями Эренбурга, Бабеля, Николая Островского, Вишневского, Шукшина, Стругацких, Юлиана Семенова. Вышли две антологии советской поэзии.

За эти же два с половиной года вышло более 100 научных и политических книг, в том числе 39 изданий произведений В. И. Ленина, опубликовано более 50 монографий и учебников по различным областям знаний.

Как видим, делается немало, однако тиражи еще невелики.

В Испании много книжных магазинов и особенно уличных лотков. И тут вернемся к тому, что говорили мне Анхел Мариа де Лера и Рамон Эрнандес. Действительно, на книжных развалах уютного бульвара Рамблас в Барселоне, в Мадриде на Гран Виа, на проспекте Независимости в Сарагосе, наконец, в тех небольших книжных магазинах, куда я успел заглянуть, в каком-то неистовом беспорядке перемешаны техническая, научно-фантастическая, политическая литература с книжонками порнографического характера, комиксами. Современная проза просто терялась в этом потоке.

«Народ, несомненно, интересуется политикой, но не художественной литературой, посвященной политическим проблемам,— продолжает Эрнандес,— писатель может стать известным, занимаясь политикой, а не литературой. Поэтому большинство из нас вынуждены где-то работать. Есть, правда, способ сразу выбиться в знаменитые,— говорит он с иронией.— Надо поскорее отправиться на тот свет. С некролога нередко начинается твоя слава. Тут и тиражи, и собрания сочинений, и причисление к лику классиков. И трогательные слова о том, как недооценивали тебя при жизни».

С Альфонсо Гроссо мы договорились встретиться после моего возвращения в Мадрид из поездки по стране. Приехали поздно вечером. После долгих колебаний звоню. Разговор короткий: «Немедленно выезжаю». Альфонсо врывается в номер за полночь. В свои пятьдесят он весь движение, порыв, неудержимый темп. Глядя на него, начинаешь по-новому понимать особенности его творческой манеры — напряженность действия, динамизм, экспрессия.

Сегодня Гроссо полон забот, он поддерживает молодых писателей. Его энергия неистощима. Один из руководителей завоевывающей право на признание Профессиональной ассоциации испанских писателей, он занят в эти дни, как и Лера, подготовкой к первому ее съезду. Поэтому и беседа наша ведется ночью. Завтра он будет уже в Барселоне. В маленьком номере уютной гостиницы Гроссо просто не помещается. «Поехали в кафе»,— предлагает он. Через две минуты мы на месте. Заходим в одно из небольших, еще открытых кафе на Гран Виа. Пьем из маленьких чашечек удивительно приятный с нежным ароматом напиток — нечто вроде липового чая.

Представлять Гроссо советским читателям, пожалуй, нет надобности. Вместе с Хуаном и Луисом Гойтисоло, Хесусом Лопесом Пачеко, Армандо Лопесом Салинасом и другими молодыми писателями, вступившими в литературу в пятидесятые годы, он утверждал новое тогда направление — социальный роман. Его книги «Ослепительно голубое небо», «Страстная пятница» [1], «Сети» переведены на русский язык. Во второй половине шестидесятых, когда выявилось, что в новых условиях невозможно постичь и отобразить действительность только с помощью беспристрастного показа ее недостатков, у Гроссо начинается период поисков.

В 1976 году выходит роман «Добрая смерть», для Гроссо неожиданный. По внешним признакам — детектив. Всесильные боссы, финансовые воротилы, гангстеры, крепко слаженная интрига, несколько сюжетных линий, развивающихся вокруг тщательно задуманного, но случайно не удавшегося убийства, превращают книгу скорее в чтение развлекательное. Хочу узнать его собственное мнение.

Спрашиваю Гроссо: «Откуда «Добрая смерть»? Чем объяснить обращение к подобной литературной форме?»

«Дело вот в чем. Коммерческая литература наступает, отделяет нас от читателей. Необходимо сражаться с ней ее собственными средствами. Отвоевать у нее позиции. Изнутри взрывать структуру буржуазной литературы. Использовать ее жанры, вносить в подобную литературу социалистические, марксистские идеи. Поэтому и появилась «Добрая смерть».

И действительно, используя форму детектива, Альфонсо Гроссо поднимает серьезные социальные и политические проблемы, осуществляет в своеобразной форме жестокую критику современного буржуазного мира.

Альфонсо протягивает мне книгу, которую перед тем держал в руках. Это — сигнал его нового романа «Приглашенные».

«Сейчас работаю над следующей книгой в том же ключе, хотя сюжет и персонажи между собой никак не связаны. И не я один. Ты читал «Правду о деле» Савольтаи Эдуардо де Мендосы? Очень талантливый парень».

В сущности, роман Мендосы, вышедший в 1975 году, близок по духу и последней книге Гроссо. Значительное место в нем занимает история борьбы барселонских рабочих с предпринимателями в первые два десятилетия двадцатого века, размышления об анархизме и путях рабочего движения. А по формальным признакам эта книга —

[1] Опубликован в «ИЛ» № 12, 1964.

причудливое смешение различных романных жанров, вплоть до пасторального, бытовавших в испанской литературе. Но преобладает детектив. Тут и мудрый полицейский комиссар, и наемные убийцы, и взрывы бомб. В манере письма молодого автора ощущается вполне сознательная имитация книжной массовой продукции. Оценка этой книги критикой так же, как романа Гроссо, была весьма противоречивой — от объявления ее неудачной до утверждения, что это поворотный пункт испанского романа.

Итак, детектив. Роман, действие которого сфокусировано вокруг преступления, облегчает выявление пороков общественного устройства, темных сторон испанской действительности. Нельзя не согласиться с Гроссо: такой роман в принципе представляет возможности для политического и этического воздействия на самые широкие круги читателей и по драматизму содержания, и по увлекательности формы. Поэтому детективу, роману о преступлениях в семидесятые годы отдают дань в Испании не только Гроссо и Мендоса, но и такие писатели, как Мигель Делибес, Рамон Эрнандес, Франсиско Гарсиа Павон, Херман Санчес Эспесо и другие.

При этом дискредитированный коммерческой литературой, девальвированный жанр приобретает общественную значимость и в своем преображенном виде выступает (как у Гроссо) одной из разновидностей социально-политического романа, широко распространенного жанра испанской литературы сегодня. Но в каждом ли случае на этом пути ожидает успех? Уже в Москве я прочел роман «Приглашенные» (подробный разговор о нем в другом месте). Так же, как и «Добрая смерть», он начинается и заканчивается преступлением. Вновь международная гангстерская корпорация вершит суд над людьми. Соединение предельно «подпружиненного» сюжета с почти памфлетными картинами современного буржуазного общества. Однако подумалось, что убедительного ответа на вопросы, заданные писателем во время нашей ночной беседы, я не получил. Не слишком ли дорогой ценой (в определенных случаях) утраты полноценного образного представления действительности приходится платить ему за путь к читателю, за большие тиражи?

В полдень в самом центре Мадрида на площади Испании встречаюсь с Антонио Ферресом, Антонио Мечеником и Херманом Санчесом Эспесо. Беседа о литературе в кафе — это традиция, без которой невозможно представить себе существование любой западноевропейской литературы, пожалуй, не менее двух с половиной веков. Правда, кафе нынешние мало чем напоминают их предшественников. Там кипели страсти, разыгрывались политические и литературные баталии, образовывались партии, формировались творческие направления. Сегодня здесь чинно, благопристойно, комфортабельно. Почти не глушит привычный грохот огромного города. Будто в купе спального вагона — мягкие диваны с высокими спинками, не садишься, а погружаешься и мгновенно отъединяешься от города, от окружающего. Перед тобой только собеседники. И лучшего места, наверно, для общения не найти. Пока ожидаем чашечки кофе, вглядываюсь в своих собеседников.

Верно, двадцать лет прошло с того момента, когда я держал в руках первую книгу Ферреса. Сегодня ему за пятьдесят. Худой, высокий, черные густые усы и брови, а в волосах сильная седина. Глубокие залысины, и от этого высокий лоб кажется еще больше. Во взгляде ум, проницательность, легкая ирония. Последние годы Антонио провел как бы в добровольной эмиграции (подобно ряду других представителей социального романа), преподавал испанский в университетах США и Мексики. Недавно вернувшись, он после нескольких лет молчания выпустил в 1978 году сборник рассказов и роман «Годы триумфа», последнюю часть трилогии «Семена» [1]. Трилогия Ферреса — хроника жизни людей, словно находившихся в изгнании в собственной стране, многие годы подряд подвергавшихся унижению и дискриминации. В центре внимания писателя проблемы одиночества, насилия, дегуманизации, трагедия существования испанского народа в эпоху франкизма.

Менчен — олицетворение спокойствия, приветливости, здоровья. За очками с морщинкой легкой улыбки — глаза. Менчен из трудовой семьи. В пятидесятые годы, как миллионы испанцев, был рабочим в ФРГ. По образованию юрист. Пишет он о мире страшном, о людях сломанных, неполноценных, исковерканных, с патологической психикой, беззащитных и обреченных, людях-жертвах. После первой книги «Пять вариаций», опубликованной в 1963 году, его объявили испанским Кафкой, певцом отчуждения и одиночества. После второй книги — «Каменные стены» (1968) — при характеристике его творчества замелькало имя Кортасара.

Не знаю, какие сравнения будут использованы при оценке сборника Менчена «Инквизиторы», вышедшего в 1978 году. Но ясно одно — он мастер рассказа. Поражает его удивительная чуткость к малейшим изменениям психологического состояния героев, персонажей, участие к ним, людям измученным, претерпевшим. Ясный, почти прозрачный язык без какой бы то ни было вычурности. Добротный психологический реализм. И через все рассказы проходит мысль: в основе неустройства и страданий героев — война и франкизм.

Херман Санчес Эспесо невысок, сухощав. Держится скромно, почти застенчиво. Он еще не знает, что через несколько дней станет одним из наиболее популярных писателей Испании 1978 года. Его назовут маститым, о его книгах начнут много писать, потому что он получит самую авторитетную в Испании литературную премию На-

[1] В русском переводе — «Побежденные», М. «Прогресс», 1968.

даля за последний свой роман «Нарцисс».

Испанские писатели тяготеют к масштабному, панорамному воспроизведению действительности. Отсюда циклы романов (впрочем, это старая традиция). Семидесятые годы отмечены «модой» на тетралогии. Их создали Анхел Мариа де Лера, Луис Гойтисоло, Вас де Сото и другие писатели.

Херман Санчес Эспесо установил своеобразный рекорд. Он создал пенталогию, так и названную «Пятикнижие», начатую романом «Эксперимент с Книгой бытия» в 1967 году. Заглавия романов перекликаются с названиями книг библейского «Пятикнижия» («Признаки исхода» — 1969, «Лабиринт левитов» — 1972, «Между чисел» — 1978). Однако книги его сугубо современны — в центре внимания автора конфликт между индивидуализированным сознанием и общественными установками. Трагедия человека, осознавшего себя лишь частичкой, порабощенной обществом, его институтами, пытающейся вырваться из-под их гнета зачастую ценой нарушения моральных и общественных норм.

После первой книги Эспесо упрекали за неоправданное экспериментирование, техническую сложность, нарочитую виртуозность, за самозначимость словесного поиска. В последующих — стиль его становится лаконичнее, выразительнее. В его книгах возникает жестокий окостеневший мир предрассудков, слепой фантастической веры, мертвых традиций. Мир чуждый и ненавистный человеку, который побеждает и подчиняет себе людей, его атмосфера пропитана ожиданием катастроф и преступлений. Но это не абстрактный мизантропизм, здесь конкретные приметы приобретает сегодняшняя Испания.

Беседу начинает Антонио Феррес как старший. Кажется, будто мы продолжаем разговор, начатый с Анхелом Марией де Лерой и Рамоном Эрнандесом, а потом и с Альфонсо Гроссо. Те же наболевшие вопросы: положение писателей, их место в обществе.

«Шестьдесят процентов населения страны вообще ничего не читает. Ни книг, ни газет, ни журналов,— говорит Феррес.— Ну в городе, может быть, процентов сорок, а в деревне и все восемьдесят. Поэтому так трудно общаться с читателем».

«Обычные тиражи художественных произведений,— вступает в разговор Менчен,— четыре — шесть тысяч экземпляров. Ежегодно только тиражи четырех — пяти романов, отмеченных наиболее известными премиями, превышают 50—100 тысяч». (Вспоминаю при этом слова Леры: «В Испании процветают только те, кто работает на коммерческий рынок: поставщики чтива и сексуальной литературы. Сам я почитаю за счастье, если тираж моего романа перевалит за 25 тысяч. А вот одна из книг Хосе Мария Гельбенсу, тоже представителя «новой волны», разошлась всего в 500 экземплярах»). «Но и литературные премии,— говорит Менчен,— прежде всего «Планеты», за последние годы также начинают во все большей степени преследовать коммерческие цели».

«А гонорар за книгу — примерно месячный или чуть больше заработок среднего служащего. Вот так мы все и работаем,— подсказывает Феррес,— это заставляет многих писать непрерывно, стремиться ежегодно выпускать по книге. Оттого нередко пишем второпях, что не может не сказаться на художественной полноценности серьезных по замыслу книг. Быть может, поэтому за последнее время мало появляется значительных произведений».

«Нам ли пристало жаловаться, Антонио,— с улыбкой перебивает Менчен.— Испания — страна чиновников. Многие из нас, как известно, чиновниками и служат. А что делает испанский служащий? Перекладывает за день несколько бумаг с одного конца стола на другой. Вот у нас и есть время и возможность писать. Не так уж худо сегодня писателю в Испании».

«Но надо не только писать, надо найти дорогу к читателю,— слышу я знакомые уже слова — сейчас они принадлежат Ферресу.— А вот возьми библиотеки. Однако библиотеки не в состоянии приобретать книги современных писателей — нет денег. Да и не очень-то туда ходят».

И мне вспоминается замечание Хуана Гойтисоло в «Особых приметах», романе, вышедшем 13 лет назад [1], о заколоченных дверях библиотек в маленьких городках и слова Рамона Карнисера, известного барселонского писателя, литературоведа и эссеиста, который написал книгу очерков «Прелести и горести «Старой Кастилии». Он тоже видел в середине семидесятых годов пустые читальные залы и запыленные книги на полках.

«Но есть еще одна своеобразная проблема именно сегодняшнего дня,— замечает Менчен.— За последние три года, когда наконец люди заговорили и каждый может сказать все, что думает, появилось множество книг исповедальных, «свидетельствующих». Это очерки, воспоминания, мемуары, биографии. Они интересны и, я бы сказал, полезны, потому что отвечают потребности времени и их читают в первую очередь. Но большинство из них скользит по поверхности событий и не может заменить настоящую литературу. Сами по себе нужные, эти книги «загораживают» серьезной литературе дорогу к читателю».

«Особенно тяжело молодым,— берет слово Санчес Эспесо,— если их произведения не отвечают потребностям рынка. Долгие годы можно ожидать, пока выйдет твоя первая книга. Быть может, поэтому сейчас в испанской литературе мало молодых и сегодняшняя литература делается в основном руками поколения Хуана и Луиса

[1] Опубликован в «ИЛ» № 8—9, 1967.

Гойтисоло, Ферреса, Гроссо, которые выпускали свои первые книги в 23 — 25 — 28 лет. По этой причине, думается, ряд молодых литераторов, людей талантливых, растрачивает свои силы на эксперименты со словом, стремясь как-то заинтересовать, удивить, ошарашить публику. Так поступают, например, Мариано Антолино Рато, Лейва».

Короткая беседа подходит к концу. На прощание задаю вопрос: можно ли сейчас выделить какое-либо ведущее направление, как это было в 50 — 60-е годы, когда господствовал социальный роман. Ответ единодушный: в настоящее время идет процесс смешения, диффузии различных школ, направлений, стилей. Не приходится говорить о преобладании жанра социального романа. Но социально-политическое начало в самых различных формах присутствует во многих новых книгах. В Испании все сегодня в движении, становлении, поиске. Подавляющее большинство писателей настроено против прошлого, против франкизма, однако спектр философских, политических, социальных позиций весьма широк. И тут вспоминаются слова Анхела Мариа де Леры: «Нам очень трудно договориться друг с другом. У нас, испанцев, каждый сам себе король».

В одном большинство писателей сходится — в критическом отношении к буржуазному обществу и его культуре в ее современных проявлениях. Изменение политической структуры, демократизация испанского общества не только не снижает критический накал, а скорее усиливает его. Ибо то, что казалось присущим деспотическому тоталитарному режиму, выявляется как неотъемлемая составляющая буржуазной действительности.

Три короткие встречи с писателями, представляющими испанскую литературу.

Множество новых мыслей, фактов, наблюдений. Но главное — в личном контакте, избавлении от ощущения заочного знакомства. Главное — в чувстве дружбы и более глубоком взаимопонимании.

◆

ИВАН РУМАНСКИЙ. Чехословакия.
Переход в горах.

Заметки на полях

ВСТРЕЧА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Издаваемый в Англии журнал «Энкаунтер» хорошо известен на Западе как орган печати, верой и правдой служащий существующему строю. Ориентируясь на интеллигенцию, он выполняет в ее среде роль троянского коня монополистической буржуазии. Он не скупится на угрозы либо соблазны, долженствующие внести смятение в ряды прогрессивной западной интеллигенции, отвратить ее от близких ей по духу левых идей, убедить ее в том, что именно капитализм, а не социализм отвечает ее подлинным интересам.

В последнее время «Энкаунтер» активизировал свои усилия в этом направлении, выпустив целую обойму материалов против прогрессивной западной интеллигенции. Вот, например, статья, которую опубликовал Роберт Конквест, бывший поэт, ныне активный советолог, под характерным названием «Роль интеллигенции в непоимании современного мира». Он обвиняет левую интеллигенцию в «неправильном толковании мировых событий», в «неспособности понять реальный мир» на том основании, что она, подвергнув критике западную культуру и выражая симпатию революционным преобразованиям, «поставила гражданское общество под угрозу».

Но о какой угрозе и какому обществу может идти речь? Та духовная поддержка, которую получают прогрессивные, социалистически ориентированные общественные движения во всем мире со стороны демократического большинства западной интеллигенции, есть, во-первых, естественное отражение ее гуманистической сути, проистекающей из ее социальной функции — развития и распространения культуры, во-вторых, свидетельство точности ее социального видения. Если левая интеллигенция и критиковала западную культуру — например, десятилетие назад во время знаменитой «студенческой революции», то опять же за отрыв от современного, постоянно меняющегося мира, за эзотеризм и элитарность. Правда, этой критике были присущи и крайности, но нельзя отрицать, что социальные потрясения конца 60-х годов способствовали прогрессивным изменениям на Западе, например в области образования, не говоря уже о прекращении вьетнамской войны, этого позора западного, прежде всего американского общества.

Но — в семье не без урода. Были и остаются на Западе такие интеллектуалы — их, по общему мнению, меньшинство,— которые и тогда шли против общего течения в культуре, точнее, плыли по течению мирового империализма, поддерживая с большим или меньшим усердием его политику или даже осуществляя, обосновывая и формулируя ее. Конквест, однако, почему-то умалчивает об этих своих единомышленниках. Причина, думается, в том, что, как показали социологические исследования в США, широкие слои интеллигенции отказывают таким интеллектуалам-конформистам в самом звании интеллигентов, с полным основанием причисляя их к буржуазии или же к ее прислужникам. Ясно, что это еще одна причина для выпадов Конквеста против интеллигенции.

Конквест обвиняет прогрессивную интеллигенцию в том, что она якобы предпочитает «деспотический тип культуры», воплощенный в «традиционной «имперской»

системе» и «мессианско-революционном типе», между которыми он ставит совершенно необоснованный знак равенства. Верно, что были у части левой интеллигенции свои опасные увлечения, например, «культурной революцией», но верно и то, что последовало отрезвление именно тогда, когда эта «культурная революция» обнаружила себя создателем деспотической антинародной системы. Извращение революционных целей, вырождение социалистического строя в «закрытый», оторванный от мировой культуры, как произошло, например, в Китае при Мао, вызывает естественный протест именно со стороны интеллигенции, и винить ее за это вырождение — все равно что взваливать на Ползунова или Стефенсона ответственность за железнодорожные катастрофы.

Между тем Конквест утверждает, будто именно социалистически ориентированная, революционная интеллигенция «не способна поверить в существование различных темпераментов и культур и столь же явно готова привести нас к катастрофе, если дать ей волю».

Это обвинение, подобно бумерангу, оборачивается против самого Конквеста, ибо именно он, объявляя идеальной «культуру западного типа» и уточняя — «англосаксонскую», уподобляется известному из старых романов самоуверенному британскому джентльмену, считавшему себя солью земли «от Суэца до Сингапура». Но ведь эти времена давно ушли в прошлое, и подобная претенциозная поза не принимается всерьез даже в Англии. В рамки столь ограниченных суждений не вмещаются, конечно, великие восточные культуры, которым современная цивилизация в немалой степени обязана, скажем, осознанием опасности бездумной и безудержной технизации мира. Да что говорить — даже политические лидеры ведущих западных государств не рискуют сегодня исповедовать столь примитивный евроцентризм.

Конквест упрекает интеллигенцию в непонимании «глубокой и принципиальной враждебности коммунистической культуры нашей собственной». Это обвинение отражает весьма далекую от истины трактовку коммунистической культуры — ведь не кто иной, как В. И. Ленин указал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»[1]. Тем не менее приходится признать, что к примитивной трактовке коммунистического отношения к культуре, увы, склонно не столь уж малое число западных интеллектуалов, которые принимают извращения, подобные маоистским, за подлинный коммунизм.

И все же стремление прогрессивной западной интеллигенции к социальной справедливости, невозможной в условиях эксплуататорского строя, остается незыблемым. Такие настроения кажутся нелепыми Конквесту, который противопоставляет им «здравый смысл» — бездумное принятие буржуазного «потребительского общества». Но если специалисты-технократы соблазняются жирными приманками этого общества, а идеологи, подобные Конквесту, придали своей профессии охранительные функции — укрепление прогнившего, антигуманного строя, то в своей массе интеллигенция по-прежнему сохраняет гуманистическую левую ориентацию.

Стараясь сбить ее с этих позиций не мытьем, так катаньем, «Энкаунтер» предоставляет свои страницы также и более гибким ее критикам. Обозреватель «Энкаунтера» Горонви Рис, например, начинает свою статью в юбилейном номере журнала, посвященном его 25-летию, с комплиментов в адрес интеллигенции. Но эти комплименты носят довольно двусмысленный характер. Интеллигент, утверждает он, является «единственным практическим революционером современности». Фраза, явно рассчитанная на то, чтобы противопоставить интеллигенцию другим левым силам, изолировать ее от них. Рис далее изображает западный мир каким-то раем для интеллигенции, в котором принята «свободная борьба идей», обеспечено «право свободного интеллектуального исследования, каковы бы ни были его результаты».

Истина, однако, в том, что право на «свободную борьбу идей», если оно и имеется в буржуазно-демократических странах, было завоевано многими поколениями интеллигентов ценой тяжких испытаний для многих из них. И само это право на каждом шагу настолько ограничивается эксплуататорским строем, что «свободное интеллектуальное исследование» нередко подавляется или замалчивается. Впрочем, это вынужден признать и сам Рис, констатирующий, «сколь мала надежда современного интеллектуала на то, чтобы формировать общественное мнение или воздействовать на него».

Рекламируя технократическую ориентацию современного капитализма, нацеленную на то, чтобы создать и вышколить надежную армию специалистов-экспертов, расчетливых и циничных, не отягощенных гуманистическими идеалами, и отмечая весьма вещественные блага, проистекающие из этой ориентации для таких квазиинтеллигентов, Рис, однако, не может не воскликнуть: «И все же!..» И все же, действительно, численный рост служилой интеллигенции на Западе, происходящее, хотя и не всегда, повышение ее жизненного уровня

> «означает в некоторых отношениях обеднение интеллектуальной жизни общества в целом. Университет, особенно современный университет, в большой степени ставший, прямо или косвенно, наемным лакеем промышленности и государства, не в состоянии заменить свободный обмен идеями между истинно независимыми умами, от чего зависит всякое общество, именующее себя цивилизованным».

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 305.

Замечает ли Рис, что повторяет антибуржуазные рассуждения французского эссеиста Жюльена Бенда, который в своей и поныне актуальной книге 20-х годов гневно бичевал «предательство клерков» — таково ее название и так он именовал этих квазиинтеллигентов, продавших свое духовное первородство за чечевичную похлебку от власть имущих? Приходит ли Рису в голову, что он этими словами подтверждает антагонизм буржуазии и культуры, антагонизм, придавший подлинной интеллигенции антикапиталистическую устремленность?

Рис буквально исходит негодованием по поводу «студенческой революции» конца 60-х годов, вспыхнувшей в развитых капиталистических странах в условиях — для него это необъяснимо — так называемого «общества благосостояния». Но ведь не хлебом единым жив человек, и именно тогда, когда обеспечены элементарные жизненные нужды, этот человек гораздо острее, чем прежде, осмысливает собственное существование. Ведь среди первопричин этого в немалой, если не в преобладающей, степени интеллигентского движения можно отметить протест против извращения капитализмом достижений человеческой культуры и неудовлетворенность интеллектуально обедненным существованием в буржуазном обществе, причем обоснованность такой неудовлетворенности вынужден признать и сам Рис.

Есть известные основания для того, чтобы осуждать, как это делает Рис, молодежное движение за «нигилизм», за оставленный им «горький осадок», за то, наконец, что «терроризм ныне стал одной из крупных растущих отраслей современной промышленности». Но ведь корни этих явлений уходят прежде всего к буржуазному строю, основанному на сугубо корыстных, антигуманистических устремлениях. С другой стороны, недопустимо сводить «студенческую революцию» к террористическим крайностям, которыми увлеклась лишь ничтожная часть молодежи. Там же Рис признает, что молодежная контркультура оказалась не столь уж эфемерной.

> «Если мечта о контркультуре не выдержала столкновения с действительностью, она не исчезла бесследно... у многих тысяч интеллигентов молодого и среднего возраста, занимающих ответственные посты в нашем обществе, сохранилась идея контркультуры как воспоминание о земле обетованной, как вера, которой они живут, но теперь только в свободное время, потому что она находится в столь очевидном противоречии с принципами, которые управляют их повседневным поведением во время их работы».

Рису вольно, конечно, толковать этот конфликт как результат заблуждения интеллигенции. Но разве не проявляется в нем тревожная ее совесть, неудовлетворенность миром, в котором она существует?

Как видим, стремясь убедить левую интеллигенцию в тупиковости ее пути, Рис запутался в собственных суждениях, сам загнал себя в тупик. Тем более нелепой выглядит претензия обозревателя «Энкаунтера» на то, что этот журнал «представляет, защищает и развивает ценности, которые традиционно были источником престижа и влияния интеллигенции на Западе». Ценности «Энкаунтера» сугубо буржуазны, а они, как признал сам Рис, никак не привлекают подлинную интеллигенцию. Характерен приводимый им факт: из четырех основанных на Западе 25 лет назад журналов такого типа, нацеленных на идеологическую обработку интеллигенции в конформистском духе («Прёв» во Франции, «Темпо презенте» в Италии, «Дер монат» в ФРГ и «Энкаунтер» в Англии), только последний сохранил свое существование — остальные тихо скончались ввиду отсутствия читателей.

Как бы махнув рукой, Рис, впадая в противоречие со своим коллегой по журналу Конквестом, обнаруживает, что «почти полная свобода выражения» западных интеллигентов

> «может рассматриваться как отражение убежденности: что бы они ни говорили, на деле это ни для кого не имеет значения, кроме них самих». Зато, признает Рис, «в Восточной Европе и особенно в Советском Союзе интеллигент, писатель, распространитель идей все еще пользуется тем же престижем и позициями, которыми он раньше обладал на Западе».

Для Риса подобные факты не более чем «забавный парадокс», он и не пытается объяснить их, отказываясь признать, что именно ориентация общества на социализм с проистекающим отсюда престижем прежде всего духовных, а не узкопотребительских ценностей придает интеллигенции такую значимость в глазах членов общества.

Между тем выступающий в том же номере, что и Рис, известный консервативный американский социолог Эдвард Шилз, совсем не забавляясь, а с явным сожалением обнаруживает у интеллигенции те же настроения:

> «Похоже, что вера в социализм осталась незыблемой... Новый, марксистский радикализм не сумел полностью освободиться от отождествления марксизма с Советским Союзом».

И это несмотря на все сложности и проблемы мирового движения к социализму, несмотря на искания и колебания левой интеллигенции, которые Шилз нарочито акцентирует.

Цель статьи Шилза, озаглавленной им «Эпоха замешательства», в том, чтобы опорочить социалистические устремления интеллигенции 30-х годов, когда и Рис, и Шилз начинали свою карьеру и по тогдашней моде играли в «левизну». Но если иной интеллигент старого поколения, по выражению поэта, «сжег то, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал», то значительно большее число деятелей культуры сохранило верность прогрессивным убеждениям. Этим интеллигентам нечего стыдиться своего прошлого, своих идеалов.

Неудивительно, что сейчас на Западе большой популярностью среди студенчества и интеллигенции пользуются книги о борьбе старшего ее поколения против фашизма и маккартизма, о прогрессивных убеждениях, устоявших под напором предательства и террора. Пример тому — мемуары Лилиан Хеллман и сделанный по ним фильм. Вот почему и Шилз вынужден констатировать, что «в основном взгляды широкой массы интеллигентского слоя остались прежними...».

Очевидно изверившись в успехе своих маневров, основанных на тактике кнута и пряника, «Энкаунтер» в апрельском номере за 1979 год предоставил место совсем уж злобным, полным ненависти выпадам против интеллигенции. Это статья некоего Роберта Синая, в которой он взваливает на интеллигенцию вину за «духовное и интеллектуальное обнищание» западного мира. Явно имея в виду социалистически ориентированных деятелей культуры, он навешивает на них ярлык «идейные поджигатели» и восклицает:

> «Развращенные поисками международного успеха и одобрения, наши современные интеллигенты и ученые опозорили науку и предали высокое звание независимых ученых и мыслителей».

Вспомним: с подобной же апологией «нейтральной науки», с подобными же нападками на прогрессивных деятелей культуры выступил в разгар вьетнамской войны «отец водородной бомбы» Эдвард Теллер, почувствовавший себя морально изолированным в обстановке массовых протестов деятелей культуры против этой войны, как и против буржуазного образа жизни в целом. Стало уже правилом, что в переломные моменты истории идеологи реакции обрушиваются на прогрессивную интеллигенцию, видя в ней первопричину всех неурядиц. Английский «Энкаунтер», судя по всему, продолжает традицию русских «Вех», резко осужденных еще Лениным.

Но для нас это и доказательство — от противного — поистине незаменимой функции прогрессивной западной интеллигенции в борьбе против империализма и деспотизма, требующее уважительного, а не высокомерно-снисходительного отношения к ней. Вот и сейчас она решительно предала остракизму режим Сомосы, что сыграло свою роль в предупреждении открытого вмешательства США и в победе прогрессивных сил Никарагуа.

Вымолвив «А», приходится говорить и «Б». Стоит ли удивляться, что нападки на интеллигенцию «Энкаунтер» сочетает с наскоками на политику разрядки, публикуя, например, в том же апрельском номере статью известного «ястреба» лорда Чалфонта против ОСВ-2, поджигательские антисоветские заметки одного из руководителей журнала Лабедца и прочее в том же роде. По законам «масс медиа» пришлось, однако, опубликовать и ответ Лабедцу известного английского историка Тэйлора, выступившего в поддержку советско-американского соглашения о сокращении вооружений.

> «Пусть он (Лабедц) несколько умерит свой энтузиазм поджигателя холодной войны и проявит чуть больше внимания к фактам»,— заключает Тэйлор свое письмо в редакцию, явно проникнутое брезгливостью к журналу.

Деятели науки и культуры, заслуживающие, по собственным критериям, причисления к интеллигенции, отвергают подрывные действия «Энкаунтера». «Встреча»— так переводится на русский название «Энкаунтера» — с интеллигенцией не состоялась. Передовая западная интеллигенция попросту отворачивается от него.

Е. АМБАРЦУМОВ

■

Публицистика

РОБЕР ЛИНАР

ИТАК, Я РАБОТАЮ НА ЗАВОДЕ...

Фрагменты книги

Перевод с французского О. МОИСЕЕНКО
Техническая консультация Г. ФЕСТА

И это «что-то» наконец произошло. Произошло в январе. Во-первых — встреча с Примо. Во-вторых — провокация в виде официального уведомления со стороны администрации «Ситроена».

Я познакомился с Примо, когда мы распространяли листовки. В то утро лицеист Ив, с которым мы только что размножили на ротаторе текст листовок, раздавал их у ворот завода в Шуази. Мы клеймили в них желтый профсоюз ФКТ, он лишний раз «отличился», поручив своим молодчикам избить рабочих-активистов у проходной завода в Жавеле.

Раннее утро, еще темно, вручение листовок проходит в полном молчании. Идущие на завод рабочие берут листовку, которую им протягивает Ив, тщательно складывают и прячут в карман, чтобы прочитать на досуге (или попросить, чтобы им прочитали ее вслух). Иные просматривают текст на ходу. Почти никто не задерживается. На улице холодно, люди напряжены в ожидании нового рабочего дня. Только один невысокого роста рабочий — он одет в пальто и держится очень прямо — остановился возле Ива и погрузился в чтение. Дочитав, он громко произносит (голос его как-то странно звучит в ледяном воздухе):

— Все, что здесь написано, чистая правда, ей-богу! Разве можно подставлять спину, когда эти подонки избивают нас? Надо что-то предпринять.

И, повернувшись лицом к Иву, добавляет:

— Браво, товарищ, вы правы! Молодцы, что не трусите. Держитесь!

И он церемонно пожимает руку Иву, словно речь идет о подписании какого-нибудь дипломатического акта. Покрасневший от волнения лицеист энергично отвечает на нежданное рукопожатие, ведь это не шаблонное, ничего не означающее приветствие. Не раз за последнее время люди из ФКТ ввязывались в драку с рабочими, пытаясь запугать тех, кто берет «гошистские» листовки. После такой потасовки в Жавеле один рабочий лишился глаза, несколько других остались лежать в крови на тротуаре. Слухи об этом тотчас же распространились у нас в Шуази, атмосфера на заводе сгустилась. Надо иметь мужество, чтобы проявить солидарность с потерпевшими, как это сделал низенький рабочий в пальто. Ив порывисто благодарит его, затем подробно рассказывает об инцидентах в Жавеле, говорит о провокациях ФКТ и о том, что с помощью рабочих мы надеемся дать им должный отпор. Собеседник внимательно слушает, утвердительно кивает, расспрашивает. Взволнованно откликается, когда Ив называет знакомое имя («Как же, знаю я этого Табуччи — мерзавец, каких мало. Он и здесь что-то вынюхивает. Вечно торчит у Жюно!»).

[1] Окончание. Начало см. в № 8.

Трое или четверо рабочих, остановившись, прислушиваются. Обычно, когда раздают листовки, я держусь в стороне. Но тут подхожу к образовавшейся группе и вступаю в разговор. Речь идет о разнорабочих, членах секции ФКТ на нашем заводе, об иностранных рабочих, которым под нажимом уполномоченного по кадрам приходится вступать в этот желтый профсоюз, о слежке на предприятии и в общежитиях... Низенький рабочий соглашается, приводит неизвестные мне примеры. Затем, видя, что уже поздно, восклицает:

— Мне надо бежать, не то опоздаю. Привет, ребята, не сдавайтесь!

И он входит в заводские ворота, предъявив, как обычно, свой пропуск вахтеру. Я иду вслед за ним.

— Значит, и ты работаешь на заводе! В каком цехе? — спрашивает он.— Что ж, надо повидаться.

Назначаем свидание в столовой в обеденный перерыв — тогда и поговорим.

Теперь я часто вижусь с Примо. Он работает над нами, в цехе окраски. В 84-м. Цех ядовитых испарений, болезней легких, крови, отравлений бензолом. И в то же время пульверизаторщики — самый боевой народ, сражаются за признание своих заболеваний профессиональными, за модернизацию старых, плохо вентилируемых помещений, которым вдобавок вечно угрожает пожар.

Примо — сицилиец. Он прекрасно говорит по-французски, хотя и с сильным акцентом. Тяготы жизни рано легли на его плечи — старшего сына в многодетной крестьянской семье. Плохие урожаи и безработица на юге Италии вынудили Примо приехать во Францию. Он регулярно посылает деньги домой, обсуждает в письмах к родным деревенские новости, следит за учением младших детей, дает им подробные указания и советы.

Примо еще нет тридцати, но он кажется много старше из-за лысеющей головы и обожженной солнцем крестьянской физиономии подлинного сына Юга (лоб, менее загорелый под шляпой, забавно контрастирует с кирпично-красными щеками). Только улыбка, в которой сохранилось что-то детское, не вяжется с преждевременно постаревшим лицом. Он держится очень прямо, одевается без щегольства, но и без небрежности, во все темное и вполне может сойти на улице за принарядившегося земледельца или за провинциального нотариуса.

Беседы с Примо в столовой вошли у нас в привычку. Человек точный и немногословный, он использует эти двадцать минут с максимальной для себя пользой. Все его интересует. Я даю ему читать газеты, книги, рассказываю то, что знаю о «Ситроене», о других заводах, о положении во Франции. Поговаривают о возможном слиянии «Ситроена» и «Фиата». Как это произойдет? Реорганизует ли Аньелли завод Ситроена на итальянский лад? Не удастся ли нам связать наши выступления с весьма напряженной борьбой, которая ведется сейчас в Турине? Профсоюзы. Переброска с места на место. Техника безопасности... Примо превосходно разбирается в организации производства на заводе, в ее слабых сторонах, в настроении рабочих. Никогда не скажет о себе «мы, металлисты» — пафос ему чужд,— но что-то в его манере не позволяет ошибиться на этот счет. Хотя он никогда не был рабочим в Италии, он постоянно ощущает связь со своими товарищами — рабочими итальянской автомобильной промышленности, зачастую, подобно ему, приезжающими с Юга. Успехи рабочих выступлений в Пьемонте (отказ от взвинчивания темпов производства, первые шаги рабочего контроля) волнуют и радуют его. Когда он объясняет что-либо или задает вопросы, я особенно остро ощущаю реальность понятия «международный пролетариат». Примо — плоть от плоти его и никогда не забывает об этом. Плоть от плоти металлистов «Ситроена», «Фиата», «Берлие», «Пежо», «Крайслера», «Рено», «Форда» — миллионов тех, кто стоит у конвейера автомобильного производства, кого перемалывают одни и те же жернова и кого роднит поверх государственных границ однообразие бесконечно повторяющихся движений и многообразие форм сопротивления.

Но Примо не затрудняет себя абстракциями. Судьба сделала его рабочим на заводе Ситроена, и ему важнее всего то, что происходит именно здесь. Ни одно, даже мельчайшее, проявление каждодневного гнета не оставляет его равнодушным. Рядовой член профсоюза, он не обременен никакой ответственностью, кроме той, которую сам берет на себя, заботясь о достоинстве рабочего человека. И этого достаточно, чтобы всегда быть начеку. Он тут же насядет на делегата, когда кто-то из товарищей попадет в беду. Изо дня в день дает мне подробные сведения о своем цехе, чтобы мы могли использовать их в листовках:

«В цехе окраски по-прежнему не работает вентиляция. Вчера еще одному рабочему стало плохо. Требуем от дирекции принятия элементарных мер гигиены...» Подписано: «Товарищи из 84-го».

Около середины января в кратком уведомлении, вывешенном во всех цехах, дирекция доводит до нашего сведения, что со второй половины февраля будет опять производиться «возмещение».

«Возмещение» — горькое слово, вернувшееся, как бумеранг, из той поры, когда в 1968 году забастовщикам пришлось вновь приступить к работе. Во вре-

мя майских и июньских забастовок того же года рабочие добились от перепуганных хозяев выдачи им небольших денежных сумм. Все расценили это как оплату дней забастовки, как шаг, на который вынуждены были пойти предприниматели перед лицом сложившегося соотношения сил. Но Ситроен придерживался иного мнения. Как только порядок был восстановлен, дирекция завода потребовала возмещения этих денег в форме бесплатной сверхурочной работы. Рабочий день был увеличен на сорок пять минут. Одна половина этого времени оплачивалась по установленному тарифу, другая никак не оплачивалась. Этот распорядок просуществовал с начала сентября до половины ноября, затем дирекция отменила его (видимо, из-за уменьшения количества заказов). Продолжительность рабочего дня была снова сведена к девяти часам с четвертью. На заводе решили, что так называемый «майский долг» 1968 года уже погашен (как будто рабочие могут быть «должны» хозяевам).

Они ошиблись.

В перерыве у напечатанного на машинке объявления собираются люди. Слышится ропот. Иностранные рабочие просят, чтобы им перевели текст. Удивление, растерянность. «Опять платить!» — говорят лица, жесты.

«С понедельника, 17 февраля 1969 года, на заводе вводится десятичасовой рабочий день,— гласит объявление.— Начало работы в 7 ч., окончание — в 17 ч. 45 мин. Продолжительность обеденного перерыва — 45 мин. Плата за половину дополнительных трех четвертей часа будет удерживаться в порядке возмещения авансов, выданных персоналу предприятия в мае — июне 1968 года».

Люди читают и перечитывают объявление, как бы желая понять его тайный смысл. Однако все очень просто: хозяева решили снова ввести десятичасовой рабочий день, потому что это им выгодно. Отныне на «законном» основании мы будем бесплатно работать двадцать минут в день — и то хлеб для них плюс ко всему остальному!

А если кому-нибудь не нравится — скатертью дорога...

Мы по камешку строим забастовку [1], которую было решено объявить. Я обнаруживаю, что подвесной конвейер — стратегический пункт. Он поставляет детали кузовов, которые Симон развозит затем по всему главному конвейеру. Отныне листовки тоже пойдут этим путем. Симон с воодушевлением прячет их под курткой с видом заядлого конспиратора. Это тайное задание подходит ему как нельзя лучше. Он уже отвез капоты и возвращается с пустой тележкой — испанцы получили свои листовки. Рейс с дверьми — и листовки на арабском вручены марокканцу, тому, кто вставляет фары. Симон шепотом сообщает мне подробности, кратко описывает реакцию рабочих. В перерыве мы садимся в сторонке, чтобы подвести итог.

Листовки производят сильное впечатление. Введением бесплатной сверхурочной работы хозяева хотят нас унизить — ежедневно повторяют рабочие на разных языках. Но разве человеческое достоинство не важнее усталости, заработной платы и всего прочего! Ему нет цены!

Африканец со сборки сидений медленно прочитал листовку на арабском и подошел, чтобы пожать мне руку. Он обещал прекратить работу ровно в пять.

Мы вывешиваем листовки повсюду. Уборная — лучшее из всех мест: там можно спокойно углубиться в чтение вдали от нескромных глаз.

Понемногу их влияние начинает сказываться на главном конвейере. То один, то другой рабочий обещает уйти из цеха ровно в пять. Будет ли достаточно этого?

На собрание нашего организационного комитета пришло человек тридцать. Мы делимся впечатлениями, подсчитываем, анализируем настроения рабочих, вникаем в доводы колеблющихся, обдумываем ответы. Составляем список важнейших участков и операций, которые будет трудно наладить за какие-нибудь две минуты в случае прекращения работы.

Понедельник, 17 февраля, без пяти минут пять.

Получится или не получится? Я весь в поту, но не от работы — от волнения. Стало трудно дышать, глухо стучит сердце. Неужели возможно поражение? Вихрем проносятся мысли обо всем, что заставило нас выступить: наполовину оглохшие штамповщики, отравленные ядовитыми испарениями маляры, доносчики из профсоюза ФКТ, обыски в проходной, издевательства Жюно, украденные у нас минуты отдыха, подкупленный заводской врач. Надо сбить с них спесь, с этих отъевшихся наглецов — Гравье, Жюно, Югэ, Бино и им подобных.

Без двух минут пять...

[1] В связи с сокращением текста опущено подробное описание процесса подготовки забастовки. *(Прим. ред.)*

Лишь бы начальство не вздумало запугивать рабочих! Оглядываюсь вокруг. Ни синих, ни белых халатов. Они явно игнорируют нас: плевать нам на ваши листовки, как бы говорят они. Мы крепко держим в руках завод. А если и уйдут человек двадцать — тридцать, мы их заменим, и 2 CV будут по-прежнему сходить с конвейера...

Проходит еще несколько секунд.

Все. Пять часов.

Останавливаю подвесной конвейер, снимаю рукавицы. Делаю это нарочито медленно: пусть все вокруг видят, что я прекратил работу. Симон — тоже. А грохот? Как будто стихает. Бросаю взгляд на дверную карусель — она остановилась... Жорж откладывает инструменты. Степан и Павел следуют его примеру. Напрягаю слух. Да, шум главного конвейера мало-помалу стихает. То тут, то там вижу, как люди бросают работу.

Еще несколько одиночных поворотов сверла, ударов молотка...

Тишина...

Как эта тишина отдается у нас в голове! Главный конвейер встал...

Шумно выходим на улицу. Ив с другими пропагандистами, ведущими работу вне стен завода, с нетерпением поджидают нас. Радость, ликование! Наша взяла! Завод бездействует...

Бурное собрание в кафе «Спорт». Все взбудоражены. Сидя в подвальчике, мы снова и снова производим подсчеты. 84-й, 85-й, 86-й... Все цеха остановились. Свыше четырехсот человек приняли участие в забастовке. Ни один автомобиль не сошел с конвейера после пяти часов. Теперь надо держаться. Составляем листовку: число бастовавших, воззвание к рабочим. Снова переводы на несколько языков. Потом ротатор. Поздно ночью все готово...

Вторник, 18 февраля.

Завод создан для того, чтобы производить вещи и перемалывать людей. Сегодня с самого утра введена в действие противозабастовочная машина Ситроена. Вчера начальство как бы игнорировало нас. Сегодня тактика изменилась — оно присутствует, да еще как! Окрики, брань, мелочные придирки на каждом шагу. Эти типы появляются отовсюду. Вот сколько их, оказывается, пряталось в застекленных берлогах! Синие, белые, серые халаты, даже костюмы-тройки сбегаются под самыми различными предлогами. Цепляются к каждой мелочи — лишь бы досадить рабочему. Окраска не годится! Шов сварен не так!

Все теперь не так!

Мы-то знаем, что им не нравится: вчерашняя забастовка, но пока что они о ней не говорят, а придираются к нашей работе и торчат здесь, чтобы запугать нас. Дескать, посмотрим, посмеете ли вы снова бросить работу в пять часов, когда мы тут, рядом.

То здесь, то там мелькает багровая физиономия этого пропойцы Жюно. Он разговаривает с вахтерами, заходит к мастеру, роется в документах, снова спешит в табельную и возвращается с кипой наших карточек. Видя, как он идет, уткнув нос в списки наших имен, поневоле начинаешь думать: что он замышляет? Не моя ли карточка, не моя ли фамилия у него перед глазами?

Но ведь, в сущности, он занимается своим делом! Разве Жюно не официальный начальник репрессивной службы завода? Подавление забастовки — это его работенка, и он ее выполняет. Он — на месте прорыва, во главе своих войск. Будьте наготове, мастера и бригадиры! Будь наготове, служба охраны! Будь наготове, желтый профсоюз! Ситроен приводит свои силы в состояние боевой готовности.

Полдень. Сидя в столовой, наспех обмениваемся новостями. Повсюду атмосфера подготовки к бою. Примо думает, что цех окраски выстоит. У товарищей из 86-го цеха меньше оптимизма. Мастер Гравье и бригадир Антуан как с цепи сорвались. Прямо озверели! Они в бешенстве от вчерашней забастовки и твердо решили не допустить ее возобновления сегодня. До предела взвинчивают темп, то и дело без нужды заставляют переделывать сварку, одному тунисцу даже пригрозили увольнением — дескать, не справляется с нормой. Говорят, что в других цехах происходит примерно то же. Начальство буквально отравляет нам существование. «Вот как, водители автокаров вчера бросили работу? Ладно, мы им покажем». Их беспрерывно посылают то разгружать завалы, то перетаскивать контейнеры, то доставлять детали. Вдруг срочно понадобились перевозки, которыми полмесяца никто не интересовался. Все утро с бешеной скоростью гоняли по заводу тележки. Водители совершенно остервенели от этой свистопляски; невозможно пройти двадцати метров по цеху, не рискуя попасть под колеса. После обеда наверняка будет еще хуже, невыполненных нарядов полно. На разнорабочих сыплется брань. Даже уборщики сбиваются с ног: мастера, как сговорились, хором скандалят из-за мусора — он им повсюду мерещится.

Наша работа, состоящая из бесконечно повторяемых мелких операций, превращается в сущую пытку. Порой словно забываешь об этом: чувство апатии,

мерный ритм работы цеха как бы тонкой стенкой отгораживают нас от окружающего. Зато они, начальники, ничего не забывают. Им известно, что малейший нажим, малейшее ускорение темпов, малейшая придирка с их стороны вдребезги разбивают эту стенку. И уже негде укрыться, нечем защитить себя, с нас как бы содрана кожа, усталость усугубляется раздражением; вот когда понимаешь, что за ад — работа операционника...

Все эти наскоки начальства — не что иное, как скрытый шантаж. «Так, значит, вы отказываетесь работать дополнительно три четверти часа? Прекрасно. Мы вам покажем, во что можно превратить те девять с четвертью часов, когда вы в нашей власти, вы их сочтете за восемнадцать. Посмотрим, кто раньше выбьется из сил». (Через месяц мастер Гравье прямо скажет мне: «Вы упрямы, но мы еще упрямее». Иначе говоря: у нас есть тысяча способов сделать ваше существование невыносимым и вынудить вас уйти.)

Система основана на строгой логике: работа изнурительна, но забастовка еще хуже. Десятичасовой рабочий день физически утомителен? Может быть, зато никаких неприятностей. Покорность оказывается средством достижения покоя. И откуда только берется такая изощренная техника подавления?

Все утро мы пытались разрядить напряжение. Раздавали листовки, беседовали. Напоминали о вчерашнем:

— Здорово мы обставили их, верно? Видел их морды? И сегодня будет то же самое.

Каждые два часа пульверизаторщики получают десятиминутный перерыв, который проводят в так называемой «комнате отдыха» — грязном закоулке, в стороне от химических испарений, где стоят несколько железных стульев. Эти перерывы плюс стакан молока в день должны противостоять постепенному разрушению их организма, хотя всем известно, что оно неминуемо. Примо использует каждый такой перерыв, чтобы забежать к знакомым в разных уголках завода.

При этом надо помнить об осторожности — мы под строгим надзором.

В один из перерывов Жорж заглянул в цех Гравье, чтобы поговорить с двумя сварщиками-испанцами. Не прошло и минуты, как Гравье выскочил, словно чертик из коробочки, из своего кабинета и велел ему убираться:

— Это еще что за бардак? Здесь не проходной двор, я не позволю посторонним шляться по цеху!

Жорж не спеша удалился, пожав плечами, он так и не выяснил намерений двух испанцев. Напряженная атмосфера цеха расстроила его. Никто не говорил ни слова. Тягостное молчание.

К счастью, Симон, которому приходится возить взад-вперед тележку с деталями, поддерживал контакт с главным конвейером. Мы произвели опрос. Нашлись дезертиры, но, судя по всему, рабочие держатся. Даже некоторые из тех, кто вчера не принял участия в забастовке, сегодня вечером обещали присоединиться к нам.

Сразу же после обеденного перерыва в цехах появились новые персонажи — переводчики.

Здорово же можно откормить людей на прибавочную стоимость, выжимаемую из рабочих на конвейерах!

Ситроеновские переводчики... Элегантные, самоуверенные субъекты, с хорошо подвешенным языком, выходцы из буржуазии разных стран, они представляют собой опасную агентуру. Виды на жительство, трудовые книжки, трудовые соглашения, социальное страхование, всякого рода пособия — все оформляется через их посредство. Только через переводчика иностранные рабочие, не владеющие французским языком или плохо им владеющие, приобщаются к официальному миру — миру сложному, пугающему, с его документами, конторами, непонятными правилами. «Господин переводчик вам это устроит. Господин переводчик — ваш друг, он представитель хозяина, доводящий до вашего сознания на вашем языке его благоволение».

Сегодня наглядно раскрывается подлинное лицо этих «друзей».

Вот они разошлись по цехам. Переходя от одного рабочего места к другому, вступают в беседу с забастовщиками. На всех языках заготовлена одна и та же коротенькая речь:

«Послушай, Мохамед (Миклош, М'Ба, Гонсалв, Мануэль), вчера ты наделал глупостей. Ты же прекрасно знаешь, что теперь работа кончается без четверти шесть, и ты не имел права уходить в пять часов. Ну, ладно, один раз не в счет, но если ты опять так поступишь, у тебя будут крупные неприятности. И в случае чего не вздумай приходить ко мне за какой-нибудь бумагой или с какой-нибудь просьбой. Если сегодня уйдешь в пять часов, я тебя больше знать не знаю! Подумай хорошенько!»

Страшная угроза. Можно ли отнестись к ней спокойно?

Лишиться переводчика — значит внезапно оказаться в темноте, глухонемым, неспособным что-либо предпринять, отринутым администрацией, всем обществом.

Как уберечься тогда от множества ловушек французской бюрократической машины, от гнетущей рутины враждебного мира?

«Если сегодня уйдешь в пять часов, я тебя больше знать не знаю!»

В руках переводчиков списки. Они методично обходят забастовщиков. Они свежи, бодры, чувствуют себя непринужденно. Они говорят на нескольких языках, без сомнения, изучают юриспруденцию либо уже получили университетское образование. У себя на родине они собираются стать чиновниками или разведчиками, а может быть, уже стали ими. И эти буржуи приехали сюда, чтобы срывать забастовки и вредить пролетариям своих стран. Их тихие, вкрадчивые речи вызывают у меня тошноту.

Один из них стоит в тридцати метрах от меня, совсем близко от подвесного конвейера. Он занимается обработкой рабочих «дверной карусели». Загорелый, черноволосый, уже начинающий полнеть, он напоминает второразрядного киноактера — белозубая улыбка не сходит с лица. Его коричневый пиджак расстегнут, и виден жилет. Он произносит речь, жестикулируя, словно какой-нибудь страховой агент, и под конец снисходительно похлопывает по плечу рабочего, молча делающего свое дело.

Он омерзителен.

Так действует противозабастовочная машина — плавно, бесперебойно, как будто тревога, объявленная в понедельник, автоматически включила ее. Хорошо смазанная, она стояла наготове, притаившись среди машин, сделанных из чугуна и железа. И ведь она еще не пущена на полную мощность! В запасе у нее еще много всего — побои, увольнения, вызов полиции, высылка «зачинщиков» (и парень, за которым полицейские придут в кабинет Жюно, окажется через 24 часа в тюрьме Франко или Хасана II), «охота за ведьмами» в общежитиях... Всем известно, что так было и так будет. Но эти средства еще в резерве. Пока что противозабастовочная машина лишь тихонько гудит. Издевательства, мобилизация всего административного аппарата, шантаж переводчиков, угрозы. Обычная картина.

Вот так делаются автомобили. Одни машины обрабатывают стальные листы, другие — людей. Завод — единое целое. Мужчины и женщины в цехе молча работают, лица ничего не выражают. Их самих перемалывает теперь эта машина. Окажут ли они сопротивление? Это станет известно в пять часов.

С приближением пяти часов напряжение усиливается. Я вижу это по глазам. Люди безмолвно обмениваются вопросами: как поступит сосед? Как поступлю я? Надо собрать все силы, принять решение. Рабочие следят за бригадиром, за мастером, те стоят на виду, совсем близко...

Потом все происходит очень быстро. В пять часов многие уходят в раздевалки, конвейеры останавливаются. За несколько секунд треть рабочих покинула цех. Остальные не могут продолжать работу — слишком много пустых мест. Слышатся громкие голоса. Мастер Югэ кричит у выхода группе уходящих черных:

— Эй, послушайте, еще не время! Ну, я вам это припомню!

Дюпре суетится в своем конце, на сборке сидений. Поздно. Забастовщики молча расходятся.

Чувство восхищения переполняет мне грудь...

Снова кафе «Спорт», его прокуренный подвальчик. Мы немедленно собрались в нашей берлоге. Надо разобраться в ситуации. Мы все почувствовали разницу по сравнению с первым днем забастовки. Вчера был взрыв восторга, была сумятица, удивление тем, что забастовщиков так много. Сегодня каждый участник забастовки покинул свое рабочее место без слова, без жеста. Лица были серьезны. В течение всего дня мы чувствовали, что за нами следят. Обсуждение велось втихомолку, в уборных, в коридорах. Картина изменилась: мы перешептываемся, зато голос начальства звучит в полную мощь, как будто с утра установили тиски: сегодня, во вторник,— первый поворот гайки. Когда последует второй?

Подсчитываем участников забастовки по цехам. Их оказывается около трехсот — на сто человек меньше, чем вчера. В конечном счете не так уж страшно, если учесть мобилизацию всех сил начальства, и все же это шаг назад... А мы-то мечтали, что движение будет нарастать как снежный ком. Приходится признать, что кульминация была вчера — начинается спад. Еще тяжелый удар: кроме Шуази другие заводы Ситроена в парижском округе не примкнули к забастовке. Начавшееся «возмещение» проходит там гладко. Мы в изоляции...

Югославы предлагают выпустить листовку, адресованную мастерам и бригадирам, призвать их не выступать в роли штрейкбрехеров. Оживленная дискуссия. Иные считают, что это бесполезно. Кристиан говорит, что большая часть персонала — члены ФКТ, то есть заведомые штрейкбрехеры. Пусть так, но не все. Важно показать, что мы не стрижем всех под одну гребенку и понимаем, что некоторые начальники настроены сравнительно нейтрально. В конце концов идея листовки принимается на основе компромисса, который предложил Примо: назовем поимен-

но начальников, которые запугивали рабочих и угрожали тем, кто уходил в пять часов. Одновременно обратимся ко всем мастерам, бригадирам, наладчикам и скажем им: вам не подобает запугивать рабочих, этим вы попираете и свое достоинство. Право на забастовку существует. Каждый волен принять участие в забастовке. Уважайте рабочих, которые бросают работу в пять часов!

Тщательно редактируем текст...

Заготовляем восковки. Есть опечатки. Приходится переделывать. Включаем ротатор. Его мерное гудение напоминает мне поезд, который спокойно катит по рельсам в ночи. В воображении возникают картины пережитого.

Ночь уползает под шорох рулонов бумаги, среди запаха типографской краски.

Неожиданно наступает утро.

Подхожу к заводу без четверти семь. Состояние взвинченное, как всегда после бессонной ночи. Острое, тревожное восприятие звуков, лиц, отсветов уходящей ночи. Чугунные ворота, скользкий край тротуара, симметричная громада заводских строений, молчаливые вереницы рабочих, облачка пара от дыхания, тонкие струйки сигаретного дыма в ледяном воздухе...

Мы распространяем листовки.

Все произошло с молниеносной быстротой. Как удар кулаком под ложечку, нападение четырех субъектов. Схватка. Листовки, разлетающиеся во все стороны. Удары. Кто-то падает. Мелькание «канадок» в полутьме. Крики. «Убирайтесь вон! Рабочие хотят работать!» — вопят они. Одно лицо мне знакомо — это наладчик из прессового. Мы бросаемся на них. Вижу, как Кристиан сцепился с одним типом, Ив — с другим. Кого-то хватаю за отворот куртки, передо мной возникает лицо, тупое, искаженное злобой, и тут же исчезает в толпе. Сбегаются люди. Рабочие вступаются за нас. Слышу голоса. «Это начальники, типы из ФКТ!» Слышу также: «Человек ранен!» Один из раздававших листовки весь в крови. Другой вырвался из свалки и сумел уберечь свою пачку листовок. Кто-то кричит этим молодчикам: «Вы не рабочие, вы хозяйские шпики!» Их оттесняют; скрываясь за заводскими воротами, они угрожают: «Погодите, подойдут наши, мы вас отделаем!» С трудом переводим дыхание после схватки. Отряхиваем одежду. Окровавленный парень перевязывает себе лоб платком. Распространение листовок возобновляется. Постепенно все успокаивается. Второй поворот гайки, день обещает быть тяжелым.

В половине восьмого Жюно переходит в наступление. Мое место работы — у входа в цех, как раз против кабинета уполномоченного по кадрам, в нескольких метрах от него. Мне хорошо видна эта металлическая будка защитного цвета с окошками матового стекла, пристроенная к стене цеха.

Итак, в половине восьмого начинается маневр, за которым я слежу неотступно. Наладчик заменяет на главном конвейере малийца — сборщика шасси и посылает его в кабинет. Малиец медленно проходит мимо меня и нерешительно переступает порог застекленной будки. Через две-три минуты он появляется, словно побитый, и приступает к работе. Затем наладчик становится на место португальца, работающего на дверной карусели. Кабинет. Португалец выходит сильно расстроенный. Следующая очередь — югослава Степана, занятого установкой замков. Он возвращается стиснув зубы, задыхаясь от гнева. Другой рабочий. Еще один.

Во время перерыва, в четверть девятого, бегу узнать, в чем дело. Оказывается, Жюно вызывает поодиночке забастовщиков. Перед каждым уполномоченный держит одну и ту же речь: покидать рабочее место в пять часов незаконно, это нарушение трудового соглашения.

«Вы хоть знаете, что значит на французском языке «трудовое соглашение»? Неплохо бы вам осведомиться об этом. Мы здесь не в стране дикарей, у нас есть законы!»

Вывод: в подобных случаях администрация имеет право увольнять без предупреждения. А тем, кто живет в общежитиях «Ситроена», Жюно напоминает, что дирекция сделала им любезность и может немедленно отказать в ней.

«Имейте в виду: Франция вас приняла, но вы обязаны соблюдать ее законы. Можете идти».

В кабинет вызывают только иностранных рабочих. Правда, они составляют подавляющее большинство.

Все утро я наблюдаю, как один за другим рабочие входят в кабинет Жюно. И каждый раз представляю себе сцену, которая разыгрывается за его матовыми стеклами!

После обеда Жюно продолжает в том же духе. Вызов. Внушение. «Можете идти».

Метод Жюно прост и доходчив. Нужно, чтобы каждый забастовщик почувствовал себя под обстрелом. Нужно лишить его ощущения, будто он находится под

защитой коллективной акции, будто он растворился в массе, стал чуть ли не безымянным. Пусть он слышит, как называют его по фамилии. Пусть видит, что его имя обведено красным кружком в списке, который лежит перед Жюно. Пусть почувствует, хотя бы на несколько минут, что вся махина «Ситроена» обрушилась на него одного в четырех стенах этой голой металлической будки, содрогающейся от грохота соседних конвейеров.

Три сотни непокорных на второй день забастовки. Не так уж мало. Четвертая часть всего персонала, даже больше, если считать только рабочих, занятых на производстве. Значит, надо атаковать эту группу шаг за шагом, отколоть от нее хотя бы часть. Расчленить, уменьшить ее. В течение двух-трех минут каждый, кто попадает в кабинет Жюно, чувствует, будто по нему прошлись рубанком. На профессиональном языке есть много слов для подобной процедуры: строгать, тесать, скоблить, зачищать, шлифовать, вальцевать... Доски, каменные глыбы, стальные слитки, листы железа. А применительно к человеку — скажем, операция, которой занят сейчас Жюно,— как ее назвать?

Другой участок фронта — начальство. Произвели ли какое-нибудь впечатление на мастеров и бригадиров обращенные к ним листовки? Во время перерыва пытаемся выяснить это. По мнению Симона, кое-кто из них попритих. Разумеется, не мастера. На этом уровне, высшем в цеховой иерархии,— только те, кто безоговорочно предан системе «Ситроена». Югэ в 85-м цехе, Гравье в 86-м и их собратья из окраски и прессового неукоснительно проводят свою политику изматывания; безотлучный надзор, брань, браковка все большего числа изделий, дополнительные работы. Но несколько ниже, на уровне бригадиров и наладчиков, как будто наблюдаются колебания. Дюпре вроде бы сдержаннее, чем вчера. А похожий на ирландца рыжий наладчик из 85-го (тот самый, кто безуспешно обучал меня окантовке стекол) даже сказал потихоньку Симону, покусывая воображаемый чубук трубки и проглатывая половину слов:

— ...Мне-то наплевать... что пять часов, что без четверти шесть... Меня это не касается... Мое дело — работа, а не часы...

Симон с торжеством передал нам его слова во время перерыва в четверть четвертого. Жорж заметил, что этот наладчик всегда был оригиналом. Не стоит создавать себе иллюзий Посмотрим, что предпримут начальники в пять часов. Все-таки есть слабая надежда, что в момент прекращения работы они будут менее агрессивны. Тем более что все они сразу же узнали о выступлении в столовой представителя профсоюза ВКТ против запугивания со стороны технического персонала.

Около пяти часов, в последние минуты напряженного ожидания, еще невозможно предугадать, что произойдет. Сумели ли мы улучшить свои позиции? Или же, напротив, Жюно и его людям удалось запугать стольких рабочих, что забастовка провалится? А вдруг произошел скачок и забастовщиков будет еще больше, чем в первый день? Временами мне чудится, что поднявшаяся волна заставит Ситроена уступить, вынудит его отказаться от «возмещения»... Нет, мечтать не годится. Только анализ. Только трезвая оценка положения. Сегодня, в среду—а это середина недели,— наша забастовка осложнилась многими событиями: тут и утренняя агрессия ФКТ против распространения листовок, и «обработка», которую проводит уполномоченный по кадрам, угрожая увольнением и выселением из общежитий, и выступление представителя ВКТ в столовой, и борьба внутри профсоюзной секции, и противоречивые слухи о настроениях начальства. А нервное напряжение ежевечерних остановок конвейера, а усилие воли, необходимое для того, чтобы повторять эту акцию каждый день, а накопившаяся за дни забастовки усталость! Снова и снова мысленно перебираю все «за» и «против». Результат? Он зависит от каждого из людей, склонившихся над лентой конвейера. На их лицах печать усталости — близится конец рабочего дня — и печать тревоги: принять решение не легко.

Пять часов.

Мастера снова угрожающе стоят у выходов, с ними несколько бригадиров. Пытаются задержать уходящих. Прекращение работы проходит быстро, четко, безмолвно. Цеха пустеют настолько, что конвейер останавливается. Правда, мне кажется, что число забастовщиков сегодня чуть меньше, чем вчера...

Кафе «Спорт», подсчеты. Бастовало около 250 человек. От нас отторгли 50 товарищей.

Снова листовки: неделя почти закончена, не сдаваться! Итоги по каждому цеху; снова подчеркиваем незаконность угроз Жюно, разоблачаем лживость его болтовни относительно «нарушения трудового соглашения». Мы не уступим.

Нескончаемое гудение ротатора.

Как сомнамбулы, мы приближаемся к рассвету. Осунувшееся лицо и лихорадочно блестящие глаза Кристиана пугают меня. «Отдохни, мы сами займемся листовками и их распространением».

Он не хочет, хотя при каждом слове его душит кашель. В четверг, рано утром приходит Жорж; он небрит, лицо заросло черной щетиной. Пальто Примо как будто помято... Такого еще не случалось. Когда же минует эта неделя, которой нет конца?

Четверг проходит как в тумане — усталость, издерганные нервы, машинальные движения. Выдержать еще несколько часов. Сегодня последний день борьбы. Пятница — день нейтральный: работа оканчивается для всех в четверть пятого, администрация не требует «возмещения».

Весь день Жюно продолжает свою обработку. Наши листовки по-прежнему передаются из рук в руки.

Пять часов. Стачечников немногим больше двухсот.

Наша забастовка продержалась целую неделю...

Пятница приходится на 21 февраля — международный день антиимпериалистической солидарности, когда мы чтим память группы Манушьяна, казненной нацистами. В нее входили иностранные рабочие: армяне, венгры, поляки — участники Сопротивления. На красном плакате их изможденные лица с горящими глазами. Замученные, но непокоренные, они погибли 21 февраля 1944 года. А сегодня передо мной лица таких же пролетариев-иммигрантов, упорно сопротивляющихся насилию. Я рад тому, что день 21 февраля не застал нас сломленными.

Жюно привел в исполнение свою угрозу: двадцать товарищей-забастовщиков выселены из общежитий «Ситроена». Никаких формальностей: вернувшись с завода, они увидели свои чемоданы перед дверью.

— Убирайтесь, чтобы духу вашего не было через пять минут,— сказал комендант.

Надо найти им жилье. Делаем что можем. Устраиваем кого куда.

Суббота. Выспаться!

В воскресенье мы снова собираемся, чтобы подготовиться ко второй неделе забастовки. По общему мнению, блокировать производство еще неделю невозможно. Однако большинство членов организационного комитета и слышать не хочет о том, чтобы примириться с унижением — добавочными тремя четвертями часа, и особенно с бесплатной работой. Они считают это своим личным делом, ничто не заставит их изменить решение. Следовательно, будем продолжать. Даже если число забастовщиков еще сократится. Даже если Жюно приведет в исполнение другие угрозы. Даже если профсоюз ФКТ предпримет нападение более крупными силами. Будем держаться из принципа. Будем держаться, потому что для нас это действительно дело чести, а не просто фраза, хорошо звучащая в листовках. Ведь всякая забастовка, даже если в ней участвует меньшинство,— не просто отказ от работы, она и сопротивление и дополнительная нагрузка (ты словно поддерживаешь гранитную глыбу: опустишь руки — она тебя раздавит). Впереди понедельник, мы готовимся к борьбе: новые листовки, новая разъяснительная кампания. Промедление недопустимо. сегодня же вечером побываем дома у забастовщиков, которых знаем лично. По двое обойдем общежития, если туда удастся проникнуть, конечно.

В понедельник вечером, несмотря на все наши пропагандистские усилия, несмотря на листовки, несмотря на беседы в раздевалках и во время перерывов, число забастовщиков резко сократилось — наполовину. Лишь сто человек ушли в пять часов. Впервые с начала забастовки администрации удалось заполнить пустые места на конвейерах, заменив рабочих наладчиками, бригадирами и несколькими квалифицированными рабочими, и обеспечить выпуск продукции вплоть до 17.45 — официального конца рабочего дня.

Вторник, 25 февраля. Без пяти минут семь. Рассветает. Быстрым шагом направляюсь к подвесному конвейеру. Двор, ворота, коридоры, железные лестницы, крутые повороты, узкие проходы. Привычный маршрут, который я проделываю машинально, думая о другом. Войти на территорию завода — значит окунуться в забастовку. Под курткой у меня пачка листовок, которую я собираюсь передать Симону, чтобы он раздал их на главном конвейере. Предстоит трудный день. В перерыве, в четверть девятого, схожу в 86-й цех, поговорю с Мулудом, если поблизости не будет мастера Гравье. В половине первого — свидание в столовой с Мохамедом и Примо, тема — цех окраски. Ах да, малиец, которого я встретил вчера вечером, сказал, что несколько штамповщиков хотят поговорить со мной. Не забыть зайти к ним.

Вот и мое место. Меня поджидает Дюпре. Поглядывает как-то ехидно. Я шел с опущенной головой и чуть было не налетел на него. Что ему тут надо, возле подвесного конвейера?

— Тебя переводят в отделение на улице Насиональ. Вот пропуск на выход. Ты должен быть там в семь тридцать.

Что это за отделение на улице Насиональ? Никогда не слыхал о нем.

— Но...

— Никаких «но». Ты еле успеешь дойти туда. И забери все свое в раздевалке, сюда ты больше не вернешься.

А листовки, а мои встречи, а малиец из прессового?..

— Ты что, оглох? Не знаешь, где выход?

Бригадир раздражен. Я в нерешительности направляюсь к выходу. Бросаю беспомощный взгляд на Симона, который издали следит за происходящей сценой. Листовки передать невозможно — Дюпре не спускает с меня глаз. Я в бешенстве оттого, что у меня под курткой лежит пачка бумаги, теперь уже никому не нужная. Выхожу из цеха. В раздевалке пусто. Переодеваюсь под наблюдением вахтера. Заводские ворота. Другой вахтер. Предъявляю пропуск, он кивает и вяло машет рукой, разрешая мне пройти.

Выхожу наружу. Идти недалеко. Вот и улица Насиональ. Ищу указанный номер. Склад запасных частей фирмы «Панар», формально принадлежащий заводу Ситроена в Шаузи. Склад этот приютился в старом сарае, зажатом между жилыми домами. Тупик в пяти минутах ходьбы от завода. Работают здесь одиннадцать человек, в том числе бригадир и старый полуглухой вахтер.

Муравей, копошащийся в муравейнике, не знает, что через несколько секунд огромная рука схватит его, оторвет от собратьев и посадит в банку, отдельно от всех. Он еще полон ощущения недавней принадлежности к массе, он ошеломлен неожиданным одиночеством, отныне он осужден лишь кружить по скользким стенкам своей темницы.

Когда сегодня утром я спешил к подвесному конвейеру с пачкой листовок, прижатой к телу, и думал о забастовке, готовый броситься в день, как в битву, моя участь уже была решена там, наверху, в конторах, а я об этом не знал.

Сейчас половина восьмого утра, и я на складе, своем новом месте работы. Потрясенный быстротой этой перемены, я твержу про себя: завод, 85-й цех, главный конвейер, машины 2CV, забастовка — все это кончено для меня, я могу следить за всем этим только издали. Меня посадили в банку.

На промышленных предприятиях вошло в обыкновение избавляться от неугодных элементов — смутьянов или слишком уж въедливых профсоюзных активистов, — отправляя их куда-нибудь подальше: в обособленные филиалы, кладовые, дворы, склады. Увольнение всегда может вызвать конфликт, побудить людей вступиться за потерпевшего. Зачем же идти на такой риск, если можно достичь той же цели способом, при котором протест невозможен? Ведь организация труда — дело предпринимателей, не так ли? Если администрация считает, что ты необходим для обслуживания какой-то трущобы, расположенной в километре от цеха, с которым ты сжился, тебе остается либо подчиниться, либо взять расчет.

Мне это было известно, но я не представлял, как тяжко чувствовать себя трепещущей частицей, отторгнутой от живого организма. В первые дни мне физически недоставало привычного коллектива главного конвейера и связанных с ним цехов. Недоставало всего. Быстрых перебежек Симона, толкающего свои тележки и раздающего листовки. Приветливых улыбок югославов с «карусели». Сборщиц сидений. Медленно, величественно шествующих малийцев. Вспышек Кристиана, внезапных появлений Садока, коротких митингов на третьей ступеньке лестницы... Всего.

Теперь целый рабочий день я заперт в какой-то нелепой дыре, обречен считать часы и с тревогой думать о ходе нашей забастовки. Ровно в пять, едва отметившись в табеле, даже не заходя в раздевалку, я убегаю со склада и через несколько минут, запыхавшись, оказываюсь у ворот «Ситроена», чтобы узнать новости о заводе, об этом мире, внезапно таком далеком, куда я даже не имею доступа.

Новости были плохие.

Во-первых, подавление забастовки продолжалось. Во-вторых, после короткого подобия передышки был разгромлен наш организационный комитет.

К концу второй недели забастовки положение стабилизировалось. Человек пятьдесят рабочих с завода в Шуази по-прежнему не признавали «возмещения» и ежедневно прекращали работу в пять часов. Поскольку они были разбросаны по разным цехам — кто на конвейере, кто на сдельщине, кто на подсобных работах, — их уход стал индивидуальным актом и не сказывался на производстве, которое уже нельзя было блокировать. Но их упорство, выраженное в этой акции, — своего

рода символе,— изо дня в день подтверждает: еще действует последний отряд сопротивления, еще есть люди, не согласные подвергаться унижению — добровольно работать лишних 45 минут.

В этом последнем отряде были рабочие, которых мы и не знали: они не посещали заседаний комитета, мы даже ни разу не беседовали с ними на заводе.

Правда, с другой стороны, некоторые члены комитета отказались в конце концов от ежедневного прекращения работы раньше разрешенного времени.

Большинство же комитетчиков по-прежнему не признавало «возмещений» и уходило в пять часов. Однако установилось молчаливое согласие, что каждый волен действовать, как он считает нужным. Симон, Садок и часть малийцев решили прекратить забастовку в конце второй недели и принять рабочий день, установленный дирекцией. Хотя никто ни о чем их не спрашивал, они объяснили причины, побудившие их так поступить, рассказали об обстоятельствах личного характера и об особых методах нажима со стороны администрации «Ситроена». Все понимали, насколько им тяжело, насколько мучительна для них такая капитуляция. Мы ни в чем не винили их. Было ясно, что забастовка как таковая, как коллективное выступление фактически прекратилась,— администрация постепенно ослабила, ограничила, смяла ее. Мы не сможем ее возобновить. Те, кто не уступил, просто выполняли обязательство, данное самим себе. Примо поклялся не сдаваться, и никакое изменение тактики не могло побудить его действовать иначе. Такова же была позиция Жоржа, Степана, Павла, Кристиана и некоторых других.

Несколько дней казалось, что все так и останется.

В пять часов пятьдесят строптивцев без всяких инцидентов отправлялись в раздевалки. Поскольку их рабочие места на конвейерах были давно известны, наладчики немедленно заменяли ушедших. Что же касается сдельщиков и части разнорабочих, то их отсутствие в течение трех четвертей часа не могло непосредственно отразиться на выпуске продукции.

Создавалось впечатление, что порядок восстановлен, что обеспечена планомерная работа завода в течение десятичасового рабочего дня, и я подумал, что система «Ситроена» не проявляет интереса к символической забастовке — уходу пятидесяти рабочих ровно в пять часов. Но я плохо знал эту систему. Рабочие придают значение символам? Предприниматели тоже. Мало заставить людей работать, надо согнуть их в бараний рог. Или, вернее, с точки зрения дирекции, обеспечить надлежащий уровень производства можно, лишь согнув в бараний рог производителей. Малейшая же их попытка выпрямиться — страшная угроза, которую нельзя допускать, хотя бы она и не влекла за собой прямых последствий материального характера. Система ничего не упускает из виду.

Внезапно, в начале марта, когда ничто не предвещало бури, администрация развернула планомерное наступление на наиболее активных членов организационного комитета. Выборочные репрессии с такой точностью были нацелены на самых стойких членов нашей группы, что я просто поражался степени осведомленности местных шпиков о наших внутренних делах.

Один за другим жертвами этих репрессий стали Кристиан, Жорж, Степан, Павел, Примо.

Во всех случаях срабатывал один и тот же прием. Не увольнять, а выживать: сделать невыносимым существование того, кого надо убрать. Весь арсенал слежки, придирок, шантажа, который с 18 февраля обрушился на массу забастовщиков, был теперь сосредоточен на нескольких «заводилах». Администрация наметила человек десять и решила от них избавиться. Уж она принудит их убраться «по собственному желанию»!

Кристиан.

Дюпре изводил его целую неделю, не давая ему передвигаться по цеху. У Кристиана, парня очень нервного, была непреодолимая потребность размяться, он сохранял душевное равновесие только в том случае, если мог хоть раз за два-три часа отойти от своего рабочего места и пройтись по цеху. Вынужденная неподвижность была ему в тягость. Стиснув зубы, он терпел два-три дня. Правда, стал более раздражительным, терял самообладание по пустякам, говорил грубости соседям.

Потом Дюпре начал терзать его из-за резинок — не так закрепляет. Заставил переделать одно сиденье. Другое. Наконец — это было в четверг в пять часов — он с торжеством объявил Кристиану, что норма выработки увеличена на пять сидений и, если он не останется, чтобы выполнить ее, придется сделать вычет из его получки. Обезумев от ярости, Кристиан швырнул резиновый кружок в Дюпре (не попав в него) и заорал, что берет расчет. Бригадиру только этого и нужно было. Он пошел с Кристианом в контору и, даже не упомянув об его выходке, подвел парня к уполномоченному по кадрам, который дал ему подписать заявление об уходе. Не прошло и четверти часа, как Кристиан оказался за воротами, еще оглушенный своей вспышкой и этим внезапным расчетом. С «Ситроеном» все было кончено.

Придя с улицы Насиональ, я застал его у ворот, он дрожал от негодования и проклинал себя за то, что поддался провокации.

— Сорвался. Нервы подвели...

Жорж, Степан, Павел.

Трое югославов уже давно организовали работу на «дверной карусели» по-своему, не считаясь с официальным распорядком. Производя установку замков, они изменили и переместили операции таким образом, чтобы иметь возможность поочередно избавляться хотя бы ненадолго от конвейерного рабства. Благодаря своему мастерству и сноровке, им удалось добиться известной самостоятельности на своих рабочих местах, где могло распоряжаться лишь методическое бюро. Начальство цеха — оно только выигрывало от такой системы — не вмешивалось в дела югославов, на их участке никогда не бывало ни задержек, ни брака.

Когда было принято решение нанести удар, мастер Югэ без труда нашел наиболее действенный способ расправы с тремя друзьями: он разделил их. В одно прекрасное утро от маленького уголка Югославии, обосновавшегося на десятиметровой территории трех рабочих мест «карусели», ничего не осталось. Три перемещения. Павла отправили в прессовый цех, Степана — на окраску, Жоржа — на шлифовку (это наиболее ненавистная операция: шлифовальщикам приходится десять часов в день работать, дыша металлической пылью).

Разлученные друг с другом, насильственно вырванные из привычного распорядка трудовой жизни, терпеливо, годами создававшегося ими, поставленные на самые тяжелые операции, три югослава решили, что с них довольно.

В то же утро все трое взяли расчет.

Они покинули свои рабочие места даже не взглянув на начальников, болтавшихся неподалеку, заявили в конторе о своем решении и молча дождались оформления документов. Но прежде чем выйти за ворота, они один за другим обошли заводские цеха, чтобы проститься со всеми знакомыми рабочими — со всеми, кто принял участие в забастовке, со всеми членами организационного комитета. Каждому они пожали руку. Они были одеты уже по-городскому и подолгу трясли руки, запачканные смазочным маслом, железной пылью, краской; к каждому обращались с добрыми пожеланиями, со словами ободрения. А те на несколько мгновений прерывали работу, отложив инструменты, благодарили товарищей за все, что они сделали, и желали им удачи. Это заняло много времени, но ни один бригадир, ни один мастер, ни один вахтер не решился сделать ни малейшего замечания, не посмел поторопить их. Только после того, как югославы обошли весь завод вплоть до самых отдаленных его уголков, они вышли из главных ворот, не обратив никакого внимания на вахтера, словно это был случайно забытый здесь неодушевленный предмет.

Наконец настала очередь Примо.

Справиться с сицилийцем было трудно, потому что он твердо решил не брать расчета

Все началось с обычных придирок: перекрасить детали — этот слой слишком толст, тот слишком тонок и т. д. Не помогло — Примо невозмутимо все выполнял.

Затем пошли перемещения — его бросали то на штамповку, то на шлифовку... За две недели пять или шесть раз его перекидывали с одного места на другое, превратили в затычку к каждой бочке, снимали с работы, едва только он начинал приспосабливаться к ней И все — безрезультатно.

Тогда администрация решила прибегнуть к сильным средствам. Провокатор из ФКТ подошел во время работы к Примо и начал оскорблять его, крича, что типы из организационного комитета — лодыри, что они по лени отказываются работать до без четверти шесть, что вообще иностранным рабочим грош цена и сам он — «паршивый макаронщик». Примо влепил ему такой удар, что на щеку пришлось наложить два шва.

Примо немедленно уволили.

Вдобавок Ситроен возбудил против него судебное преследование за «нанесение телесных повреждений».

Обезглавленный организационный комитет больше не давал знать о себе. Нас по-прежнему называли «комитетчиками», и мы сами еще употребляли это выражение, но наши собрания прекратились, прекратилось и распространение листовок.

Итак, забастовочная волна схлынула, а я по-прежнему торчал в своей дыре на улице Насиональ. Нехотя подбирал запасные части и, едва обо мне забывали, прятался в глубине склада, чтобы подремать. Администрация оставила меня мари-

новаться там, полагая, что я возьму расчет. Но я решил ни в коем случае не уходить по своей воле и выжидал, погрузившись в унылое оцепенение. Первые дни весны 1969 года были довольно холодными. Я сжался в комок, подсчитывал, сколько дней осталось до конца этого нудного марта, и то принимался читать романы в укрытии огромных стеллажей, то соскабливал бритвой слой жира, покрывавший шестерни и блоки двигателей.

Одиночество, отсутствие объекта, на котором можно было бы сорвать злость (у меня не было никаких оснований злиться на замшелого бригадира склада или нападать на глухого вахтера, дремавшего возле табельных часов), постоянное пережевывание событий в Шуази, которое становилось здесь бессмысленным,— все это притупило в конце концов мою ярость. Я впал в холодное безразличие. Постепенно усвоил шаркающую походку своих коллег и, бродя в безмолвии склада в поисках какого-нибудь рычага переключения скоростей или ветрового стекла, порой как бы ощущал на ногах невидимые домашние туфли.

Новости я узнавал при случайных встречах со знакомыми по пути с улицы Насиональ на авеню Шуази.

Павел почти тотчас же нашел работу в типографии.

Жоржу удалось устроиться на заводе «Рено» в Бийанкуре. Он иногда заходил ко мне, по-прежнему непринужденный, посмеивался по поводу моего изгнания и моей подавленности, советовал взять расчет: «Плюнь на них. В отпуск поедем со мной в Югославию. Я познакомлю тебя с односельчанами. Кутнем. У нас в селе прехорошенькие девушки!» И тут же начинал рассказывать о своих любовных похождениях.

Степан долго был без работы и в конце концов уехал в Западную Германию.

Я беспокоился за Кристиана: говорили, что в отчаянии он сгоряча уехал домой в Бретань, хотя знал, что не найдет там работы и ему не на кого рассчитывать — семья его слишком бедна, чтобы долго его содержать...

Те, кто остался в стороне и сохранил свою работу в Шуази: Симон, Садок, Мохамед из окраски и некоторые другие,— присмирели в ожидании лучших времен. Предстоящее в будущем году закрытие завода в Шуази усиливало тревогу каждого за свою участь. Кого переведут в Жавель? В Леваллуа? В Клиши? В провинцию? Разве не предлагали молодым французам-прокатчикам отправиться... в Брюссель! А что, если часть персонала окажется не у дел? Восстановление порядка всех расшвыряло. Когда по вечерам я встречал Садока и мы обменивались несколькими словами, я замечал, что он с трудом ворочает языком и от него сильно пахнет спиртным.

Единственный, с кем я поддерживал постоянную связь, был Примо. Он нашел себе работу в мастерской по производству точных приборов неподалеку от площади Италии. Это было крошечное предприятие — там работало не больше двадцати человек.

Мы завели привычку встречаться по пятницам. Примо кончал работу позднее меня, и обычно я шел пешком до его мастерской и поджидал его на улице. Он появлялся всегда вовремя, в своем черном пальто, прямой, подтянутый. Мы шли выпить по чашке кофе в большую закусочную на площади Италии. Иногда после этого я приглашал его к себе домой поужинать. Эти встречи проходили почти всегда по одному раз и навсегда сложившемуся ритуалу. Сначала я давал ему газеты и брошюры и отвечал на его вопросы о положении в нашем округе (Как дела с забастовкой почтовых грузчиков на Аустерлицком вокзале? Что там слышно об уборщицах из филиала Национального общества железных дорог, тех самых, что обдирают себе руки, отчищая почти без инструментов обледеневшие вагоны в депо Массена? Скоро ли они выступят, как это было намечено? О мусорщиках из Иври? О строителях с площади Италии? О людях, выселенных из домов, предназначенных на слом,— жертвах роста цен на земельные участки?) Потом мы говорили о других заводах Ситроена, о Франции, обо всем мире. Потом просто болтали. Поделившись с Примо политическими новостями, я выслушивал его мнение о них и сведения, которыми он сам располагал, а затем умолкал, снова погружаясь в свое оцепенение. Примо чувствовал, что мои мысли витают далеко, и пытался поднять мое настроение. Голос его доносился до меня как бы издалека, сквозь туман.

Бесконечная зима.

Вечер.

Я вышел, подавленный больше обычного бессмысленной неделей, проведенной на складе. С понедельника ровно ничего не произошло. Ничего. Я не прочитал и двух страниц романа. Укладывал запасные части, ел, спал. Я ничего не знал ни о Шуази, ни о товарищах. Перестал понимать, что я тут делаю и чего жду. Сегодня пятница. Машинально направляюсь к мастерской Примо, хотя даже забыл взять для него газеты.

Закусочная. Светлая, шумная. Полированные панели, яркие блики, табачный дым, коктейли, музыкальный автомат.

Примо что-то говорит мне.

Рассеянно слушаю его слова и одновременно — песенку, доносящуюся из автомата. (Я думаю о том, что у невицы красивый чувственный голос, внезапно наваливается необъяснимая тоска.) Мы пристроились в углу — я на стуле, Примо на крае диванчика, обитого молескином. Нечаянно натыкаюсь на свое отображение в огромном зеркале позади Примо. Вид у меня такой жалкий — голова ушла в воротник бесформенного пальто, кожаная шляпа нахлобучена на лоб,— что губы мои кривятся подобием улыбки. Примо умолкает. Он трогает меня за локоть. А затем говорит тихо, каким-то незнакомым мне голосом (и я сразу начинаю слушать его, забыв о песенке из автомата и о шуме вокруг):

— Знаешь, наша забастовка — это не поражение. Это не поражение, потому что...

Тут он останавливается, подыскивая слова.

— ...потому что мы все довольны тем, что провели ее. Все. Даже те, кто вынужден был уйти. и те, кого перевели на другую работу, довольны, что участвовали в ней. Рабочие из Шуази, с которыми я встречаюсь, говорят, что теперь начальство стало осторожнее. Меньше разносов. Со времени забастовки темпов не ускоряют. Дирекция приняла забастовку всерьез, как предупреждение. Знаешь, о ней будут долго помнить. Ее даже обсуждают на других заводах Ситроена. Рабочие из Шуази говорят теперь: «Мы показали, что умеем постоять за себя». Эта забастовка — доказательство, что бороться можно даже на самых трудных предприятиях. Вот увидишь, бастовать будут и другие...

Он говорит с сильным итальянским акцентом, а я, слушая его, думаю о том, что мне нравится его акцент, нравится исходящее от него ощущение внутренней силы — источника его стойкости, его непреклонности. Я думаю о Сицилии, о пролетариях, приехавших сюда с выжженных земель Юга. Мне уже не так одиноко и холодно, хотя я все еще настроен скептически.

Между тем он прав.

Несколько месяцев и даже несколько лет спустя мне доводилось встречать бывших рабочих с завода в Шуази, и все они говорили о забастовке и о нашем комитете, о том, что память о тех днях жива в Жавеле, в Леваллуа, в Клиши, на огромных сборочных конвейерах и в невыносимой жаре литейных, среди зловонных испарений в цехах окраски и в треске искр на сварке — повсюду, куда после закрытия нашего завода перевели рабочих. Ничто не теряется, ничто не исчезает из бесконечно емкой памяти рабочего класса. Другие забастовки, другие комитеты, другие выступления будут вдохновляться прежними стачками — в том числе и нашей, след которой, слившийся со столькими другими, я обнаружу позднее...

Примо прав, но в тот момент, когда он говорит со мной, я этого еще не понимаю, я поглощен мыслями о своем изгнании, о своей беспомощности, о тяжелой пяте Ситроена, восстановившего свои порядки.

Однажды утром, так же внезапно, как приказ об изгнании, я получил распоряжение вернуться в Шуази.

— У тебя есть полчаса, чтобы добраться до завода. На, вот твоя бумажка...

Я поставлен на перевозку рам по заводскому двору. Работа нелепая, она была бы ненужна, если бы не устаревшие помещения: корпуса завода разделены двором, что прерывает процесс монтажа автомобилей 2CV. Моя функция, так сказать, соединительная, я обеспечиваю непрерывность сборки. Фактически я в одиночку как бы заменяю собой участок конвейера...

Все перемещения из одного цеха в другой механизированы (краны, транспортеры, наземные и подвесные конвейеры, подъемники), за исключением подачи рам из прессового в сварочный. Это мое дело, мое новое рабочее место — на стыке между двумя первыми этапами сборки. Между прессовым и сварочным цехами нет никаких механизированных средств связи, и поскольку один из этих цехов находится в левом блоке, а другой — в правом, надо взять склепанную раму и перевезти ее на расстояние примерно в сто метров к подножью правого блока, откуда ее поднимут краном на антресоли в сварочный цех.

Все эти перевозки производятся на железных тележках: низкие, тяжелые, на маленьких колесиках, они скрипят и гремят, когда их с трудом толкаешь по асфальтированному двору.

Итак, мне предстоит ежедневно перевозить на таких тележках примерно сто пятьдесят рам. Добравшись до сварочного цеха, я должен наваливать пустые тележки друг на друга, а потом отвозить их по пять штук обратно к выходу из прессового цеха. Сто пятьдесят рам в одну сторону и тридцать раз по пять железных тележек — в другую. Это труднее всего: их общий вес превышает сто килограммов. Как-то, оставшись один, я попробовал возить их обратно в меньшем количестве, но тут же убедился, что это не годится: тележки так низки, что, если брать их по одной или по две, приходится идти согнувшись в три погибели, чуть ли не на четвереньках, долго в таком положении не выдержишь, лучше уж

навалить все пять штук — тогда толкаешь руками груз, находящийся в метре от земли. Правда, тащишь сто с лишним кило металла, зато можешь хоть немного выпрямиться.

И все это — во дворе, открытом всем ветрам, всем дождям, частенько скользком, забитом грузовиками, прицепами, контейнерами. И в качестве единственного постоянного (или почти постоянного) компаньона подстерегающий меня наладчик Данглуа, требующий, чтобы я двигался быстрее.

И никаких надежд снова оказаться со своими, в рабочей среде.

После тюремного заключения — каторжные работы.

Данглуа закончил свои наставления. Чтобы посмотреть, как я начну работать, он расположился в нескольких метрах от моего отправного пункта, возле раздвижной двери прессового цеха, откуда доносится непрерывный грохот. Наладчик непроизвольно принимает традиционную позу тюремного надсмотрщика — ноги врозь, руки в боки. Пояс его серого халата похож на слабо затянутую подпругу и подчеркивает карикатурную, почти непристойную тучность.

Беру тележку грязно-красного цвета. Раздается лязг, ледяной металл обжигает руки. Кладу раму на тележку, делаю это довольно неуклюже — не знаю, как подступиться к этому диковинному, в сплошных заплатах, сооружению из кусков железа. Трогаюсь, подпирая груз своим телом. Руками задеваю необработанные листы металла, того и гляди поранишься об острые края... Останавливаюсь, иду обратно и прошу рукавицы.

Данглуа. — Ничего у меня нет, выкручивайся сам.— И добавляет с усмешкой: — На то тебя и поставили сюда, чтобы ты вымотал себе кишки.

Что тут скажешь? Ненависть к этому произволу, к наглой, самоуверенной тупости. Но, пожалуй, нельзя забывать и другое. В каком-то смысле они даже полезны — эти мелкие, неожиданные несправедливости, которые ни за что ни про что обрушиваются на тебя. Пробуждается боевой дух. Стискиваешь зубы в ожидании реванша.

Бросаю на Данглуа мрачный взгляд и отправляюсь толкать свою тележку.

Ледяной ветер. Проливной дождь, который насквозь промочил мою тоненькую рабочую куртку — она годилась разве что для склада на улице Насиональ, где я еле передвигал ноги. Здесь же, на этом дворе, я чувствую себя раздетым догола, вымокшим до костей — сначала от дождя, а через полчаса от пота. Надо будет экипироваться — завести плотную куртку и рукавицы. Завтра. Сегодня — волдыри и ссадины.

Этот участок, где разнорабочий вынужден в поте лица трудиться во дворе в любую непогоду,— один из самых тяжелых на заводе. Вдобавок Данглуа, а иногда и мастер Гравье приходят поиздеваться надо мной. Данглуа делает вид, будто из-за меня может остановиться сборка. («Как, всего четыре рамы в запасе? Не пойдет! Пошевеливайся!») А Гравье забавляется тем, что время от времени хронометрирует мою работу и шипит: «Вы упрямы, но мы еще упрямее». (Он стал говорить мне «вы» с тех пор, как узнал, что я не из рабочих, а «университетский»).

Таким образом, Ситроен делает все возможное, чтобы заставить меня взять расчет. Но результат получается обратный. Через три недели такого режима я потерял в весе около десяти килограммов, но при этом заметно воспрял духом. Я твердо решил не уходить, остается только выдержать. С Данглуа обращаюсь иронически, Гравье — игнорирую. В перерывах встречаюсь с Садоком и Мулудом и некоторыми товарищами из сварочного цеха, которых потерял из виду. Проезжая мимо, забегают поговорить со мной водители автокаров. В столовой беседую с членами организационного комитета, с товарищами из цеха главного конвейера, с кабилом Мохамедом и другими малярами. Жожо, старый активист ВКТ, мой бывший сосед по раздевалке, все еще здесь и рад меня видеть. Ощущение полного краха, охватившее меня после разгрома нашей забастовки, после моей ссылки на улицу Насиональ и увольнения наиболее активных членов комитета, постепенно сглаживается,— рана заживает. Все осталось как было. Они и мы. Они все так же ненавистны мне (соприкасаясь с ними, я бываю настороже: вцепившись в свою тележку, стиснув зубы, весь в поту, с болью в пояснице, с руками в синяках и порезах, я сношу их придирки). Все те же и все новые мы постоянно изобретаем способы сопротивления — вспышки недовольства, возмущенные выкрики, когда крадут минуту перерыва, необъяснимые замедления конвейера, аварии по пятницам — так, на днях цепной крюк загнулся, заклинил передачу и под взрывы смеха остановил конвейер... Мы — это планы, которыми делятся в столовой, газеты и листовки, передаваемые из рук в руки, новости, которыми обмениваешься в перерыве, мы — это бутерброд и сигарета, которыми угощают товарища, это помощь в работе и моральная поддержка, когда валишься с ног от усталости. Мы говорим на разных языках, пришли из разных стран, мы перемешаны, разбросаны, разделены и все же едины, всегда разные и всегда близкие. Я не вернулся в цех, но товарищи рядом со мной, я узнаю от них все новости, и моя ярость сливается с их гневом. И даже свою ненависть к Данглуа,

к Гравье и тем, кто командует нами, я тоже воспринимаю как чувство общности. Классовое чувство.

Попробуй-ка забыть о классовой борьбе, когда ты заводской рабочий,— хозяин, он о ней не забывает, и можешь не сомневаться, он напомнит тебе о ее существовании!

Завершив перевозку всех ста пятидесяти рам и закончив свой рабочий день человека-конвейера, я возвращался домой в полном изнеможении, у меня не было сил даже подумать о чем-либо, зато я прекрасно осознавал точный смысл понятия «прибавочная стоимость».

Решающую роль в перемене моего душевного состояния сыграла встреча с Али. Она вызвала у меня потрясение, но такое сложное, что даже теперь, когда прошло около десяти лет, я не могу как следует в нем разобраться. Это было нечто вроде порыва ветра с морских просторов, внезапного соприкосновения с бесконечно далекими и неведомыми людскими массами и приобщения к чему-то одновременно родному и трагическому. Впрочем, когда я говорю обо всем этом, слова кажутся мне слабыми, приблизительными.

Я общался с Али только один-единственный день.

Полный рабочий день — с семи часов утра до пяти часов вечера.

И хотя никогда больше не видел его, я часто думаю о нем... Как только в семь часов я пришел на работу, Данглуа тотчас же повел меня в глубину двора к большому строению, где расставлены сотни рам автомобиля 2CV. Это резерв. В середине одного такого ряда стоит рабочий. Данглуа небрежно указывает на него: «В случае простоя в прессовом будешь заезжать за рамами сюда. Он будет выдавать их. Понятно?» Я неопределенно киваю головой. Рабочий даже не пошевелился, может показаться, что он ничего не слышал...

Трогаюсь с места. Рамы. Гора тележек. Рамы. Маршрут уже знаешь наизусть — вплоть до малейших дефектов асфальта, до фигур и искаженных букв, которые складываются в воображении из его трещин и неровностей. Пробки во дворе, скрип колес — все это стало таким привычным, настолько въелось в мою плоть и кровь, превратившись как бы в часть моего существа, что потом понадобится время, чтобы отделаться от этого наваждения Рама. Тележки. Заминка. Прессовый цех ничего не дал. Надо ехать в складское помещение. Рабочий протягивает мне раму и подготавливает другую. Скорей к сварочному цеху. Крановщик злится — кричит, чтобы я поторапливался. Вижу рядом с ним наверху бригадира, который подгоняет его. Живее к складу. Отвезти раму (рабочий уже готовит третью). Крановщик. Возвращение в прессовый. Все еще нет рам. Здание склада. Рама Больше нет тележек. Забрать их у сварочного цеха и навалить пять штук друг на дружку. Отвезти на склад. Снова взять раму. «Скорей!» — кричит крановщик, которого продолжает торопить бригадир из сварочного. Еще одну. Еще одну. Посмотреть, что в прессовом. Дело идет на лад. Рамы уже грудой навалены возле цеха, мешая движению. Автокар не может проехать, водитель орет, чтобы я освободил дорогу. Оттаскиваю в сторону две или три штуки. Рама. Снова тележки. Обычный маршрут, но на этот раз бегом — я отстаю. Снова заминка в прессовом. Мчусь на склад. Рабочий подает мне раму...

Каждый раз, покидая складское помещение, я бросаю взгляд на рабочего, иногда улыбаюсь ему, но у меня нет времени, чтобы задержаться и поговорить с ним. Он тоже молчит.

Человек он высокого роста, очень худой, смуглый. Мне кажется, что я уже встречал его в цехах или в раздевалке и приметил у него на лбу между бровями синюю татуировку, которая придает ему суровый вид. Как только я вхожу в помещение, он протягивает мне раму одним и тем же точным и четким движением, широко раздвинув руки. Затем сразу же принимает прежнюю позу — стоит прямой, неподвижный посредине склада, скрестив руки и глядя вдаль, будто охраняет какой-нибудь лагерь кочевников в пустыне.

Мне не раз хотелось заговорить с ним, но я слишком измотан беготней по двору с шаткими рамами или с тяжелыми тележками. И поскольку он, видимо, погружен в себя, наши встречи проходят в молчании.

Четверть десятого. Десятиминутный перерыв. Прихожу отдохнуть на склад, правда, там зверски холодно, но он хоть защищен от мелкого дождя, который под порывами ветра налетает на двор. Прислоняюсь к какому-то кузову и вынимаю бутерброд. Татуированный человек не двигается с места. Он продолжает стоять, как будто перерыв его не касается. Предлагаю поделиться с ним своим завтраком, по-видимому, он ничего не принес с собой. Он бросает взгляд на хлеб с ломтиком ветчины и отрицательно качает головой:

— Я не ем свинины.

Затем торжественным тоном, не обращаясь ко мне, а как бы думая вслух, произносит:

— Я сын марабута. Мой отец был очень важный марабут, великий святой. Я много учился.

Много изучал арабский язык.

Арабскую грамматику.

Это очень важно.

Молчание. Затем он внезапно устремляет на меня пристальный взгляд (меня поражают его сверкающие иссиня-черные глаза) и приступает к длинному рассказу, который мне трудно понять, потому что он говорит по-французски резко, гортанно, нередко употребляет одно слово вместо другого, иногда даже незнакомые мне слова. Все же я понимаю, что зовут его Али, что он марокканец, происходит из очень религиозной семьи, что он изучал Коран, что отец его умер и родные давно живут в нищете. Далее следует путаный рассказ о каком-то эпизоде из его биографии, в котором неоднократно упоминается нож, но общий смысл от меня ускользает. Мне кажется, он перемежает свою речь цитатами из Корана, и от этого она не становится понятнее. Затем без всякого перехода он произносит очень ясно, как бы по слогам, чтобы я хорошо их понял, несколько коротких фраз. Я их действительно понимаю, и они производят на меня сильное впечатление.

— Арабский язык — великий язык.

Это арабы придумали грамматику.

Они также придумали математику и цифры для всего мира.

Они придумали много всяких вещей.

Он повысил голос, и его гордая речь гулко отдается в здании склада.

Взволнованный, я отвечаю ему торжественным тоном, подбирая слова, чтобы выразить как можно проще ту мысль, что я глубоко уважаю арабскую культуру. И тут я вижу как бы со стороны нас обоих, стоящих лицом к лицу в этом большом пустом здании, где нет ничего, кроме штабелей рам, уродливых остовов будущих автомобилей. На мне потертая синяя спецовка, изодранная острыми краями листов металла, на нем — комбинезон разнорабочего, слишком широкий для его худого тела и слишком короткий для его высокого роста. И слышу высокопарный, какой-то нереальный диалог представителей далеких культур, далеких языков, далеких укладов жизни. Но ничто в этом не кажется мне нелепым и неуместным, напротив, все представляется значительным и серьезным.

Окончание перерыва, ознаменованное окриком Данглуа, появившимся на пороге («Вы чего ждете?»), прерывает мою речь на полуслове, я вынужден продолжать свои рейсы, Али остается посередине склада все в той же позе.

Обычный маршрут, затем — новый затор в прессовом. Иду за рамой к Али. У меня создается впечатление, что теперь он смотрит на меня с симпатией. Во всяком случае, его лицо кажется мне менее застывшим. Хотелось бы еще поговорить с ним, продолжить наш диалог, но времени нет. Я только бросаю ему на ходу: «Все в порядке?» «В порядке»,— отвечает он с неким подобием улыбки. По правде говоря, в течение всего этого дня я так и не видел, чтобы он улыбнулся по-настоящему. Вероятно, Али — человек, который не улыбается.

Через час после окончания перерыва темп еще более ускорился, и я совершенно выбился из сил. Неполадки в прессовом цехе вышибли меня из колеи, никак не могу попасть в прежний ритм. У Гравье крановщик нервничает, торопит меня, кричит, что у него в запасе всего одна-две рамы, что на конвейере будет «дыра». Только я стал регулярно заезжать на склад, как снова заработал прессовый, и за десять минут у выхода из цеха скопилась целая гора рам. Затор автокаров, ругань водителей, появление орущего Данглуа... Затем опять заминка в прессовом, рывок к Али, брань крановщика и так далее в том же роде.

К десяти часам я уже весь в поту, запыхался — справиться с отставанием по-прежнему не удается.

Когда я снова появляюсь на складе, Али говорит: «Мне холодно».

Какая нелепость! Для выполнения его обязанностей требуется лишь несколько движений примерно каждые четверть часа, а остальное время он мерзнет, застыв в одной и той же позе в ледяном помещении склада.

Я же, наоборот, мечусь как угорелый, мне так же жарко, как ему — холодно.

Логично было бы нечто среднее, и мы решаем изменить порядок: отныне всю работу будем делать вместе, деля ее пополам. Али станет перевозить часть рам по моему маршруту (прессовый — сварочный), я же в случае надобности сам обслуживаю себя на складе. Такая система даст Али возможность подвигаться, а мне — замедлить темп. Вдвоем мы прекрасно справимся без спешки.

Примерно полчаса все идет спокойно. Новая система вполне устраивает нас обоих. Но тут — трах! — появляется разъяренный Данглуа. Рот его перекошен (по-моему, из него даже течет слюна), серый халат прямо лопается на его жирном теле. Он кричит на нас обоих, чем мы очень удивлены: нам только что

удалось создать некоторый задел в снабжении рамами, и, казалось бы, начальство должно быть довольно.

— Это еще что такое?! Что за бардак? Тележки — это ты, склад — это он!

И повернувшись к Али:

— Сейчас же марш на склад, и чтобы я не видел тебя больше во дворе, понятно?

Али слегка пожимает плечами, показывает мне знаком, что он бессилен что-либо сделать, и неторопливо направляется к складскому помещению.

Я и забыл, что нахожусь во дворе, чтобы «вымотать себе кишки». Такие вещи считаются более важными, чем планомерный выпуск автомашин 2CV. Или, вернее, таким способом Ситроен хочет обеспечить долговременный выпуск этих машин. Гравье твердо решил заставить меня взять расчет — пусть даже сварочному конвейеру постоянно угрожают перебои. Оказывается, этим можно рискнуть, лишь бы найти предлог для взыскания или для увольнения (в самом деле, через несколько дней я получил предупреждение из-за недостаточной производительности труда). Словом, по отношению ко мне это обращение в порядке вещей. Но Али? Почему Данглуа с такой яростью накинулся на марокканца?

Я начинаю понимать, что рабочее место Али — тоже вид наказания. Этому крупному, сильному человеку гораздо труднее долго без движения оставаться на холоде, чем выполнять тяжелую физическую работу. Со мной дело обстоит как раз наоборот: большое физическое напряжение быстро изнуряет меня. Короче говоря, Гравье и Данглуа преуспели в том, что можно назвать «рациональной организацией труда». Смысл этих абсурдных систематических ухищрений — дать почувствовать, кто здесь хозяин. Сама работа строится как система репрессий, кажется, еще чуть-чуть — и достигнешь границы того, что человек может вынести.

Но почему Али?

Забежав как-то на склад, спрашиваю:

— Что они имеют против тебя?

Али. — Это потому, что я ухожу в пять часов.

Итак, он принадлежит к горстке непокорных, которые по-прежнему не признают «возмещение» — и это через два месяца после начала забастовки! А ведь я никогда не видел его на собраниях комитета, и никто никогда ничего не говорил мне о нем.

Вероятно, Али читал нашу листовку в переводе на арабский — представляю, как, оставшись один, он внимательно разбирает изысканные завитки арабской вязи, говорящие ему о посягательстве на достоинство человека, о забастовке в защиту его чести,— и принимает решение, не советуясь ни с кем, но бесповоротно.

Я думаю и о том, что Примо никогда не встречался с Али, но, составляя текст листовки, сумел найти слова, дошедшие до сознания марокканца.

Думаю также о том, что я здесь только временно, но на заводах всегда будут такие люди, как Примо, и такие, как Али.

Полдень. Столовая. Али здесь не вижу.

Возобновление работы без четверти час происходит в благоприятных условиях: Данглуа куда-то исчез — вероятно, взял свои делегатские часы. И этот наладчик, рычащий, как пес, считается нашим представителем в профсоюзе ФКТ! Мы выжидаем немного (может быть, он задержался за рюмочкой кальвадоса), а потом, поскольку он не появляется, снова работаем так, как утром,— выполняем весь цикл вдвоем. Иногда, чтобы иметь возможность поболтать, становимся вместе за тележку и спокойно толкаем ее.

Не всегда можно понять, что говорит Али. Порой его речь ускоряется, слова как бы налетают друг на дружку. А то возникает пауза, длительное молчание. Но основное я улавливаю.

Неожиданно Али начинает рассказывать мне о своей прежней жизни. Убогое селение на юге Марокко. Большая нищая семья. Братья и сестры, умершие в раннем детстве. Французская оккупация. Особенно часто возвращается он к одному эпизоду.

— В деревне был французский офицер. У офицера — большая черная собака.

Каждую неделю какая-нибудь семья должна была кормить большую черную собаку мясом.

Все боялись этой недели.

Когда кормили собаку, людям нечего было есть. Мы, дети, голодали всю неделю.

Все боялись недели черной собаки.

На мгновение он замолкает и останавливает тележку с остовом автомашины. Кажется, кошмары детства душат его, мешают ему дышать. Взор его

затуманивается. Он смотрит куда-то вдаль. Мне делается больно — вместо худого лица взрослого человека я вижу испуганное личико марокканского ребенка прежних лет, всегда голодного ребенка, которого большая черная собака будет преследовать до самой смерти. Не зная, что сказать, я бормочу:

— Это ужасно... Это колониализм.

Он овладевает собой, и мы снова толкаем тележку. И тут он произносит в ответ нечто странное:

— Нет, колонелиализм — это хорошо.

??

— Колонелиализм [1] — это хорошо. Полковник Насер, полковник Бумедьен. Это хорошо для нас.

Наша беседа, прерываемая перевозкой рам, погрузкой и разгрузкой их, возней с железными тележками, то затухает, то возобновляется. Моменты взаимного доверия сменяются отчуждением. Воспоминание, вопрос оживляют разговор. Непонятное слово тормозит его.

В ответ на мое замечание или вопрос (не помню, о чем шла речь — то ли о еде, то ли о куреве) он горячо возражает:

— Нет, этого я никогда не делаю, это — еврейское.

Я.— Как это «еврейское»?

Он.— Это значит: так нехорошо, не надо так делать.

Я.— Да нет же, «еврейский» — это название народа, религии.

Он.— Нет, нет. Еврейское — это против других. Когда говорят «еврейское», это значит, что так не годится.

Я.— Но ведь есть еврейский язык...

Он.— Еврейский язык? Нет! Нет!

Я.— Конечно есть, он называется «иврит».

Он.— Нет, писать по-еврейски — значит писать по-арабски наоборот. Это похоже, но в другую сторону.

Я останавливаюсь.

— Послушай, Али, я знаю, что говорю, я сам еврей.

И он без всякого смущения, снисходительно покачивая головой и чуть ли не с намеком на улыбку, произносит:

— Но ты не можешь быть евреем. Ты — хороший.

Это могло бы длиться часами. Новый тупик. Операции по разгрузке рам снова прерывают нашу беседу.

В таком сумбуре прошла вторая половина дня. Пропасть — между языками, между мирами. Я пытался представить себе, в каком мире живет Али, как он понимает явления, и меня охватывало ощущение полной безысходности. Чтобы понять друг друга, надо бы разговаривать годами, десятилетиями... Мы вообще могли бы не встретиться, случай свел нас. Случай? Не совсем. Дело в забастовке, в ее более или менее прямых последствиях. И в то же время я чувствовал, как близок мне Али — одинокий, упорный забастовщик, ребенок с черной собакой, козел отпущения Данглуа. Мой обездоленный брат, лишь на мгновенье возникший из мрака, который вскоре снова поглотит его.

В самом деле, его то и дело перегоняли с места на место, одно оскорбление сменялось другим, и на следующий же день он исчез. Позже я кое-что слышал об Али от людей, знавших его в лицо («Ах да, высокий марокканец с синей татуировкой на лбу, он еще все время молчит и до сих пор уходит ровно в пять... Постой, кажется, я видел его, он таскает чаны в окраске»).

В конце концов я узнал, что на заводе в Жавеле Али дали постоянную работу.

Уборку отхожих мест.

Июль.

В сварочном цехе, куда меня снова перевели, стоит удушливая жара. Все металлические поверхности уподобились нагревательным приборам. Кузова окружают нас, вереницами движутся перед нами, обжигают нас. Уродливые металлические скелеты, наскоро скрепленные, ободранные, покрытые заплатами. Пламя горелок, снопы белых искр, горелый металл, удары молотков по стальным листам. Кузова скользят, одинаковые и невозмутимые, по помещению, превратившемуся в парильню, и кажется, что скоро мы расплавимся, растворимся. Кругом все серо, вместо воздуха — горячие испарения, омерзительный запах гари, металлическая пыль. Грязная одежда прилипает к телу, все становится влажным от пота, слезятся глаза.

Мастеру Гравье понадобился подсобник в помощь крановщику, который поднимает рамы со двора и устанавливает их в головной части конвейера. Этим подсобником буду я.

[1] По-французски «колонель» означает «полковник». *(Прим. перев.)*

Каторга во дворе продолжалась около четырех месяцев. Согнувшись в три погибели, вперив глаза в асфальт, я толкал свои тележки и не столько видел, сколько чувствовал, как прошла весна и началось лето. Я терпел преследования Данглуа, время от времени — издевательства Гравье и был уверен, что они оставят меня здесь до закрытия завода в августе. Но они решили переместить меня.

Итак, я стал помощником крановщика и работаю у входа в сварочный цех. Я принимаю и проверяю крылья, капоты и двери и ставлю их на большие железные стойки, которые движутся по конвейеру вместе с рамами. Дефектные двери отношу к рихтовщику и после исправления снова ставлю их на линию. Когда через транспортный тоннель рамы попадают в цех окраски, платформы, на которых они передвигались, автоматически отбрасываются на край конвейера и скапливаются там. В мои обязанности входит регулярно переправлять платформы к началу конвейера, чтобы крановщик мог каждые три-четыре минуты опускать на них новые рамы.

Этот крановщик — алжирец Камель. Лет двадцати пяти. У него диковинная прическа в стиле битлов, пышная и покрытая бриллиантином. На работе он носит комбинезон зеленоватого цвета, стянутый в талии, а в городе одевается вызывающе — блейзер с золочеными пуговицами и остроносые ботинки. Повадки сутенера. Кстати, поговаривают, будто он занимается и этим делом. Водит подозрительные знакомства в районе Пигаль и Барбес, и порой его поджидают у ворот сильно накрашенные девицы. Со мной, своим «помощником», он ведет себя нагло, пользуется ситуацией, чтобы помыкать мной, как лакеем. Поскольку Камель занимает важный пост, обеспечивающий бесперебойную работу конвейера, ясно, что он зарекомендовал себя как ревностный служака и что его понятия о темпах работы устраивают начальство. Гравье и Антуан доверяют ему. С другими рабочими он не соприкасается. Напористый, властный, он восседает на своем рабочем месте над входом в цех, обозревает двор, расположенный несколькими метрами ниже, и безостановочно загружает конвейер.

Однажды во время перерыва мы заговорили о забастовке протеста против «возмещения», и он стал похваляться тем, что никогда в ней не участвовал — не то что «дураки» из 86-го цеха, на которых теперь косо смотрит Гравье. Я резко возразил ему, мы тут же разругались, но возобновление работы положило конец нашей перебранке. После этого мы больше не разговаривали и обменивались несколькими словами лишь во время работы — он подгонял меня или бранился, а я посылал его к черту.

Конвейер в сварочном образует полукруг. На нем примерно тридцать рабочих мест, где производят около ста операций, прежде чем рама уйдет из этого цеха.

Одно рабочее место находится в стороне от других. Внутри полукруга пожилой рабочий одиноко сидит перед своим верстаком и исправляет бракованные двери. Слева от него лежит груда испорченных дверей, которые я доставляю ему после беглого осмотра тех, что прибывают ко мне по конвейеру. Трещины, вмятины, неправильно склепанные или плохо отформованные части, бугры и дыры — все это для него. Он ремонтирует, переделывает и кладет справа от себя исправленные двери. Я забираю их и ставлю на линию в конце полукружия, откуда они отправляются вместе с рамами в окраску.

Этот рихтовщик — француз. Добросовестный седовласый человек, чья умелая работа приводит меня в восхищение Он похож на ремесленника и кажется здесь почти неуместным, выходцем из другой эпохи, случайно попавшим в цех, где бесконечно повторяются одни и те же движения. В его распоряжении множество инструментов для рихтовки, правки молотком, шлифовки. Паяльники, припой, горелки. Все это лежит в кажущемся беспорядке и напоминает склад сырья, в котором он безошибочно ориентируется, и каждое его исправление требует особой операции, почти никогда не похожей на предыдущую. Всякие случайности — неудачная штамповка, повреждение при перевозке, излишняя тряска, удар, столкновение с автокаром — определяют, что и как ему придется выправить, заделать, спаять, зачистить, отрихтовать. Он берет испорченную дверь, внимательно осматривает ее, проводя пальцем по изъянам (это обследование он производит не менее тщательно, чем хирург перед операцией), кладет ее на верстак, принимает решение, раскладывает инструменты, которые ему понадобятся, и приступает к делу. Работает, склонясь над поверхностью двери на расстоянии десяти — двадцати сантиметров, точно рассчитанными движениями орудует напильником или молотком и отворачивается лишь для того, чтобы уклониться от снопа искр при сварке или от вихря металлической пыли при шлифовке. Мастер, почти художник.

Самое поразительное — его верстак.

Устройство, почти не поддающееся описанию, сооруженное из кусков железа, болтов, всевозможных стоек, самодельных тисков для закрепления деталей, со множеством отверстий, пугающее свой шаткостью. Но это лишь видимость. Ни разу верстак его не подвел, не сломался. Если достаточно долго наблюдать за рихтовщиком, начинаешь понимать, что мнимые несовершенства верстака вполне целесообразны. В эту щель можно просунуть инструмент, чтобы исправить оборотную часть двери, через это отверстие произвести сложную пайку, а это сквозное пространство позволяет выправить дверь молотком, не переворачивая ее. Этот верстак рабочий смастерил сам и не раз переделывал его, совершенствовал. Теперь он составляет с ним одно целое, знает наизусть его свойства: два поворота винта здесь, три поворота гайки тэм, смена прокладок, чуть изменить наклон — и дверь уже можно сваривать, шлифовать, подпиливать и править молотком нужное место, каким бы трудным ни был доступ к нему — снизу, сбоку, с углов, по диагонали, с ребра.

Фамилия рихтовщика — Демарси. Профессионал в области обработки металла и сварки. Специалист, вероятно, высшего разряда — KI или что-нибудь в этом роде. В сварочном цехе — единственный квалифицированный мастер широкого профиля (в других цехах имеется несколько таких специалистов, но они чаще всего станочники. Большинство же их заняты на профилактике и ремонте оборудования).

Благодаря своему возрасту, квалификации, опыту Демарси пользуется известным уважением. Ему не говорят «ты», ему не грубят. Обращаясь к нему, даже мастер и бригадир несколько меняют обычный тон. Почти до любезности.

Сам Демарси вовсе не считает себя важной персоной. Он всегда прост, вежлив. Правда, говорит он мало. Всецело поглощенный работой, он производит впечатление человека скорее замкнутого, и относительная обособленность его рабочего места, видимо, ему по вкусу. Он делает то, что нужно, ничего ни у кого не спрашивает, и никто ничего не спрашивает у него. Вообще, если у Демарси возникает затруднение, например, ломается инструмент или не хватает какого-нибудь материала, он выходит из положения своими силами — либо сам чинит инструмент, либо идет в кладовую за новым, либо, помудрив над своим верстаком, изобретает какой-нибудь неведомый до сих пор метод.

Между тем во второй половине июля над Демарси и его верстаком нависла угроза. Сам того не подозревая, рихтовщик попал в сферу внимания специалистов по организации труда.

Именно во второй половине июля, когда дуреешь от жары, когда запах пота смешивается с запахом горячего масла и горелого металла, когда цеха превращаются в пекло, когда чаще обычного случаются обмороки у мужчин на окраске и у женщин на сборке сидений, когда не хватает воздуха, грузы кажутся тяжелее, чем обычно, язык сохнет во рту и одежда становится влажной, когда в каждый перерыв мы бросаемся к выходам в тщетной надежде на прохладу,— именно во второй половине июля вокруг нас начинает рыскать Организация труда.

У начальства приступ лихорадки. Его больше не видно. Производятся перемены, перемещения, перегруппировки.

Идет модификация производственного процесса.

На наши конвейеры поставили новые машины. Ami 8. На четыре-пять 2CV — одна Ami 8. И тут же преобразовали некоторые операции, дали дополнительные инструменты или заменили старые.

Рационализация, говорят они.

Втихую производится хронометраж (человек в белом халате с хронометром в кармане прохаживается по цеху, останавливается за спиной работающего парня, в кармане раздается щелчок, парень совершает свою обычную операцию, в конце ее новый щелчок. Все шито-крыто, остается только удалиться медленным шагом и спокойно, в сторонке, записать полученный результат). Все это заносится на карточки, твоя работа разлагается и снова суммируется с точностью до десятой доли секунды, и в один прекрасный день тебе внезапно повышают норму выработки.

— Видишь ли, старина, они там, наверху, пересчитали... Вот новая норма.

— Но...

Усталый жест человека в белом халате.

— Я тут ни при чем,— лицемерно замечает он и быстренько сматывается.

Рационализация!

Почему именно теперь? Потому что наступил подходящий момент — дирекция ничего не делает наобум. У нее есть социологи, психологи, исследователи статистики, специалисты в области человеческих отношений, гуманитарии, есть осведомители, переводчики, желтые профсоюзники, есть мастера и бригадиры, которые прощупывают почву. Дирекция сопоставляет опыт, накопленный в Шуази, с опытом заводов в Жавеле, Леваллуа, Клиши, выясняет мнение других предпринимателей, созывает совещания, ассигнует средства, она хочет все

знать. «Изучите-ка конфликты, поведение иностранных рабочих, настроение среднего операционника, причины прогулов и то, и это».

Через две недели — пора отпусков. Дирекция знает, что время для объявления забастовки прошло. А главное, что в голове у иностранных рабочих только одно — как-нибудь выкрутиться, чтобы провести отпуск дома. Наскрести денег, достать недорогой билет: на дополнительный авиарейс, на пароход — в третьем классе, либо же за сто пятьдесят франков на самолет из Марселя в Оран. Толчея в транспортных агентствах, в конторах мореходных компаний, в кассах предварительной продажи авиационных билетов. Завод охвачен отъездной лихорадкой. Во время обеденного перерыва в столовой — настоящая биржа: билет в Батну и обратно столько-то, Париж — Алжир дешевле. Групповой билет Марсель — Алжир, но в группе должно быть десять человек. В Югославию — вообще почти даром, но отправление 27 июля, за три дня до закрытия завода. Те, кто знает, что не могут уехать, потому что в кармане у них ни гроша или никто не ждет их дома, бродят как потерянные, безразличные ко всему, подавленные общей суматохой, к которой они, увы, не причастны. Те же, кто пытается уехать, думают только об отъезде. Мысленно они уже там — в кабильской или хорватской деревне, в предместьях Алжира или Барселоны, на крохотных фермах в Транс-Ос-Монтесе или в оливковых рощах Алентежо. Мысленно они среди рыбаков или виноградарей, среди овечьих стад или в сапожных мастерских, на деревенской площади в час, располагающий к беседе, когда солнце медленно опускается за холмы. Их помыслы с родителями, с женами, детьми, братьями, сестрами, дядьями, тетками, кузенами, друзьями. Там. Здесь, в распоряжении Ситроена,— только их тела. Но Ситроену достаточно тел. Тем лучше, если помыслы далеко, этим можно воспользоваться. Еще немножко выжать из тел, момент подходящий.

Рационализация!

Если последить за работой Демарси две-три минуты, покажется, что он теряет время, ворочая свой верстак, завинчивая гайки, подгоняя прокладки. Если же наблюдать подольше, станет ясно, что все именно так, как надо, и рихтовщик прекрасно использует свое устройство. Но субъекты из методического бюро не намерены стоять часами у каждого рабочего места· бросили взгляд и уже уверены, что все поняли. У них ведь специальное образование, они знатоки научной организации труда! Да, здесь, видимо, побывал некто из методического бюро и решил, что этот шаткий верстак вызывает потерю времени. В блокноте появилась запись: «Место R-82, 86-й цех — заменить верстак, установить модель F675 с регулировкой наклона». Блокнот закрыт, субъект поправляет очки и идет совать свой нос в другое место, чтобы сообщить в бюро положенную норму сокращенных секунд и «усовершенствований» оборудования.

А может быть, на всех заводах Ситроена было произведено специальное изучение процесса рихтовки с множеством диаграмм, статистических данных, кривых и решено снизить издержки производства, сократив брак, точнее рассчитав время, модернизировав оборудование? Конференции, собрания, обследования, служебные записки — проект готов. И во второй половине июля, когда специалисты — социологи и сотрудники отдела личного состава — подтвердили, что можно приступать к делу, что момент для нововведений и ускорения темпов подходящий, тут-то — трах! — подворачивается Демарси, спокойно исправляющий двери в сварочном цехе.

Удар именно по его верстаку.

Без предупреждения, утром в четверть девятого.

Вторник 22 июля, восемь часов пятнадцать минут, в 86-м — дым коромыслом (воспользовались перерывом на завтрак, чтобы не нарушать работу). Трое парней большой лебедкой поднимают в цех массивное чугунное сооружение, ставят его на конвейер, предварительно очищенный от обрабатываемых кузовов, и не без труда доставляют на рабочее место Демарси Старый верстак тут же убрали и швырнули в угол, где валяется всякий хлам: тряпки, ржавые бидоны,— а взамен установлена громоздкая новинка. Трое молодцов вытирают вспотевшие лица, дают на подпись Гравье наряд и исчезают.

Перерыв

Ошеломленный Демарси смотрит на верстак, упавший как снег на голову. Вернее, как плод непредсказуемых причуд методического бюро. Массивный куб, сверху — наклонная плоскость, чтобы класть на нее двери. По бокам — две гайки для закрепления. И все. Наклонная плоскость сплошная, цельнометаллическая. Никаких отверстий, проемов, которые позволяли Демарси производить обработку сверху, снизу, сбоку, не перемещая двери. Он осматривает устройство. Исследует возможности регулировки. Ограниченны. Обходит станок кругом. Ощупывает. Он подавлен, тяжело дышит (проходя мимо, я слышу, как он бормочет, почесывая голову: «Так... Так, значит?..»). Грустный взгляд на ста-

рый верстак, брошенный в угол, где он будет ржаветь, пока не пойдет на слом. Видно, что Демарси очень удручен. Правда, он не из тех, кто ходит жаловаться, протестовать. Он застывает на месте, опустив руки, еще не оправившись от шока, все повторяя свое «Значит, так... Так, значит?» В цехе опять шумно, каждый занят своим делом, той операцией, которую нужно произвести на остове автомобиля, медленно подползающем к его рабочему месту, ни у кого больше нет времени наблюдать за Демарси. Один со своим смятением, совершенно один...

Конвейер работает, груда дефектных дверей растет, а число исправленных зловеще уменьшается. Надо наверстывать упущенное. Неловко, как новичок, Демарси принимается за дело. Закрепляет первую дверь, по привычке ищет подходов, которые отныне закупорены, решает разделить операции, ведь прежде он производил их одновременно сверху и снизу, обеими руками. Начинает подпиливать.

С трудом — одна дверь. Другая.

Сомнений нет, это катастрофа.

Ритм Демарси сломан, его метод работы больше не годится. Каждый раз, когда ему придется исправлять дверь снизу, надо будет отвинчивать тиски и, перевернув дверь, снова их завинчивать. Теперь уже не удастся, как прежде, экономными, точными жестами быстро выправить молотком — удар сверху, удар снизу — полированную поверхность.

Раньше он левой рукой подставлял под дверь прокладку и перемещал ее по мере надобности, а держа в правой молоток, постепенно устранял все обнаруженные изъяны. Сейчас это невозможно: приходится обрабатывать по отдельности лицевую и оборотную стороны двери. И тратить время на то, чтобы отвинчивать, поворачивать, снова завинчивать... С этим новым верстаком на каждую дверь уходит в полтора раза больше времени.

К десяти часам утра приходит Гравье. В объяснениях нет надобности. Видя, как старик выбивается из сил, он сразу же понимает всю нелепость произведенной перемены. Поднимает глаза к потолку, пожимает плечами. Нетрудно прочитать его мысли: «Уж эти мне бюрократы, методисты, сами не знают, что выдумывают. Спросили бы лучше нас, производственников, мы-то знаем свою работу. Но в конце концов, дело их...» От него здесь ничего не зависит, методическое бюро, видимо, даже не посоветовалось с ним. Не может быть и речи о том, чтобы он высказал свое мнение в присутствии рабочего. Иерархия есть иерархия. Мастер удаляется, не произнеся ни слова. Пусть Демарси выпутывается, как умеет. Если возникнет перебой в поступлении исправленных дверей, об этом будет сообщено. Тогда придется, конечно, подать докладную в методическое бюро, но пока такой надобности нет. Работа Демарси стала втрое труднее, он суетится, волнуется, но кое-как поспевает — правда, с меньшей выработкой, но это уж его забота. Для мастера главное — чтобы конвейер работал бесперебойно, а остальное... «Начальство на производстве — не бюро жалоб»,— любит он повторять.

А для Демарси самое плохое еще впереди.

Обеденный перерыв. (Старик остается в цехе. Он достает котелок с говядиной по-бургундски и вареным картофелем, хлеб, пиво, аккуратно расставляет все это на пустом бочонке неподалеку от своего верстака, и молча принимается за еду, тщательно прожевывая каждый кусок.)

Перерыв окончен.

Три часа дня. После обеденного перерыва цех работает полным ходом. Горячий металл, горячий пот. Ни вздохнуть, ни охнуть. С трудом переводишь дух. Всякий раз, когда я прохожу мимо Демарси, приношу ему бракованные двери или забираю исправленные, я секунду-другую наблюдаю за его работой. Дело не идет на лад. Вижу, как он сражается с этой большой чугунной штуковиной, пробует разные методы, меняет порядок операций... Все напрасно. Выработка его уменьшилась на добрую треть. Он еле справляется: стоит ему испортить одну-две двери, пару раз не так ударить молотком, стоит не сработать горелке — и конец, он пропал.

Четверть четвертого. Перерыв. Валимся с ног. Температура в цехе не меньше тридцати градусов. Душно так, что разговаривать нет сил. Воздуха!

Три двадцать пять. Скрежет пришедшего в движение конвейера, звяканье крючьев, скрип шестерен — всех механизмов, вибрирующих под ногами. Грохот первой рамы, которую Камель запускает в поток. «Давай!» — кричит бригадир, и крановщик немедленно приступает к делу — ему не нужно дважды повторять приказ. Стряхивая с себя сонливость, люди берутся за инструменты. Снопы искр. Пламя горелок. Удары молотков. Удары пробойников. Визг напильников.

Железо, чугун, сталь, жесть, стены, пол, ткани, кожа — все горячее, все обжигает, испарения, пот, смазочные масла...

Половина четвертого. А это еще что? Нашествие на цех. Белые халаты, синие халаты, комбинезоны наладчиков, пиджачные костюмы с галстуками... Они идут уверенным шагом пятиметровой шеренгой, громко говорят, сметая на

своем пути все, что им мешает. Сразу видно — они у себя дома, все здесь им принадлежит, они — хозяева. Внезапный визит господ, владельцев, называйте их, как хотите. (Конечно, формально они работают по найму, как и все. Но посмотрите на них: это — сливки здешнего персонала, это уже предприниматели, проходя мимо, они давят тебя взглядом как козявку). Элегантные костюмы — в полоску, складки всюду, где полагается, безукоризненные, отутюженные (каким оборванцем сразу чувствуешь себя после возни с листами жести в своей грязной рваной фуфайке, пропитанной потом и маслом), галстуки чуть ослабленные из-за жары и целая галерея начальственных харь — надутые физиономии важных стариков, сосредоточенные лица свежеиспеченных очкариков-инженеров, рожи тех, кто пытается сойти за этакого энергичного босса, курит сигареты «Мальборо», употребляет после бритья экзотические лосьоны и умеет принимать решение за две секунды (разумеется, увлечен парусным спортом) и подобострастная физиономия карьериста с чемоданчиком «дипломат» в руке, который трусит вприпрыжку за Господином Директором, самым главным из этой братии, твердо решив не отставать ни на шаг от своего начальника. Хорошо причесанные волосы, аккуратные проборы, модные стрижки, много бриллиантина, щеки, тщательно выбритые в комфортабельных ванных комнатах, отглаженные халаты без пятнышка, толстые животы бюрократов, блокноты, портфели, папки... Сколько их? Семь или восемь, но шума как от пятнадцати, они громко говорят, быстро обходят цех. Мастер Гравье выскакивает навстречу из своей застекленной будки.

«Добрый день, Господин Директор... бу-бу-бу... Да, Господин Директор... Как сказал господин управляющий... предупрежден... цифры... здесь... список... сегодня с утра... бу-бу-бу... господин директор». И бригадир Антуан тоже прибежал, чтобы пристроиться к группе, и даже Данглуа, неизвестно откуда взявшийся наладчик из желтого профсоюза, притащил свою жирную тушу в сером халате, чтобы сопровождать этих господ. И весь этот бомонд ходит взад и вперед, смотрит, записывает, толкает тебя, проходя мимо, требует то одного, то другого.

В центре их шеф, Господин Директор, не знаю точно чего (но стоящий очень высоко в иерархии «Ситроена», он, видите ли, правая рука самого Берко), Бино. Грузный, надменный, затянутый в темный костюм-тройку, в петлице орденская ленточка. Видно, из тех, кто читает «Фигаро», сидя на заднем сиденье своей сверкающей черной «DS», пока его шофер в каскетке занимается слаломом среди уличных заторов. Он, Бино, всем здесь заправляет — не пытайтесь рассказывать ему басен. Сверлящий взгляд, резкий тон: точнее, короче, нечего рассусоливать, мое время — это большие деньги, большие деньги, намного больше того, что вы зарабатываете за год. Настоящий босс. Скорее — менеджер. Взгляд его прикован к неровной кривой денежных поступлений.

Несколько минут эти господа потолкались в цеху, заглянули во все углы. Теперь Бино подзывает их к себе. Они окружают его, слушают. Потом скопом устремляются к Демарси. Вернее сказать, на Демарси — они буквально присасываются, прикленваются к нему, едва оставляя ему место для необходимых движений.

И вот эти шишки окружают старика, смотрят, как он работает. Бино произносит еще несколько слов. (Я нахожусь далековато, возле Камеля, и до меня долетают лишь обрывки фраз: «...пример модернизации оборудования... система регулирования... нормализовать рабочие места вне конвейера... методы... обобщить... показательная операция... пересмотреть задачи... в дальнейшем распространить... сосредоточить... разделить... затраты на оборудование... результаты... за шесть месяцев...») Время от времени он указывает на работающего Демарси. Все это напоминает сцену в анатомическом театре с профессором, с практикантами, санитарами и со стариком вместо вскрываемого трупа или экскурсию в зоопарке с Демарси в роли обезьяны. Бино показывает новенький верстак, на котором лежит неисправная дверь (он бесцеремонно выхватывает ее из-под носа рихтовщика). Инструктаж окончен, но все остаются на месте и смотрят, как работает старик.

Они немного расширяют круг — в тесноте их стала беспокоить жара,— еще на какую-то малость ослабляют узлы галстуков, принимают более удобные позы, находят на что опереться — животы выпячены, руки скрещены на груди или сложены на портфеле — и внимательно следят за операциями рабочего, за его руками, рассматривают новый верстак, инструменты. Иной раз Бино берет то молоток, который Демарси положил на место, то горелку, то дверь, но не обращается к нему ни с единым словом. Да и что, в сущности, он мог бы сказать? Что-нибудь вроде «продолжайте, милейший, не обращайте на нас внимания»? Зачем? Право же, у Бино нет патерналистской жилки, он не намерен попусту тратить слова.

Спектакль мог бы продолжаться в том же духе до конца рабочего дня. К несчастью, Демарси начинает терять почву под ногами.

Поистине этот день оказался для него невыносимым. Взять хотя бы появление этим утром нового чугунного станка и исчезновение его прежнего верстака!

Старые привычки, издавна знакомые движения, накопленный годами опыт — все пошло насмарку! Да, он пытался выстоять, преодолеть препятствия, напрячь все силы, проявить смекалку, чтобы побороть эту дурацкую громадину, придуманную каким-нибудь бюрократом, никогда не державшим в руках ни молотка, ни напильника. Но надо было полностью сосредоточиться. А разве это возможно, когда возле тебя топчутся начальники, будоражат тебя, волнуют, сбивают с толку? Старик старается не поднимать головы от верстака, но поневоле искоса поглядывает на них и вздрагивает при звуках голоса Бино. Его движения уже менее точны. Он уже не знает, в каком порядке производить операции. То, что прежде получалось машинально, он пытается делать в соответствии с правилами, предусмотренными для этой проклятой махины. Путается. Начинает работать молотком, не закрепив дверь с обеих сторон,— она выскальзывает, он снова берется за нее, одна пайка, другая (рука, держащая паяльник, дрожит), для третьей пайки надо перевернуть дверь, он отвинчивает гайки, снова завинчивает, паяет... да, но ведь на той стороне надо было произвести рихтовку... отвинчивает гайки еще раз, переворачивает дверь, снова завинчивает, работает молотком, краснеет от смущения, понимая, что проделал лишнюю операцию и что это не прошло незамеченным его безжалостными зрителями: надо было закончить одну сторону — пайка и обработка молотком,— а потом уж переворачивать дверь и снова закреплять ее, но его подвела привычка, выработанная на старом верстаке, когда он по своей воле мог производить операции то сверху, то снизу, делать сначала всю пайку, потом рихтовку, потом шлифовку...

Высокие персоны, стоящие вокруг, начинают перешептываться.

Бино хмурит брови.

Демарси, багровый, потный, пытается не замечать их, сосредоточить все внимание на рихтовке, овладеть собой, он сгибается еще ниже, хочет ускорить темп, но чугунная махина сковывает его инициативу, сужает возможности. Снова ненужные операции; одна и та же дверь перевернута три или четыре раза (и каждый раз надо отвинчивать, закреплять прокладку, снова завинчивать). Пайке недостает точности, рихтовке — четкости... Седые, спутанные волосы Демарси прилипают ко лбу, он дышит, как бык на пахоте, капли пота стекают по шее за синий ворот куртки...

Резкий стук. От поспешного движения Демарси молоток падает на пол. Он тут же нагибается, хочет поднять.

— Что это, в конце концов? Что за безалаберщина?

Голос Бино, громкий, раздраженный, словно парализует старика. На секунду он застывает в согнутом положении, немного не дотянувшись до молотка, затем медленно выпрямляется, совершенно растерянный, тогда как Господин Директор окончательно взрывается и брызжет слюной.

Бино. — Я наблюдаю за вами уже четверть часа. Вы делаете невесть что! От самой лучшей машины не будет прока, если не даешь себе труда понять, как она устроена, как ею управлять! Вам доверили современное, тщательно продуманное устройство, а вы что с ним делаете?!

Демарси.— Не знаю, что со мной, Господин Директор... Может быть, это усталость... Обычно...

Гравье. — Бросьте, старина, нечего рассказывать свою биографию Господину Директору. Лучше послушайте, что он вам говорит, и постарайтесь работать как полагается.

Очкастый человек с портфелем и напомаженными волосами, который не отходит от Бино, произносит вполголоса, но так, что старик его слышит: «Непонятно, как это они умудряются получать свидетельства о профессиональной подготовке».

Поднимается гул замечаний — возмущенных, обидных, оскорбительных.

Старик опускает голову и молчит.

Какая подлость! Ведь Гравье прекрасно знает, что новый верстак никуда не годится. Он прекрасно знает, что старик тут ни при чем. Бригадир Антуан тоже знает это. Всему сварочному цеху известен Демарси, известны точность его работы, его опытность. Но никто ничего не скажет. Методическое бюро всегда право. Да и кто осмелится перечить начальству ранга Бино?

Старику пришлось испить чашу унижений до конца. До последней минуты рабочего дня. Неловкий, оробевший, он сгорбился над своей работой, которая вдруг показалась ему незнакомой и страшной. А все эти субъекты вокруг будто принимали профессиональный экзамен у новичка — они подталкивали друг друга локтями, строили брезгливые мины, делали обидные замечания. Гравье же притворялся, что обучает его: «Да нет же, Демарси, начинайте с пайки!» — и это говорилось ему, старому специалисту, который за многие годы не запорол ни одной детали и которого все уважали за мастерство.

Несколько дней спустя снова пришли трое дюжих парней, унесли новый верстак и поставили на место прежнее орудие производства старика. Видимо, Гравье втихомолку обо всем договорился с методическим бюро. Рационализаторы еще займутся этим делом, а пока можно и подождать.

Новая замена была произведена без всякого шума, и никто не счел нужным хоть слово сказать Демарси по поводу «инцидента». Да и на протяжении всей этой истории не было и намека на попытку посоветоваться с ним.

Демарси стал работать на своем старом верстаке, и все как будто осталось по-прежнему. Но теперь в его глазах появилось нечто вроде испуга, которого я раньше не замечал. Он словно боялся, что за ним наблюдают, что ему лишь дали отсрочку. И ждал нового удара. Он еще больше замкнулся в себе и пугался, когда к нему обращались. Теперь ему иногда случалось испортить дверь, чего почти никогда не бывало до «этого».

Вскоре он заболел.

Среда, 30 июля 1969 года. Конец рабочего дня. Еще несколько минут — и завод закроется на месяц.

Меня вызывают в главную контору.

Пропуск. Подземный переход. Административное здание на другой стороне авеню Шуази. Контора. Бумаги.

Меня увольняют «с предупреждением» (освободив от «необходимости дорабатывать положенное»).

«Сокращение штатов».

Я отказываюсь подписать «окончательный расчет».

(«Как хотите, это не имеет значения».)

Беру конверт, бегу к делегату профсоюза ВКТ Клацману (он работает на этой же стороне бульвара, в инструментальном — отдаленном участке, куда его загнала администрация, чтобы он не мог заниматься профсоюзной работой вне своих делегатских часов. В срочных случаях надо идти к нему туда). Клацман читает бумаги, выясняет у меня некоторые подробности. По юридической линии не к чему придраться — «Ситроен» не допустил ни малейшего нарушения закона. Попытаться протестовать, выпустить листовку?.. Но ведь завод закрывается на месяц!

Клацман прав. Они выиграли. Делать нечего. Я предпочел бы более драматическое увольнение.

Но все-таки глубинная волна нарастает, она непременно поднимется. А после будут и другие.

Я благодарю Клацмана, мы еще увидимся. Иду проститься с товарищами из цеха. Поздно. Завод уже закрылся несколько минут назад, все ринулись к выходу, раздевалки мгновенно опустели. Впереди еще месяц. Скорее, скорее!

Завод закрыт.

Двор пуст, чист. Ни рам, ни готовых автомобилей, ни тележек, ни контейнеров, ни грузовиков. Обычный двор. Несколько десятков квадратных метров асфальта, его серый цвет кажется светлее обычного под июльским солнцем. Ворота еще полуоткрыты. Вахтер расстегнул куртку, снял фуражку, почесывает голову. За ним виден какой-то человек, он не спеша по диагонали пересекает двор. Впечатление прогулки.

Еще четверть часа назад производство автомашин 2CV шло полным ходом, 1200 человек вкалывали в адском шуме и адской жаре.

А теперь — никого.

Смотрю на завод.

С улицы у него безобидный вид — серые здания средней высоты, сливающиеся с городским пейзажем.

Мимо проходят девушки в легких платьях. Солнце печет вовсю.

Яркие краски, пора отпусков.

Закуриваю сигарету.

Медленным шагом направляюсь в кафе «Спорт».

Вот тебе на — Камель. Крановщик в городской одежде. По-прежнему напоминает сутенера. Блейзер, расклешенные брюки, немыслимый разноцветный галстук. Переступает с ноги на ногу, будто поджидает меня. Что ему надо, Камелю?

У меня нет ни малейшего желания разговаривать с ним. Хотелось бы повидать сейчас стольких других, и надо же — встретился мне именно Камель! Вечером схожу в общежитие к Мохамеду, расскажу о своем увольнении. Симона я увижу только после открытия завода. Его жене лучше, они уезжают в отпуск в первый раз за последние годы. Проведут его у родных близ Мелёна (в деревне — говорит он так, словно она находится в Амазонии!). Уже целую неделю он изнывает от нетерпения, и сегодня лучше оставить его в покое. К Садоку забегу вечером, знаю, где его найти. Другие товарищи кто где. Одни лихорадочно укладывают чемоданы, другие уже садятся в автобусы или поезда, третьи разбрелись по северным кварталам Парижа, чтобы хоть на один вечер забыть, что они никуда не поедут.

Ни одного друга, которому можно бы довериться! Так хотелось бы поговорить с Примо, Жоржем, Кристианом, Мулудом, Али, Садоком, Симоном, Жожо! Никого. Придется подождать.

Только Камель стоит здесь, у кафе «Спорт», на самом солнцепеке. Ни дать ни взять — картинка из модного журнала. Камель, тот самый, который пыжился, изображая из себя начальника, изводил меня, подгонял. Камель, которому мне нечего сказать. А он, видимо, хочет заговорить со мной.

Еще несколько шагов. Подхожу. Что ему надо?

— Меня выставили,— сухо говорю ему.

Он.— Знаю, мне сказали...

Молчание.

Камель. — Слушай...

Он снова замолкает, меняет положение, словно у него затекли ноги. Слышу, как шуршат его широченные тергалевые брюки.

Меня раздражает, что он не может устоять на месте.

Камель. — Слушай, они предлагали мне деньги за то, чтобы я подстроил с тобой драку, они хотели увлить тебя за это.

Я. — И что же?

Камель. — Ну и я отказался.

Я. — Почему?

Камель. — Потому что... потому что мне не надо денег — таких денег.

Ни следа его обычного высокомерия, у него смущенный вид — почему? Не потому ли, что именно ему предложили такую грязную работенку? Или потому, что он сказал мне об этом? Он внезапно прощается и скрывается за углом. Он сказал правду, уверен. Подозреваю даже, что предлагал ему это Данглуа.

Все-таки Камель — это тоже рабочий класс, думаю я.

Персонажи, события и место действия этого рассказа — подлинные.
Я лишь изменил имена некоторых лиц.

Струна общественной совести

Если попытаться определить главное, что питает драматизм документального свидетельства Робера Линара «Итак, я работаю на заводе...», то это — несовместимость, антагонизм современного капиталистического производства и духовно полноценной личности. Рабочий, дорожащий независимостью и достоинством, неизбежно вступает в конфликт с машиной капиталистического производства. Если же он покоряется ей, смиряется со своей судьбой, то цена, которую он вынужден заплатить, огромна — опустошенность, приниженность, моральная деградация.

Эти мысли высказаны в репортаже Линара с особенной силой.

Сразу же по выходе в свет книга привлекла к себе большое внимание. В парижской печати появились многочисленные, в большинстве своем восторженные отклики. Видный французский литературный критик Бернар Пуаро-Дельпеш, пишущий обычно в «Монд», увидел в ней достоинства подлинного романа, созданного талантливым прозаиком, «раскрывающим реальность классовой борьбы». Мишель Дюман в «Юманите» подчеркивал: «Это не первое произведение о жизни современных рабочих, но, безусловно, самое захватывающее». Многие рецензенты называли книгу Линара обвинительным актом, разоблачающим бесчеловечность порядков, скрытых заводскими стенами.

Критика единодушно отмечала выразительность коротких, лаконичных фраз автора, правдивость, глубину его наблюдений. В отзывах говорилось о разнообразии, жизненности, духовной сложности описываемых им характеров, о сдержанной страстности тона. Книгу документальной прозы Линара приветствовали как крупное явление во французской современной литературе.

Но очень скоро она перестала быть собственно литературным событием, оказавшись заметным фактом общественной жизни Франции.

На мой взгляд, несколько обстоятельств определили характер и масштабы этого резонанса.

Первое среди них — удар, нанесенный этим свидетельством человека, проработавшего год на автомобильном заводе Ситроена, по мифу о Франции как государстве «всеобщего благополучия».

Этот миф приобрел особенно сильное влияние на умы людей в конце 60-х — начале 70-х годов, когда после трудных лет послевоенного восстановления наступил период относительно быстрого роста французской экономики и еще не разразился мировой кризис 1974—1975 годов. Газетные и журнальные статьи, передачи радио и телевидения, уличная реклама штрих за штрихом создавали картину общества, в котором каждый якобы имел — или мог иметь — хороший автомобиль, комфортабельную, просторную квартиру, загородную резиденцию. В этом «процветающем» обществе

каждый имел работу, делал — или мог сделать — прекрасную карьеру, а отпуска проводил на пляжах Эгейского моря или атлантического побережья Марокко.

Конечно, встречались и неудачники. Но кто оказывался виноватым в их поражении в житейском соревновании? Нет, не общество, которое открывало перед всеми равно сияющие перспективы успеха. У тех, кто остался за бортом «всеобщего благополучия», не были достаточно тренированы ноги, чтобы угнаться за остальными, не были достаточно сильны локти, чтобы протолкнуться к переполненной кормушке, не был достаточно ясен ум, чтобы найти «хорошее» место среди других «благополучных» людей. Бедные, обездоленные, несчастные — все они сами несли на своих согбенных спинах ответственность за собственную бедность, обездоленность, неудачливость.

Робер Линар нигде прямо не выступает против мифа, ставшего своего рода призмой, через которую очень многие французы видят окружающую их действительность, но каждый, кто прочел его документальное свидетельство, уже не сможет, как прежде, воспринимать общество, к которому принадлежит. В своей книге он показал действие экономического механизма, который действительно несет процветание и благополучие отдельным людям, отдельным социальным группам, но при этом подвергает беспощадной эксплуатации и угнетению тысячи и миллионы других людей.

Робер Линар увидел сам — и рассказал об увиденном,— что люди, работающие у станка или конвейера, в силу самого характера капиталистического производства лишены возможности изменить свою участь, если сообща не ведут борьбу за свое социальное освобождение как класса. Они могут быть и бывают талантливы, наделены ярким и сильным умом, волевым, самостоятельным характером, но все эти качества бесполезны на производстве, которое требует от рабочего лишь чисто механических навыков. И ни талантливость, ни сила ума или характера не открывают перед ним возможностей к выдвижению, к изменению своего социального положения.

Миф о «свободном обществе» — второй, испытавший на себе разрушительное воздействие книги Робера Линара. Выдающийся советский ученый П. Л. Капица писал недавно:

«После некоторого достигнутого благосостояния люди в «обществе изобилия»... начинают с ростом богатства терять свободу, и уже сейчас в таких развитых странах свобода человека очень ограниченна. Такого рода общество стремится так организовать жизнь людей, чтобы при отсутствии свободы они не теряли ощущения ее существования. Это достигается путем пропаганды, отвлечением интересов людей в сторону спорта, секса, зрелищ, чтобы этим отвлекать людей от действительности».

На автомобильном заводе компании «Ситроен», где работал автор романа, люди были лишены даже этого иллюзорного ощущения свободы. Их гнетет страх, который «составляет часть завода». По словам писателя, «он — его жизненно важная шестерня».

Этот страх многолик. Он может выступать под маской надзирателя, мастера, цехового сторожа. Внутри завода, констатирует автор, вы находитесь в откровенно полицейском мирке. Но дело не только в давящей человека атмосфере надзора и постоянных понуканий, не только во всевластии управленческого аппарата и в постоянной угрозе увольнения, нависающей над рабочим. Сам труд организован так, что питает, поддерживает в человеке чувство страха. Как говорит писатель, завод гноится страхом, потому что откровенно и прямо завод постоянно угрожает людям, которых использует. Угрожает их здоровью, даже жизни.

Только в насмешку можно говорить о «свободе» на заводах Ситроена. А такие же — либо сходные — порядки существуют на тысячах крупных капиталистических промышленных предприятий. Робер Линар рассказывает о том, что рабочие, покидая цеха, с особой тщательностью следят за своей внешностью, одеваются с подчеркнутой щеголеватостью. Это мелкая, но красноречивая подробность. Так за воротами завода они стремятся вернуть себе сознание независимости и человеческого достоинства и хотя бы внешне «отмежеваться» от мира, пленниками которого были в течение рабочего дня.

Но и вне завода они не освобождаются от его влияния. Длинная заводская тень ложится на их души, сознание.

В своей книге Робер Линар пишет только о том, что видел сам или сам испытал. Это — произведение, которое мог бы написать любой рабочий с заводов Ситроена, если бы обладал возможностями, которые дали писателю образование и литературный талант. И тем убедительнее оказывается содержащаяся в нем критика взращенных капиталистическим обществом мифов.

Едва ли не самые сильные страницы прозы Линара посвящены разоблачению расизма. Мифу капиталистических апологетов о равенстве писатель вновь противопоставляет свои непосредственные наблюдения о нравах, царящих у Ситроена.

Француз, даже лишенный профессиональной квалификации, имеет право на лучше оплачиваемую работу, чем выходец из Тропической либо Северной Африки. Он находится в привилегированном положении уже в силу того, что он — француз. Но расизм обнаруживается не только в том, что цвет кожи, национальное происхождение влияют на отношение заводской администрации к рабочему. Расистской является вся политика заводской дирекции, которая пытается противопоставить друг другу различные национальные группы рабочих.

Страницы, рассказывающие о судьбе рабочих из развивающихся стран на со-

временном капиталистическом производстве, создают картину, масштабы которой выходят далеко за рамки одного, даже крупного предприятия. Французская экономика использует сегодня труд нескольких миллионов рабочих-иммигрантов. Еще в 1973 году газета «Юманите» отмечала, что в промышленности страны каждый пятый рабочий — иммигрант. В некоторых секторах экономики, например в строительстве и на общественных работах, по данным газеты «Фигаро», они составляют около половины всех занятых. Эта же газета писала о «катастрофическом положении» рабочих-иммигрантов и признавала обоснованным «гнев организаций, выступающих в защиту этого французского «третьего мира».

Читая книгу Робера Линара, понимаешь справедливость анализа французских коммунистов, которые предостерегают против политики капитала, направленной на раскол пролетариата по национальному признаку. Именно на почве такой политики начинает пышным цветом расцветать расизм. Газета «Юманите» в этой связи писала, что «присутствие рабочих-иммигрантов и их борьба превращают интернационализм, больше чем когда бы то ни было раньше, в непременное условие выступлений трудящихся за свое освобождение».

Робер Линар увидел, что интернационализм, о котором говорит газета французских коммунистов,— это черта отношений между рабочими у Ситроена. Пройдя через круги заводского ада, он сохранил оптимизм именно потому, что убедился в решимости людей труда всех национальностей совместно отстаивать собственные классовые интересы.

И здесь хотелось бы сказать еще об одном мифе, который разоблачается в этой книге. Дело в том, что мещанин, неспособный понять истинной природы классовой борьбы, склонен извращать мотивы выступлений трудящихся. Он принимает на веру утверждения желтой прессы, будто пролетарием, этим «неудачником», движет лишь одна враждебность — столь близкая и понятная мещанину — к тем, кто сумел разбогатеть, кто «преуспел». А стереотип рабочего, якобы не любящего своего труда, якобы стремящегося лишь к увеличению собственного заработка, постоянно, по случаю каждой забастовки, насаждается буржуазной печатью. Ведь извратить моральный смысл борьбы, которую не прекращает французский пролетариат,— значит его изолировать, скомпрометировать его цели в глазах общества.

В книге раскрываются сами истоки классовых схваток. Грохочущая, бесконечно движущаяся лента конвейера — это вечный символ границы, которая разделяет мир труда и мир капитала. Капитализм создает на предприятии ситуацию, когда каждый рабочий оказывается перед дилеммой — либо смириться с ущемлением своего человеческого достоинства и постепенным разрушением собственной личности, либо, объединившись с собратьями по классу, добиваться социального освобождения. И эта борьба имеет высокий общечеловеческий смысл, отмечена благородством и величием своих целей.

Как родилось это произведение? Хоть оно и появилось через десять лет после того, как в мае 1968 года рабочие забастовки и выступления студентов заставили трепетать буржуазную Францию, отблеск того времени озаряет многие его страницы. Сам Робер Линар никогда не был коммунистом. Он интеллигент левых взглядов, пошедший в народ и потому, что искренне верил в революционный потенциал рабочего класса, и потому, что хотел внести, пусть скромный, вклад в его организацию на борьбу против капитала. Его «уход в народ» был продиктован еще и сознанием, что у каждого честного человека есть обязанности перед теми, кто лишен его привилегий — культуры, образования, относительного благополучия. Короче говоря, совестью. Он знал, что его ожидает, и все же действительность, с которой он столкнулся на автомобильном заводе Ситроена, оказалась много сложнее и страшнее того, к чему он готовился.

Эту действительность он воспринял двояко: и непосредственно, испытывая физическую усталость от обесчеловеченного, поэтому вдвойне тяжкого труда, моральные унижения, подвергаясь преследованиям со стороны заводской администрации, и глазами ученого — философа и социолога по профессии и образованию, умеющего за отдельными деталями разглядеть главное, основное. Сочетание постоянно работающей внимательной мысли и конкретности пережитого и накопленного опыта определило своеобразие его свидетельства о повседневном «быте» крупного капиталистического предприятия, превратило это свидетельство в документ, который в конечном счете сильно задел струну общественной совести и вызвал во Франции огромный резонанс.

Роман-репортаж Робера Линара был воспринят французскими читателями как сенсация. На первый взгляд может показаться странным, что явления и люди, о которых он написал, были неожиданностью для многих среди тех, кто взял в руки его книгу. Однако как ни разнообразна внешне французская буржуазная печать, есть целый круг жизненных процессов, о которых она или не сообщает вообще, или сообщает мало и превратно. Наблюдения Робера Линара были сделаны именно в этой «мертвой зоне». Его документальная книга — это прямой вызов тем табу, которым подчиняется буржуазная пресса.

При подготовке к печати на русском языке журнального текста книги она была несколько сокращена с согласия автора.

ВЛ. ИОРДАНСКИЙ

◆

КОНТАКТЫ КУЛЬТУР

Л. МИХАЙЛОВА

Советский критик и литературовед, автор монографии «Александр Грин» и статей по русской, советской и зарубежной литературам. В советской печати публиковались также ее очерки на зарубежные темы.

АЛЫЙ ПАРУС В ОКЕАНЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Страницы болгарской гриниады

Братские связи русской и болгарской культур имеют давнюю, историческую традицию. Они получили новый импульс и новое содержание в период первой русской революции. В ту пору сочинения Горького издавались в Болгарии сразу же после их опубликования в России. Этот процесс стал еще интенсивнее после Октября. Советская страна знакомилась с произведениями прогрессивных болгарских писателей, а в Болгарии, несмотря на рогатки цензуры, распространялась молодая литература Советской России.

В наши дни контакты двух культур тесны и плодотворны как никогда. Большой размах приобрели взаимные издания книг, многообразны формы живой творческой дружбы между писателями обеих стран.

Вопреки наветам буржуазной критики, литература Страны Советов притягивает «лица необщим выраженьем», разножанровостью, богатством творческих индивидуальностей. Одним из открытий для зарубежной аудитории было творчество Александра Грина, чье 100-летие со дня рождения будет отмечаться в следующем году. Современного читателя привлекает в этом своеобразном художнике вера в безграничные возможности человека, непоколебимая философия героя — быть самим собой. Это не прихоть, а долг — осознанная самоотдача, мобилизация своих внутренних ресурсов, разума, воли, энергии добра на пользу окружающему миру. Пути знакомства болгарского читателя с Грином во многом на неизвестном материале раскрывает в предлагаемом очерке Л. Михайлова.

I

Художественный образ, проникая в почву действительности, обретает жизненную силу.

Общеизвестно, кто был прототипом юной героини Толстого, но никто воочию не видел ту Наташу, что создана воображением гения и заново оживает в душе поколений. В мире есть памятники литературным героям, улицы, названные их именами, существуют даже здания, где они будто бы жили и бывали. Но физическое воплощение книжного образа перед глазами, так что рукой можно потрогать? Этого не случалось, а мистификации в конце концов изобличают себя.

И вдруг, вообразите, гриновская фантазия наяву — алый парус в волнах предвечернего моря. Не хватало только Ассоль,

по пояс в розовеющей воде, с руками, протянутыми навстречу сбывающейся сказке. Это было похоже на хорошо подготовленный сюрприз. Но даже у радушных болгар такой спектакль был бы преувеличением возможностей их широкого гостеприимства. И кто-то рядом спокойно произнес: «Смотрите, это перешло из книги в жизнь».

Перешло из книги в жизнь... Хорошо знаю аншлаг «Алый парус» над страницей «Комсомольской правды», где юношество наших дней темпераментно ведет летопись своих дел, тревог, намерений и свершений. А этот оживший романтический символ в море был похож на радостный возглас при неожиданной встрече.

Век документалистики надоумил меня, и вот свидетельство: «Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что видели у созопольского берега в лучах предзакатного солнца барк с алыми парусами. Это было 2 сентября 1976 года в 17 часов по местному времени». Подписали: академик Д. С. Лихачев, З. Н. Лихачева, референт Инокомиссии болгарского Союза писателей Славова, водитель Филчо, Л. Михайлова — автор монографии «Александр Грин»...

Позднее, уже в Софии, ответственный секретарь еженедельника «Литературен фронт» Владимир Минков рассказывал, как ошеломило его у нас на Дальнем Востоке внезапное видение корабля с алыми парусами. Парусник стоял на вершине горы в бухте Находка. Журналисту объяснили тайну миража. Молодые люди переоснастили и втащили на гору старое судно и теперь там бывают в торжественные минуты жизни. Отслуживший ветеран снова отвечает идее движения, символизируя мечту и борьбу человека за счастье. Чем дальше, тем убедительней становится существенность фантазий Грина, его особое, но и доказательное виденье фактов. Атмосфера и суть его творчества входят в разносторонний обиход действительности.

Единственный в своем роде «акт», подписанный на пути из Созополя в Бургас,— пробный кирпичик в фундамент моего собирательства в Болгарии. Хочу обнаружить и исследовать все, что связано здесь с именем и творчеством Грина.

— Ты мало у нас найдешь,— сказал один из болгарских литераторов, давний мой знакомый.

Я сочла явление алого паруса хорошим предзнаменованием и пустилась по волнам расспросов и разысканий.

Одна точка на карте республики будоражила воображение еще в Москве. То, что читала и слышала о Созополе, самом древнем городе на болгарском Черноморье, рождало предчувствие — найду там живописные «следы» Грина.

Не спеша хожу по Созополю и вижу материализованный Лисс. «Город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы», намеков, потому что «город возник на обрывках скал». (Цитирую «Корабли в Лиссе».)

Скалы кажутся красными из-за черепичного покрытия созопольских домов, упрямо взбирающихся по обе стороны бухты от подножия к вершине полуострова. Путаница балконов, карусель улочек-переходов с чисто гриновскими названиями: «Альбатрос», «Морские скалы», «Ветряные мельницы», «Маяк»... Как и в гриновском рассказе, «все это завалено густой зеленью» диких орехов, райских яблок, гранатовых, инжирных, миндальных деревьев, и летом жизнь проходит на открытой террасе вровень с землей, под живой кровлей из мощных виноградных ветвей с вырезными листьями и тяжелыми кистями, медово-янтарными от жарких лучей солнца. И опять вспоминаешь залитые светом приморские города Грина, и ждешь, что «в веерообразной тени» заблестят «детские пламенные глаза женщин», и неподалеку увидишь «огромную лодку, чинимую босоногим, трубку покуривающим нелюдимом».

Да вон и она, огромная лодка, по-местному «гимия». Середина октября, я вторично в Созополе, море основательно штормит, судов не видно ни у берега, ни вдалеке. А эта гимия, с ее характерным профилем — высокие нос и киль,— насовсем поставлена за ограду парка и вместе с древними ржавыми якорями, разбросанными тут и там среди зелени, на взгорьях и у подножия зданий, символизирует извечное занятие жителей. Некогда нищие, рыбаки обладают теперь солидным рыболовецким флотом...

В людной и дымной кофейне сидим вчетвером — поэт Славчо Чернышев, журналистка Калина Канева, капитан Тодор Канфаров, я. Капитанами здесь называют также и старых рыбаков. На гимии «Кооператор», которой правил наш собеседник в 1959 году, ходил в море Константин Паустовский.

В окна стучат ветви деревьев, сеет мелкий дождь. Непогода, и кофейня забита бывалым народом. Сюда вполне мог бы заглянуть и гриновский лоцман Битт-Бой, «приносящий счастье» капитанам. В представлении романтика идея счастья непременно соединена с идеей движения. Вот почему и Грэй, осуществивший детскую мечту Ассоль о счастье, получил от автора профессию морского капитана.

Чернышев приглашает нас к себе.

Мы поднимаемся по узкой деревянной лесенке, упирающейся в узкую дверь, и входим в совсем малое помещение, с самым необходимым для уединенной жизни. Небольшая плита, небольшой кухонный столик, за занавеской — кладовка (там хранятся у Славчо дивные рыбные и овощные деликатесы собственного изготовления).

Жилье — фотография повседневности и автопортрет хозяина. Письменный стол, загроможденный книгами, старый медный подсвечник, глобус, в одном углу висит бортовой фонарь, в другом стоит на треноге амфора. Кстати, амфоры, периодически извлекаемые со дна морского, состав-

ляют достопримечательность местного музея.

С интересом рассматриваю жилье поэта, где своеобразно смешались признаки оседлости и бродяжничества. Одна стена крохотной комнаты сплошь изливает лазурь неба и моря на памятных открытках, контрастируя с темным колоритом старой картины на другой. Большинство открыток привез сам хозяин — в каких только европейских, азиатских и африканских портах он не побывал. Остальные присланы друзьями, знающими о пристрастии поэта ко всем приморским городам на земле.

Мысленное путешествие веселит душу, питает фантазию и отчасти заменяет встречи с людьми и странами. Именно таким образом, не имея другой возможности, путешествовал Александр Грин. И конечно же, шесть его хорошо мне знакомых томов в светло-серой обложке, с бело-красным тиснением на корешке были здесь совершенно на месте. Еще я увидела на полке Достоевского, Бунина, Платонова, Булгакова, Шукшина, Конрада, Сент-Экзюпери, Брет-Гарта, Стивенсона... Все издано в СССР. Неудивительно, что в скудном жилище поэта, хорошо знающего наш язык, собрались первоклассные сочинения на русском. Но ведь не у всех литераторов найдешь в домашней библиотеке самого полного Грина? И снова Созополь — за тысячу верст от Старого Крыма — показался мне архигриновским городом.

Писатель-романтик известен в Англии, Франции, Италии, США, его издают и читают в Венгрии, Польше, Румынии, ГДР. Почему я выбрала Болгарию? Наверное потому, что где-то увидела репродукцию с картины художника Яни Хрисопулоса, прожившего в Созополе всю свою долгую жизнь. Он рисует море и берег, дома на скалах среди «неясных намеков на улицы». Гриновская преданность тому, что считаешь прекрасным, ревнивое у человека искусства стремление быть самим собой.

В пейзажах Хрисопулоса портрет моря имеет тысячу характерных выражений. Говорят, что классик болгарской живописи Владимир Димитров-Майстора при жизни сказал Яни Хрисопулосу: «Многие художники так пишут море, что по нему в сапогах можно ходить, а ты пишешь стихию».

Сам Владимир Димитров в молодости исколесил полмира, потом поселился на родине, под Кюстендилом, в селе Шишковцы. Здесь, среди яблоневых, персиковых, абрикосовых, сливовых садов, обрел он свой рай. Нежные волны бело-розового цветенья и изобильные краски зрелых плодов органически и навсегда вошли в его живопись как выразительный фон и смысловой, композиционный элемент. На его полотнах образ земли-кормилицы одухотворен той же идеей, что и в болгарском фольклоре: человек не собственник, а преданный сын матери-земли, и она воздает ему сторицей за каждое посеянное зерно. Это типично для болгарских художников: взять общее, символ, и выразить им свое, близкое, то, что, по меткому выражению Грина, находится «возле самой души и глаз».

Художники, как дети, обладают необыкновенной способностью открывать сказочное в самых простых вещах. Отвесная скала, цвет неба, отражение солнца в узком просвете между домами... Живопись учит смотреть и видеть, полагаясь на детскую живость восприятия у того, кто смотрит.

Несколько лет назад кто-то из болгарских друзей прислал цветную репродукцию «Старого Пловдива» — известной картины народного художника Болгарии Цанко Лавренова. Там, в знакомом смешении фантастики и реальности, возник передо мною запечатленный гриновский город. Открытка была похожа на детский сон. В крутых теснинах, образованных стенами разноцветных домов с преобладанием красного, струятся, словно бурные реки, синие булыжные мостовые и лихо гарцуют всадники на розовых конях. Мне удалось увидеть оригинал. Это было в Пловдиве, на ретроспективной выставке, приуроченной к 80-летию Героя Социалистического Труда Цанко Лавренова, в его родном городе.

Галерея была залита необычайно интенсивным светом, исходившим от сотни полотен. Даже морской пейзаж Лавренова полыхает красным, брызжут красным приморские скалы и вода. Радужна праздничная толпа на картине «Ярмарка в Пловдиве», блистает яркой гаммой цветов «Великое Тырново».

Трудно пересказывать впечатление о впечатлениях самого мастера, которые он увековечил. Но можно говорить о настроении. Оно рождено умением художника превращать красоту в правду и правду в красоту. Настроение вело к мысли о вольнолюбивом духе народа, прошедшего трудный путь исторического развития, обладающего своеобычным пониманием прекрасного, родственным, в силу гуманизма, чувству прекрасного у других народов.

Современная болгарская живопись прочно связана с истоками древней культуры. В Крипте (в подземном зале храма Александра Невского в Софии), где выставлено бесценное собрание икон — бытовых и романтических символов прошлого,— центром экспозиции служит великотырновская икона XVII века. Она изображает болгарского Георгия Победоносца — Димитра Солунского — верхом на красном коне. Святой пронзает копьем извивающегося на земле, подобно змию, царя, а всадник напоминает воинственной посадкой какого-нибудь гайдука, героя тырновских восстаний XVI и XVII столетий против поработителей-османов и богатеев-феодалов. Мотив истребления зла (заклание змия) повторяется, и всякий раз святой изображается «конно и оружно», и красочный конь его напоминает о воинственной борьбе за правое дело. Цветные лавреновские кони в «Старом Пловдиве» ведут свою родословную отсюда. В каталоге юбилейной выставки есть рассказ художника о самом себе и соображе-

ние о родственности его живописи колористическим и структурным приемам древних мастеров-иконописцев.

В свое время расскажу о встрече с Георгием Ковачевым, иллюстратором «Бегущей по волнам». Здесь напомню о преломлении традиции в его творчестве. Характерный принцип построения объекта изображения не в глубину, а в высоту (или ширину) он довел до предельной выразительности в своих циклах цветных монотипий — «Болгары», «Любовь». От них по-гриновски веет тайной и жизнью. Один за другим вы рассматриваете удлиненные лики его персонажей, и странно: гипертрофированный прием не умаляет, а усиливает выражение загадочности, целомудрия, суровости или доверия. Помню обложку нашей «Иностранной литературы» (№ 12, 1970), где репродуцирована картина Ковачева «Девушка»,— тот же прием вертикального построения. Темный удлиненный овал лица с византийским очертанием очей, в обрамлении красной повязки, со свисающими вдоль лица концами и гирляндами красных же не то цветов, не то листьев по обе стороны, хочется сказать, доски,— настолько темный фон портрета напоминает старое дерево икон. Но от высокой шеи до пояса вмонтирован в одежду светлый прямоугольник — нежно-зеленые и голубые краски моря и неба с красным диском солнца посередине. Преодоление темноты светом, иносказание о новизне. Дочь Черноморья, болгарка, какой была столетия назад и какую можно встретить сегодня в селе или в большом городе. Национальное выражено и дошло.

Характерное в ландшафте страны море, его писали и пишут художники Болгарии, но один верен своей теме пожизненно. Старый Яни Хрисопулос.

Старый? В том же смысле, что и плодоносное дерево с крепкими ветвями. Живет и работает этот высокий, статный и подвижной человек целеустремленно — написал три тысячи картин. Они путешествуют по странам, рассказывая о нем самом, о куске возлюбленной земли, о непостоянстве созопольского моря. Его «экспозиция» неизменна. Он и сейчас сидит возле мольберта у окна в большой комнате, совмещающей гостиную и студию, готовый протянуть за кистью нетерпеливую руку. Окно фокусирует крыши Созополя и близкое море у последних отрогов Балкан.

В картинах Хрисопулоса морская стихия переменчива, как судьба людей живущих морским промыслом. Она напоминает об экспрессивном «огромном море» у Грина и о его героях «в увлекательном кипении встреч, лиц, событий». Последние четыре этюда писались в один день. Художник показывает их, поставив в ряд на полу. Схвачены и зафиксированы все резкие переходы осеннего освещения на море. Золоченое утро, синий полдень, желто-сиреневые сумерки, лиловый вечер. Четыре небольших картона, запечатлевших то, что видел и пережил человек сегодня, раздумывая о быстротечной жизни. «Жизнь как быстро сгорающая спичка,— говорит в своих «Фрагментах» Атанас Далчев, старейший поэт, один из переводчиков Грина,— не успел оглянуться, а уже погас».

Чувством недоделанного, терзающим творческую личность, томится и Яни Хрисопулос:

— Не хватит целой жизни, чтобы написать одну волну как хочется.

Я знаю художницу, на редкость разностороннюю, ее талант можно было бы назвать поливалентным. Болгары буквально живут в окружении ее работ. Обложки для книг и журналов, почтовые марки, поздравительные открытки, изобретение новых шрифтов, текстильная пластика, оригинальная и проникновенная портретная живопись. Яни Хрисопулос — раб единственной страсти.

В тот день я увидела один из ликов моря, запечатленных художником. Море гремело у скал, рычало, наваливаясь на берег у подножия домов, шипело, откатываясь, и мчалось за пределы бухты гигантским вздутым, белоснежным покрывалом...

Странные города Грина, где подвиг равен моральной норме. Вот «странный» город, повседневное здесь наглядно смешано с величавым. И «странности» его обитателей, пристрастных к красоте, привыкших меряться силами с суровой природой.

В капитане дальнего плавания Георгии Караманове мало от того «дьявольского моряка», каким в воображении рисовал себя юный Артур Грэй из «Алых парусов», мечтавший стать капитаном. Думаю, он похож на того человека, каким стал юноша впоследствии, когда, командуя «Секретом», «был судьбой, душой и разумом корабля».

Коренной созополец, большой мастер рыболовного дела, Караманов популярен не только на родине, но и у моряков социалистических стран. Мне рассказали об одном случае — бесспенном, полуторасуточном стоянии на капитанском мостике вместе с главным механиком и рулевым, когда рыболовные корабли попали в циклон у Ньюфаундленда. Из всех уцелел единственный — болгарский траулер «Фламинго», которым тогда командовал Георгий Караманов. Безупречное знание ремесла, мобилизующее чувство ответственности за людей и дело, воля и разум человека принесли победу в той смертельной схватке со слепой природой. Остался след — жестокие мышечные боли. Может быть, боль донимала его, нахмуренного, и тогда, на сыром ветру, когда мы остановили его на площади Созопольской Коммуны.

Караманов, сказали мне, любит Паустовского. Неудивительно. Созопольцы особенно чтут нашего писателя. Они считают, что он по-своему прославил их город не меньше, чем Мещору или Кара-Бугаз. Здесь все

Л. МИХАЙЛОВА
АЛЫЙ ПАРУС В ОКЕАНЕ ЛИТЕРАТУРЫ

знают его очерк «Живописная Болгария» и рассказ «Амфора».

«Можно без преувеличения сказать, что благодаря этим произведениям, переведенным на многие языки, Созополь получил большую популярность, привлек тысячи людей и стал широко известен как город древней культуры, как романтическое место отдыха и база рыболовства»,— начертано при входе в заповедную комнату, устроенную на мысе Колокита в честь пребывания советского писателя среди рыбаков в городе и здесь, на тальяне.

Издавна моряки присваивают меткие имена точкам своего обитания. Колокита по-гречески означает — тревога.

Город на скалах, возникший две тысячи шестьсот лет тому назад и первоначально названный греками с Мальты Аполлонией, переименован в середине века, по удобству бухты, в «город спасения»— Созополь. Поселение уютно улеглось в изогнутых берегах. А пустынный мыс, обрамленный рваными скалами, сумрачен и в такой день, как сегодня, выглядит вовсе безрадостным. Стоит здесь одна-единственная постройка, одноэтажная, обшитая тесом, продолговатая и приземистая. Издали, сквозь пелену дождя, она выглядит сиротливо. В одной половине домика—рыбацкая база, сейчас тут всего двое, несут вахту, остальные нары пустуют. Другая — отдана Паустовскому.

Далеко от Москвы и от Тарусы возник этот необычайный по местоположению и аскетически простой памятный угол. Пожалуй, это самый скромный музей из тех, что я повидала. Он трогает душу как «изъявление искренней любви». Основным художественным решением было фотоувеличение. Иконографическому и пейзажному материалу сопутствуют тексты из книг писателя.

Идея создания мемориала принадлежит городскому совету по искусству и культуре. Музей был открыт 10 августа 1975 года. В тот день там побывали советские студенты, работавшие неподалеку на раскопках фракийской крепости, в составе интернациональной бригады. С тех пор книга записей полнится взволнованными словами о творчестве и личности писателя и о том, как увековечили его память здесь, на болгарской земле.

В повести Паустовского «Черное море» есть такой, как сегодня, пейзаж — беспокойный, тревожащий. В той повести он хотел в образе писателя Гарта изобразить Грина. Его он любил за удивительную силу воображения и подражал Грину на первых порах своего писательства безоглядно. Побывав в приморских городках Болгарии — Несебре и Созополе, он с новой остротой подумал о могуществе фантазии, о художественных вымыслах, «тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству», зовущих искать и находить прекрасное в близком окружении.

В одном из писем к Чёрнышеву (их у поэта пятнадцать) Паустовский писал: «Я буквально влюблен в Созополь». И снова, позднее: «Все время в больнице мне снится Созополь, одно из лучших мест на земле».

Грин никогда не видел Созополя. Хорошо знал «полные любви и удивления» черноморские порты юга России. Он строил небывалые города — Зурбаган, Лисс, Гель-Гью — из реальности и видений, как дети складывают из кубиков заколдованные замки. Черты своих городов он находил в Ялте, мятущейся между горами и морем, в беге севастопольских улиц к порту, в феодосийской сухой жаре, выплывающей из глубины времен. Созополь, я думаю, оказался самым гриновским. Такова волшебная сила вымысла. Воображение, если оно отталкивается от действительности, непременно, пусть и непредугаданными путями, возвращается в жизнь. Так Лисс, а может быть, Гель-Гью воплотились в Созополе, и, может быть, не знаю, где-то в других краях земли есть и другие города, выстроенные архитектором романтической мечты — Грином.

Созополь идилличен? Нимало. Но о гармоничном единстве людей с окружающей красотой здесь хочется думать.

Мирно дышит Созополь. К нему возвращается слава одного из международных центров Болгарии, некогда торгового, ныне — туристского. На протяжении многовековой истории город знал взлеты и падения, подвергался набегам завоевателей, грабежам и разрушениям, торговал с Византией, Генуей и Венецией — теперь он принимает гостей из очень многих стран мира. Летом, как говорят, он превращается в «маленький Вавилон». Туризм — главная статья в экономике города.

Пожалуй, это самый живой организм среди древних болгарских городов, и на всем лежит печать уважения к старине. Ведутся раскопки фракийской крепости, собираются свинцовые и каменные якоря в археологическом музее, восстанавливается прежний облик улиц в заповедной части с деревянной колоннадой вдоль тротуаров.

На дворе век НТР, но по всей земле отыскивают следы прошлого. Человек останавливает время, чтобы извлечь урок, отобрать и сохранить нужное, меняет, в согласии с задачами времени, настоящее и тем прокладывает дорогу в будущее. Дух познания революционен в своей основе. Не соединив сиюминутное с вечным, получишь пшик, сказал мне один из собеседников. Звучит полемически, а по существу верно.

Есть поэзия поиска, и существует преемственность красоты. Факторы, наложившие печать на действия созопольского совета по искусству и культуре. Его составляют люди разных профессий. Двух я уже знаю — поэт и художник, Чернышев и Хрисопулос. Третий неутомимый работник совета, с кем знакомлюсь,— мастер по дереву Яни Чаушев, заведует реставрационной мастерской. Одновременно поэт и художник в своей области, он ведает восстанов-

лением ветряных мельниц, исторического облика зданий, колоннад на улицах.

Дом Яни Чаушева напоминает филиал какой-нибудь выставки прикладного искусства. Диваны, столы, стулья, шкафы, сундуки, панно с изумительно живописной резьбой. Все сделано руками хозяина. В центре потолка той комнаты, где он нас принимает, красуется, по давней болгарской традиции, фигурная деревянная резьба. Я спрашиваю, почему на потолках бывших царских покоев в Горной Быстрице изображено солнце, а здесь звезда.

— Так то у царя Бориса было, а мы простые люди,— смеется Яни.— С нас хватит и звезды.

Для точности надо сказать, что деревянное светило было не только у царей. В старинном центре болгарской архитектуры, городе Копривштице, в его на удивление затейливых домах с высоты потолков смотрит на вас резное лучистое солнце. И мастер, посмеиваясь, добавляет:

— Да ведь и солнце — большая звезда...

Художник волен в своей фантазии. Если звезда говорит ему больше — значит, есть у него на это свои основания. Хотя бы то, что, когда он прожил полвека, первый землянин устремился к звездам. Бай Яни современен, осведомлен и начитан. У него полторы тысячи книг. И кстати, тридцать картин Хрисопулоса.

И опять не могу сказать о человеке, которому перевалило за семьдесят,— старый. Никак это не вяжется с его подвижностью, остроумием, ловкостью, темпераментом.

На полу у рабочего стола стоит крылатая игрушка — модель той ветряной мельницы, что в натуральную величину поставлена на каменном постаменте у моря, неподалеку от «Виллы писателей», наезжающих летом из Софии. Рядышком с миниатюрной мельницей мне чудятся другие игрушки — «маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов». Их мастерил другой кудесник, матрос Лонгрен из «Алых парусов», отец Ассоль, на забаву и на прокорм девочки.

Верно изобразил Грин потребность человека труда воплотить в своих изделиях собственное представление о красоте. Лонгрен предлагает скаредному торговцу на перепродажу крохотное суденышко: «Эх, вы... Да я неделю сидел над этим ботом... Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бог этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Отставному матросу надо было сводить концы с концами, но красота сработанной вещи имела над ним отдельную власть, говорила свое и уносила воображение мастера далеко за пределы лавчонки.

Воображение питается действительностью, это так, и оно заложено в натуре человека. Но воображение дает людям и то, что не успела или не может дать действительность. Восполняя пустоты, оно толкает к открытиям и завоеваниям. Кто-то сказал однажды, что человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности. Сердце, воображение и разум — вот среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Суровый Лонгрен и общительный Чаушев — ни судьбой, ни характером они не схожи. Похожи талантом, поэтическим видением обыкновенных вещей, стремлением увлечь красотой. Лонгрену в окружении невежественных жителей Каперны было хуже. Мастер Чаушев заимствовал форму для своих изделий из повседневного окружения и вдохнул в них живую душу поэзии. Обстановка его дома уникальна и индивидуальна.

Пять тысяч человек расселились по обе стороны бухты. За считанные дни, скольких можно узнать? Но благодаря знакомству пусть даже с немногими можно почувствовать атмосферу, которую назову гриновской.

Несколькими месяцами раньше мне довелось побывать в голландском городке Фоллендам. Старый город рыбаков, так его аттестовали. Возможно, был таким когда-то. Ныне это место для приезжих с немалыми деньгами. Рекламной была его нарядность. Цветное засилье дорогих сувенирных лавок, пестрота вилл внаем, раскрашенных наподобие пасхальных яиц. Каждое окно сияло чистотой, манило цветами и безделушками, будто витрина доходного магазина. Сравнение с гриновскими городами, с их своеобразием, очарованием непосредственности и в голову не приходило.

В Несебре, богатом древними храмами, я познакомилась с музейным работником Василем Кырлевым, здесь он родился, рос, начал и продолжает работать. Я заговорила о принаряженном Фоллендаме, оказалось, и Кырлев там побывал. Нет, он не смог бы жить в Фоллендаме, это рай на сезон, конфетный, показной. Несебр тоже принимает гостей, но не прячет свою живую душу за нарядной витриной.

То же могу сказать и о Созополе.

II

Болгарская гриниада, впечатлений много, каковы факты?

Первое знакомство с Национальной библиотекой имени Кирилла и Мефодия в Софии. Увы, картотека показала немногим больше того, что сказала Библиотека иностранной литературы в Москве,— выраженный издательский интерес к Грину в 60-х годах. «Народна култура», «Народна младеж», варненское издательство ознакомили

Л. МИХАЙЛОВА

читателя с «Бегущей по волнам», «Алыми парусами», «Золотой цепью», избранными рассказами. Некоторые вещи были переизданы в тот же период. Это радовало и вместе с тем заставляло думать, что обнаружила не все, побуждало искать дальше. Существовал еще каталог периодики. Там значились три публикации в газете «Зора» в 1936 году.

Цветанка Попова, худенькая, коротко остриженная женщина, принесла комплект сорокалетней давности. От газеты веет запахом старой бумаги и едким запахом минувшей жизни во времена царистской администрации. Реакционная «Зора» велась хитроумно, изощренно. Она стремилась завоевать у интеллигенции авторитет. Между прочим, в ту пору в Софии даже открыли магазин советской книги.

Романтизм Грина был глотком свежего воздуха. Зная тексты, можно определить характер публикаций. Прошу и через полчаса получаю фотокопии. «Усойница»— «Змея», рассказ о самопожертвовании во имя любви, впервые напечатанный в «Красной ниве» в 1927 году; «По силен от себе си» — в оригинале «Победитель»,— сюжет говорит о самопожертвовании во имя искусства, первая публикация в 1925 году в том же журнале. Рассказы о сильных чувствах, о гуманизме, великодушии.

Из шестидесятых годов траектория движения Грина в Болгарии уходит к 1936-му. А до этого года?

Цветанка отсылает меня к заместителю директора Национальной библиотеки Владимиру Попову. Товарищ Попов достает объемистый том систематического каталога, и, обсудив то, что мы там нашли против имени Грина, решаем, что следующий этап — Институт литературы Болгарской Академии наук.

Отправляюсь в новый район Софии. Учрежденческое здание, каких везде много. Получаю ящик с карточками. Возникает новая дата — 1925 г. Это и есть настоящий срок первой публикации Грина в Болгарии. Позже его рассказы не раз появлялись в болгарской периодике.

Я прошу старого коммуниста, писателя и журналиста Славчо Васева рассказать о расстановке сил в досентябрьских газетах и журналах. Чем была в те времена «Зора» и чем «Заря»? Сначала он объясняет разницу в названиях. То, что мы называем одним словом «заря», в болгарском имеет различные оттенки. «Заря», например, означает поверку, звук военного горна и ближе к смыслу той деятельности, которой занималась газета боевого, демократического направления «Заря». Там сотрудничали, по выражению Тодора Живкова, титаны болгарской публицистической мысли — Дмитрий Благоев, Георгий Бакалов, Тодор Павлов. Последний напечатал там под различными псевдонимами более ста статей.

Один и тот же газетный трест, рассказывает Славчо Васев, издавал газеты противоположного свойства. «Зору» возглавлял реакционно настроенный опытный журналист Данаил Крайпев, он пускался на различные уловки, чтобы завоевать читателя, вплоть до того, что печатал и просоветские материалы, «не ярко выраженные», уточняет Васев. Редактор «Зари» Кристо Станчев, наоборот, искренне и безоговорочно поддерживал Советский Союз. В этой газете нынешний председатель Балканского комитета дружбы, Герой Социалистического Труда Славчо Васев работал с 1935-го по 1945 год, сначала заместителем, а потом и главным редактором.

— Читатель умел читать,— замечает Васев,— а мы старались и научились преподносить материал так, чтобы обмануть фашистскую цензуру.

Случалось, что «Зора» и «Заря» печатали одни и те же материалы, исходя из совершенно противоположных целей. Так и с Грином. Публикуя его «Позорный столб», «Заря» утверждала интерес советской литературы к нравственной проблематике, а «Зора», прибегая к различным уловкам, тщилась доказать ее «аполитичность».

Этот рассказ четырежды появлялся в болгарской периодике тридцатых годов. Его печатала прогрессивная газета Земледельческого союза «В пладне» («Полдень»), демократическая «Газета для женщин», где сотрудничала Елисавета Багряна и начинал молодой Камен Калчев. «Золотой пруд», «Вор в лесу», «Словоохотливый домовой» — эти рассказы печатались и перепечатывались в болгарских газетах и журналах и в тридцатых и в сороковых годах. Один из самых поэтичных рассказов Грина —«Словоохотливый домовой»— перевел для газеты «Отечествен фронт» в 1946 году известный прозаик и драматург Орлин Василев. В 1975 году появился здесь рассказ «Предсмертная записка». Газета «Народна култура» опубликовала в 1971 году «Ветку омелы». «Акварель» печаталась в журнале «Пламк».

Материал густо пошел в мои ищущие руки. Но появлялись и ложные вехи. В примечании к «Предсмертной записке» говорилось, например, что рассказ не переиздавался с 1915 года — со времени его первой публикации в журнале «XX век». Я стала разыскивать первооткрывателя, но обнаружила недоразумение. Просто редакция газеты «Отечествен фронт», перепечатав и рассказ, и примечание из нашего журнала «Человек и закон», не сослалась на источник.

Бывает, при переводе меняют заглавия текстов. «Если бы я был негром»— стояло на одной из карточек в библиотеке Института литературы. Не помню я такого сюжета у Грина. После длительных поисков нашелся наконец нужный номер журнала («Женщина сегодня» № 8, 1946 г.) в домашнем архиве у прежнего редактора. Только автором рассказа оказался Грэхем Грин, а не Александр, как я и думала.

В целом читатель болгарских периодических изданий получил хорошую возможность ознакомиться с классическими образцами новеллистики Грина, а его большая вещь впервые появилась здесь в 1961 году.

То был роман «Бегущая по волнам», выпущенный издательством «Народна култура».

Я увидела книгу еще в первое посещение Национальной библиотеки. Ее обложка — корица, как говорят болгары,— была двойником мягкой корочки, облекшей мою монографию одиннадцать лет спустя.— синее поле с медальоном в центре. Непредвиденное совпадение указывало на общность вкусов оформителей, одинаково прочитавших Грина в Софии и в Москве. Случайное в закономерном. Одна из тех случайностей, о которых Грин говорил, что они дают «о себе знать впоследствии»...

Зеленый софийский квартал «Лозенец», Вишневая, 14, дом, где живет чета известных художников — Милка Пейкова и Георгий Ковачев. Пейкова — автор обложки к «Бегущей» и та универсальная художница, о которой я говорила выше.

Каждый новый день поисков подтверждал, что к болгарским изданиям Грина причастны большие мастера. Пейкова рассказала, что в молодости ее наставником был основатель книжной графики в Болгарии, ныне покойный Борис Ангелушев. В 1945 году он сделал первую обложку для болгарской книги. Он же иллюстрировал сборник рассказов Грина, вышедший в издательстве «Народна младеж» в 1964 году.

Нет, у них нет этого издания. По необходимости они сократили до минимума свой домашний архив. Теснота — беда жилья у многих творческих людей. Квартира мала, и потому там просторно. Минимум мебели, никакого антиквариата, никаких зеркальных горок и сервантов. Впечатление строгости. И красоты. Еще бы, там есть картины. Опять-таки их минимальное число — два-три пятна. Сейчас стены украшены текстильной пластикой Милки. В пустоте интерьера ее декоративные композиции из ткани и шерстяных ниток, яркие и свежие, создают ощущение солнечного праздника. Одно панно так и называется «Солнца», их несколько в различных красочных и композиционных вариантах на желтом поле. «У Нединых солнце светит»— другое панно и мотив тот же. Солнце — характерный и традиционный элемент народной архитектуры и живописи.

Я прошу Ковачева, который проиллюстрировал уже сотню книг, рассказать о работе над Грином. Он вспоминает, что не сразу ощутил уникальность материала. Сначала обложился географическими картами и справочниками, хотел разыскать города, упоминаемые в «Бегущей». Потом, когда понял, в чем соль, «выбросил всю документацию». И восхитился фантазией Грина, заставившей поверить в то, чего не было.

Одни типизируют живое в формах самой жизни, другие — в иносказательных, фантастических, надеясь на проникновенное зрение тех, кто будет смотреть и читать. Ковачев, на мой взгляд, принадлежит ко второй категории мастеров. Всматриваясь в символику его живописных полотен и монотипий, в эту тайнопись линий и красок, можно ощутить их музыкальный ритм и угадать реальных людей с их радостями и печалями. Наверно, потому ему и предложили иллюстрировать Грина, но это оказалось не просто. Одни рисунки по-настоящему романтичны, в других заметна прямолинейная стилизация. Итог первоначальной неразгаданности материала.

Художник вечно сомневается в себе, никогда не уверен до конца, поймет ли его другой, хотя бы и занимающийся Грином. Милка и Георгий жалеют, что «мало помогли» мне. Помогли. Есть у Грина слово, характеризующее людей особого склада, независимо от их жизненного занятия,— «непохожие». Чета художников производила впечатление цельности и взыскательности, абсолютной самостоятельности творческого мышления при полном отсутствии демонстративности. Та простота «естественно верного тона», которую Грин ценил в искусстве и в людях превыше всего.

От Ковачева узнаю, что «Бегущая по волнам» снова выходит в издательстве «Отечество». В издательстве «Народна култура» в 1978 году выпущены избранные рассказы в серии «Карманная библиотека», а на 1981 год намечено издание двухтомника. Знаю переводчика и составителя — Илиану Владову. Можно сказать, что первые самостоятельные шаги ныне известной переводчицы и сотрудника кафедры славистики Софийского университета связаны с творчеством Грина. Темой ее дипломной работы были «Алые паруса», и в ее же переводе феерия вышла в издательстве «Народна култура» в 1962 году. Сейчас она работает над диссертацией по теории перевода, тем не менее поделилась со мной одним соображением из собственной практики — на первый взгляд, у Грина простая фраза, но она многозначна, переводить трудно, не сразу найдешь ключ к его метафоре...

Найти ключ, понять и объяснить поэтику, раскрыть оригинальный «феномен» Грина в русской и советской литературе XX века, рассказать, почему русские романтики в расцвете творчества приходили к реализму, а Грин проделал путь от первых бытописательских рассказов к вершинам своего «магического реализма», как определил его стиль старый поэт Атанас Далчев, переводивший «Блистающий мир» и «Золотую цепь»,— шаги в этом направлении уже предпринимаются.

В 1964 году в научном журнале «Език и литература» (издание Болгарской Академии наук) появилась статья «О творчестве А. С. Грина». Против имени и фамилии автора — Ирина Сукиасова, в скобках стояло: Тбилиси. Предмет исследования — «необыкновенное и совершенно самобытное творчество одного из интереснейших русских прозаиков начала XX века».

Анализируя малоизученные работы Грина, исследователь обоснованно отвергает упреки в эпигонстве, в подражании западным

Л. МИХАЙЛОВА
АЛЫЙ ПАРУС В ОКЕАНЕ ЛИТЕРАТУРЫ

образцам и ставит творчество русского романтика в связь с гуманистической традицией русской литературы, с рассказами Куприна, посвященными морю и людям моря, с романтизмом раннего Горького. Содержателен анализ стилистики Грина, богатой метафоричности, оригинального словотворчества.

Надо сказать, что работа Сукиасовой проделана до того, как вышли у нас литературоведческие книги, посвященные Грину, до издания шеститомника с соответствующим справочным аппаратом, пусть неполным. И потому ее исследование представляет самостоятельный интерес.

Правда, некоторые параллели не кажутся мне достаточно убедительными. Например, сопоставление новеллистики Грина с рассказами Бунина «Грамматика любви», «Ночь», «Новый год», «Осенью».

Нет общего между «настроениями сильных натур» у Грина и печальной трезвостью бунинского героя, мажорная музыка гриновской фразы в корне отличается от элегичной бунинской.

Кто ищет, бывает, и ошибается. Так и с этой интересной статьей. Чем пристальнее следила за ходом мысли, тем больше хотелось узнать об авторе и, в частности, о том, как попала статья в болгарский журнал.

Профессор славистики Велчев, один из редакторов журнала «Език и литература», рассказывает, что познакомился со старшим преподавателем Тбилисского университета Сукиасовой, армянкой по национальности, на одном из симпозиумов в Тбилиси. Затем она дважды была в Софии, и вот журнал получил ее статью.

— А с тех пор?

— С тех пор — ничего... Сукиасовой уже нет в живых.

След оборвался, человека нет. А могла я и раньше поискать грузинскую исследовательницу Грина. В 1968 году в № 12 журнала «Литературная Грузия» она выступила с сообщением: «Новое об Александре Грине». Оказалось, что рассказ «Четырнадцать футов» впервые был опубликован газетой «Заря Востока» 5 сентября 1924 года, а не журналом «Красная новь» в 1925-м, как считалось. Другой интересный факт, обнаруженный Сукиасовой,— встреча Ларисы Рейснер с Грином в Петрограде в 1919 году, когда она хотела привлечь его к сотрудничеству в основанном ею и отцом журнале «Рудин». «Литературная Грузия» воспроизвела описание этой встречи Ларисой Рейснер.

Углубленные исследования творческого наследия Грина еще только набирают силу. Попытки отойти от прежних поверхностных суждений есть и в Болгарии. Можно назвать работы бывшей студентки профессора Велчева Анастасии Цоневой, хотя и не все ее посылки и выводы признаю бесспорными. Порой она сбивается на модернистские истолкования творческого процесса.

В основе романтических сюжетов Грина лежит движение человека к совершенству, и это делает его творчество современным и долговечным. Здесь пролегает плодотворный путь исследований.

Грин силен верой в человека, что бы ни поднимал со дна души, всегда у него виден свет. Мысль принадлежит составителю и переводчику сборника «Акварель» Сильвии Борисовой. Она находит общее с Грином у классика болгарской детской литературы Ангела Каралийчева. Фантазируя, оба опираются на доверие к душе читателя. В этом их мудрость.

Атанас Далчев раздвинул горизонт этой верной оценки.

— У человека есть потребность выйти за пределы обыденного мира,— говорил он.— Творчество Грина — в кругу реальности, но в нем есть то скрытое, что неизменно влечет воображение людей. Фантастическое у него служит средством глубже выразить действительное. Я называю его метод магическим реализмом и блестящим выражением считаю рассказ «Крысолов», он потрясает суровой правдой времени. Трансформацию лирического, сказочного образа мы находим в драматургии — у Ибсена («Маленький Эйолф»), в поэзии — у Марины Цветаевой. «Крысолов» Грина полифоничен. Смело отношу замечание Бахтина о полифоничности прозы Достоевского к этому великолепному образцу многоплановости в построении сюжета и воссоздании реального мира. Убежден, что всякое истинное произведение искусства полифонично. Сила описаний в «Крысолове» поразительна. Давно читал, но до сих пор помню фантасмагорическую ночь в заброшенном здании банка, побег героя, загадку телефонного разговора по оборванным проводам...

Я спрашиваю Далчева, чем привлекли его романы «Блистающий мир» и «Золотая цепь», которые он переводил.

— Все тем же: помимо чистой морали, магией описаний.

Секунду помолчав, добавил с усмешкой:

— Голодные нашли друг друга.

О блистательных парадоксах Далчева я наслышана. Но у этой метафоры крайне прозаическое объяснение. Известно, что оригинальный талант Грина с трудом завоевывал признание и он прожил жизнь в нужде. И Далчеву в прошлом нередко приходилось искать дополнительный заработок, чтобы жить и кормить семью. Как поэт, он бесконечно строг и взыскателен. Рассказывают, что когда журналистка спросила его, правда ли, что он складывает в ящик письменного стола стихи, которые считает не вполне удавшимися, он ответил: «Я еще хитрее, я их не записываю».

Глубокая личность, редкостная по характеру и объему интересов,— так в один голос говорят о Далчеве в Софии. Скромный, он знаменит и за пределами родины благодаря переводам с испанского, французского, греческого, немецкого. Стипендия его имени учреждена в Венском университете для болгарина, завершающего там свое образование. Увы, сегодня уже нет в живых этого замечательного поэта и человека.

А что же тот приятель, который пугал

меня непопулярностью Грина и бесперспективностью моих поисков?

Отвечу ему словами другого болгарина:

— Грин научил меня видеть в людях, в себе, в окружающем мире то, чего я не видел раньше.

Мы сидим с Савой Хашымовым в артистическом кафе, где-то на верхотуре здания Народного театра. Он говорит:

— Рассматривают иногда творчество Грина как уход от повседневности в мир фантазии. Это только поверхность его романтики. Когда я читаю Грина, мне кажется, что ставлю перед собой зеркало и ухожу в ту сущность, которая не видна...

Сава Хашымов играл в советско-болгарском фильме по роману «Бегущая по волнам» главную роль — роль Гарвея. Мы сошлись в том, что фильм в целом не удался. Нельзя накладывать резкие мазки в манере Феллини на тонкую ткань стилистики Грина, так считает Хашымов, и я с ним согласна.

Метафорический смысл романа искажен, стилистика эклектична. Рядом с прямолинейно-обличительными приемами соседствует натуралистическая красивость, та «карамельность», к которой Грин был абсолютно непримирим. Хашымов, на мой взгляд, был единственным исполнителем, уловившим и воплотившим тонкие переливы символики и реальности. Идея романа шире банальной тоски по недостижимому, смысл адресован творческому началу в человеке.

Как часто мещане называют дурью верность человека своему идеалу, благородство его намерений и поступков, говорит артист. В этой роли ему хотелось раскрыть внутренний мир человека, который в повседневности однажды выходит за рамки обычного, открывает в себе новые возможности и видит новые горизонты.

— Тогда я шел к такой трактовке образа интуитивно. Хотел бы сыграть эту роль заново. Увлекает мысль показать, а значит, понять, почему людям нужно нечто большее, чем их обычная жизнь. Я научился у Гарвея находить неизвестное, открывать удивительное в привычном. Грин учит угадывать сокровенное в человеке и в окружающем, учит мужеству, нежности, верности. Это нужно людям, необходимо обществу.

В Болгарии Грин имеет благодарного и давнего читателя. Убедилась в этом сама, испытав новую радость встречи с неповторимым и человечным миром его книг.

В океане литературы не исчезает и далеко виден Алый парус его творчества.

◆

РУДОЛЬФ МОШКО. Чехословакия. Утро.

Антирубрика

МАНОХАР МАЛГОНКАР

МЕДВЕДЬ НА ТАРЕЛОЧКЕ

Перевод с английского АНДРЕЯ ЛЕЩИНСКОГО

Постукивая по передним зубам золотой шариковой ручкой, Элмер Финкельстайн с вожделением смотрел на рекламное объявление, занимавшее четверть страницы в последнем номере журнала «Крупная дичь». Над верхней частью туловища и ощерившейся мордой тигра, крупно рисованной энергичным пером, стояло одно-единственное, щекочущее нервы слово:

ТИГР!

Под рисунком было продолжение:

А ТАКЖЕ МЕДВЕДЬ, ДИКИЙ БУЙВОЛ, ОЛЕНЬ, ГЕПАРД.
ОХОТА С ЛУЧШИМИ ИНДИЙСКИМИ ЕГЕРЯМИ
В ДРЕМУЧИХ ДЖУНГЛЯХ, КИШАЩИХ КРУПНОЙ ДИЧЬЮ.
НА ЛЕТО 1959-ГО ВСЕ ЗАКАЗЫ ПРИНЯТЫ. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ЗИМУ 1959-ГО ИЛИ НЕСКОЛЬКО СПЕЦЗАКАЗОВ НА БОЛЕЕ РАННИЙ СРОК ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.
РГИТ, ХАНТЕРЗ ЛИМИТЕД, БХОПАЛ, ИНДИЯ.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ КОД: РГИТ.

В прошлом году мистер Финкельстайн ездил на африканскую сафари и вернулся в Даллас, штат Техас, с шестнадцатью баулами охотничьих трофеев. Теперь он намеревался съездить на индийскую шикари. «РГИТ» — фирма солидная; это он знал наверняка. В «Крупной дичи», любимом своем охотничьем журнале, он читал довольно много статей о шикари, устроенных «РГИТом». Только вот с местами у них, кажется, неважно. А Элмер Финкельстайн хотел заполучить тигра не зимой 1959-го, а сейчас.

Он сидел в глубоком раздумье, все так же постукивая ручкой по зубам, не зная, кому отдать предпочтение — «РГИТу» или другой охотничьей фирме под названием «Уэйлен Монро лимитед», которая была не так загружена. Наконец он решил выяснить, не примет ли у него «РГИТ» спецзаказ за дополнительную плату. Он вызвал секретаря.

— Примите телеграмму,— сказал мистер Финкельстайн.

■

Мукут Рам ухмыльнулся и небрежно бросил телеграмму на другой конец стола.

— Клиент,— сказал он.— Техасец. Хочет знать, не можем ли мы принять его.

— Хорошо! — обрадовался Багал Сингх.— Очень хорошо! Наконец-то еще один клиент! Он нефтяной король?

— Все техасцы нефтяные короли. У нас их было уже, сейчас скажу: трое, нет, четверо.

— Как думаешь, какое лесничество?

Улыбка исчезла с лица старшего парт-

© Manohar Malgonkar, 1974.

нера «РГИТ Хантерз лимитед» (ТИГР — наоборот), брови озадаченно сдвинулись.

— Министерству лесного хозяйства следовало бы быть посговорчивей. В конце концов, мы приносим стране доллары — честные доллары. Эти умники хотят и диких зверей сохранить, и иностранцев завлечь! А от заповедников какие доллары? Правительство должно...

— Придется опять договариваться в Пилапани,— с тоской в голосе сказал Багал Сингх.— Там хоть можно рассчитывать на парочку леопардов и гепарда, а может, и на медведя.

— Абсолютно никакой надежды на тигра?

— Ни малейшей. Следовательно, нам придется возместить двадцать процентов, четыре тысячи рупий коту под хвост.

Мукут Рам еще больше помрачнел:

— Это будет наша четвертая охота без тигра. У «Уэйлен Монро» в этом году ни одной охоты без тигра не было...

— А, этот Шарма со своей шайкой! Они же все жулики! И потом, мы сами виноваты, что в прошлый раз они перехватили у нас тигра, ну, того, из цирка «Париджат». Целый год цирк держал его для нас. И просили-то всего полторы тысячи. И что же? Когда они уже готовы заключить сделку, ты идешь и отказываешься наотрез, простофиля.

Мукут Рам поморщился:

— Ах, это несчастное животное из цирка «Париджат»! Жалкий, жалкий мешок костей! А эти его язвы. Я был убежден, что он не дотянет до леса.

— А он дотянул, и ты видел, какую статью напечатали в «Крупной дичи» об этой охоте: «Монстр-людоед в Шипнери». Говорят, сейчас из этой статьи делают сценарий. Подумать только, какую рекламу мы упустили — мощную, американскую, подумать только!

— Ну, как раз с «Крупной дичью» наши дела не так уж плохи. В этом году они дали о нас четыре репортажа, и два из них — на высшем уровне: «Сохатый убийца» — про оленя-самца и «Буйвол-отшельник, который нес смерть»,— про дикого буйвола. Интересно, кто первым додумается написать про гиену или шакала, убивающих людей...

— Я знаю, кто первым напечатает — «Крупная дичь».

— Какие у нас шансы найти тигра в другом цирке?

— Никаких. Я переговорил со всеми управляющими. И потом, похоже, Шарма со своей шайкой объявил, что платит две тысячи за всякого тигра, способного держаться на четырех лапах. Ну и конкуренция в этом охотничьем бизнесе. Что ответишь техасцу?

Мукут Рам придвинул к себе лист бумаги и молча написал ответ.

— Вот, послушай: «РАДЫ ПРИНЯТЬ ВАС. ОБНАРУЖЕНЫ ДВА ТИГРА. ГАРАНТИРУЕМ ЛУЧШЕГО ЕГЕРЯ В АЗИИ. СООБЩИТЕ ДАТУ ПРИЕЗДА — РГИТ».

— Кто же на этот раз будет лучшим егерем в Азии?

— Ты.. Не забудь освежить свой охотничий лексикон.

— «Клянусь хвостом Ханумана!» — и всякое такое. А нужно ли? Я имею в виду...

— Нужно-нужно, просто необходимо. Первый клиент за три месяца. Даже если мы не устроим ему тигра, все остальное он должен получить: гирлянды, богослужение, танцы под барабаны — все.

— И звуковые эффекты,— ухмыльнулся Багал Сингх.

— Да-да, конечно. Ворчание, рычание, рев тигра в джунглях. Вот что, надо нанять лучшего специалиста по звуковым эффектам. Поговори с Муннасами, если только он уже не работает в «Уэйлен Монро».

■

Элмер Финкельстайн, уже неделю обосновавшийся в бунгало лесничества Пилапани, отсутствующе взирал на отдаленные холмы и думал о Далласе, штат Техас. Эта его шикари проходила не очень-то гладко, хотя вначале все выглядело в высшей степени привлекательно. Как ему сказали, в этом лесничестве было два тигра, по слухам, оба «огромные, как Холостяк из Повалгарха», но пока он не видел даже кончика тигриного хвоста. Нет, насчет тигров его, конечно, не обманули; несколько раз со дня приезда он слышал их рычание, однако до сих пор они не прикончили ни одного буйвола. Пожалуй, если бы не доверие, которым мистер Финкельстайн проникся к своему индийскому егерю, он бы весьма низко расценивал свои шансы на успех.

— Я специально припас этих тигров для особого случая,— рассказал ему Багал Сингх.— Ниннорский магараджа собирался охотиться на них, правда, на вашу удачу его высочество уехали в Америку. Но клянусь трезубцем Шивы, боги джунглей против нас!

— Что случилось? — спросил Финкельстайн.

Багал Сингх в отчаянье воздел руки к небесам:

— Невероятно, о нефтяной сахиб! Перед приездом нефтяного сахиба я скормил тиграм отборных телят, чтобы приучить их приходить сюда за добычей. И вот две последние ночи один из хищников проходит на расстоянии чалмы от приманки, не обращая на нее внимания. Клянусь хвостом Ханумана, это недоступно для моего разума! — Багал Сингх зажмурил глаза и покачал головой.

— А другой тигр?

— О, «Шайтан» Пилапани? Боюсь, «Шайтан» вовсе ушел из этого лесничества; его прогнала стая диких собак.

— Собак!

АНТИРУБРИКА

— Даже царь джунглей вынужден уходить, когда дикие собаки вторгаются в его владения, клянусь Шивой! Они охотятся стаями, нападают на оленей, гепардов, кабанов, даже на буйволов. Тигру не хватает пищи, и он уходит на поиски новых угодий.

Мистер Финкельстайн, который со времени приезда не видел ни оленей, ни гепардов, ни буйволов, принял это объяснение за чистую монету.

— Что же теперь делать? — мрачно спросил он.

— От снежных вершин Гималаев до песков мыса Коморин идет слава о вашем покорном слуге; говорят, не родился еще тигр, который смог бы его перехитрить. Я посвятил свою жизнь охоте на тигров, защите наших бедных крестьян от опустошительных набегов кровожадных хищников. Дайте мне время, только время, о нефтяной сахиб,— и Багал Сингх протянул к нему руки ладонями вверх, словно собираясь принять в дар время.

Во второй половине дня в лагерь в поисках куриной косточки забрел шакал, и Элмер Финкельстайн от нечего делать взял мелкокалиберную винтовку и свалил его одним выстрелом в шею.

Багал Сингх, который наблюдал эту сцену с веранды, подбежал к техасцу, размахивая руками и крича:

— Святой трезубец, святой Хануман! Поздравляю, нефтяной сахиб, поздравляю! Вы пристрелили шакала, когда день вошел в третью четверть и луна вошла в третью четверть. Теперь-то охотничье счастье улыбнется вам. Вы победили злых духов, которые мешали этой шикари, о нефтяной сахиб! — И он энергично потряс руку техасца.

И действительно, тот же вечер принес любопытные новости. После душа Финкельстайн вышел на веранду лесного бунгало и увидел, как Багал Сингх разговаривает с двумя крестьянами. Говорили они на хинди, и Финкельстайн не понимал ни слова, но заметил, что Багал Сингх постепенно оживляется. Финкельстайн молча потягивал виски с водой и ждал, когда его посвятят в происходящее.

Между тем разговор — смесь «лесного» хинди и выразительных жестов — продолжался:

— Так вы думаете, до заката леопард придет?

— Джи, бабу-джи, каждый вечер. Он приходит точно как поезд, этот отъявленный пожиратель собак. Вчера он утащил из нашей деревни восьмую собаку.

— Большой леопард-то?

— Одному не снести.

— Приготовьте завтра все для облавы. Я приведу сахиба. Если сахиб убьет леопарда, будет хороший бакшиш; и устройте потом всей деревней праздник, чтоб и женщины были — все, получите еще больше. Сплетите из цветов гирлянды. Устройте танцы. Женщины пусть приложат красный кумкумовый порошок ко лбу нефтяного сахиба. Большой бакшиш! Да не забудьте про священную лампу.

Оба его собеседника только и делали, что кивали, словно пара мулов, отгоняющих насекомых, и лица их светились при мысли о бакшише — вознаграждении.

Элмер Финкельстайн был не в силах дольше сдерживать свое нетерпение.

— Что-нибудь интересное? — спросил он.

Багал Сингх сжал руки в кулаки и потряс ими у себя перед лицом.

— Клянусь святым Шивой, это изумительно! — воскликнул он.— Но я не уверен, следует ли сахибу обременять себя заботой о крестьянах. Если с вами что-нибудь случится, скажут, я, индийский охотник на тигров, должен был охладить пыл сахиба. О нефтяной сахиб, человеку лучше не пытаться проникнуть в тайны джунглей.

— Что случилось?

— Эти два крестьянина прошли восемнадцать миль, чтобы повидать нефтяного сахиба. Они утверждают, будто богам угодно, чтобы нефтяной сахиб освободил их деревню от страшного проклятия. Началось все с давней-предавней вражды между двумя деревнями. Несколько лет тому назад жители одной деревни убили наследного вождя другой. Говорят, этот вождь превратился в леопарда — леопарда-людоеда. Он убил уже восемь... этих... невинных существ — и все из одной деревни. Десятки охотников со всех концов Индии пробовали убить «Демона» Пилапани. Всех постигла неудача.

— Леопард-людоед! Вот это да! Прямо как у Джима Корбетта! Думаете, его можно выследить?

Багал Сингх выдержал длинную паузу и отвечал так, словно давал клятву мести:

— Десять смельчаков, все как один знаменитые охотники на тигров, пробовали и потерпели неудачу. Я содрогаюсь при мысли о том, какую облаву придется устроить; я сам должен буду проверить каждую мелочь. Но клянусь хвостом Ханумана, я не успокоюсь, пока нефтяной сахиб не возьмет на мушку леопарда-демона!

Элмер Финкельстайн плеснул себе щедрой рукой еще виски и выпил за удачу охотника на тигров.

■

«Демона» убили на следующий вечер, как и собирались. Возликовавшие жители Пилапани пришли отблагодарить своего освободителя. Они украсили его гирляндами желтых ноготков и окропили душистой водой. Они пели песни и плясали вокруг нефтяного сахиба под звуки барабанов. Старший партнер «РГИТа» Мукут Рам, который приехал еще утром, со знанием дела орудовал кинокамерой мистера Финкельстайна и, несмотря на сумерки, отснял десятки метров пленки. «Демона», как положено, измерили, причем Багал Сингх ловко сдвинул рулетку, и вышло на десять сантиметров побольше. А там уж дело было за кожевником растянуть шкуру во время сушки, чтобы в готовом виде «Демон» выглядел еще внушительней.

Без застолья в тот вечер, понятно, не обошлось. И только к одиннадцати, в очередной раз пожав всем руки и вложив в ладони прислуги по десятке, нефтяной сахиб удалился в свою комнату. Только тогда-то и смогли два партнера «РГИТа» поговорить, наконец, с глазу на глаз.

— Все-таки я купил того медведя,— торжествующе объявил Мукут Рам.— Шестьсот пятьдесят рупий.

— Вот здорово-то,— обрадовался Багал Сингх.— Он будет очень кстати. Большой?

— Да, метра полтора. Шкуру можно растянуть до двух метров и сказать, что это почти самый большой медведь в Центральной Индии.

— А у кого ты его купил? У бродяги?

— Да. Сказал, покупаю для цирка. На убой он бы ни за что не продал. Удивляюсь, до чего же глупы эти деревенские.

— А у него еще животные есть?

— Для нас ничего подходящего. Дрессированная обезьяна и собака.

— Шкура-то у медведя хоть цела? Пятен нет? А следов от ошейника или от веревки?

— Да нет. Было у него, правда, кольцо в носу, но его сняли.

— И как же мы его назовем?

— Медведь-убийца, который нападает при первой возможности,— улыбнулся Мукут Рам.

— А он это сделает? Ну, нападет при первой возможности?

— Еще как. Он, понимаешь ли, так привык к людям, что чуть завидит кого, сразу подбегает и садится на задние лапы, а перед ними нос закрывает. Это у него номер отработанный. Я проверял.

— Придется, значит, стрелять до того, как он сядет и начнет клянчить, то есть когда он побежит к нам. Я скажу охотникам, пусть изобразят испуг и лезут на деревья. Чтоб пострашней было.

— Точно. Только им надо разбежаться пораньше. И мы останемся втроем — мы и разъяренный медведь.

— Тут уж «Крупная дичь» разразится статеечкой, может, даже сюда репортера пришлют.

— Вы с янки стреляете, понял? А я вас снимаю. Мне хочется снять все на цветную пленку. Нападает медведь, охотники, спасая свою жизнь, удирают и карабкаются на деревья, а вы с Финкельстайном стоите и невозмутимо ждете, когда зверь подойдет близко, совсем близко, понял? Потом медведь падает как подкошенный у ваших ног.

У них за спиной послышалось шарканье; это мистер Финкельстайн, облаченный в белую пижаму в розовую полоску, вышел из своей комнаты.

— Послушайте,— сказал он,— этот леопард... У него отметины вроде бы необычные, точно, как вы говорили. Не пятна, а кольца какие-то. Это хорошо?

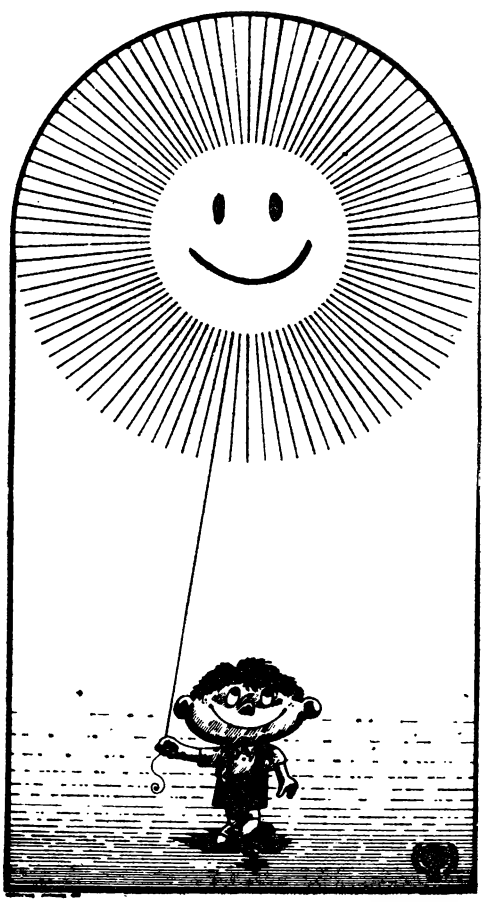
— Клянусь трезубцем Шивы,— воскликнул Багал Сингх,— сегодня охотники всей Индии завидуют нефтяному сахибу! Со времен лорда Хардинга никому не удавалось убить леопарда с такими отметинами. Сколько я охочусь, в жизни не видел ничего похожего. Кольца, клянусь Хануманом!

— И к тому же настоящий людоед,— подхватил Мукут Рам.— Позвольте пожать вам руку, мистер Финкельстайн, как самому удачливому охотнику во всех Центральных провинциях! Поздравляю!

— Ну, спасибо! Мне действительно повезло! А как эти женщины обрадовались, что «Демон» не будет больше убивать их близких! До чего же это здорово — убить людоеда!

ГАБРОВО'79

СВЯТОСЛАВ ЯНАКИЕВ.
Болгария.
Без слов.



АНТИРУБРИКА

Тут-то они и рассказали мистеру Финкельстайну про медведя, который нападает при первой возможности.

Разговор о медведе затянулся до поздней ночи. Медведь-людоед, мол,— самое опасное животное в индийских джунглях; убить его можно, только когда он на тебя нападает на открытом месте. Или ты его, или он тебя, трагически изрек Багал Сингх, другого пути нет, клянусь Шивой!

■

Однако финальная сцена расписанной по минутам охоты на «убийцу» была испорчена, и испортила ее, как это ни парадоксально, любовь. Лишенный в лесу человеческого общества, медведь, очевидно, принялся искать себе подобных и немало в этом преуспел. Едва ли не на следующий день он обрел готовенькую семью: медведицу, крупную даму, больше его самого, и двух медвежат-подростков. Поэтому охотникам, которые два дня спустя с ружьями и камерами наготове поджидали медведя, пришлось иметь дело не с одним медведем, а с четырьмя: семейство в полном составе мчалось к людям на всех парах.

— Помогите! — завопили егеря, как требовал того сценарий, и кинулись к деревьям.

— Святой Хануман! — сказал Багал Сингх.

— Ну и ну! — сказал мистер Финкельстайн.— Убийц-то четверо!

— Господи помилуй! — сказал Мукут Рам.

В мгновение ока на поляне не осталось ни охотников, ни егерей. Только медведи бродили и обнюхивали брошенное снаряжение, шляпы, чалмы, холщовые сумки, термосы, коробки с провизией. Медведь-убийца, который нападает при первой возможности, долго и пытливо вглядывался в объектив западногерманской кинокамеры мистера Финкельстайна, а та, как и подобает вещи совершенной, все жужжала да снимала «убийцу» крупным планом со скоростью сто кадров в минуту.

КОМБИНАТОР

Лала Говинд Саруп, которого в глаза все звали «Лала-джи», а за глаза — «Комбинатором», наморщив от напряжения лоб, уткнулся в лист грязно-белой бумаги. Это была программа поездки Министра.

С годами Комбинатор выработал в себе умение читать между строк даже официальных программ, и сейчас он поднял очки на лоб и улыбнулся. Раз ему прислали копию программы, значит, Министр желает видеть его. Тот пункт, где говорилось о двухдневном пребывании Министра в Раниваде, был подчеркнут красными чернилами. Следовательно, Министр желает видеть его в Раниваде. Считай, получил приглашение. Придется, конечно, ехать на автобусе за сто тридцать километров, но ничего не попишешь — нельзя же не принять приглашение Министра.

Комбинатор велел принести свой серебряный прибор для жвачки и углубился в церемонию приготовления первого за день бетеля. Полчаса спустя, когда он еще жевал этот первый бетель, к нему пришел Арджун Дасс, сын Чандумала Марвари. Комбинатор откинулся в кресле и прикрыл глаза, а Арджун Дасс сбивчиво забубнил что-то про семью, про то, как он чуть было не получил в университете степень бакалавра и прочие титулы.

— Вот отец и решил, что мне нужно устроиться на работу, на постоянную работу в государственное учреждение,— закончил Арджун Дасс.

— Да, понимаю,— нехотя пробормотал Комбинатор.— При твоем положении... нужна именно такая работа... но ведь сам знаешь, сейчас все это очень сложно.

— Ты, Лала-джи, можешь сделать должность там, где ее нет,— и Арджун Дасс улыбнулся самой подкупающей улыбкой.— Все это знают.

Но Комбинатор не поддался на лесть.

— Скажи отцу: я подумаю, что можно сделать. В наше время нелегко найти место в государственном учреждении. Придется идти в Секретариат... возможно, встречаться с самим Министром. Очень трудно!

Так вот что хочет сын Чандумала — на государственную службу. Большую цену запросил Чандумал. С другой стороны, и Чандумал оказал не меньшую услугу Комбинатору: брак его племянницы с юношей из семейства Заминдара был бы невозможен без помощи Чандумала. К сожалению, у них не совпали гороскопы, но Чандумал надавил на священнослужителей, и те скрыли изъян.

В конце дня к нему явился Тукарам Дхор. Тукарам жил неподалеку, в деревне «неприкасаемых».

— Лала-джи, прочти мне, пожалуйста, это письмо,— попросил он и положил на стол отпечатанное на желтом листке письмо.

Комбинатор долго вчитывался в несколько строк, все больше хмурясь по мере того, как приближался к концу. Тут надо было сыграть осторожно, обдумать все на два хода вперед. Тукарам ждал, беспокойно шевеля пальцами ног.

— Это письмо от Председателя-сахиба. В нем говорится, что тебе присудили первый приз за самый высокий урожай риса в округе,— объяснил ему Комбинатор.

— Джай, Амбадеви! — воскликнул Тукарам.— Что мне дадут, деньги? Золотую медаль?

Комбинатор грустно покачал головой:

— Скорей всего ты получишь грамоту и кучу хлопот в придачу.

— Хлопот, Лала-джи!

— Да, тебе придется поехать в столицу — два дня на поезде — и разговаривать там с большими людьми, даже встретиться с самим Министром. А ведь сам знаешь, пока с Министром встретишься, не одна неделя пройдет. Тебе придется выступить по радио, а все сахибы будут спрашивать, какие методы ты использовал, какие удобрения, какие...

— Но, Лала-джи, никакие такие методы я не использовал, просто хороший выдался год, и бог дождя, и бог удобрений, и бог ветра, и бог, охраняющий скот и урожай, были на стороне крестьянина, и Амбадеви дала мне свое благословение. А как же, скажи на милость, я могу поехать в большой город и бросить жену с новорожденным? И радио! Аррере! Лала-джи, скажи, пожалуйста, что я должен сделать, чтобы избавиться от этих неприятностей, ты, всех избавляющий от неприятностей!

— Все это очень трудно, очень, очень трудно,— сказал Комбинатор, не поднимая полуопущенных век.— Однако что-то сделать следует, необходимо сделать,— и он долго полулежал в кресле, потирая ладонью бритую голову. Потом сказал: — Я думаю, тебе надо всем говорить, что ты собрал большой урожай только благодаря передовым методам Арджуна Дасса...

— Что? Кого? Лала-джи! Сына Чандумала?

— Ну просто скажи, что Арджун Дасс объяснил тебе, как и что надо делать, ну, удобрять, пропалывать, пересаживать. Если кто-нибудь станет задавать вопросы, скажи: пусть спросят сына Чандумала...

— Но, Лала-джи, Арджун Дасс не разговаривал со мной со дня праздника бога слонов. Как же... а сколько он с меня за это возьмет? — вдруг с подозрением спросил он.

Комбинатор великодушно взмахнул руками:

— Нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет, ничего он с тебя не возьмет. Об этом я позабочусь. Так что иди и передай Чандумалу Марвари и его сыну, что я тебе сказал. А я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить тебя от хлопот. Конечно, предстоят расходы, да и беспокойство это немалое. Придется идти к начальству, возможно, к самому Министру...

— Лала-джи, ты добр, как сам Рама. Да благословит тебя Амбадеви,— произнес Тукарам, сложив руки.

■

Через несколько дней Комбинатор отправился в Раниваду, недоумевая, по какому делу хочет видеть его Министр. Поэтому вопрос Министра застал его врасплох:

— Что я могу для вас сделать?

Несколько секунд Комбинатор приноравливался к новой ситуации, которая вдруг возникла, а Министр тем временем сидел, наклонив туловище вперед, и ждал с выражением готовности и улыбкой на лице.

— Все толкуют о нехватке продовольствия, но люди говорят, что никто ничего не делает для того, чтобы продовольствия было больше,— сказал Комбинатор.

— Мы делаем все, что можем, чтобы обучить современным методам, современным сельскохозяйственным методам, наших братьев фермеров,— начал цитировать Министр собственную речь, произнесенную недавно на одном из банкетов.— Надо показывать нашим братьям-крестьянам на наглядном примере, как это делается в развитых странах. Заграничные методы признаны...

— Чи-чи-чи-чи,— поморщился Комбинатор.— Заграничные методы! Их-то наши братья крестьяне и не любят. Заграничные — значит антинациональные! Чи-чи.

— Тогда наших братьев фермеров нужно убедить...— начал было Министр.

— У нас вот что говорят: почему бы не поощрять свои собственные методы? Своих ученых, пионеров науки? — вставил Комбинатор.— Возьмите хотя бы нашего Арджуна Дасса — он же в деревнях буквально чудеса творит. Волшебник! Без лишних расходов, без техники, без всяких там заграничных методов, чи-чи! Он удвоил урожай в наших деревнях, а на одной ферме — почти утроил.

— Неужели! — заморгал от изумления Министр.

— Чудеса! И все — благодаря наставлениям Арджуна Дасса, его передовым сельскохозяйственным методам. Было бы, э-ээ, чрезвычайно полезно, если бы... фермеры получили должное признание... своим нужно отдавать предпочтение перед иностранными специалистами. Вот если бы Дасса без промедления взяли на государственную службу, скажем, на должность агронома-консультанта нашего округа... Тогда люди увидят, что правительство печется в первую очередь о своих...

— Но в вашем округе, да и ни в каком другом, нет должности агронома-консультанта,— засомневался Министр.

Комбинатор многозначительно улыбнулся:

— Ваша честь, если пожелает, может сделать должность, экспериментальную должность. На благо государства, в интересах наших братьев крестьян. Временную, конечно, на первых порах...

Министр хмыкнул:

— Ну, может быть, что-то и можно сделать. Как, вы сказали, его зовут? Арджун Сингх? Но учтите, назначение возможно только временное...

— На государственной службе все должности временные — на первых порах,— изрек Комбинатор, и оба рассмеялись, словно над анекдотом.

АНТИРУБРИКА

Комбинатор, однако, сознавал, что ему еще ничего не пообещали. Пока все шло гладко, пожалуй даже слишком, но за Министром оставался решающий ход.

Наконец, он сделал его:

— Меня очень беспокоит настроение «неприкасаемых»,— сказал он.— В прошлый раз я выставлял свою кандидатуру в округе, где они не имели большого веса, а у вас, как известно, «неприкасаемых» много, и...

— Судя по всему, высокородному брамину всегда будут причинять беспокойство голоса тех из братьев, кого некоторые считают неприкасаемыми,— туманно заметил Комбинатор, пытаясь играть наверняка.

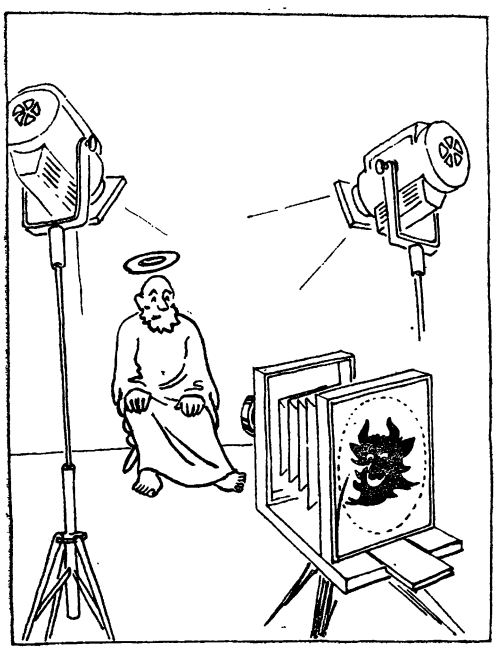
— Это очень печально,— сказал Министр, сокрушенно покачав головой.— Они не знают своих истинных благодетелей, тех из нас, для кого нет ничего более священного, чем дело наших братьев «неприкасаемых».

— Я сделаю так, чтобы в деревне, где живут одни «неприкасаемые», вам устроили чествование,— с торжествующим видом объявил Комбинатор,— как неутомимому борцу за дело «неприкасаемых». А вы организуйте прессу, радио и кинохронику...

ПАНАЙОТ ГЕЛАЕВ.
Болгария.

Без слов.

ГАБРОВО'79



— Правда! — Министр даже привстал со стула.— Правда! Вы не... То есть я хочу...

— Предоставьте это мне. Вам только нужно привезти с собой фоторепортеров и всех остальных...

— Но, может быть, вы не знаете... не в курсе, что со времени последних выборов я был вынужден, скрепя сердце конечно, отклонять все приглашения от общин «неприкасаемых». Сами знаете, как это бывает. Так что... трудно будет уговорить наших братьев «неприкасаемых» устроить мне чествование. Я, признаться, за много лет ни с одним «неприкасаемым» даже слова не сказал,— выпалил, забывшись, Министр.

— Я все сделаю,— успокоил его Комбинатор.— Вы только позаботьтесь о фотографах и журналистах. Кстати, того человека зовут Арджун Дасс, а не Арджун Сингх; давайте-ка я вам запишу.

■

Перед отъездом Комбинатор, который всегда продумывал все до мелочей, не забыл зайти в государственный книжный магазин и купить «Справочник фермера», и когда по его возвращении к нему пришел Арджун Дасс, Комбинатор уже держал книгу наготове.

— Передай своему отцу, что с твоей работой все улажено,— сказал он Арджуну Дассу.— Помощник окружного председателя по сельскому хозяйству.

— Какой помощник? Аререре! Да я ни разу в жизни в поле не выходил... да нет... правда, я рис от пшеницы не отличу.

— Я все предусмотрел,— сказал Комбинатор.— Вот, возьми. Советую прочитать, да повнимательней.— И он протянул Арджуну Дассу «Справочник фермера».

— Думаете, из него я узнаю, что такое сельское хозяйство?

— Передовое сельское хозяйство,— поправил его Лала Говинд Саруп.— Пока до них дойдет, что ты ничего не смыслишь в земледелии, ты достаточно поднатореешь в этом деле и твою должность сделают постоянной.

Тукарам Дхор увидел, как перед дверью его дома остановилась двуколка Лала-джи, и вышел на улицу со сложенными в приветствии руками.

— Ну, что в городе? — спросил он.

— И не спрашивай,— мрачно отвечал Комбинатор.— Не спрашивай. Ох, на что вы меня только не толкаете! Но ты везучий, поэтому кое-что мне удалось. Да, везучий на редкость. Это было очень трудно, но я все устроил.

— Я в этом не сомневался, Лала-джи. Да благословит вас матерь Амба.

— Мне пришлось употребить все свое влияние, но в конце концов тебя удалось избавить от поездки в столицу за наградой.

— Удалось!

— Да, я договорился, что вместо этого сам Министр приедет сюда; сюда, в твою деревню — соображаешь? — только чтобы не беспокоить тебя.

— Это правда? Арере, Рам. Рам! Сам Министр-сахиб!

— Сам почетный Министр-сахиб!

— Приедет в нашу деревню?

— Приедет в вашу деревню. Бросит все дела и приедет только затем, чтобы вручить тебе награду. А ты берешься собрать всех своих братьев «неприкасаемых» в этот знаменательный день, чтобы они увидели, как Министр приехал из самой столицы вручать тебе награду? Всех «неприкасаемых» из всех соседних деревень.

— Будет исполнено, Лала-джи.

— И устрой Министру такой прием, которого не видывали в вашей деревне. Я напишу речь, совсем коротенькую, ты сможешь выучить ее наизусть; школьники пусть поют песни и осыпают Министра цветами, а женщины — молятся, с горящими керосиновыми лампами. И пусть все выкрикивают приветствия...

— Да-да-да-да,— проговорил Тукарам, совсем замечтавшись,— я позабочусь, чтобы Министра пришли приветствовать «неприкасаемые» из всех двадцати четырех деревень нашего округа. Но Лала-джи, чем отплатить тебе за высокую честь, которой ты добился для нашей деревни, для «неприкасаемых». Мешок риса, который я даю тебе каждый год за то, что ты читаешь и пишешь для меня письма, не окупит и сотой доли твоих благодеяний...

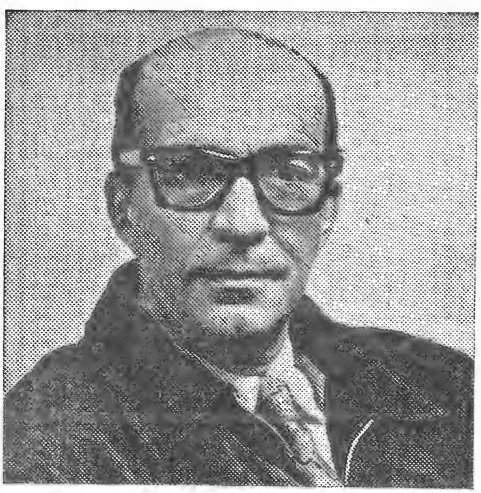
— Какие пустяки! — воскликнул Комбинатор, поспешно удаляясь.— Нет-нет, ты не должен, не надо прикасаться к моим ногам! Чи, о-о, нет-нет-нет.— И он с выражением ужаса на лице вскочил в свою двуколку, надеясь, что прохожие не видели, как Тукарам коснулся его ног. Ведь Лала Говинд Саруп тоже был брамином самой высокой пробы.

◆

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ.
Болгария.
Без слов.

ГАБРОВО'79

Наши гости



Онелио Хорхе Кардосо

КУБА

Передо мной старый, зачитанный номер журнала «Иностранная литература» № 7 за 1961 год. Там в рубрике «Наши гости» — беседа с Онелио Хорхе Кардосо. Тогда он впервые приехал в Советский Союз. Прошло восемнадцать лет. За это время только на русском языке вышло три сборника рассказов Онелио Хорхе Кардосо, не говоря уже об изданиях в союзных республиках. Рассказы «одного из лучших новеллистов Латинской Америки» — как назвал его Пабло Неруда — неизменно входили во все печатавшиеся у нас антологии кубинской новеллы, широко публиковались в периодической печати.

Мы задаем писателю, вновь посетившему нашу редакцию, простой вопрос: что бы ему самому хотелось сегодня вспомнить?

— В трудные, уже давние годы диктатуры Батисты, когда партия коммунистов Кубы была вынуждена находиться в подполье, связанные с ней прогрессивные общественные деятели и писатели нашей страны организовали литературный конкурс. Темой его была борьба за мир. Я получил записку от руководителя партии, нашего известного литературоведа-эссеиста Хуана Маринельо с предложением принять участие в этом конкурсе. Он писал мне даже о том, что победившему присудят премию в сто песо. Рассказ я послал. Премию мне присудили. Деньги, конечно, я не получил — откуда их было взять партии, работавшей в подполье? Но когда я потом — уже после победы нашей революции — впервые приехал в Советский Союз, оказалось, что этот рассказ напечатан здесь и мне... выплатили сто рублей!

В дореволюционной Гаване наши враги меня не раз называли «продавшимся за московское золото». А я этим гордился, потому что эти слова имели у нас иной смысл: не продажный шпион, а борец против существующего строя, убежденный враг действительно продавшейся американскому империализму буржуазии. Впрочем, вы действительно умеете подкупать людей, только не золотом, а идеями. Не скрою, когда я впервые приехал в Советский Союз, у меня было еще много всяких предрассудков, сформировавшихся под воздей-

ствием чуждой пропаганды. Но поездка в СССР их рассеяла окончательно.

Первая книжка рассказов Онелио Хорхе Кардосо вышла в 1945 году. Последняя — в 1974-м. Тридцать лет литературного труда, несколько сборников, журналистская работа в печати, на радио, телевидении, активная общественная деятельность. Сегодня Кардосо возглавляет секцию литературы Союза писателей и деятелей искусств Кубы.

Снова хочется обратиться к № 7 «Иностранной литературы» за 1961 год. Тогда Онелио рассказывал в редакции о компании по ликвидации неграмотности, проводившейся на Кубе. Сегодня весь кубинский народ читает! Теперь существует даже своеобразный книжный голод. Кубинские читатели познакомились и со многими произведениями русской и советской литературы. Онелио делится с нами своими впечатлениями от романа Алексея Толстого «Петр I»:

— Очень нравится мне эта книга, читаю ее, перечитываю. Великолепное произведение! Гениальный мастер! Прекрасно передана атмосфера эпохи, ее дух, даже язык. И перевод хороший.

— А на Кубе развивается исторический роман?

— Смотря что вкладывать в это понятие. Многие сегодня пишут о годах борьбы, предшествующих свержению Батисты. Конечно, сегодня это уже история. И в этих книгах мы особенно ценим личное свидетельство их авторов. Взять, например, роман Хулио Травиесо «Чтобы убить волка» [1]. *Все, что в нем описано, Травиесо пережил сам. Так что его книга — документ большой человеческой силы. На первом конкурсе Дома Америк в 1960 году получил первую премию роман неизвестного тогда Хосе Солера Пуига «Бертильон 166», насколько я знаю, переведенный на русский язык. Творческий путь этого писателя характерен для послереволюционной кубинской литературы. Он — самоучка. Начал он с того, что три раза переписал «Отверженных» Гюго. Путь к творчеству ему открыла революция. Последние же его романы «Большой дом» и «Спящий хлеб» — это произведения, созданные на высоком профессиональном уровне.*

Процесс политического воспитания нашего народа очень сказался на кубинской литературе. Особенно заметны успехи в прозе. Хочется отметить и еще одну книгу — Луиса Рохелио Ногераса «Если я умру завтра...». Казалось бы, жанр «несерьезный» — детектив, а книга получила Национальную премию по прозе. Этот роман рассказывает о работе кубинского разведчика. Он строго документирован, и в то же время это по-настоящему хорошая проза. Много интересного появляется и в драматургии. Последнее особо важно, если учесть, что театр в дореволюционной Кубе был развит очень слабо.

— Мы знаем, что и на первом съезде Коммунистической партии Кубы и на втором съезде писателей и деятелей искусств вашей страны был поставлен вопрос о развитии кубинской литературной критики. Каково положение в ней сегодня?

— Забота о развитии литературной критики — очень здоровый симптом. Наша молодежь просит критики. Для нас, начавших творческую деятельность задолго до победы революции, критика была чем-то вроде Красной Шапочки, которую мог съесть любой волк. Сегодня же она занимает все более достойное место в нашей культурной жизни. Ведь чтобы быть хорошим критиком, нужна большая подготовка. И еще одно: критик должен чувствовать свою ответственность и перед читателем, и перед автором.

О себе Онелио Хорхе Кардосо говорит очень скупо:

— Хочу писать о том, что волнует, и делать это как можно лучше. Принялся было за роман, но пока оставил его. Не получается, мало материала. Много сил отнимает работа в нашем Союзе писателей и деятелей искусств, но все же стараюсь выкраивать время и писать рассказы...

Однажды он сказал о своем творчестве: «Рецептов писать рассказы у меня нет. Я знаю только, что они зарождаются, созревают и появляются на свет... И если есть у меня какие-то удачи — это не от автора, это взято мною из жизни... Мне все подсказал народ».

Н. БУЛГАКОВА

[1] Опубликован в «ИЛ» № 1 за 1979 г.

Среди книг

Издано в СССР

СМЫСЛ И СЛОВО

Писатели Франции о литературе. Сборник статей. Перевод с французского. Составление и предисловие Т. Балашовой и Ф. Наркирьера. Комментарии и краткие справки об авторах Ю. Гинзбург. Москва, «Прогресс», 1978.

Высказывания писателей о литературе возникают (как правило, с немалым количеством отступлений) в непосредственной связи с самой литературой как осмысление ее опыта. Возникают в горячий момент работы. Часто мысль писателя о литературном процессе, о психологии творчества, об отдельных явлениях искусства выглядит рабочей заметкой на полях рукописи стихотворения, рассказа, романа. Эти высказывания сохраняют свежесть и подлинность живого свидетельства творца. Он строит, он возводит, он и судит о смысле и плане постройки, он уверенней и возводит в силу того, что хочет сознательно, а не вслепую вершить любимое дело.

Французские писатели — удивительно тонкие аналитики. Они прикасаются словом к таким явлениям духа, которые трудно поддаются всякого рода формулировкам, явлениям, боящимся фразы, широкой огласки, явлениям, которые составляют некую тайну, если можно так выразиться, интимную сторону писательской работы. Подчас дивишься, с каким проникновением простое слово обнажает глубины познаваемого мира труда и творчества, с каким блеском художник говорит о сокровенных своих думах. Но неверно было бы думать, что французские писатели интересовались всегда только вопросами внутрилитературными, сугубо профессиональными. «Поэты — дети набата»,— писал Рене Шар. И голос набата отчетливо слышен в этой книге. События мировой истории живо касались Франции и ее литературы.

В открывающей книгу речи «К новым временам» Анри Барбюса (июнь, 1919) убедительно говорится о слове как «об общественном действии», ибо «не слова важны, важно, что именно в этом и состоит наше назначение». Вслед за Бальзаком и Стендалем, Золя и Мопассаном художники нашего века сопрягали набат с правдой жизни, а правду жизни с действием. Барбюс и Роллан, Франс и Жан-Ришар Блок — каждый по-своему — сочетали это словодействие со своим индивидуальным творческим устремлением.

Это сочетание проявилось со всей остротой и четкостью в годы второй мировой войны в литературе Сопротивления. Элюар и Арагон, Сент-Экзюпери и Прево, Деснос и Декур испытали силу французского поэтического слова в один из самых трагических отрезков истории нашего века.

Распри между «литературными школами» и течениями уступили место борьбе между писателями-антифашистами, истинными патриотами Франции, и писателями, предавшими свое отечество коллаборационистами. В то время сложилась, как писал Пьер Сегерс, единая «французская школа» литературы — писатели-бойцы, писатели, представлявшие свой народ. «Словом писателя мы спасем честь французской литературы»,— утверждал Жак Декур в сентябре 1942 года.

Честь французской литературы была спасена, и, таким образом, защищены те духовные ценности, которые представлены (символически) не только набатом, но и свирелью, не только барабаном, но и скрипкой. Сборник привлекателен своей полифоничностью, многообразием звучания, интеллектуальной и художнической ценностью. Он вобрал в себя высказывания французских писателей нашего века за шесть с лишним десятилетий — начиная с первой мировой войны до наших дней.

Материалы этой книги, по существу являющейся своеобразной антологией высказываний о литературе, показывают, что эти суждения писателей о литературе рождены не только в результате наблюдений и самонаблюдения. Они появлялись в процессе длительной борьбы взглядов на существо истории, участия писателя в ней, в полемике (говоря обобщенно) между теми, кто ищет истину, и теми, кто освобождает себя от этого поиска, между стремящимися к смыслу и тешащимися причудливостью словесных узоров.

Разобраться в хитросплетениях и сложностях этого процесса помогает предисловие Т. Балашовой и Ф. Наркирьера, богатое как фактами истории французской литературы, так и раздумьями над существом поставленных в книге вопросов. Разумеется, их неисчислимость и разнообразие предстают перед читателями при ознакомлении с самими текстами Пруста и Дюамеля, Валери и Мориака, Прево и Жироду, Вюрмсера и Сен-Жон Перса. Но предисловие служит компасом, помогающим читателю, недостаточно хорошо разбирающемуся в истории французской литературы, плыть по ее бурному морю. А море это и вправду бурное. Если один писатель требует от слова ясности и осмысленности, то другой ратует за право быть невнятным и даже темным. Если одного увлекает идея создания произведений на основе точного расчета, «без божества, без вдохновенья», то другой говорит о таинственной, слепой стихии своего творчества. В контексте предисловия эти, с первого взгляда, внутрипрофессиональные споры выведены на большую историко-философскую, социальную орбиту и получают верную оценку, и читатель видит их воочию, обозревая всю панораму книги.

Гийомом Аполлинером еще в 1918 году в статье «Новое сознание и поэты» высказана мысль о литературе нашего века, унаследовавшей от классиков не только «твердое здравомыслие» и «убежденный критический дух», но и «цельный взгляд на мироздание и человеческую душу». Этот декларированный «цельный взгляд» далеко не всем представленным в книге писателям был присущ. Наряду с художниками, объемлющими Вселенную, есть писатели, видящие только дерево перед их окном и слышащие птиц, сидящих только на этом дереве. И те и другие дают нам пищу для размышлений.

Какое мы видим здесь пристальное внимание к слову — первоэлементу литературы, ее строительному материалу. Изящество слова и слога сочетается с глубиной мысли, в этом много раз убеждаемся мы, читая книгу. «Поэзия воплощается с помощью слов, единственно с помощью слов, и слово же — подводный камень поэзии. Достаточно одного, чтобы убить самое прекрасное стихотворение»,— говорит Пьер Реверди в своих «Мыслях о поэзии». Мы найдем в книге и подтверждение этой мысли, и в известной степени отрицание ее. Важно знать, что книга эта жива не только перекличкой и полемикой, сколько самобытностью высказываний каждого из представленных в ней авторов. Не обязательно сопоставлять одного с другим. Внимательный читатель поймет, что многочисленные французские писатели обращаются к нему не хором, а как солисты. У каждого своя голосовая характеристика, свои тембр и сила голоса.

Наряду с общими рассуждениями о литературе и о мастерстве писателя здесь много материалов, анализирующих конкретные произведения (Лефевр — об «Огне» Барбюса, Арлан — о «Дубровском» Пушкина, Декур — о «Пармской обители» Стендаля в связи со столетней годовщиной романа, Камю — о Кириллове, персонаже «Бесов» Достоевского).

Антология «Писатели Франции о литературе» принадлежит к числу книг, которые нельзя прочитать в один присест. Даже внимательно прочитанная, эта книга будет звать к себе — то целиком, то отдельными своими разделами и страницами. Она — подспорье в работе филолога, лектора, руководителя семинара (что испытано пишущим эти строки), каждого любителя литературы, ценящего смысл и слово в их живом сочетании.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ

Джон Осборн. Пьесы. Оглянись во гневе. Комедиант. Лютер. Перевод с английского под редакцией В. Харитонова. Москва, «Искусство», 1978.

Не раз приходилось наблюдать странное разделение драматургии и литературы, слышать мнение о том, будто драма пишется лишь для театра как сценический репертуар, не больше, а литература — это нечто, существующее по своим художественным законам. Драме помогают многие компоненты: актер, режиссер, сценограф, само дыхание зрительного зала. У драматурга еще будут помощники — истолкователи, комментаторы. Другое дело — проза, поэзия, они сразу же должны быть совершенными, художественная гармония как бы присуща этим родам литературы, здесь нет посредников между ними и

читателем. Зритель может и не читать драматическое произведение, он видит его, преображенное театром. Читатель остается с романом наедине, все, что сказано писателем, не проходит дополнительного сценического отбора; все, что сказано писателем, должно быть сказано так, чтобы читатель понимал без посредников — перед ним подлинное произведение искусства. Подобные идеи, резко отделяющие драму от литературы, чрезвычайно распространены. Редко увидишь пьесу, напечатанную в том или ином толстом журнале наряду с интересной значительной прозой времени, нечасто встретим мы яркие развернутые статьи, посвященные состоянию советской и мировой драматургии. И это не просто печальное заблуждение. Заблуждение это губительно сказывается на самой драматургии, которая подчас выделяется в некий замкнутый ремесленный цех, как бы отторгнутый от живого литературного потока.

И поэтому, когда появляется книга пьес, предназначенных как для театра, так и для чтения,— это событие вновь и вновь утверждает драму в ранге высокой литературы, которой открыты глубины человеческой души, заветные мысли века и яркие идеалы будущего. Более того, читая лучшие пьесы современности, написанные в разных точках планеты, убеждаешься в неповторимой специфике драматической литературы, умеющей зачастую первой заметить новые конфликты эпохи, ощутить сложные противоречия общества, перемены в характерах, в образе жизни, в образе мышления.

Обо всем этом думалось, когда очередная книга пьес, выпущенная издательством «Искусство», пьес английского драматурга Джона Осборна, пришла к читателям и к театрам. Скажем сразу, что в этой книге собрано то лучшее, что написал Осборн, те произведения, на идейно-художественную высоту которых писатель, к сожалению, больше не поднимался.

Пьесы Осборна, несомненно, репертуарны, общеизвестна их шумная сценическая судьба. Но пьесы Осборна — в первую очередь, литература, их можно читать с пользой и с удовольствием.

Думаю, что не стоит так настойчиво объединять драму с современным ей театром, как мы подчас это делаем, привязывая драматургию лишь к сцене, имеющей свою специфику, свои не всегда совпадающие с законами литературного произведения законы успеха и неуспеха. Драматургия, даже и вне театральных постановок, активно вмешивается в жизнь — остроконфликтная, наполненная порохом социальных и психологических столкновений, драма сама по себе — литература-первопроходчик.

Пьеса Осборна «Оглянись во гневе» еще до того, как была поставлена, открыла новый характер жизненного и социального столкновения. Молодой «рассерженный» человек Джимми Портер был достоянием Осборна, его литературной жатвой на житейской ниве, его отражением и его созданием.

Почему так заинтересовала нас эта пьеса, почему слова «оглянись во гневе» стали в определенном смысле типическими словами своего времени? Было бы неверно думать, что пьеса эта сугубо английская, порожденная исключительно национальными проблемами и конфликтами. Если бы драма «Оглянись во гневе» была сугубо английской, она не получила бы широкого интернационального звучания. Драматург, пишущий только о делах и заботах своего народа, может быть талантом, но никогда не поднимутся открытые им характеры до вершины общечеловеческой типизации. Американский школьник Том Сойер, как и датский принц Гамлет, принадлежа своей родине, принадлежат и миру. И поэтому их создатели — бессмертны.

Пьесу Осборна нередко сравнивают с чеховской драматургией, с такими, скажем, драмами, как «Иванов» или «Чайка», где тревожное неудовлетворение наиболее чутких людей времени выливалось в яркий социальный протест. Но как бы ни были верны и плодотворны сравнения тех или иных современных произведений с классикой — они лишь дань прошлому, лишь установление родства, но не сегодняшнее чувство локтя.

Вероятно, в пьесе «Оглянись во гневе», где молодой Джимми Портер не находит себе места в мире, хотя этот мир вовсе его не выталкивал (здесь нет ни темы безработицы, ни мотивов страха, ни расовой дискриминации), есть нечто другое. В ней есть нечто типическое для настроений молодых людей 50-х годов нашего века. Джимми Портер перепробовал многие профессии, сейчас у него есть пусть и нелюбимое, но и не противное дело, есть кров, друзья, преданная жена, молодость, любовь. И все же он раздражен, слова его сочатся ядом, желчью, трагедией — он сердит, рассержен, но на кого же?

Было бы антиисторично, неверно сравнивать с Джимми Портером из английской драмы некоторых наших литературных героев, живущих в совершенно иной среде, стоящих перед иными проблемами. И все-таки, не отождествляя Джимми Портера и наших литературных героев, нельзя не заметить кое-какие общие мотивы в таких, например, произведениях 50-х годов, как «Оглянись во гневе» Осборна, «Годы странствий», а затем в более поздней пьесе — «Мой бедный Марат» Арбузова, в пьесах Розова, начиная с его «Доброго часа». Не случайно, наверное, с таким успехом прошла и идет до сих пор пьеса Осборна на сцене нашего театра «Современник».

И арбузовский Ведерников из пьесы «Годы странствий» перепробовал множество профессий, и он никем не унижен, не оскорблен, и он любит, любим, но и несчастлив, рассержен, как Джимми Портер, и он оглядывается во гневе, странствуя по собственным неудавшимся годам.

Дело не только в том, что Джимми рассержен на общественные порядки, на послевоенную политику своей страны, заставившую людей забыть о романтических ил-

люзиях антифашистской интернациональной борьбы. Есть и другая конфликтная коллизия в этой пьесе, нравственная коллизия. Возмущаясь политикой своей страны, видя предательство ее руководителей, забвение святых антифашистских клятв, возвращение к тупому обывательски-сытому существованию, Джимми, и это главное в пьесе Осборна, все-таки сердит на самого себя. Не на других, но именно на себя, потому что он стал частью этих других, потому что общественное равнодушие уже растлило его сердце. И именно это понимает Джимми, а понимая, неистовствует. Неистовство Джимми и делает его незаурядным, позволяет ему стать героем драмы, не будучи героем в жизни. Он еще не может выступить против общественного индифферентизма, но он уже понимает весь ужас своего бессилия. И поэтому, не будучи героем в жизни (ему не дано совершить поступок), он имеет право быть героем драмы, ему дано осуждение своего бессилия, а это тоже своеобразный драматический поступок.

Сердится на себя и Ведерников в пьесе Арбузова, на свою затянувшуюся инфантильность, неумение определить свои возможности, до конца слиться с победившим фашизм обществом. Прямо противоположны были исходные точки бытия этих лет, судеб персонажей Осборна и Арбузова. Одного сделало равнодушным общество, другой — ощущает душевную опустошенность из-за слишком долгого самолюбования, эгоистического противопоставления незаурядной своей личности якобы заурядному коллективу. Индивидуализм Портера вынужден — это единственное спасение от полного слияния с бездуховным миром всеобщего бизнеса. Индивидуализм Ведерникова порожден преувеличенным представлением о своей личности.

Портер рассержен на себя за то, что становится все больше похожим на своих собратьев. Ведерников рассержен на себя за то, что чуть было не остался один, перестал быть целостной натурой в целостном большинстве.

Но разные отправные эти точки сами по себе драматичны, позволяют говорить о персонажах в сравнении, находить у Осборна не только близость к русской классической традиции, но и живые мотивы современных исканий большой современной литературы. Думается, для драматургии чрезвычайно интересен этот углубленный личностный конфликт, когда человек вступает в конфликт с самим собой, ведет диалектический спор с собственной душой, с собственной совестью.

И не случайно, быть может, так монологична пьеса «Оглянись во гневе». По существу, ее ведут монологи Джимми Портера, лишь обращающегося к другим, но говорящего с собой. Они и не отвечают ему, эти другие, он сам и спрашивает, и отвечает, рассерженно спрашивает свою совесть: куда она подевалась? Рассерженно отвечает за нее: она пропиталась общественным индифферентизмом.

Своеобразно построена эта пьеса, где среди действующих лиц, словно живые, участвуют многочисленные газеты, которые читает Портер. Они, извиваясь, шурша клеветой, существуют рядом с героями, ощущаются в диалогах и монологах. Это постоянное присутствие внешнего мира, раскрытое через образ единой кричащей газеты, с которой не расстается герой, позволяет нам читать все, что происходит в душе Портера: он неповторим как личность, но он повторим, размножен как тип, как расхожая вечерняя газета.

Тесно примыкает к драме «Оглянись во гневе» и пьеса «Комедиант», где опять-таки исследуется скорбная, рассерженная, смятенная душа человека, выбитого из колеи. Вернее, так — прошлого во всем его многоцветии, честного, порядочного прошлого, как говорят о нем старшие герои пьесы, артист Арчи Райс не застал. Будущее только грядет, и каким будет — кто знает. Так и застрял эстрадный артист Арчи между прошлым и будущим, между идеализированным прошлым и слишком уж тревожным будущим, не сулящим никаких надежд. Он застрял в настоящем, где вывелись добрые приметы старой Англии, где уже слышны грозные предвестия прагматического века. Настоящее для актера с душой губительно, публика все больше и больше тянется к пошлости, к эротическим мотивам. И песенки самого Арчи, похожие на песенки и монологи Джимми Портера, становятся все более равнодушными, все менее боевыми. Они зовут к забвению и цинизму. Арчи не развлекает людей, даже не раздражает их, он просто наводит на них тоску, потому что и сам давно оцепенел, интересы его мелки, горе не ранит его, радость не потрясает.

Арчи, здоровый и сильный, болен той самой болезнью, которой болели и болеют столь многие люди Запада, болезнью равнодушия, чистоплюйского отстранения от борьбы, даже от гнева.

Джимми Портер еще оглядывался во гневе, Арчи Райс отупел в безразличии. У рассерженных своя эволюция — их гнев, не поддержанный протестом, теряет силу, оборачивается брюзжанием.

Рядом с Арчи Райсом — его отец, заставший еще сказочную эпоху английского мюзик-холла, и его дочь Джин, собирающаяся вместе с молодежью выйти на улицу, чтобы сказать о том, что в стране делается не так. Но обе эти фигуры ничего не решают, ничего не уравновешивают, не вносят света в пьесу Осборна. Отец Арчи, как и сам автор, слишком идеально представляет себе прошлое своей страны, думая, что главное — вернуть идиллию былых времен. Но пьеса оказалась масштабнее ее замысла — нельзя вернуться в парадизы былого мюзик-холла, в данном случае символизирующего

беззаботное прошлое Англии. Нельзя вернуться, потому что и не было идеального прошлого, в нем уже тогда существовало все то, что ожесточает Арчи Райса, что убивает сейчас его сына в антинародной военной кампании. Идеализированное прошлое в пьесах Осборна — лишь мечта, лишь островок желанного, но никак не реальная явь, хотя бы и исчезающая. И не случайно, быть может, этого прошлого не застают герои Осборна — ни Джимми, ни Арчи, все было до них, все будет после них, они в провале истории, в ее новых, темных средних веках.

Да и дочь Арчи — Джин, уже включающаяся в борьбу молодежи, не спасает людей. Ее действия не придают пьесе ощущения благотворного исхода. Да, Джин — не собственница, не буржуазка, но как мало этого для того, чтобы быть активным деятелем своей эпохи. И постепенно с улиц Лондона, где слышатся новые голоса, Джин приходит в старый дом Арчи Райса, чтобы похоронить себя в заботах о семье, в тихом угасании, в раздражении, столь знакомом Джимми Портеру, в равнодушии, которым она еще заразится от своего отца, Арчи Райса.

И наконец, последняя в этом сборнике пьеса «Лютер» — как бы составная часть трилогии, потому что и в ней живет та же авторская мысль: оглянись во гневе.

И вот что примечательно: Мартин Лютер, герой этой драмы, живший на заре новой цивилизации, зажатый церковной иерархией и монастырским уставом, сумел освободиться от всего этого и воспрять к нравственному совершенствованию. Он, предельно несвободный в своих поступках, стал абсолютно духовно свободным, стал нужным людям, возглавил их неосознанные пока что порывы к нравственному раскрепощению. И напротив, сегодняшние герои Осборна — Джимми Портер и Арчи Райс,— не связанные никакими обетами, уставами и догматами, ничего не могут изменить ни в себе, ни вокруг себя. Рассердившийся Лютер стал вождем духовного прогресса своего времени, рассердившийся Джимми Портер ограничился разъедающей иронией.

Драматург, по-видимому, хочет сказать, что в далекие времена, стиснутые страшными условностями религиозного фанатизма, люди были куда смелее и умели отвечать за свои убеждения. А сегодня, в условиях вроде бы демократических, личность разбита, человек не находит в себе сил, чтобы обратиться к человечеству, и поэтому он сердит на себя — за слабость, за вялость души.

И рождается обобщение, по существу и делающее три разных пьесы Осборна трилогией,— быть может, никогда не была так противоположна человеку действительность, как сегодня, когда она стала буржуазной действительностью, приправленной так называемыми демократическими свободами. Фанатизм церковников порождал прямой и яростный отпор. Буржуазный конформизм — порождает подчас ответы внешне сердитые, шумные, но на деле бессильные.

В начале этой статьи я говорила о том, что драма и театр при своей нерушимой родственности все же имеют свои законы, свою собственную жизнь. Но заканчивая статью, хочу сказать, что творчество Осборна в то же время и насквозь театрально, что в пьесах его есть не только идеи, но и роли, постепенно способствующие созданию не только нового типа актера, режиссера, но в конце концов и нового типа современного театра.

Как выяснилось, Осборн не любит критиков, театральных критиков в особенности. «Рассерженный драматург» — так называлась заметка в газете «Советская культура» от 9 января 1979 года: «Английский драматург Джон Осборн... никогда не скрывал, что не выносит критиков... Осборн опубликовал в печати объявление, в котором сообщил, что ищет «людей, для формирования боевой группы против театральных критиков».

Хотелось бы надеяться, что к советским театральным критикам писатель отнесется с бо́льшим доверием, с каким все мы относимся к лучшим его произведениям.

И. ВИШНЕВСКАЯ

Издано за рубежом

ПО СТРАНИЦАМ «ОБЗОРА»

«Обзор». Болгарский литературно-художественный журнал. 1979, № 46. (София)

Вот уже много дней, как я ношу в себе образ поэта Димчо Дебелянова, с которым меня познакомил первый номер болгарского журнала «Обзор», вышедший на русском языке.

Какая трагическая и высокая судьба!

Умереть двадцати девяти лет от роду, в окопах первой мировой войны, вдали от родных мест, так и не увидев своей книжки стихов, посмертно собранной и изданной друзьями... Умереть, чтобы остаться вечным юношей в поэзии — чистым и романтичным, нежным и мужественным, светлым и скорбным...

«Спомени лишни», «спокоен като песента навяваща ненужен спомен»,— часто ронял в своих стихах Димчо Дебелянов. Но как точно заметил его переводчик на русский язык Владимир Соколов, когда поэт говорил «ненужные воспоминания», он пристально глядел в глаза своему современнику и вну-

шал ему, что воспоминания эти — нужные, необходимые.

И не только его современнику, но и нам. Древние считали, что познание есть воспоминание того, что мы когда-то знали.

Мы всегда знали, что ничего нет святее родного дома, матери, дерева у порога, но поэзия Димчо Дебелянова воскрешает это вечное человеческое чувство с таким целомудрием и нежностью, с таким щемящим трагизмом и чисто славянским лиризмом, что мы не можем не признаться, как много оттенков еще не знали в этом чувстве:

Вернуться бы и дом увидеть отчий
в тот час, когда заря смиренно гаснет,
и тихие объятья тихой ночи
раскроются для скорбных и несчастных.
Усталость сбросить, словно черный
камень,
лежащий на заброшенном погосте,
и разбудить негромкими шагами
весть робкую о долгожданном госте...

Так — на фоне современности, индустриальных городов, успехов науки, полетов в космос — проступает силуэт поэта. Вот его автопортрет. Вот он — глазами соотечественника Веселина Андреева, назвавшего свое эссе, как может показаться, слишком многозначительно — «Жизнь с Димчо», ведь автор разошелся с поэтом во времени; но «не спешите укорять меня в том, что я панибратствую с поэтом. И не думайте, будто я не испытываю стеснения, называя его на людях просто Димчо,— как и наедине с самим собой. Я всегда зову его так. Но за этим скрыто глубокое чувство преклонения: я люблю его всю жизнь. И сожалею, что мне не привелось жить в те годы — я стал бы преданнейшим его другом».

Эту интонацию — исповеди вслух — подхватывает русский поэт Владимир Соколов: «Лет десять тому назад болгарский писатель Серафим Северняк в задушевной беседе рассказал мне:

— В 1914 году раздался полевой телефонный звонок: «Убит поручик Димчо Дебелянов, в окопах». Молчание. «Убит Дебелянов в окопах! Что делать?»

Я дословно тогда записал эти слова, с волнением произнесенные уважаемым мною писателем. И когда мне становится очень трудно в моей работе над переводами Дебелянова, когда перо в отчаянии выпадает из пальцев, я вспоминаю именно эти слова: «Убит поручик Димчо Дебелянов. Что делать?» И тогда я сам становлюсь поручиком Дебеляновым, и я уже знаю, что мне делать, я, Володя Соколов, становлюсь им — Димчо Дебеляновым и пишу его болгарские стихи на русском языке»:

...чтоб лбом к плечу бессильному
склониться,
старуху-мать обнявши у порога,
в ее улыбке доброй раствориться
и повторять: «О мама!» — долго-долго...
Войдя смиренно в тихое жилище,
в последнее укрытье и заслону,
тишайшие слова шептать все тише,
уставив взгляд на старую икону:
здесь я хочу закат доживать —
взошло мое светило и угасло...

* * *

О, тайный вопль печального скитальца,
что родину и мать зовет напрасно!

Вам знакома эта мать? Как она похожа на тот образ, который встает с картины Светлина Русева «Моя мать» (эта, как и другие репродукции с работ замечательного болгарского художника, помещены на вклейках журнала): руки, тяжелые, узловатые, словно выступившие наружу древесные корни, застывшая в глазах вечная печаль, изможденное лицо, скорбные губы, готовые вот-вот произнести «тишайшие слова», которые может услышать только подлинная поэзия...

Так встречаются на страницах «Обзора» слово и изображение, силуэты прошлого и настоящее, классика и современность. «Обзор» показывает своему читателю лучшее из того, что несет сегодня миру болгарская культура: литература, живопись, театр, кино, музыка...

Вот несколько имен.

Атанас Далчев (1904—1978) — известный поэт (его стихи издавались на русском языке), автор книг «Окно», «Стихотворения» и других, один из талантливых болгарских переводчиков с русского, итальянского, испанского, французского, немецкого языков, представлен на страницах журнала «Фрагментами» — заметками о себе, о жизни и литературе. «У меня мышление всегда было связано со зрением, я как бы видел свои мысли»,— признается Далчев, и исследователи творчества поэта вряд ли смогут пройти мимо этого ценного наблюдения. Но вот высказывание — не только и не столько о себе, оно полно тревоги, как сохранить в XX веке поэзию, когда «литература выслеживает поэзию и гонит ее отовсюду, где бы она ни пыталась укрыться. Поэзия — зачастую не то, что принято так называть. Новое — не там, где его ищут и мастерят. Вот в чем проклятие новаторства!

И когда ты в приливе отчаяния отворачиваешься от литературы, вдруг в один прекрасный день, благодаря случайному стечению обстоятельств, ты обнаруживаешь поэзию в чем-то — скажем, в названии города или местности, как, например, в старинном наименовании города Русе, вычитанном тобой в местном музее»...

Размышляя над мыслью Далчева и соглашаясь с ней, все же нельзя не видеть, как и сегодня подлинное искусство отважно «выслеживает» поэзию в самой что ни на есть прозе жизни.

В этом убеждает искусство недавно скончавшегося Эмилиана Станева — крупнейшего прозаика, автора свыше тридцати книг, посвященных чаше всего жизни простых людей, миру природы, и, по признанию критики, выросшего с годами в писателя общеевропейского и мирового масштаба.

Слово «выслеживает» применимо к рассказам Станева, опубликованным на страницах «Обзора», не только в фигуральном смысле: они — о том, как человек выслеживает зверя и вступает с ним в последний — не на жизнь, а на смерть — поединок. Этот поединок заканчивается и для старика кре-

стьянина из рассказа «Волк», и в особенности для браконьера Кара Ибраима («Козел») трагически: «Он (Кара Ибраим. —*И. Р.*) полетел вниз и, кувыркаясь и беспомощно размахивая руками, видел, что козел точно так же извивается в воздухе, но человеку казалось, что козел не падает, а поднимается к небу, словно возносясь к аллаху, а его самого, Кара Ибраима, несет на острые камни, в пропасть».

И это — не случайно. По мысли Станева, природа, все живое в ней мстит человеку, лишенному нравственных, возвышенных начал в обращении с ней, человеку, пораженному фанатической идеей своего превосходства, своей неудержимой, яростной, биологической, не облагороженной интеллектом силы.

«Яркий живописец и ваятель» — так симптоматично назвал свою статью о Станеве, опубликованную вслед за рассказами, болгарский критик Стоян Каролев. Гуманистическая мысль рассказов художника, сдержанная, классически ясная манера повествования, когда автора «не видно», а жизнь природы, человека, идущая на наших глазах как бы сама собой, независимо от усилий писателя, своим извечным путем борьбы и страстей, заставляет вспомнить прежде всего о традициях Чехова в современной литературе.

И в рубрике «Творческая лаборатория писателя», где помещены высказывания Станева о себе, о своем творчестве, с радостью находишь подтверждение этой догадке. «Из классиков русской литературы отдаю предпочтение двум — Толстому и Чехову — ясным, кристальным»,—признается Станев. Не менее примечательно и другое его суждение: «Любое художественное произведение находится в нас самих, весь секрет в том, чтобы вытащить его на свет божий, не испортив, или, точнее, чтобы оно родилось своевременно, созревшим, хуже нет родить мертвое дитя или недоноска».

Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к портрету композитора Панчо Владигерова, воссозданного на страницах «Обзора» Стефаном Лазаровым.

Панчо Владигеров — значительное художественное явление, без которого нельзя сегодня представить горизонты болгарской культуры, ее достижения, имеющие глубоко самобытный, национальный характер («Люблю слушать народные песни — они живут и дышат в моей музыке»,— говорил он сам) и потому получившие всемирное признание...

Итак, поэзия, проза, музыка — вот несколько линий, по которым идет в журнале обзор наиболее значительного в болгарском искусстве. Но и монументальное искусство, кино, театр... Каждое явление «подается» с разных сторон, разных граней — тут и «штрихи» к портрету, и умело вкрапленная хроникальная заметка, фотографии, рецензии, обширная информация — одним словом, все то, что входит в понятие «культура издания».

Но этот многообразный,- интересный материал, со знанием дела и тщанием подобранный редакцией «Обзора» специально для русского читателя, «сцементирован» изнутри важной идеей — идеей болгаро-советских связей, исторически сложившегося взаимного обогащения двух культур.

Эта давняя традиция по-настоящему живет на страницах «Обзора». Поэма Любомира Левчева «Дорога с востока и дорога на восток» звучит в переводе советского поэта Евгения Винокурова. Монументальное искусство Светлина Русева — его выставку на вокзале — мы «смотрим» глазами Евгения Евтушенко, написавшего об этой выставке несколько ярких публицистических строк. Своими мыслями и чувствами, слитыми в «братском рукопожатии» двух народов — болгарского и русского, делятся Галина Уланова и Алексей Сурков, Даниил Гранин и Римма Казакова, болгарские артисты Любомир Кабакчиев и Стефан Гецов.

Знаменательно, что номер открывается текстом речи, произнесенной на открытии Дней советской культуры в Болгарии председателем Комитета культуры НРБ Людмилой Живковой. Приветствуя новое издание журнала «Обзор» на руском языке, она желает всем его читателям «радостных встреч с болгарским искусством, с достижениями деятелей болгарской культуры».

Можно с уверенностью сказать, что такая радостная встреча произошла — первый номер «Обзора» не только познакомил нас с интересными, значительными явлениями современного болгарского искусства, но и стал волнующим документом духовных контактов двух народов.

И. РОСТОВЦЕВА

ДАР

Masa Halamova. Basne. Bratislava, Slovenský spisovatel, 1978.
Маша Галямова. Стихи. 1978.

Недавно отмечалось семидесятилетие словацкой поэтессы Маши Галямовой, но в сознании соотечественников она долгие годы оставалась такой, какой предстала в двух своих сборниках — «Дар» (1928) и «Красный мак» (1932),— юной, немного наивной и удивительно искренней. Ее лирическая героиня словно вышла из народной песни. Слова: «песня», «баллада», «легенда» встречаются и в оглавлении ее сборников. Но это не стилизация, а органическое освоение традиции. Народная песня жива в Словакии и поныне. Богатейший словацкий фольклор, которым восторгался в свое время Илья Эренбург, с необычайной естественностью вошел в современную культуру этой страны. И поэзия М. Галямовой — удивительный пример и образец сплава фольклора и современности.

На белом шелку вышью
букет полевых цветов.

В красный мак вплету кровавый упрек,
в анютины глазки — лиловые слезы.
Сорву клочок словацкого неба
для василька.

Не справиться с грустью душе:
в зеленые листья
влагаю большие надежды.
Голубку белую спрячу в снегу кружев...[1]—

так описывала М. Галямова тот «дар», который она хотела принести любимому в день, «когда дороги зарастут боярышником и терном».

Среди литературных учителей Галямовой такие чешские и словацкие поэты XX века, как Иван Краско, Иржи Волькер, Эмиль Болеслав Лукач, Карел Томан, Лацо Новомеский. Но молодая поэтесса не была только прилежной ученицей. Стихотворение «Горнияки», где характерные для нее лирические интонации лишь оттеняют суровую деревенскую действительность, во многом предвосхитило некоторые стихи известного сборника Лацо Новомеского «Святой за деревней» (1940) и совсем недавний сборник Милана Руфуса «Стол бедных» (1972).

Особую главу в творчестве М. Галямовой составляет ее поэтическая «встреча» с Иржи Волькером. Ее стихи, посвященные памяти Волькера, произвели на читателей такое глубокое впечатление своей выстраданностью и жизненной достоверностью, что даже возникла легенда о личном знакомстве двух поэтов. В действительности же в то время, когда двадцатитрехлетний Волькер приехал лечиться в Татры от туберкулеза (через несколько месяцев его увезли в родной Простеев, где он умер), шестнадцатилетняя Маша Галямова еще училась в гимназии в Братиславе. Но творчество Волькера, успевшего выпустить всего две тоненькие книги стихов, оказавших огромное воздействие на чешскую и словацкую поэзию XX века, стало для М. Галямовой откровением. Волькер помог словацкой поэтессе выявить себя, развить те возможности, которые таились в ее художественной натуре. Эпическое начало ее творчества, идущее от народной баллады, обрело отчетливый социальный акцент. Лирика, не утрачивая напевности и мелодичности, обогатилась гражданской мыслью.

И все же мир поэтессы был слишком ограничен ее скромным житейским опытом. Сборник «Красный мак» завершали слова:

Собственным сердцем выкуешь оковы
и должен в них жить.

Поэтесса нашла свою тему, высказала себя — и умолкла. Казалось, она так же, как Волькер, останется автором двух тоненьких сборников.

В литературных пособиях о ней стали писать в прошедшем времени. К примеру, так: «Лирика Галямовой — лирика односторонняя, ограниченная узким кругом интимных переживаний, прочувствованных, однако, с тем большей интенсивностью. Ее классически чистый, простой, мелодичный стих знаменовал собой вклад в нашу поэзию и нашел многочисленных последователей»[1].

Третий сборник Маши Галямовой «Твоей смертью живу» вышел через... тридцать четыре года после «Красного мака», в 1966 году.

Катализатором творческого процесса на этот раз оказалось большое горе — умерли муж и мать поэтессы. Представление, будто между силой личных переживаний поэта и художественной силой его произведений существует прямо пропорциональная зависимость, не всегда оправдано. И у поэта горе подчас бывает немым. А иногда, напротив, чувство мешает выкристаллизоваться поэтической форме, выливаясь на бумагу хаотично, сумбурно, то чересчур экзальтированно, то чересчур сентиментально. Цикл «Без тебя», составляющий ядро нового сборника, отличается сдержанным, скупым трагизмом. Для глубокого чувства и глубокой мысли найдено точное словесное выражение. Горе не только не заставило поэтессу замкнуться в себе, но, наоборот, открыло ее сердце всему миру. В таких стихотворениях, как «Это было давно?», «В новогоднюю ночь», «Молодая улица», «Уверенность», лирическая героиня Галямовой выходит навстречу людям, живет их радостями и печалями, их надеждами.

Прободрствовать ночь
с людьми,
приходящими,
уходящими,
там, на перекрестке их дорог.

В стихах этого цикла, так же как в новых стихотворениях М. Галямовой, составивших последний раздел ее однотомника, постоянно присутствует мотив дороги, восхождения, пробуждения новой жизни. И заключительное стихотворение книги, которое называется «Поздней осенью», кончается вопросом:

Чем насытиться
сердцу человека,
пока новой весне
он сможет сказать свое
Ave?

Небольшой однотомник М. Галямовой «Стихи», содержащий все лучшее, что написано ею за пятьдесят с лишним лет, завершает послесловие Милана Руфуса. Оно написано с таким проникновением в суть поэзии вообще и поэзии Маши Галямовой в частности, что можно только порадоваться за словацких читателей. Милан Руфус размышляет о сложных путях простоты и тайнах молчания, рождающих поэтическое слово.

О. МАЛЕВИЧ

[1] Здесь и далее переводы стихов принадлежат автору статьи.

[1] Dobroslav Chrobák, Oscar Čepan. Rukoväť dejín slovenskej literatury. Bratislava, 1949, s. 78.

Из месяца в месяц

АЛЖИР

ФИЛЬМ О КРЕСТЬЯНАХ

Как сообщает ливийский журнал «Ас-Сакафа аль-арабийя», алжирский режиссер Ламин Марбах приступил к съемке художественного фильма «Сбор винограда» по одноименной повести алжирского писателя Мулуда Ашура. В фильме рассказывается о крестьянских кооперативах в алжирской деревне, о противоречиях и трудностях становления новой жизни.

ИЗДАНИЕ КНИГ АЛЖИРСКИХ АВТОРОВ

В Ливане, Алжире и Тунисе вышли новые книги алжирских авторов. Бейрутским издательством «Дар Ибн Рушд» выпущен роман алжирского писателя Ат-Тахира Ваттара «Свадьба мула». До этого Ваттар опубликовал несколько сборников рассказов и пьес, а также три романа: «И сотрясется земля», «Ал-Лаз» и «Рыбак и дворец». Его роман «И сотрясется земля» опубликован на русском языке в журнале «Иностранная литература» (№ 4, 1979). Ваттар — один из основоположников алжирского реалистического романа на арабском языке.

В городе Алжире Национальной компанией по публикации и распространению книг издан роман «Солнце восходит для всех» Исмаила Гамуката, также написанный на арабском.

Тунисско-ливийским издательством «Ад-Дар аль-арабийя лиль-китаб» напечатано исследование алжирского литературоведа Абдаллаха Ракиби «Развитие современной алжирской прозы».

АРГЕНТИНА

ЛИТЕРАТУРА 1978 ГОДА

Этой теме посвящена обзорная статья критика Ариэля Бигнами в журнале «Контесто», выходящем в Буэнос-Айресе.

С интересом встречен роман Энрике Медины «Ночные псы», в котором автор смело обнажил пороки современного буржуазного общества. Однако, по мнению Ариэля Бигнами, эта книга несколько уступает предыдущим работам Э. Медины — «Герцог» и «Лишь ангелы», в которых ужасы общественного «дна» не заслоняют главную тему, оставляя читателю «лучшие надежды».

Одним из заметных литературных событий года явился выход в свет романа Родольфо Рабаналя «Отличный день». В этом произведении писатель с пристальным вниманием прослеживает тему одиночества человека в современном буржуазном обществе.

Заслуживает внимания и автобиографический роман Бласа Матаморо «Запретное путешествие», хотя его интересное сюжетное построение не всегда компенсирует имеющиеся стилистические погрешности.

Зрелым мастерством отличается книга Рубена Тиссиани «Сведение счетов», в которой занимательность детективного сюжета сочетается с психологической мотивировкой характеров и остротой социального видения.

В жанре научно-фантастической литературы наиболее удачными произведениями минувшего года явились повесть Анхелики Городишер «Светлая электронная луна» и антология рассказов «Предполагаемые миры», составленная Хорхе Санчесом.

Удачными оказались многие литературные дебюты года и произведения молодых писателей. Среди них — рассказы Роберто Фонтанарросы («Поезда убивают автомобили»), Хорхе Мансура («Ночные опасности»), Хорхе Кука («Неотложные рассказы»), Федерико Морейры («Зеленая трава-юйо»), повести Хено

Диаса («Бывшие ангелы»), Алины Дьякону («Доброй ночи, профессор»), Софии Ласки («Хроника обычной женщины»), Бернардо Клейнера («Мост Херли»), Луиса Горбана («Юмба»).

Произведения этих писателей отличаются не только профессионализмом, но и глубоким вниманием авторов к актуальным проблемам жизни аргентинского народа, что, как указывает А. Бигнами, является крайне отрадной тенденцией в развитии национальной литературы.

БЕЛЬГИЯ

Любители хореографического искусства Парижа, Западного Берлина, Нью-Йорка и Мехико смогли увидеть постановку известного балетмейстера Мориса Бежара на музыку «Болеро» М. Равеля во время недавних гастролей руководимой им труппы «Балет XX века». Этот одноактный балет был поставлен Бежаром специально для народной артистки СССР М. М. Плисецкой и показан на сцене Большого театра в июне 1978 г. в период гастролей «Балета XX века» в Москве. Теперь балетмейстер создал мужской вариант «Болеро», в котором главную партию исполняет ведущий танцовщик труппы Хорхе Дони.

На снимке: сцена из балета «Болеро». В центре—Хорхе Дони.

(Журнал «Экспресс»)

БОЛГАРИЯ

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Знаменательный день в жизни болгарского народа — 9 сентября 1944 года, события, непосредственно предшествовавшие ему и последовавшие за ним, по-прежнему привлекают внимание болгарских писателей.

«Этим великим днем нашей истории,— сказал в интервью еженедельнику «Литературен фронт» известный прозаик и драматург Драгомир Асенов, — завершался один из моих первых романов, посвященных борьбе молодежи против фашизма. Заканчивая свой следующий роман «Эта кровь не прольется», продолжавший ту же тему, я почувствовал внутреннюю необходимость воссоздать бурные события этого дня и показать своих героев как его участников, и потому я свой новый роман назвал «Биография вечного дня».

Первые недели после 9 сентября 1944 года воскрешаются и в романе Константина Кюлюмова «Восшествие». В нем, как пишет «Литературен фронт», не только показана борьба против отчаянно сопротивлявшихся фашистов, против заговоров царских офицеров, первые бои с гитлеровцами, но и верно передана атмосфера того времени, созданы интересные образы, в том числе собирательный образ профессионального революционера, которого в романе называют Руководителем.

Чем объясняется это неослабевающее внимание болгарских писателей к теме, уже достаточно, казалось бы, разработанной?

Ответ на этот вопрос дал Драгомир Асенов в том же интервью. «События, описанные в «Биографии вечного дня», — сказал он, — будут отдаляться от нас, превратятся в историю. Тогда другие писатели будут писать о них, глядя на них иными глазами, у этих авторов будет свой, исторический подход. Мы же рассказываем об этих событиях как очевидцы, как участники, и это придает нашим книгам аромат сопричастности, делает их художественным свидетельством».

БРАЗИЛИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ЖАБУТИ»

Жабути — так в Бразилии называют одну из разновидностей черепах, этих долгожительниц, глубоко почитаемых населением страны. У бразильцев бы-

тует множество сказаний, анекдотов, главным героем которых становится черепаха, олицетворяющая в народной мифологии мудрость и смекалку.

Вот уже два десятка лет бронзовая статуэтка жабути является одной из основных литературных премий, ежегодно присуждаемых Книжной палатой Бразилии лучшим литераторам страны. Известные писатели, критики, литературоведы и профессора высших учебных заведений, вошедшие по приглашению Книжной палаты в состав жюри, объявили лауреатов минувшего года. Как сообщает газета «Эстаду ди Сан-Паулу», премии «Жабути» были, в частности, удостоены: Клариси Лиспектор (посмертно) за роман «Час звезды», Адемия Прадо за поэтический сборник «Простреленное сердце», Эрман Жозе Рейперт за книгу рассказов «Поздний час», Роберт Шварц за сборник эссе «Картофель победителю», Паулу Дуарти за книгу воспоминаний «Нищета в мире, нищета в стране — моя собственная нищета», Ана Мария Машаду за книгу для детей и юношества «История почти наоборот».

На снимке: Джон Гилгуд.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГОВОРИТ ДЖОН ГИЛГУД

Известному английскому актеру Джону Гилгуду исполнилось недавно семьдесят пять лет. Корреспондент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» посетил Гилгуда и взял у него интервью.

Гилгуд любит вспоминать жизнь на Ист-Энде в прошедшие десятилетия, современный Лондон вызывает у него раздражение. Однако воспоминания не мешают ему вести активную творческую жизнь, отвечающую требованиям современной культуры. И хотя Гилгуд сожалеет о «больших занавесах» театров со старыми арочными просцениумами, он уже привык играть на современной сцене нового Национального театра современные пьесы, лишенные, как правило, былой законченности формы.

— Теперь любые пьесы никого не приводят в замешательство. Им не хватает того, чему мы учились предыдущие пятьдесят лет, но, очевидно, мы так хорошо выучились, что смогли приспособиться — Ральф, Лэрри и я (сэр Ральф Ричардсон и лорд Лоуренс Оливье, на протяжении тридцати пяти лет составляющие с Гилгудом прославленный актерский триумвират) — даже на склоне лет. Больше обо мне уже не говорят, что я могу играть только в костюмах. Мои прежние друзья были разочарованы, когда я начал произносить с подмостков слова, ранее немыслимые в театре. Но теперь они вообще редко ходят в театр, и у меня появилась совсем иная аудитория. Только молодежная аудитория может помочь актеру освободить его игру от аффектации. Я надеюсь, что мне в основном удалось избавиться от романтической мишуры моей юности — этим я обязан работе с молодыми режиссерами — Линдсеем Андерсоном, Питером Бруком и Питером Холлом.

Работа в Национальном театре необычайно важна для Гилгуда, потому что этот театр, по его словам, «является лучшим образцом национальной театральной традиции, и я готов участвовать в его работе в любом качестве, играя ведущие или совсем небольшие роли».

У Гилгуда множество творческих планов. Он собирается сняться в телевизионном фильме об английских садах, возможно, будет сниматься в фильме Анджея Вайды в Польше, намерен сниматься в фильме по роману Агаты Кристи для телевидения, готовится к публикации книга его воспоминаний, вскоре должна появиться новая запись его серии шекспировских чтений «Век человеческий».

Есть проект, о котором Гилгуд говорит неохотно, боясь преждевременных разговоров о нем, — известный режиссер Питер Холл предполагает ставить с ним «Короля Лира». «Вся богатая творческая жизнь Джона Гилгуда, — пишет в заключение газета,— связана с историей английского театра».

ВЕНГРИЯ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СЛУЖЕНИЯ ПОЭЗИИ

В венгерской печати широко обсуждается вышедший в Будапеште, в издательстве «Магветё», однотомник избранных стихов известной венгерской поэтессы (жены и друга поэта Ласло Надя), лауреата премии Аттилы Йожефа Маргит Сечи «Что несешь, река?». В него вошло около двухсот пятидесяти стихотворений, созданных за последнюю четверть века.

Первые стихи Маргит Сечи были опубликованы в периодической печати в 1949 году, затем молодая поэтесса уехала работать на строительство города Дунауйвароша, где написала цикл стихов о молодых рабочих. По свидетельству критики, эти стихи отличаются яркой образностью, глубиной и искренностью чувств. Именно в ту пору Маргит Сечи писала о своем стремлении «воспеть рабочего человека, показать его не только в труде, но и в повседневной жизни».

За двадцать пять лет у Маргит Сечи вышло много поэтических книжек, лучшие стихи из которых она включила в однотомник избранного «Что несешь, река?». В нем, как отмечал критик Шандор Коцкаш на страницах еженедельника «Элет эш иродалом», поэтесса как бы показывает течение реки времени: то характерное для прошедшей четверти века, что волнует и сегодняшнего читателя.

ВЬЕТНАМ

НОВОСТИ ВЬЕТНАМСКОГО КИНО

Три центральные киностудии страны выпустили более 140 фильмов различных жанров.

Большинство картин посвящено современности: художественная лента «Дождливый день в конце года» (режиссер Фам Нгок Лан) посвящена самоотверженному труду шахтеров; в центре фильма «Люди на реке» (режиссер Нгуен Суан Тян) — представители новой, социалистической интеллигенции на большой стройке. Оба фильма реалистично показывают труд и жизнь вьетнамцев — коллективных хозяев своей страны.

Довольно новой для вьетнамского кино является современная деревня в процессе социалистических преобразований. О том, какие изменения произошли в сознании молодежи, выросшей в старом Сайгоне, а сейчас осваивающей новые земли, рассказывает фильм «Рождение мечты». Образ бойца, сжимающего в одной руке автомат, а в другой — ручку плуга, метафорически характеризует фильм «Зовущие вперед». Большой успех выпал на долю фильма молодого кинорежиссера Нгуен До Нгока «Как я живу».

Теме войны и революции посвящен фильм «Когда дует гнилой ветер», в основе которого — одноименное произведение известного вьетнамского прозаика Нгуен Куан Шанга.

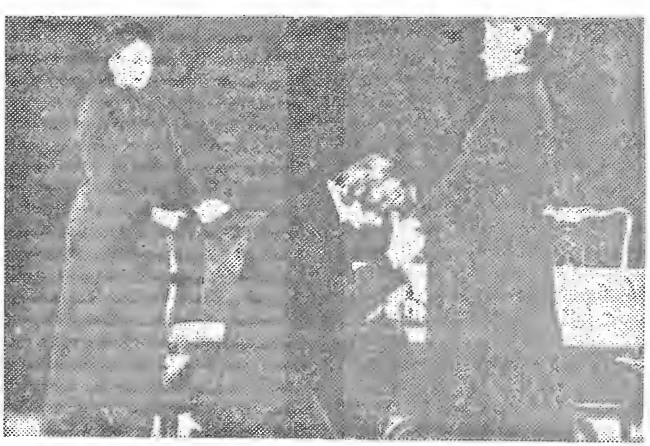
Дети и война... В истории кинематографий многих стран была затронута эта тема, в том числе и в двух новых художественных лентах Вьетнама. Большой интерес у вьетнамских зрителей вызвал художественный фильм «Тревожный рассвет» (режиссеры Нгуен Нгок Чунг и Лонг Ван), действие которого происходит в годы борьбы вьетнамского народа против американской агрессии. В центре картины — судьба учительницы Хием, ее образ воплощает лучшие черты вьетнамской женщины.

Значительных успехов добились вьетнамские кинематографисты в области документального кино. Среди новых лент следует особо отметить фильм «Песнь о Хо Ши Мине» (режиссер Буй Динь Хак). В этой картине — яркой кинолетописи — прошлое и настоящее страны неотделимы друг от друга, как неотделима судьба Хо Ши Мина от судь-

---

Журнал «Иностранная литература» писал уже о новом романе Магды Сабо «Старомодная история» (см. № 5, 1978). Напомним, что писательница, взяв за основу историю одной семьи, жившей в Дебрецене в прошлом веке, показала судьбу целого поколения. Мелкобуржуазность как система взглядов на жизнь, как проявление стяжательства, политической ограниченности обнажилась на страницах романа в самой страшной, античеловеческой сути.
Дебреценский театр имени Чоконаи обратился к этому произведению и создал одноименный спектакль в постановке режиссеров Дердя Лендьела и Габора Балога.
На снимке: сцена из спектакля «Старомодная история».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)



бы его страны. О его революционной деятельности уже создано несколько документальных фильмов, в скором будущем их число пополнит новый цветной документальный фильм «Хо Ши Мин в Советском Союзе».

В фильме «Сыновья города Хошимина» рассказывается о кадровых работниках и бойцах этого города, раньше героически сражавшихся с врагом, а сейчас приступивших к восстановлению страны. В фильме «Ответственность и любовь» затронуты социальные проблемы, показана забота государства о жертвах старого строя.

Особенно следует отметить фильмы (их около десяти), осуждающие силы международной реакции. Прежде всего это картина «Перед лицом общего врага», в которой рассказывается о давних дружеских отношениях между вьетнамским и кампучийским народами, а также о преступлениях клики Пол Пота и Иенг Сари. В киноочерке «Ворота дружбы 25 августа 1978 года» запечатлены преступные действия китайских экспансионистов, спровоцировавших беспорядки на северной границе Вьетнама. Большим публицистическим звучанием и социальным обобщением отличается и документальная лента «Беженцы», разоблачающая лживую кампанию «о преследовании лиц китайского происхождения во Вьетнаме».

ГДР

НОВЫЕ РАССКАЗЫ МАРГАРЕТЫ НОЙМАН

Имя Маргареты Нойман хорошо известно и немецкому и советскому читателю (см. «ИЛ» № 8, 1974 г; № 1, 1977; № 7, 1977). Недавно издательство «Ауфбау» выпустило новый сборник рассказов писательницы — «Ветряная флейта».

Как отмечает в газете «Нойес Дойчланд» Элизабет Симонс, для Маргареты Нойман главное не сюжетное построение, а чувство, мысли, переживания людей, о которых она пишет. Именно это объединяет часто совсем разные сюжеты. Рецензент особенно выделяет рассказ, давший название сборнику, и рассказ «Внук». В первом очень эмоционально описаны переживания молодой женщины, по-новому переосмысливающей свою жизнь. Во втором с большой теплотой показан старый рабочий, пытающийся помочь своему сбившемуся с пути внуку. Особое место занимают в книге четыре новеллы о строителях трассы, в которых Маргарета Нойман обращается к проблемам дружбы братских народов, их совместной работы, преодоления пережитков прошлого в сознании людей.

ЗАП. БЕРЛИН

ПРОЦЕСС О ТРЕХ СТРОЧКАХ

Известный западноберлинский поэт Фридрих Кристиан Делиус (см. «Наши гости», «ИЛ» № 1, 1979), автор сборника «Наш мир — мир Сименса», вновь должен предстать перед судом из-за нового сборника стихов «Бегство банкира».

Еще в 1972 году концерн Сименса вынудил Делиуса и возглавляемое им небольшое издательство «Ротбух» в Западном Берлине изъять в судебном порядке несколько «особо возмутительных мест» из сборника «Наш мир — мир Сименса». Теперь Делиусу и издательству грозит новый судебный процесс — на этот раз со стороны Гельмута Хортена. Хортен — «ветеран немецкой экономики», бывший владелец колоссальной сети универсальных магазинов «Хортен», «сэкономивший» на налогах в ФРГ, по самым скромным подсчетам, около 450 млн. марок, живет в настоящее время в Швейцарии.

Гнев Гельмута Хортена вызвало стихотворение Делиуса из сборника «Бегство банкира» — «Песенка о страхе и конце Гельмута Хортена», в котором поэт, говоря о роли Хортена — «банкира партий», — пишет, что «он любил, когда оплачиваемые им политики болтали о законах и рвали на куски всех его конкурентов...». Вот эти-то строки Хортен и потребовал изъять из сборника, грозя взыскать компенсацию в размере полумиллиона марок.

На снимке: кадр из фильма «Тревожный рассвет».

(Журнал «Фильм»)

ИНДИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ БХОДЖПУРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В небольшом городке Бархадже (штат Уттар-Прадеш) состоялась четвертая конференция «Всеиндийского общества бходжпурской литературы». Газета «Джан юг» посвятила этому событию большую статью.

Язык бходжпури распространен в восточной части штата Уттар-Прадеш и в западных округах Бихара. На нем говорят, по разным подсчетам, от 14 до 36 млн. человек, и он входит в первую пятерку крупнейших языков Индии. Официальным языком считается хинди.

Количество публикаций разных жанров: (повестей, романов, сборников стихов, рассказов, очерков, драматических произведений) на бходжпури составляет свыше 200 названий. Ныне бходжпурская литература представлена всеми современными жанрами. Вопрос о признании бходжпури в качестве самостоятельного литературного языка находится на рассмотрении Литературной академии Индии.

На конференции было оглашено решение о присуждении премий за лучшие произведения, созданные на бходжпури. Почетная премия за создание эпической поэмы «Каушикаяна» была вручена Авинашу Чанду Видьяртхи.

ИТАЛИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА РОТА С ФЕЛЛИНИ

«Его руки больше не коснутся клавиш фортепьяно, но я верю, что в любой части мира вновь зазвучит его музыка. Нино всех заразит своей чистотой, своим изяществом, своей радостью...» — так говорил Федерико Феллини уже у гроба своего друга, композитора Нино Рота, подлинного соавтора «Дороги» и «Ночей Кабирии», «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной» — почти всех лент Феллини, а также ряда лент Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Эдуардо де Филиппо и других режиссеров. Менее месяца спустя после смерти композитора состоялось исполнение оратории Нино Рота «Мистериум», посвященное памяти Альдо Моро. Но последнему произведению Рота еще только предстоит зазвучать — в фильме Феллини «Город женщин», к съемкам которого он недавно приступил. Композитор, владевший, как считает Феллини, тайной «внутренней правды, неподвластной обычному диалогу», уже будучи тяжелобольным, каждый день возвращался из клиники домой для работы над музыкальным оформлением новой ленты Феллини — «Город женщин».

На снимке: композитор Нино Рота.

(Газета «Унита»)

В нем снимаются Марчелло Мастройянни, Этторе Манни и около 200 женщин. «Профессор Мастройянни ищет Миневру среди 200 женщин» — так названа заметка о замысле Феллини в газете «Паэзе сера».

КАНАДА

ВЗРОСЛЫЕ — ДЕТЯМ

Канадская печать широко освещает серию мероприятий, проводимых в рамках Международного года ребенка. Более 20 тысяч школьников города Торонто побывали на красочном театральном представлении негритянского театра Канады под названием «Ананси» (сценарист и постановщик Ама Харрис).

Ананси — непременный персонаж народной комедии, остроумие и миролюбие которого располагают к нему сердца простых людей. Детский спектакль «Ананси», сопровождаемый песнями и танцами, носит

характер праздничного карнавала.

По всей стране проходят выставки, фестивали, концерты детского творчества.

МАЛАЙЗИЯ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ

В январе 1979 года в Малайзии начал выходить новый общественный и культурно-художественный журнал «Деван будая» («Культура»). В редакционной статье, помещенной в первом номере журнала, указывается, что он призван содействовать превращению полиэтнического населения Малайзии в единую малайзийскую нацию с общей родиной и общим языком.

В журнале будут освещаться преимущественно вопросы культуры — изобразительных искусств, архитектуры, кинематографии, хореографии, театрального искусства, народных ремесел и современного прикладного искусства. Наряду с проблемами национальной малайзийской культуры, основой которой, в соответствии с официальной программой культурного строительства, должна стать традиционная малайская культура, в журнале будут освещаться также культурные проблемы стран АСЕАН, а также других, по преимуществу афро-азиатских стран.

ПОЛЬША

«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ КНИГИ РАДОВАЛИ»

Журнал «Польские новые книги» взял интервью у детского писателя Мариана Орлоня, живущего в Познани.

— Каковы мои цели, чего я хочу достичь своими книгами? Если говорить об этом очень коротко, я могу ответить так: я хочу забавлять, волновать, учить. Хочу, чтобы мои книги радовали, были безоблачными, так как дети тоже хотят радостных, безоблачных книг, но я при этом не избегаю в своих книгах детских драм, которых мы, взрослые, зачастую не осознаем или не придаем им значения. Идет Международный год ребенка, хотя для тех, кто пишет для детей, каждый год по сути является в каком-то смысле «годом ребенка». Чего бы я хотел пожелать детям по случаю Международного года ребенка? Чтобы наступил когда-нибудь такой день, когда матери нужно будет долго объяснять своему ребенку, что такое война, что называлось несправедливостью, что такое голод, а ребенок не сможет этого понять.

На снимке: рисунок с обложки журнала «Деван будая».

США

ПИСЬМА ФЛАННЕРИ О'КОННОР

Переписка с друзьями и читателями, по признанию Ф. О'Коннор, всегда значила для нее очень много — особенно в последние несколько лет ее жизни. Когда тяжелая болезнь приковала писательницу к постели (О'Коннор умерла в возрасте 39 лет), письма стали ее единственным средством общения с «большим миром». Весной этого года в издательстве «Фаррар, Штраус энд Жиру» был выпущен объемистый том писем О'Коннор, собранных и отредактированных близким другом писательницы Сэлли Фипджеральд.

Новеллистика О'Коннор, как свидетельствует еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», давно вошла в «золотой фонд» американской прозы. Однако уже при жизни писательницы велись до сих пор не прекращающиеся споры о том, как оценить ее, на первый взгляд такие необычные, порой даже загадочные, новеллы (советский читатель знаком с лучшими новеллами О'Коннор по сборнику «Хорошего человека найти нелегко», М., 1974).

Сама О'Коннор не любила объяснять свои произведения и редко высказывала публично свое мнение о них, но в переписке часто нарушала негласный «обет молчания». Поэтому, по мысли редактора этого издания, письма смогут помочь исследователям О'Коннор разрешить хотя бы некоторые сомнения, возникающие в связи с ее творчеством.

МРАЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ БОЛДУИНА

«Кассандра 60-х предрекает неразрешимость расовых конфликтов на 80-е» — так озаглавлено интервью, взятое газетой «Интернэшнл геральд трибюн» у Джеймса Болдуина, предсказавшего в свое время (в 1963 году в книге «В следующий раз — пожар») негритянские волнения 60-х годов.

— За истекшее десятилетие,— говорит Болдуин, — многое на первый взгляд изменилось в самой Атланте, но во всей Джорджии ничего по сути не изменилось. Возможно, сегодня наше положение еще сложнее, чем раньше.

Болдуин называет себя оптимистом, утверждая, что «еще не все потеряно», хоть он и не видит выхода «ни сегодня, ни в ближайшем будущем».

Очень многое сегодня,— говорит писатель, — зависит от нас самих... Мы не можем переложить ответственность на кого-либо. Нам самим предстоит спасти своих детей любыми доступными нам средствами. Иначе они сами попытаются спасти нас, и в результате разразится новый катаклизм.

Хотя многие сегодня полагают, пишет газета, что классовые противоречия в США острее расовых, Болдуин продолжает горячо настаивать на остроте расового конфликта.

— Смерть Мартина Лютера Кинга,— говорит писатель,— непоправимо изменила ситуацию. Жизнь очень многих моих друзей пошла прахом. Я не говорю сейчас о тех, кто погиб. Но и те, кто еще ходит и говорит на этой земле, уже никогда не будут прежними. Мне не хочется называть имена некоторых лидеров движения, с которыми мне довелось работать на глубоком Юге или на Севере. Многие пережили нервные потрясения, заболели язвой, расстались с семьями, сошли с ума. Некоторые буквально голодают. Потому что все их представления о жизни были подорваны в тот день, когда в Мемфисе был убит Мартин Лютер Кинг.

Недавно Болдуин закончил новый роман «Как раз над моей головой» — о негритянском певце. Сейчас писатель много занимается историей, изучает подлинные документы, готовясь писать эссе о результатах принятого в 1954 году Верховным судом США запрета на сегрегацию в школах. Он собирается также написать эссе об общественном значении телевизионных постановок по роману Алекса Хейли «Корни».

Занимаясь социальными проблемами, стоящими перед страной, писатель обращает внимание на расцвет негритянской феминистской литературы. По его мнению, это никак нельзя связывать, как порой делают, с «противоречиями между полами». Болдуин полагает, что эти противоречия чисто социальные.

Издательство «Дайал пресс», где обычно выходят книги Болдуина, учредило премию его имени. Впервые она была присуждена в этом году Реймонду Эндрюсу за роман «Красные, как Аппалачи».

ФРАНЦИЯ

РОМАН О СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ

Новый роман Андре Стиля «Бог — это ребенок» (издательство «Грассе») основан на воспоминаниях писателя о своем детстве. Шахтерский поселок, где родился главный персонаж романа Бернар,— тот самый, где прошли детские годы самого Стиля. Отец и мать писателя тоже были рабочими, так же как родители Бернара.

Маленький Бернар, младший ребенок в семье, ведет свою обособленную жизнь, в которой всегда царит праздник и происходит множество чудес. Одно из них — доброта тех, кто его окружает. Мальчику так хорошо в кругу любящей его семьи, что он не замечает, в какой бедности живет. Благодаря своим выдающимся способностям Бернар поступает в лицей. Его успех на экзаменах означает безвозвратное «прости» тому несравненному счастью, которым он обладал,— безмятежной жизни среди близких людей.

В лицее Бернар сразу понял, что пришел из низов. Он узнал о том, что существует белье, настоящие простыни. Дома все это заменяли тряпки. Бернару отвратительны богатые ученики лицея, которые нарочно поедают лакомства на глазах у тех, кто их никогда не пробовал. Помимо своей воли он становится другим — молчаливым, отчужденным. Бернар ненавидит социальную несправедливость и очень рано вступает в ряды коммунистической молодежи.

В этом романе показано, как неопределенность границы между реальностью детства и постоянно окружающей его магией, волшебством рождает поэтическое восприятие мира... Андре Вюрмсер сравнивает писательскую манеру Андре Стиля с картинами Шардена: «Нигде он с таким мастерством не воссоздавал детские руки, слова матери, самые простые обиходные вещи — это Шарден». О Шардене вспоминает и Жозан Дюранто в «Монд» в своей статье о новой книге Андре Стиля. «Скромная жизнь этого «избалованного» ребенка изображена с таким же искусством, с каким написан на холсте Шардена стакан с водой. Андре Стиль дал нам один из лучших своих романов»,—заключает критик.

ФРГ

И СНОВА— ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ ПРОТИВ ШПРИНГЕРА

Известный западногерманский писатель и публицист Гюнтер Вальраф сообщил о завершении работы над новой книгой, разоблачающей нравы шпрингеровской прессы. Она будет называться «Свидетели обвинения» и продолжит тему предыдущей книги Вальрафа «Оформитель» (которая к настоящему времени разошлась тиражом в 350 тыс. экз.).

«Первая книга отражала скорей мой субъективный опыт, связанный с работой в концерне Шпрингера,— говорит писатель.— Эта публикация потрясет его сильней».

Как известно, материалы для книги «Оформитель» Вальраф собрал, сам устроившись под чужим именем в шпрингеровскую газету «Бильд-цайтунг». «Свидетелями обвинения» в его новой книге, как пишет журнал «Шпигель», будут разные люди: и сотрудники «Бильд-цайтунг», и те, кто стали жертвами этой газеты. Факты, собранные Вальрафом, демонстрируют, по его словам, «преступную практику» концерна, методы дезинформации, клеветы, преследования людей, которые стали привычными для «Бильд-цайтунг». Писатель привлек к сотрудничеству целый ряд адвокатов, цель которых — сделать публикацию убедительной и неуязвимой с юридической точки зрения.

Книгу намерено выпустить в сентябре кёльнское издательство «Кипенхойер унд Вич» начальным тиражом в 100 тыс. экз.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«КОРОЛЕВСТВО КРАСОТЫ И РАДОСТИ»

Так назвала газета «Руде право» размещенную в пражском зале «Манес» выставку «Чешские иллюстраторы детям», посвященную Международному году ребенка.

Здесь представлены работы ста десяти детских художников-графиков, выполненные за последние пять лет.

Богатство тем, образов, сюжетов, причудливое совмещение фантастических мотивов с самыми «сегодняшними» ребячьими делами и заботами воссоздают в своей совокупности пестрый и красочный, радостный и поэтический Мир Детства.

Экспозиция позволяет судить и о тех, кто создал этот неповторимо прекрасный мир: о многообразии творческих почерков художников, высоком уровне их профессионального мастерства и (может быть, самое главное!) о заключенных в каждой работе любви и подлинном уважении мастеров к своим маленьким зрителям.

Высоко оценивая проделанную организатором выставки — Союзом чешских художников — работу, «Руде право» указывает, что помимо своего эстетического и воспитательного значения, экспозиция примечательна и как убедительное свидетельство той заботы, какую проявляет социалистическое общество о воспитании молодого поколения.

ШВЕЙЦАРИЯ

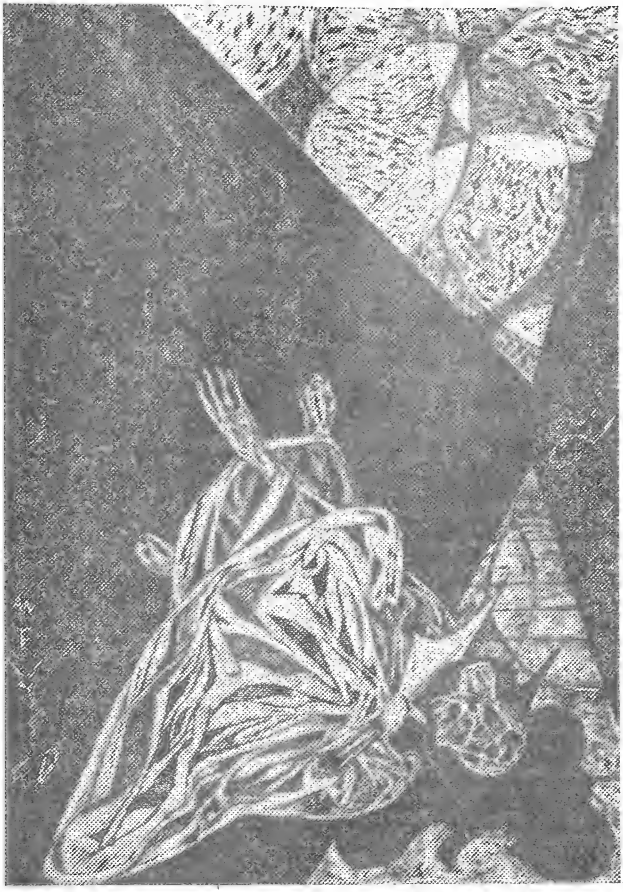
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ О СВОИХ РИСУНКАХ

В цюрихском издательстве «Диогенес» вышла книга, в которой воспроизводятся 107 картин и рисунков известного швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Свои работы в книге комментирует сам автор.

«Мои рисунки,— пишет он.— не побочный продукт литературной деятельности... Я осознал это сам, листая книгу, хотя рисовать начал раньше, чем стал писать.

Живопись и рисунок всегда дополняют мою литературную работу, сюда входит все, что можно выразить в зрительном образе. Поэтому у меня так мало чистых «иллюстраций». И когда пишу, я тоже исхожу не из проблемы, а из картины».

По словам Дюрренматта, известное влияние на него оказал Босх. Однако он отказывается причислить себя к какой-либо художественной школе, не считает себя ни сюрреалистом, ни авангардистом. «Тот, кто сегодня принадлежит к авангарду,— по его словам,— шагает в стаде со всеми прочими». «Я одиночка,— говорит о себе писатель.— Я пишу



На снимке: рисунок Дюрренматта.
(Еженедельник «Вельтвохе»)

картины, понятные мне самому: для себя».

Почему же все-таки писатель берется за карандаш и кисть? «С точки зрения техники я рисую как ребенок,— говорит Дюрренматт,— но мыслю не как ребенок. Я рисую по той же причине, по какой пишу: потому что я мыслю. Живопись как искусство делать «красивые картины» меня не интересует, как не интересует и искусство делать «красивый театр»... Чего я ищу — и в своем литературном творчестве, и в рисунках — это образов и сравнений, которые возможны в век науки... Я хочу понять время, а в нашем времени трудно разобраться с помощью одних лишь слов».

ШВЕЦИЯ

«ДЕТСКИЙ ОСТРОВ»

Действие нового романа Пера Кристиана Ершильда «Детский остров» разворачивается в современном Стокгольме и вместе с тем — в полуреальном мире детских приключений и фантазий.

«Детский остров» — отнюдь не детская книга, хотя и повествует в основном о детях от одиннадцати до пятнадцати лет. Главный герой романа — одиннадцатилетний мальчик Рейне, умный, тонкий, наблюдательный — восстает против диктата взрослых и хочет сам, не прибегая к их спасительным рецептам, найти ответ на многочисленные интересующие его «как?», «где?», «почему?». Чем-то герой «Детского острова» напоминает трогательного, беззащитного Малыша из книг Астрид Линдгрен. Но, в отличие от истории веселых, забавных приключений Малыша, «Детский остров» — серьезная, немного грустная книга о взрослых и детях.

Рейне отказывается от каникул на Детском острове и решает провести лето один, в Стокгольме. Сюжет, казалось бы традиционно обещающий смешные, развлекательные истории, «обманывает» и героя романа, и читателя. Попав в «мир взрослых», Рейне сталкивается с душевной черствостью, жестокостью. Взрослые, оказывается, во многом глухи друг к другу, недоброжелательны, эгоистичны. И в этом мире Рейне чувствует себя неуютно, действительно как на острове, в изоляции. Правда, есть счастливое исключение: единственный человек, с которым Рейне по-настоящему смог подружиться,— это продавщица Нора, которая искренне, по-взрослому уважает его. Так, бунт мальчика против авторитарности взрослых оборачивается поражением. Но и среди своих сверстников, путешествуя на корабле по заливу, Рейне оказывается чужаком — ему не по душе их жестокие, агрессивные детские игры.

В финале романа Рейне наблюдает, как компания раггаров — лохматых хищеобразных юнцов, ломает его велосипед...

«Как и в предыдущих своих романах «Охота на кабанов» (1968), «Ветеринар» (1973), П. К. Ершильд в «Детском острове» затрагивает проблемы серьезного социального и этического содержания... Проникая в сложный мир детских переживаний, он рисует довольно широкую панораму современного шведского общества, выхваченную взглядом юным, непосредственным, немного наивным...»,— отмечает Б. Андер, литературный обозреватель газеты «Ню даг».

◆

Авторы этого номера

ИВАН СКАЛА — IVAN SKÁLA (род. в 1922 г.).

Чешский поэт. Заслуженный писатель Чехословакии. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Огниво» («Křesadlo», 1946), «Что бы ни случилось» («A cokoli se stane», 1957), «Утренний поезд надежды» («Ranní vlak naděje», 1958), за который он был удостоен Государственной премии ЧССР, «Приветствую вас, окна» («Zdravím vás, okna», 1962), «Вестник приходит пешком» («Posel přichází pěsky», 1968).

На русском языке издан сборник «Утренний поезд надежды», стихи печатались в антологиях и периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе».

Вошедшие в публикуемую подборку стихи И. Скалы взяты из его книги «Что беру с собой в дорогу» («Co si beru na cestu», 1975), за которую поэт награжден Государственной премией имени Клемента Готвальда .

КАРЕЛ БОУШЕК — KAREL BOUŠEK (род. в 1922 г.).

Чешский поэт, автор многих книг стихов, текстов популярных песен, театральных либретто, переводчик стихов словацких, болгарских, итальянских поэтов. Наиболее известны сборники стихов «Птицы» («Ptáci», 1972), «Разломи хлеб» («Lamání chleba», 1973), «Колокола в лесу» («Zvony v lese», 1975), «Стол, полный света» («Stůl plný světla», 1975).

Стихотворения, вошедшие в подборку, взяты из двух последних сборников.

ВОЙТЕХ МИГАЛИК — VOJTECH MIHÁLIK (род. в 1926 г.).

Словацкий поэт, переводчик античной и современной поэзии. Заслуженный художник ЧССР. Автор поэмы «Поющее сердце» («Spievajúce srdce», 1952), за которую был удостоен Государственной премии Чехословакии, многих книг стихов, в том числе «Вооруженная любовь» («Ozbrojená láska», 1953), «Не умру на соломе» («Neumriem na slame», 1955), «Горькие плоды» («Trpky», 1963), «Погоня за Орфеем» («Útek za Orfeom», 1965), «Сонеты твоему одиночеству» («Sonety pre tvoju samotu», 1966), «Черная осень» («Čierna jeseň», 1969), «Тринадцатая комната» («Trinásta komnata», 1975), литературно-критических работ.

В русском переводе вышла книга его стихов «Круги Архимеда», стихотворения неоднократно печатались в советской периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Публикуемые стихи взяты из нового сборника поэта «Последняя первая любовь» («Posledná prvá láska»), Bratislava, Smena, 1978).

ЛЮБОМИР ФЕЛЬДЕК — LÚBOMIR FELDEK (род. в 1936 г.).

Словацкий поэт, драматург, переводчик. Автор сборников стихов «Единственный соленый отчий край» («Jediný slaný domov», 1961), «Меловой круг» («Kridový kruh», 1970), «Парацельс» («Paracelsus», 1973), «Вдвоем у стола» («Dvaja okolo stola», 1976). Его стихи для детей и «Синяя книга сказок» («Modrá kniha rozprávok») отмечались премиями издательства «Млада лета» и Союза словацких писателей. Л. Фельдек известен также как переводчик произведений В. Маяковского и как теоретик перевода.

Публикуемое стихотворение взято из однотомника стихов «Северное лето» («Severné leto». Bratislava, 1974).

БОГОМИЛ РАЙНОВ (род. в 1919 г.).

Болгарский писатель, критик, искусствовед. Народный деятель культуры Болгарии, Герой Социалистического Труда, лауреат Димитровской премии.

Начал печататься в 1936 г. Автор повестей, сборников рассказов, приключенческих романов, а также ряда публицистических, критических и искусствоведческих работ.

Многие произведения Б. Райнова переведены на русский язык, среди них по-

весть «Дороги в никуда», романы «Господин Никто», «Что может быть лучше плохой погоды», «Большая скука», «Черный роман». Известны также фильмы, снятые по его произведениям,— «Инспектор и ночь», «Белая комната» и др.

Мы предлагаем вниманию читателя новую повесть Б. Райноза «Черные лебеди» («Черните лебеди». София, «Български писател», 1978). Эта повесть войдет в книгу «Избранное» Богомила Райнова, включенную в Библиотеку болгарской литературы, выходящую в издательстве «Художественная литература».

■

ТАРАСОВА МАЯ ВИКТОРОВНА

Советский переводчик с болгарского. В ее переводах опубликованы «Барьер» П. Вежинова, «Прощай, Акрополь» И. Давидкова, «Фрагменты» А. Далчева, а также произведения К. Калчева, Г. Мишева, Д. Фучеджиева, Н. Хайтова и др.

■

КРИСТЕР ЧИЛЬМАН — CHRISTER KIHLMAN (род. в 1930 г.).

Финский писатель, пишет на шведском языке. Дебютировал в литературе как поэт, в пятидесятые годы выпустил два сборника стихов «Пространство у моря» («Rummen vid havet») и «Монолог монаха» («Munkmonolog»). Обратившись к прозе, К. Чильман пишет романы «Оглянитесь, блаженные!» («Se upp, salige!», 1960), «Голубая мама» («Den blå modern», 1963), «Мадлена» («Madeleine», 1965), «Человек, который дрожал» («Människan som skalv», 1971).

Мы знакомим читателей с творчеством К. Чильмана, публикуя его роман «Милейший принц» («Dyre prins». Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1976).

■

ГОРЛИНА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА

Советский филолог; переводит со скандинавских языков. Начала печататься в 1956 г. Переводила произведения Б. Бьёрнсона, Т. Недреос, Т. Весоса, А. К. Вестли, А. Сандемуса (Норвегия), А. Лундквиста, А. Линдгрен (Швеция), Х. Лакснесса (Исландия).

■

ЖОЗЕ Ж. ВЕЙГА — JOSÉ J. VEIGA (род. в 1915 г.).

Бразильский писатель, по образованию — юрист, окончил факультет права университета Рио-де-Жанейро. Работал продавцом, коммивояжером фармацевтических товаров, мелким чиновником, диктором радиостанции, репортером одной из столичных газет, редактором и переводчиком американского журнала «Ридерс дайджест». Несколько лет жил и работал в Англии.

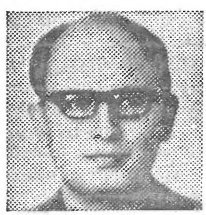
Дебютировал в литературе десять лет назад, выпустив сборник рассказов «Лошадки Платипланто» («Os cavalinhos de Platiplanto», 1959). Повесть «Тени бородатых королей» («Sombras de reis barbudos») печатается по португальскому изданию 1976 года (Lisboa, Livraria Bertrand, S.A.R.L., 1976).

■

БРЕВЕРН ЛИЛИАНА ЭДУАРДОВНА

Советский переводчик с португальского. В ее переводах издавались произведения португальских и бразильских классиков Эсы де Кейроша, Грасилиано Рамоса, Лимы Баррето и современных писателей: Урбану Тавариша Родригиша, Вержилио Феррейры, Аугустины Бессы Луис, Раймундо Моранса и др.

■



ЛАНДОР МИХАИЛ БЕЛОВИЧ (род. в 1935 г.).

Советский литературовед, критик, автор статей по западноевропейской и американской литературам, публиковавшихся в журналах «Вопросы литературы», «Иностранная

литература», «Новый мир», «Советская литература» на иностранных языках и др.

■

ЯСНЫЙ ВАДИМ КОНОНОВИЧ (род. в 1917 г.).

Советский литературный критик, переводчик. Автор книги «Бегство в действительность. Современный испанский роман» (1971), ряда статей и радиопередач по классической и современной испанской литературе. Составитель сборника «Современная испанская новелла» (1971). Переводил произведения Хоакина Дисенты, Хесуса Лопеса Пачеко, Рикардо Фернандеса де ла Регеры и др.

■

МАНОХАР МАЛГОНКАР — MANOHAR MALGONKAR (род. в 1913 г.).

Индийский писатель. Окончил Бомбейский университет. Работал охотником в государственных заповедниках, занимался журналистикой. Автор работ по истории маратхов, народа, к которому принадлежит М. Малгонкар, и нескольких романов, принесших ему известность. В русском переводе издан роман «Излучина Ганга».

Рассказы «Медведь на тарелочке» («Beer on a Plate») и «Комбинатор» («The Fixer») взяты из его сборника новелл «Тост теплым вином» («A Toast in Warm Wine». Delhi, Hind Pocket Books, 1974).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: **109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.**

Издательство «**Известия Советов народных депутатов СССР**».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/VII 1979 г. А 13106. Подписано в печать 10/VIII 1979 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л 28,45.

Тираж 686 000 экз. (1-й завод: 1—400 000 экз.) Зак. 2255.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Б. ОБРЕШКОВ. Звено

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394